



САВИНКОВ
Борис Викторович
1879–1925

САВИНКОВ

Аркадий Савеличев

ГЕНЕРАЛ ТЕРРОРА

РОМАН

act
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
Москва
2004

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С 12

Оформление
В. И. Харламова

Савеличев А. А.

С 12 Савинков: Генерал террора: Роман / А. А. Савеличев — М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. — 539, [5] с.: ил. — (Белое движение).

ISBN 5-17-023693-X (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-08915-0 (ООО «Издательство Астрель»)

Об одном из самых известных деятелей российской истории начала XX в., легендарном «генерале террора» Борисе Савинкове (1879—1925), рассказывает новый роман современного писателя А. Савеличева.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 30.02.2004. Формат 84×108^{1/32}.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,56.
Тираж 6 000 экз. Заказ № 2164.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

ISBN 5-17-023693-X
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-08915-0
(ООО «Издательство Астрель»)

© Савеличев А. А., 2004
© ООО «Издательство Астрель», 2004

ISBN 5-17-023693-X



9 785170 236930

Аркадий Савеличев



*«Не разжигай углей грешника, чтоб не сгореть
от пламени огня его...»*

*(Книга Премудрости Иисуса сына
Сирахова, гл. 8, ст. 13)*

*«Я знаю, жжет святой огонь. Убийца в Божий
град не внидет, Его затопчет Бледный Конь...»*

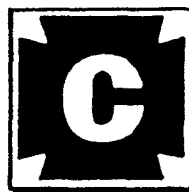
(Борис Савинков)

*«...Се Конь Блед, и сидящий на нем — имя ему
Смерть, и ад идяще вслед его...»*

*(Из древнерусской рукописи
старца Евфимия)*

ПРОЛОГ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

I



евастопольская военная тюрьма была устроена на месте гарнизонной гауптвахты, прямо в крепости. Это не хуже и не лучше других крепостей, где Савинкову еще в прежние годы довелось побывать. Несокрушимые, непреодолимые стены — охрану нес специально выделенный литовский полк, отличившийся в карательных экспедициях еще тлевшей под серым пеплом революции. Набившие руку караульные, разводящие, часовые; рота по очереди сменяла роту, с заведенностью часового механизма. Никто не мог ни отменить, ни изменить раз и навсегда заданный ритм. При полной сменяемости караулов заключенный, при всем желании, не успевал запомнить многочисленных охранников, как и охранники — знать в лицо своих подопечных. Этим исключался всякий сговор и соблазн побега.

Крепостная гауптвахта делилась на три отделения: общее, офицерское и секретное. Разумеется, Савинков был в третьем. Это секретное отделение имело вид узкого и длинного коридора с двадцатью камерами по обеим его сторонам. Коридор замыкался метровой толщины стеной, а начинался железной, всегда запертой

дверью. Она вела в умывальную; туда выходили двери от дежурного жандармского офицера, из совершенно глухой, без окон, кладовой, из офицерского отделения и кордегардии. Через кордегардию, всегда полную отдыхающих солдат, и вел единственный выход к воротам.

Внутри секретного коридора — трое часовых. Посты в умывальную и далее, у дверей в кордегардию. Такие же посты снаружи, между гауптвахтой и ее внешней стеной. Более того, крепостная стена охранялась и снаружи.

Какой уж там побег!

Борис Савинков ждал смертного приговора. Как для лица гражданского, расстрел был для него непозволительной роскошью — виселица, потомственный петербургский дворянин, виселица! Читая заранее прописанные, роковые слова приговора, военный прокурор генерал Волков ожидал слез, раскаяния, чего угодно, только не каменного спокойствия. Смешно сказать, Савинкову же и пришлось успокаивать генерала:

— Господин прокурор, не примите это за оскорбление, но я не умею плакать.

За время разбушевавшейся революции здесь всего повидали, могли бы ничему не удивляться... Но как скрыть удивление?

— Вам только двадцать семь лет!

— Это возраст поручика Лермонтова. Чем я лучше его?

— У меня не укладывается в голове: как вы, такой опытный конспиратор, могли обмишуриться?!

— Не укладывается и у меня, господин прокурор. Случайность? Наводка провокатора? Доблесть филеров?.. Но не довольно ли вопросов? Приговоренный к смертной казни имеет право на последнее желание. Я хочу спать.

Генерал Волков покачал усталой, всего повидавшей головой и оставил заключенного, — по, сути уже осужденного — на попечение конвоя. Опять крепость. Одиночная камера. Непроницаемые, глухие стены. Полный покой... предсмертный покой, если так угодно господи-

ву террористу. Отсыпайтесь... до встречи с Господом Богом! Аз воздам!

Но Савинков зря тревожил душу служивого прокурора. Во всем случившемся он был сам виноват. Самонадеянность! После головокружительных прошлых удач — непозволительная самонадеянность. Совсем не в его характере.

Сиди и вспоминай путь на свою несчастную Голгофу...

В самом начале мая 1906 года он выехал из Гельсингфорса в Севастополь с поручением Боевой организации эсеров — судить судом гнева адмирала Чухнина: адмирал отличился своими зверствами над восставшими моряками. После убийства министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея, да и других громких бомбометаний это казалось легкой разминкой перед главным готовящимся покушением — на Николая II.

Как всегда, разведку и руководство он брал на себя. Как всегда, ехал один. Помощники — а их было трое — следовали другими поездами, через другие города. Лишь на пересечениях путей — мимолетные конспиративные встречи. Так безопаснее и легче скрываться от шпииков: сумеречные крысы давно шли по пятам. Прекрасно знали его в лицо. С изобретением фотографии задача их упрощалась. В лабораториях департамента полиции был налажен выпуск так называемой «Книжки филера». Портмоне карманного размера, куда складывалась гармошка нужных на это время фотографий. Легко раскрывается, легко скрывается в случае необходимости.

Распроцавшись в Харькове, после получасовой встречи, со своими подельниками — Двойниковым, Калашниковым и Назаровым, — он приехал в Севастополь 12 мая. По обычаю, остановился в лучшей гостинице — «Ветцель». Он не любил бедной конспирации — богатый англичанин лучше всего. Но Севастополь — город военный,

к тому же взбудораженный еще не затихшей революцией. Англичане сейчас были не в чести. Отставной подпоручик в запасе, Дмитрий Евгеньевич Субботин, извольте любить и жаловать, прибыл в славный морской град для отдохновения, из давней любви к пользительному морскому воздуху. Документы документами, но ведь и поболтать со служащими гостиницы об этом не мешало. Гостиничные служки — первостатейные филеры.

Очередная встреча с помощниками была назначена на 14 мая — день коронации Николая II. Ничего удивительного, военные моряки были обязаны праздновать такой день; адмирал Чухнин тем более. До славной встречи, адмирал!

А пока подпоручик, как ему и положено, мог приятно провести время. Не стар подпоручик Субботин, очень даже не стар, хотя имеет честь давно быть женатым. По своему побочному увлечению — литературой — женат, разумеется, на дочери писателя. Разумеется, кумира первостуденческой поры — славного Глеба Ивановича Успенского. Не забывает разгулявшийся подпоручик Субботин: его ждет в Петербурге Вера Глебовна, прекрасная дочь прекрасного писателя. У него всего лишь маленькая холостяцкая прогулочка перед семейным ужином.

Да, но ему в этот день — день коронации кандидата на заклание — не думалось ни о любимейшем, в бозе почившем тестюшке, ни о его любимейшей, бесстрашной дочери. Жить с таким мужем — не шуточки.

К 12 часам на Приморском бульваре у него было назначено свидание с «динамиткой» — так мысленно называл он Рашель Лурье. А что нужно для свидания? Конфеты от Елисеева, розы от самой распрекрасной севастопольской цветочницы и соответствующее настроение — от самого себя.

Ах, жаль, не пришла влюбленная... да-да, в революцию!.. расчудесная Рашель...

И только хотел обидеться — что же?.. Взрыв?

Ему ли не знать, как взрываются бомбы. Он несколько минут колебался: уж не Рашель ли подорвалась? В де-

ле часто случались такие казусы. Динамитчиков погибало не меньше самих бомбометателей. При срочном изготовлении бомб — их же нельзя было держать в запасе — кому руки отрывало, кому и головы срывало. Озабочаясь судьбой Рашели, он вышел с бульвара на улицу. Ясно, вслед за взрывом начнутся усиленные поиски виновников. Следовало, видимо, сейчас же выехать из Севастополя и уже где-то в другом городе собрать всю свою группу. Но неосторожно разгулявшийся подпоручик рассудил: что за беда, за ним-то не следят! Пережди переполох в гостинице.

Но не успел он подняться по коврам лестницы на свой второй этаж, как услышал позади крик:

— Барин, вы задержаны!

Его крепко ухватили за руки. Засада! Из-под лестницы, из-за штор, казалось, из самих стен высыпали жандармы и солдаты с ружьями наперевес, даже с примкнутыми штыками. В одно мгновение штыки образовали тюремную, непроходимую решетку. Из нее не было выхода ни с браунингом, ни без браунинга. Полицейский офицер, очень бледный, приставил к его груди револьвер — видать, наслышан о знаменитом террористе, опасался и в таком жандармском многолюдстве. Какой-то мордастый сыщик грозил кулаком и ругался. Какой-то морской офицер настойчиво требовал:

— Нечего возиться! Во двор — и сейчас же к стенке.

Однако полицейский офицер не мог этого позволить:

— У меня приказ: взять живым. Конвой! В крепость.

Там уже были двое помощников — Двойников и Назаров; Калашникову, кажется, удалось скрыться; Рашель Лурье тоже счастливо опоздала на это роковое свидание.

Они переглянулись, кивнули друг другу, что означало: подлинных фамилий не называть. Всем троим тут же было предъявлено обвинение... в покушении на жизнь генерала Неплюева!

Вот уж истинно: шли мелким бродом, а попали в омут... Вместо морского адмирала Чухнина — комендант севастопольской крепости генерал Неплюев?!

Вскоре и причина обнаружилась.

Левая рука не знала, что делала правая. Пока центральная Б. О. — так обычно называли Боевую организацию эсеров — готовила покушение на Чухнина, доморощенные севастопольские взрывники решили посчитаться с ненавистным им Неплюевым. И тоже в день коронации. И тоже в 12 часов дня, когда генерал Неплюев выходил из собора после торжественного богослужения. Он был полон важности от такого величайшего события. Но из толпы вдруг выскочил мальчик лет шестнадцати и бросил под ноги генералу бомбу; бомба не взорвалась. В ту же минуту ринулся на генерала второй метальщик — матрос Иван Фролов. Этот не оплошал: его бомбой разнесло 6 человек и 37 ранило. Разумеется, и самого в клочья...

Однако генерал Неплюев не пострадал. И сейчас подпоручик Субботин, попавший как кур во щи, сидел в его подведомственной крепости.

Все четверо, включая и несовершеннолетнего Макарова, были отданы военно-полевому суду. По законам военного времени.

Все четверо, в том числе и бесстрашный мальчуган, не назвали своих имен. Революция не терпела громкой рекламы... как и непозволительной неряшливости...

Оказывается, помощники по чьей-то наводке еще из Харькова, через Симферополь, привели за собой шпионов.

Одна случайность наслочилась на другую случайность — геройство местных, севастопольских эсеров. Им тоже фейерверков захотелось!

Назначенный военным судом официальный защитник — о, филистеры, филистеры! — капитан артиллерии Иванов принимал самое активнейшее участие в усмирении восстания на броненосце «Очаков» в ноябре 1905 года. Именно его батарея стреляла по броненосцу. А руководители восстания, вместе с лейтенантом Шмид-

том, незадолго перед тем, 6 марта 1906 года, были расстреляны на острове Березань. Так что не приходилось рассчитывать на защиту такого «защитника»...

Но ведь не знаешь, что потеряешь, что найдешь. Именно капитану Иванову, под честное офицерское слово, он и открыл подлинное имя: Савинков Борис Викторович.

Отныне не было подпоручика Субботина — был Савинков, известный всей России террорист. И этот террорист попросил телеграфировать матери Софье Александровне и жене Вере Глебовне с таким расчетом, чтобы они успели приехать ко дню исполнения приговора.

— Когда, если не секрет?

— Суд, как вам уже сообщили, восемнадцатого. Я не скрою: исполнение девятнадцатого...

— Благодарю вас, капитан, не поминайте меня лихом.

— И вы не поминайте, господин Савинков.

Капитан сдержал свое слово. Уже 16 мая мать получила телеграмму:

«НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙТЕ КУРЬЕРСКИМ СЕВАСТОПОЛЬ СЫН ХОЧЕТ ВАС ВИДЕТЬ — защитник Иванов».

На сборы оставалось пару часов. Муж, уважаемый варшавский судейский чиновник, совершенно «разбитый» сыновьями — старший, Александр, был сослан в Восточную Сибирь, Борис в севастопольской крепости и младшенький тянулся за ними — уволенный со службы, Виктор Михайлович бесцельно проживал в Петербурге и в буквальном смысле потерял разум, лишь плакал, целуя телеграмму. Все хлопоты взяла на себя Софья Александровна. Уже через пару часов в поезд вместе с ней садились невестка, ее брат и четверо известнейших петербургских адвокатов, в том числе защищавший еще старшего сына присяжный поверенный Жданов. Из

Москвы в тот же Симферополь летел на огненных крыльях давний друг сына — Лев Зильберберг.

— Все, Господи, все едем спасать тебя, Боренька!

Она, правда, не знала, что тем же поездом, только в другом купе, едет и начальник департамента полиции Трусевич, который тоже в считанные часы поднял весь «послужной» архив ее сына. Там, между прочим, была такая характеристика:

«...Б.В. Савинков представляет собой опасный тип противника монаршей власти, ибо он открыто и с полным оправданием в арсенал своей борьбы включает убийство. Слежка за ним и тем более предотвращение возможных с его стороны эксцессов крайне затруднительны тем, что он является хитрым конспиратором, способным разгадать самый тонкий план сыска. Близкие ему и хорошо знающие его люди обращают наше внимание на сочетание в нем конспиративного умения и выдержки с неврастеническими вспышками, когда в гневе и раздражительности он способен на рискованные и необдуманные поступки...»

Характеристика была написана для полиции ближайшим другом и соратником; между прочим, членом ЦК партии эсеров; между прочим, самым главным провокатором, служившим в полиции с 1892 года! Да, господа бомбисты. Этот человек по своей значимости не уступит Савинкову. Не зря же для его необъятного чрева платили 350, потом 500, 600... и так далее рублей в месяц, а сейчас он получает — пятнадцать тысяч годовых! Какой министр не позавидует? Но ведь и стоит, стоит. Это по его шифрованной телеграмме Трусевич и едет в одном вагоне с матерью террориста. Не выходя, разумеется, из купе. Ибо они прекрасно знакомы... ах, мадам, как знакомы! Еще когда в первый раз судили старшенького, Александра, разумеется, вместе с Боренькой. И потом, когда Сашенька, отправлявшийся в Восточную Сибирь, и Боренька, ждущий в Вологде той же участи, и ваша невестка, и вы, мадам, вместе съехали в переполненной ссыльными революционерами Вологде... вы ведь не знали, не догадывались, мадам,

что так же вот ехал в одном поезде с вами нынешний начальник департамента полиции, тогда еще мелкий филер. Искренняя благодарность вам, мадам! Не будь ваших сыновей, разве дослужился бы он до начальника департамента?!

И теперь этот начальник, упустивший Бореньку из Вологды в Норвегию, хочет лично посмотреть, как болтается на виселице... по закону военного времени, по закону, мадам!.. ваш горячо любимый сын Боренька... и писатель Ропшин, не так ли? Вы сами, мадам, в некотором роде писательница, вы оцените драматизм всего происходящего. Может статься, мы дадим вам такую возможность — милыми материнскими глазами глянуть на последние вздохи вашего писаки-бомбиста!

Именно для этого собственной персоной и едет вместе с вами начальник департамента. У вашего сына дьявольская способность — подчинять своей воле самых заклятых врагов. Нельзя поручиться, что даже военный прокурор генерал Волков не разведет с подсудимым скупейскими антимионии. Нет, нельзя. Поймите — вам надо успеть к 18 мая, но и начальнику департамента — надо. Непременно надо, мадам.

Но ведь и друзьям Бореньки — надо.

Накануне суда вместе с начальником департамента полиции в Севастополь нагрянули мать, жена, ее брат Борис Глебович, сразу четверо несокрушимых петербургских адвокатов, в том числе и Жданов — приятель по вологодской ссылке, в свое время защищавший, кроме Александра, и Ивана Каляева. И конечно же, неукротимый, как пушечное ядро, Зильберберг.

Савинков знал, что и мать таким же ядром пройдет сквозь все крепостные стены. Ломая всякое сопротивление, она бросилась с вокзала с самыми убийственными рекомендательными письмами — за два часа в Петербурге успела запасть — и штурмом взяла тюрьму. Влетела в камеру:

— Сынок! Я не осуждаю тебя, но...

— Мама, — обнимая ее, заверил сын, — каков бы ни был приговор, я совершенно не причастен к покушению

на Неплюева. Я приехал по другим делам. Здесь вышла какая-то провокация, в которой я пока не могу разобраться... Не плачь. Я не боюсь смерти, я готов к ней каждую минуту, но я не хочу умирать за то, что совершили другие. Честь покушения принадлежит не мне.

Он сумел ее успокоить. Проводил до дверей камеры.

Следом за матерью, под покровительством капитана Иванова, прорвалась и жена:

— Боря!

— Что, Вера? — обнял и ее, плачущую, дрожащую.

— Не знаю. Я ничего не знаю! Я просто рада тебя видеть.

— Благодарю, Вера. Но скажи: какой я муж? Меня носит по всем странам Европы, по градам и весям России — до жены ли мне? Прости, если можешь.

— Мне не в чем тебя прощать. Я люблю тебя, Боренька!

— Но ведь завтра — суд! Решение его заранее определено. Это военный суд. По законам военного времени. Закрывается суд, Вера. Он и продлится-то, может, пять каких-нибудь минут. Просто формальности ради зачитают приговор. Как ты этого не понимаешь?

— Не хочу понимать... я тебя люблю, вот и все. У нас сын, семья...

— Суд! Суд, говорю. Вера. Очнись, — обнимал он ее под надзором жандарма и маячившего в коридоре капитана Иванова.

Она ничего не принимала во внимание, она ничего не соображала.

— Вполне возможно, это наше последнее свидание. Я сейчас озабочен тем, как, не посрамив своего имени, встретить приговор. Иди к матери, дай мне сосредоточиться.

Она вышла как неживая, будто судили лично ее...

Военный суд исключал, конечно, присутствие посторонних и даже родственников, но кто мог устоять перед натиском Софьи Александровны? Пал прокурор, генерал-майор Волков, сбитый с ног к тому же целой сворой петербургских адвокатов, прямо грозивших его карьере.

Пал и несокрушимый семейный каратель Трусевич. А капитан Иванов, доблестно расстреливавший своей батареей «Очаков», еще и раньше, и добровольно, преклонил колено перед ее сыном.

Когда его ввели в здание военного суда, он нес свою львиную голову так, будто перед ним были ничтожнейшие ягнята. И прокурор почему-то опустил генеральские глаза. И другой генерал, Кардиналовский, тоже, он председательствовал на суде. Ему не оставалось ничего иного, как спросить ненужное:

— Ваше имя?

— Потомственный дворянин Петербургской губернии Борис Викторович Савинков. Честь имею!

Было ясно, что суд с первых же шагов обвиняемого провалился своей гнилой половицей. Четверо петербургских защитников, разделившись попарно — одни защищали Савинкова и его сообщников, другие Макарова, — выдернули, выдрали с корнем и остальные половицы. Добились, казалось бы, невозможного: переноса заседания для исследований и решения по делу несовершеннолетнего Макарова. А решение это мог дать только Севастопольский окружной суд. Когда-то улита придет!

Савинков уходил из суда с гордо поднятой головой.

Время! Оно сейчас все решало.

Началась подготовка к побегу.

Пока независимые петербургские адвокаты занимались различными проволочками, Зильберберг развивал свой, казалось бы, немислимый план. Вперед, сквозь стены!

Софье Александровне пришлось уехать в Петербург — там при смерти был Виктор Михайлович, — но для Веры Глебовны как для жены все через того же капитана Иванова добились регулярных свиданий. Доблестный артиллерийский капитан, вольно или невольно, стал общником. В планы его, конечно, не посвящали — присяге он, честный офицер, не мог изменить; достаточно

было через него наладить связь. Он и сам, ничего не подозревая, приносил шифрованную информацию. Вроде того: «Борис Викторович кашляет» — значит, не может подыскать себе сообщников среди караульных. Или: «Борису Викторовичу разрешили прогулки по коридору» — значит, уже подкуплены ближайшие дежурные, общается во время этих прогулок со своими поделщиками. Тюрма и воля переговаривались самым естественным образом.

Есть два пути, передавал Зильберберг: или открытое, массированное нападение на саму крепость, или подкуп караульного начальства.

«Нет, — отвечал Савинков на первое предложение. — Даже у всей Боевой организации не найдется таких сил, чтобы штурмом взять несокрушимую военную крепость».

«Да, — на второе предложение, — если найдем сообщников».

«Но у тебя же бесценный дар — убеждать и привлекать к себе людей».

«Не всех — только готовых пойти на смерть».

«Есть такой. Он придет к тебе!»

Пока петербургские адвокаты, при молчаливом пособничестве капитана Иванова, тянули время, откладывая заседание за заседанием, — в Севастопольском окружном суде ведь тоже были свои добрые крючкотворы, — уже и июнь подходил к концу. Утром последнего дня, после проверки, дверь камеры отворилась. Вошел высокий, очень высокий белокурый солдат с голубыми смеющимися глазами.

— Здравствуйте, я от Николая Ивановича, — сказал он, присаживаясь на кровать и подавая записку от Зильберберга.

Там всего несколько слов: «Положитесь полностью на этого человека».

— Кто вы?

— Василий Митрофанович Сулятицкий. Сын священника. Окончил духовную семинарию. Весело верую во Христа-Спасителя.

— Но форма военная?.. Тюремный священник? Все равно должно быть облачение.

— Зачем? В данном случае я вольноопределяющийся. Разводящий караулов. Я — непосредственный начальник над всеми внутренними часовыми. Побег назначен сегодня ночью.

Но главный караульный начальник, пьяница-поручик, словно в протрезвении предчувствуя что-то, забрал ключи. И впредь их уже не отдавал без особой надобности, и то со строгим приказом: тут же всякий раз возвращать.

Сделанный два дня спустя, по слепку, ключ не подошел к главному коридорному замку.

Еще через день Сулятицкий предпринял попытку освободить, если так, всю тюрму. Он принес в подарок от Зильберберга целый подсумок превосходных конфет. Пусть спит караул до лучших времен.

— Хочешь, земля, конфету?

— Покорно благодарим.

— И тебе?..

— А как же... Благодарствую!

Изготовясь за дверью, Савинков ждал, когда часовые заснут. Но они преспокойно разговаривали между собой:

— Яка гирка конфета...

— Та ж паны жрут.

— Тьфу!..

Зильберберг — не медик. Ему подсунули обычный морфий... И третья, и четвертая попытка по разным причинам сорвались. Петербургские адвокаты, даже с помощью своих симферопольских крючкотворов, не могли больше выискивать причин для оттяжки повторного суда. В Симферополе кого-то уволили, кого-то отстранили. Окружной суд дал «добро» даже на несовершеннолетнего Макарова. Взбешенный генерал Неплюев требовал немедленного суда. Начальник департамента полиции, вновь нагрянув из Петербурга, грозил всеми немислимыми карами. Прокурор Волков, тоже очнувшись от ночного преферанса, стукнул кулаком по столу генерала Кардиналовского:

— Суд! Немедленно! Я не хочу, чтоб меня, как паршивого пособника, разжаловали в солдаты!

Все пали духом. Даже Зильберберг на своей тайной квартире напился... Невозмутимым оставался только сам Василий Сулятицкий.

— Ничего, еще попытка. Но можно вывести при этом только одного человека...

Савинков не мог принять такое благо на себя.

С помощью подкупленного жандарма, по причине дня рождения у Назарова, удалось устроить общее совещание. В камере именинника, под праздничный пирог. На правах хозяина Назаров первым и заговорил:

— Кому бежать? Конечно, тебе, Борис Викторович.

— Нет. В таком случае — жребий!

— Тебе. Без жребия, — потребовал и Двойников.

А мальчуган Макаров был просто в восторге. Он не мыслил иной судьбы, как умереть за революцию:

— Вы... вы, Борис Викторович, должны, вы просто обязаны!..

— Ну-у, к своим обязанностям я отношусь серьезно.

Пришлось согласиться. С одной поправкой:

— Если мой побег состоится, никто из вас не будет повешен. Слово Савинкова. Прощайте, — обнял он всех по очереди, потому что из коридора сигнализировал Сулятицкий — вероятно, начальник караула после опохмелки вышел прогуляться.

Сулятицкий снова вошел в камеру, когда истек уже всякий назначенный срок. В три часа ночи сменялся караул. Ага, та смена была ненадежная. Он привел свою.

— Так бежим? — спросил, закуривая «на дорожку» папиросу и передавая револьвер.

— Но что вы думаете делать, если меня узнают солдаты?

— В солдат не стрелять.

— Я и сам не могу стрелять в солдат. Только — в жандармских офицеров. Если караул поднимет шум, значит, обратно в камеру?

— Нет, зачем в камеру?

— А что же?

— В любого офицера, даже не жандармского, стреляйте без раздумий. Я тоже не промахнусь, хоть и семинарист. Здесь одни сволочи и прохвосты... прости меня, Господи! Но в солдат — не могу позволить. Значит... стрелять, в случае провала, придется в себя.

— Великолепно. Пошли.

— Из первых трех часовых я одного отправил спать. Ненадежный. Может шум поднять.

Проходя мимо двух оставшихся, Сулятицкий небрежно бросил:

— Мыться идет... Говорит, болен.

По инструкции умываться разрешалось не ранее пяти часов утра, всегда под наблюдением жандарма и так называемого «выводного» солдата. Однако полусонные часовые, подчиненные непосредственно Сулятицкому, не увидели ничего странного в том, что заключенный выходит из камеры ночью с одним разводящим.

Когда дошли до железных дверей в конце коридора, Сулятицкий прикрикнул на очередного часового:

— Спишь, ворона?.. Открой.

Часовой, вздрогнув от неожиданности, открыл дверь — ту самую, к которой напрасно готовили ключ.

Савинков прошел с полотенцем к умывальнику. Справа и слева стояли солдаты. В отдельной комнате с незапертой дверью, не раздетый, лежал жандарм. Спал или только «отдыхал» с полупьяну? Пока Савинков умывался, Сулятицкий прошел в кордегардию — посмотреть, все ли спокойно. Вернувшись, он провел в кладовую; там, в темноте, Савинков срезал отросшие за это время усы и вышел солдат солдатом — в фуражке и даже с казенным подсумком. На глазах у тех же часовых прошли обратно в кордегардию; на их шаги кое-кто обернулся, но заключенного не узнали. Дальше! В сени. Самое опасное. Дверь в комнату дежурных офицеров была отворена. Оба непроизвольно сжали в карманах рукоятки револьверов. Про-онесло! Время предутреннее, все маялись изморочным сном. Наружный часовой, в дверях, глянул на привычные погоны и зевнул:

— О-хо...

Белые рубахи других солдат, цепью охранявших крепость снаружи, не взволновались при виде своего же брата-полуночника. Кто знает, может, за водкой офицерами посланы. Ночная скука, она не тетка. Подыграли еще маленько вслух:

— Э-эх, нам бы с тобой оставили выпить-то!..

— Оставят, раззявь пошире хлебало!..

Среди белых рубах прошел сочувственный смешок. Мимо. Дальше. В узком переулке их ожидал поставленный Зильбербергом свой часовой. В руках — корзина с платьем. Но нельзя было терять времени. Следы погони обнаружили уже через пять минут — чуткое ухо ловило шумы в крепости. А впереди — те же белые рубахи. Отсекают путь?.. Все равно: обратного хода не было. Позади — тюрьма.

— Вперед?

— Только вперед!

Нет, погоня сюда еще не докатилась. Оказалось, как раз открылся ранний толчок и матросы по холодку шли закупать провизию, попевая сквозь зевоту:

«Эх, яблочко,

Да куда... котишься...»

Через десять минут они были на квартире у знакомого рабочего. Их ждал Зильберберг. Там уже и переоделись. Дальше. На квартиру к другому рабочему, в сырой и темный подвал.

Только здесь Лев Зильберберг и потерял свое обычное хладнокровие. Он обнимал Савинкова и Сулятицкого и радостнее их самих повторял:

— Воля! Ведь воля?!

Чтобы снять обвинение с ни в чем не повинных часовых, да и с оставшихся в камерах товарищей-заложников, в этом же подвале было написано и своими людьми в большом количестве экземпляров отпечатано извещение:

«В ночь на 16 июля, по постановлению Боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57-го Литовского полка В.М. Сулятицкого, освобожден из-под стражи содержащийся на главной крепостной гауптвахте член пар-

тии социалистов-революционеров Борис Викторович Савинков.

Севастополь, 16 июля 1906 г.».

Но предстояло еще выехать за границу.

Вся полиция и все воинские патрули были подняты на ноги. Целых десять дней пришлось отсиживаться в сорока верстах от Севастополя, на хуторе сочувствующего эсерам немецкого колониста Штальберга. Но в дом к нему, обремененному семьей, не заходили, спали вообще в одном из степных урочищ — на циновках, под одеялами, в окружении разложенного оружия, которое могло выдержать самую сильную осаду. Место меняли при каждой ночевке.

Только на одиннадцатую ночь Савинков, в сопровождении все того же Зильберберга, отправился на полупалубном маленьком боте в румынский порт Констанцу. Вместе с ним отплывал и Сулятицкий.

Савинков пытался отговорить его от опасной и непредсказуемой судьбы эсеровского террориста. Этот семинарист, спасший от виселицы, был неподражаем в своей спокойной убежденности. Дня через три после побега он уже сознался:

— Я хочу идти с вами. До конца.

— Но это очень опасно. Вы лично могли убедиться.

— Все равно. Не отговаривайте.

Савинков был не рад своему влиянию на окружающих людей. Возникла ведь и другая забота: за ним последовал и обремененный семьей Карл Иванович Штальберг. Тут еще решительнее было возражение:

— Но — дети, дети?

— Дети проживут и без меня.

— Вы принесете очень большую пользу и на своем хуторе.

— Несоизмеримо меньшую. Как и Сулятицкого, не отговаривайте. За границей я хочу познакомиться с «бабушкой русской революции». Она ведь вышла с каторги?

— Екатерина Константиновна? Брешко-Брешковская? Да, я встречал ее еще во время ссылки в Вологду, в девятьсот третьем году. Удивительная женщина!

— Вот видите. Чем я хуже вас?..

На это совсем не находилось возражений.

Так и поплыли они в грозовую, штормовую ночь — ведь нарочно была выбрана такая погода — мимо сторожевых пограничных кораблей, на углу суденышке, без единого огонька. Спорить было уже поздно.

Шторм крепчал. Курс на Констанцу выдержать не удалось, кое-как по ветру зашли в устье Дуная, в первый румынский порт Сулин. Там их, конечно, никто из своих не ждал. Лишь после многих скитаний, где подкупом, где угрозой оружия переходя границы, через Венгрию добрались до Базеля.

Первое, что сделал Савинков, — отправил в Севастополь срочное письмо:

«Его превосходительству генерал-лейтенанту Неплюеву. Милостивый государь!

Как Вам известно, 14 сего мая я был арестован в г. Севастополе — по подозрению в покушении на Вашу жизнь — и до 15 июля содержался вместе с гг. Двойниковым, Назаровым и Макаровым на главной крепостной гауптвахте, откуда, по постановлению Боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57-го Литовского полка В.М. Сулятицкого, в ночь на 16 июля бежал.

Ныне, находясь вне действия русских законов, я считаю своим долгом подтвердить Вам то, что неоднократно было мной заявлено во время нахождения моего под стражей, а именно, что я, имея честь принадлежать к партии социалистов-революционеров и вполне разделяя ее программу, тем не менее никакого отношения к покушению на Вашу жизнь не имел, о приготовлениях к нему не знал и моральной ответственности за гибель ни в чем не повинных людей и за привлечение к террористической деятельности малолетнего Макарова принять на себя не могу.

В равной степени к означенному покушению непричастны И.В. Двойников и Ф.А. Назаров.

Таковое же сообщение одновременно посылается мной ген. М. Кардиналовскому и копии с него — бывшим

моим защитникам присяжным поверенным Жданову и Малянтовичу.

С совершенным уважением Борис Савинков. Базель 6/19/VIII, 1906 г.».

После таких террористических эскапад, после мировой огласки всего происшедшего, — позаботились, чтобы попало в газеты, — подписать смертные приговоры оставшимся в Севастополе заложникам никто не решился. Ни очередной, после смерти Плеве, министр внутренних дел Столыпин, ни начальник департамента полиции Трусевич, ни председатель суда Кардиналовский, ни тем более генерал Неплюев. Последний рад был, что развязался с такими беспокойными людьми.

Разумеется, просто выпустить на волю заложников не могли — сослали на каторгу, зная, что они оттуда сейчас же убегут, а малолетнего Макарова заключили в местную гражданскую тюрьму. Но ведь и сквозь стены смелые люди уходят!

Уже через год подросший Макаров бежал из севастопольской гражданской тюрьмы... и если был все-таки повешен, так уже за другое — за убийство начальника тюрьмы петербургской...

Назаров Федор Александрович, ко всему прочему причастный к покушению на нижегородского губернатора барона Унтербергера, впоследствии тоже был повешен...

«Динамитка» Рашель Лурье (по кличке Катя), избежавшая ловушки в Севастополе и не пожелавшая попасть в руки шедших по пятам жандармов, посчитала за благо сама застрелиться...

Неукротимый и неуловимый Зильберберг, под руководством своего друга Савинкова участвовавший в покушении на киевского губернатора Клейгельса, петербургского военного прокурора Павлова, петербургского же градоначальника генерал-майора Лауница, на председателя Совета министров и министра внутренних дел Столыпина — при знаменитом взрыве его дачи, — наконец, и в покушении, после великого князя Сергея, на другого — Николая Николаевича, все-таки был высле-

жен, пойман и вскоре, в феврале 1907 года, тоже повешен...

Был повешен и спаситель Василий Сулятицкий, после бегства из Севастополя участвовавший во взрыве дачи Столыпина на Аптекарьском острове...

Вслед за «Генералом террора», с быстротой неуловимой молнии пересекавшим границы государств, губерний, столичных и прочих городов, в эти проклятые годы потянулись целые вереницы виселиц.

Он, вместе с Азефом руководивший славной Б. О. и сам едва избежавший виселицы, до поры до времени не знал, что делает наводку и выдает... за 15 000 рублей годовых... не кто иной, как друг Евно Фишелевич Азеф, внедренный в Боевую организацию жандармский осведомитель.

Он всю оставшуюся жизнь не мог простить себе, что, распознав в конце концов провокатора и приняв на себя роль палача, на несколько часов опоздал с исполнением партийного приговора...

— Учитесь, господа террористы, учитесь! — на основании горького опыта любил повторять своим многочисленным, вольным или невольным, ученикам носивший в душе это черное пятно «Генерал террора».

Все испытывается на крови.

II

Но когда же он заподозрил Азефа?..

Неужели тогда, когда они вместе готовили покушение на министра внутренних дел Плеве?..

Вместе ли?!

Еще в 1903 году он, поговору со своим старым варшавским товарищем Иваном Каляевым, бежал, как и сейчас, — из Вологды, дальше из Архангельска, морем, — от жандармов, тюрем, ссылок... Бежал от России. Только не на юг, а на север, в норвежский порт Варде. Оттуда через Тронтгейм, Христианию и Антверпен — в Женеву. Именно там обосновалась основная колония эмигрантов-эсеров. Начальная недолгая смычка с социал-демокра-

тами, вызвавшая даже похвалу Ленина, сошла на увлечение Плехановым, а потом и «бабушкой русской революции»; долгие беседы с Екатериной Константиновной в Вологде не прошли даром. В Женеву прибыл социалист, но уже с решительной приставкой: революционер. Впрочем, и от Брешко-Брешковской он ушел еще дальше — к авторитету по прозвищу Бомба.

— Ты помнишь, Ваня? — к редким людям он обращался вот так, по-дружески. — К нам в комнату вошел человек лет тридцати трех... да, он хмуро намекнул на возраст Христа, назвав его «мстителем». Станный человек. Очень полный, не в пример иссушавшему свою плоть Христу. Мне с первого взгляда запомнилось широкое, равнодушное, точно налитое расплавленным камнем, а потом навечно затвердевшее лицо. Большие карие глаза были тоже неподвижны. На правах старшего он сам протянул руку и сказал:

— Я слышал, вы готовитесь убить Плеве?

С этого, собственно, и началась их боевая дружба. Братской близости, как с Иваном Каляевым, так никогда и не установилось, но стали они вскоре руководителями Б. О. — славной Боевой организации. Во всяком случае, он, Савинков, приехал в Петербург уже полномочным хозяином всего дела.

По предварительномуговору, в его группу входили Иван Каляев, уже бывавший в деле Алексей Покотиллов, бывшие студенты Московского университета Максимилиан Швейцер, Егор Сазонов, несколько обучающихся новичков. Ну и конечно, Азеф — не то в роли партийного куратора, поскольку он входил в ЦК партии, не то в роли связного — между Петербургом и заграничным центром.

План был прост и по своей простоте вполне реален. Было известно, что Плеве живет в здании департамента полиции, на Фонтанке, и каждую неделю ездит с докладом к царю: в Зимний дворец, в Петергоф, в Царское Село — смотря где пребывал в это время царь. Само собой выходило: убить Плеве в департаменте невозможно. Оставалась улица. Значит, надо было знать день и час его

выезда, точный маршрут, внешний вид кареты и охраны. Поэтому решено было купить лошадь и пролетку; Егор Сазонов вызвался быть извозчиком, а Иван Каляев — уличным продавцом папирос. Не исключались и запасные помощники, время от времени наезжавшие из других городов.

Савинков остановился в «Северной гостинице». Богатый барин, чопорный и надменный. Выходил на улицу не иначе как в лайковых перчатках — проверить своих наблюдателей, ну, и поразмяться возле департамента полиции.

Ах, кони, кони вороные! У кучера медали на груди, ливрейный лакей на козлах и сзади — охрана: сыщики на рысаке, опять же вороном. Плеве любил шик. При этом уличном вихре в струнку вытягивались городовые, разных чинов жандармы, дворники и наводнявшие весь маршрут филеры. Плеве, видно, не забыл, как два года назад в Мариинском дворце был убит его предшественник, Сипягин; Плеве избегал замкнутых стен и предпочитал уличный несокрушимый вихрь. Мало, что студент-убийца Балмашев повешен — всякая другая «балмашь» наводнила столицу. В том числе и инородцы. Ну, он не растяпа Сипягин, он им задаст!..

— Барин, не хмурьтесь, а купите у меня «Голубку», пять копеек десятков.

Ах, молодец! Не сразу и признаешь своего. В белом фартуке, в полупубке и картузе, небритый, осунувшийся.

— Ваня, побереги себя.

Пока выбирал папиросы, успел шепнуть:

— Вечером в трактире.

Жили все порознь и встречались в людных местах, где не бросались в глаза разговоры.

Барин не должен, конечно, шляться пешком — в трактир ли, в публичный ли дом, все равно.

— Извозчик, на Знаменку!

— Такой улицы, барин, нет. Эта улица, барин, в Москве.

Пароль паролем, но и Егора Сазонова узнать нелегко. Затурканный, забитый кулаками седоков извозчик. И

лошаденка-клячонка еле плелась. Куда спешить? Им на тот свет еще рано. А Плеве?..

— Плеве будет убит, мой генерал!

— Ну-ну. Торопиться не будем. Еще понаблюдаем.

Выяснилось, что Плеве по четвергам около полудня проезжает по набережной Фонтанки к Неве и дальше, опять же по набережной, к Зимнему дворцу. Места открытые, хорошо охраняемые. Но лучших не было. Предполагалось перехватить его на этом пути. Сазанов с бомбой под фартуком пролетки — прямо у подъезда департамента полиции. Дальше — Каляев, Покотилов, Швейцер, другие, запасные, бомбометатели. Ждать! Известно, нет хуже...

Накануне состоялось последнее свидание со Швейцером и Покотиловым. На кладбище Александро-Невской лавры, у могилы Чайковского. Приехавший туда на извозчике барин извинился:

— Простите, Петр Ильич, но ваше имя вне подозрений. А наши дела, как видите, подозрительные.

Но не успели они переговорить, как неожиданно показался пристав с нарядом городовых. Между могильными крестами замелькали погоны и «сеledки».

Первым выхватил револьвер Покотилов и бездумно попер навстречу. Швейцер ждал у могилы; рука в кармане, конечно, на рукояти револьвера. В таком переполохе барину, забыв всю свою вальяжность, с трудом удалось догнать Покотилова.

— Уходите с Максимилианом. Я задержу их на несколько минут.

Покотилов хотел возразить... но полицейские, как бы испугавшись решительности террористов, повернули на боковую дорожку. У них, видимо, были другие дела.

Сейчас, вспоминая эту смешную стычку, Савинков прошел на свое условленное место, в Летний сад. Минуло полчаса в ожидании. Вдруг раздался удар, будто уже разорвалась бомба. Даже приученный к неожиданностям, он вздрогнул. А это всего лишь полуденная пушка в Петропавловской крепости — время, когда должны прогреметь и настоящие взрывы.

Но в ту же минуту в ворота сада влетел Покотилев. Он был бледен. В карманах его шубы явно топорщились бомбы.

— Ничего не выйдет! Первый метальщик убежал. Сазонов пропустил выезд и до сих пор у подъезда департамента. Каляев торчит на мосту, на полном виду у филеров. Нас всех переловят, как кроликов.

Верно, Каляев маячил, среди шпиков и филеров, на Цепном мосту. Не успели они его прогнать — дело-то все равно проваливалось, — как от Невы по Фонтанке, обратным ходом крупной рысью промчалась карета; в окне промелькнуло невозмутимое лицо Плеве. Он благополучно проехал мимо первого, сбежавшего, метальщика. Вопреки всякой договоренности, Покотилев сглупу схватился было за свою бомбу, но карета была уже далеко...

Сазонов тоже не успел бросить бомбу...

Под насмешками других извозчиков, — из-за необходимости ожидания он отказывал седокам, — вынужден был переменить место, оказался спиной к Плеве, заметил его слишком поздно. А нужно еще отстегнуть фартук; тяжелый семифунтовый снаряд лежал у него на коленях, в сокрытии. Сазонов, как и Покотилев, слишком поздно схватился за бомбу...

Бомбы имели тот недостаток, что их нужно было каждый раз снаряжать заново. Они имели химический запал: оснащались двумя крестообразными стеклянными трубками. Зажигатели, детонаторы. Серная кислота в баллонах с надетыми на них свинцовыми грузилами; они при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки, серная кислота воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром, взрывалась гремучая ртуть, а потом и динамит...

Иногда раньше времени, как у Покотилова. Ночью, в «Северной гостинице», когда он во второй раз изготовлял снаряды...

Всем пришлось разбегаться по разным городам и до времени затаиться.

Странно все это время вел себя Евно Азеф. Он неоднократно исчезал на длительное время, а возвращаясь, давал гневные, путаные и не очень-то понятные советы, вроде того:

— Давайте сразу царя!

Царь был, что называется, на очереди. Но до царя-то надо было еще добраться.

И до несчастья с Алексеем Покотилевым Азефа носило где-то по заграницам, и после взрыва, когда наконец отыскался, — те же претензии:

— Что вас смущает? Смерть Покотилова? Но вы должны быть готовы к любым несчастьям.

— К любым?

— Даже к гибели всей организации! До последнего человека!

— Ну, тогда Плеве останется жив!..

Каменное лицо Азефа ничего не выражало, лишь слова — тяжелые, как сами камни, несокрушимые:

— Что вы мне говорите! Плеве! Пустяки. Николай — вот наша главная цель. Было уже несколько попыток покушения на Николая II, но они срывались еще на стадии первоначальной подготовки. То на высочайшей церемонии освящения корабля матрос, которому уже передали деньги и оружие... увы, сбежавший бесследно; то первая петербургская красавица, дочь якутского вице-губернатора Татьяна Леонтьева, взбалмошная аристократка — ее метили во фрейлины; она настолько была вхожа в высшие круги, что ей в присутствии государя поручили, в благотворительных целях, продавать цветы, среди которых был спрятан кинжал... Словно насмехаясь над террористами, царь на этот вечер не пришел, а Татьяна Леонтьева рыдала на плече у Савинкова:

— Ну почему, почему я такая несчастная?..

Встреча после этой незадачи происходила в отдельном кабинете ресторана на Морской, слезы светских дам здесь были не в новость — слезы украшали падших, милых женщин. А она была действительно мила. Белоку-

рая, стройная, со светлыми родниковыми глазами — ах, сколько прелести! Сосватала ее еще в Женеве все та же славная Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская с кокетливой, понимающей улыбкой: «Дарю ее вам, Борис. Цените мою доброту». Он оценил... Он утирал ее слезы, с удовольствием утирал:

— Ну что вы, Таня... можно вас так называть?..

— А как же иначе, Боренька. Для вас — Таня, можно и...

— Танечка, да. Если бы вы знали...

— Узнаете... вполне возможно, в сегодняшний вечер... но дайте мне поплакать на вашем плече!..

Азеф, сам неисправимый бабник, со скучающим видом слушал эти полурассказы-полунамеки. Савинкову надоело оправдываться:

— Николай пока недостижим. Плеве! К тому же у меня после Покотилова и динамитчика нет.

— Так найдите.

— Найду, всему свое время.

Так ничего и не решив, он поехал в Киев, чтобы отыскать заранее обученную Покотиловым «динамитку» — Дору Чиркову, известную всем как Дора Бриллиант.

Не в пример Татьяне Леонтьевой, она оказалась маленького роста, с черными волосами и громадными, тоже черными, глазищами. Душа ее горела фанатичным огнем.

— Хорошо, — сказала она, — я умею снаряжать бомбы. Но я хочу их сама бросать.

— Вы? С бомбой? Она же семь фунтов весу!

— Знаю. Но я так хочу... я должна умереть!

— Что вы все толкуете о смерти! — вспомнились слова Азефа. — Мы жить будем... богато жить, Дора.

Возвратясь в Петербург вместе с Дорой, Савинков снял квартиру на улице Жуковского, у одной немки. Он играл роль богатого англичанина, а Дора — бывшей певицы из «Буффа», у которой, к несчастью, пропал голос. Впрочем, голосишко у нее все-таки был, и время от времени, чтобы поддержать свою репутацию, ей приходилось «распеваться» мрачноватым, неподобающим мец-

цо-сопрано. Она любила Пушкина, и поэтому в коридоры, и до ушей хозяйки частенько доносилось:

В крови горит огонь желанья,

Душа тобой уязвлена,

Лобзай меня: твои лобзанья

Мне слаще мирра и вина.

В отличие от ясноглазой, хохочущей Леонтьевой, Дора была печальна и даже мрачна: она тяжело переживала смерть своего прежнего друга Алексея Покотилова. Но роль-то ей приходилось играть веселую — роль счастливой хозяйки-содержанки. Временами она даже устраивала семейные скандалчики, крича для чутких ушей хозяйки:

— Мне не нравится кофе! Мне не нравятся цветы! Что за лакеи у тебя?..

Лакеем служил, конечно, Сазонов. Им нельзя было разлучаться. У богатого англичанина, представителя велосипедной фирмы, должно быть много слуг. Поэтому и другие участники покушения привлекались. Деловой, тороватый англичанин жил на такую широкую ногу, что хозяйка не могла нарадоваться, швейцар не переставал кланяться, а старший дворник, как всегда филер, с удовольствием пил у англичанина чай. И дивился:

— Гли-ко! Кажинный день пошта.

Да, швейцар ежедневно приносил множество пакетов. Кабинет хозяина, как в его отсутствие мог удостовериться и дворник-филер, был завален каталогами разных машин, на английском и русском. И хоть дворник и подписал в платежной полицейской ведомости едва выводил, но уважение к хозяину квартиры у него сложилось крепкое. Заодно получая чаевые и от домохозяйки, он советовал со знанием дела:

— Гли-ко! Не упускай такого денежного жильца.

Савинков, как деловой человек, целыми днями пропадавал «на службе» — бродил по городу, вместе с уличными наблюдателями отмечая каждую мелочь в бешеных проездах Плеве. Барыня-сожигательница Дора, с громадным пером на шляпе, в сопровождении лакея-Сазонова уходила в город за покупками, разумеется, тоже в четы-

ре глаза осматривая, изучая улицы. Вечером хозяин-англичанин и сама барыня частенько уезжали из дому, а прислуга, освободившись, уходила гулять — с той же целью, под знаком министерской звезды Плевле.

Пора было доводить дело до конца. И так уже Сазонов торопил:

— Я сделал промашку в тот раз, сейчас первая бомба за мной.

— А как же Иван?

— Иван подождет. Он еще молод. Сказано — я первым метая! Мало ли, один промахнется, другой...

Обиженный Каляев вдруг порешил:

— Есть способ не промахнуться.

— Какой же?..

— Вместе с бомбой броситься под ноги лошадям.

Молчание установилось жутковатое.

— Но ведь метальщика тоже взорвет?..

— Конечно.

Ожидание уже докрасна раскалило Каляева. Но Сазонов был несокрушим в своей уверенности:

— Хватит и моей бомбы. Сказано — я первым метая! Нечего разговаривать. Под эти разговоры загостившийся в Петербурге Азеф снова уехал, наказав после покушения разыскать его в Вильно.

Сазонов на это как-то двусмысленно хмыкнул:

— Баба с возу!..

За эти месяцы он побывал и ванькой-извозчиком, и лакеем у богатого англичанина, а в роковой день обратился в приличного железнодорожного служащего. Ту-журка, фуражка, все честь честью. Самую тяжелую, семифунтовую, бомбу он собирался нести открыто, в упакованном свертке. Мало ли откуда в таком вокзальном городе, да еще вблизи Варшавского вокзала, возвращается господин железнодорожник.

Но и 8 июля, как и 18 марта, покушение опять сорвалось — из-за несогласованности многочисленной команды...

Савинкову с трудом удавалось сдерживать и примирять разнородные споры, тем более в отсутствие опять

туда-то запропавшего Азефа. Именно после второй неудачи Сазонов и сказал, когда все собрались:

— Бог любит троицу. На третий раз Плевле будет убит. Прав Ваня: надо прямо под ноги лошадям...

Так оно и вышло 15 июля.

Расставив всех метальщиков по местам, Савинков вышел на Измайловский проспект — к Седьмой роте Измайловского полка. Уже по внешнему виду улицы он догадался, что Плевле сейчас проедет. Приставы и городовые застыли в напряженном ожидании. Маячили на углах филеры. Вот один городской, второй — во фронт, во фронт!..

В тот же момент на мосту через Обводной канал показался Сазонов. Он шел, высоко подняв голову и держа на согнутой руке, у плеча, изготовленный снаряд. Было видно, как ему тяжело, а виду подавать не следовало. Уже слышалась крупная рысь... воронье... лакеи... стража!.. Секунды тянулись неимоверно долго.

Вдруг в цокот копыт, в грохот колес ворвался тяжелый и грузный странный звук, будто чугунным молотом ударили по чугунной плите. Задрезжали в окрестных домах вылетевшие стекла. От земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, по краям черного дыма. Расширяясь, столб этот на высоте пятого этажа затопил всю улицу. В дыму промелькнули какие-то черные обломки...

Когда Савинков подбежал, дым внизу уже рассеялся. Нестерпимо пахло гарью. Шагах в четырех от тротуара, прямо на обожженной мостовой, рядом с изуродованным трупом Плевле лежал Сазонов. Он опирался левой рукой о камни, пытаясь подняться. Железнодорожная щегольская фуражка слетела с головы, и темно-каштановые кудри упали на лоб. По лбу и щекам текли струйки крови. Ниже, у живота, расплзлось темное кровавое пятно. Глаза были мутны и полузакрыты.

Но он узнал склонившегося над ним товарища и разжал губы:

— Ваня прав... прямо под ноги... Уходите!..

Савинкова оттолкнул бледный, с трясущейся челюстью, полицейский офицер — как оказалось, пивавший у англичанина чай знакомый пристав — и то же самое повторил:

— Уходите... от греха подальше!..

Израненный Сазонов находился уже в надежных руках полиции. Надо было спасать, уводить, разгонять по другим городам остальных поделщиков. Без команды они не тронутся с места.

III

Савинков не нашел Азефа ни в Вильно, ни в Варшаве. Тот узнал об убийстве Плеве из газет и, не дожидаясь никого, выехал за границу.

Пришлось связываться с Центральным комитетом, который находился в Женеве. Да и жену повидать. Везде сопровождавшая его Дора Бриллиант и так в недоумении посверкивала своими чернущими глазницами:

— Как вы живете... как так можно?!

— Можно.

— Вы не любите свою жену!

— Люблю... когда возле меня нет никакой Доры.

— Вы даже не думаете о ней!

— Думаю... когда вы не сбиваете мои мысли.

— Бросьте, Борис Викторович. Вы жестокий... вы неисправимый циник!

— Неисправимый, верно, Дора. Бомба и цинизм — одно и то же.

— Неправда! Я делаю бомбы... но я плачу при этом! Вы, вы... плакали когда-нибудь?

— Представьте, милая Дора, не приходилось. Все некогда. Революция, Дора, революция.

На него смотрели полные слез глаза, а он думал: «Зачем, зачем связала свою судьбу с террористами эта печальная молчаливица? Все женское, все личное у нее свелось к одному: бомба! Положим, бомба — суть и моей души, но я-то мужчина. А она? Неужели ей не хочется иметь дом, семью, детей, наконец? Откуда у нас у всех

эта жестокость? Она редко смеется, даже и при смехе... даже и в постели... глаза ее остаются строгими и печальными».

Он не видел, не понимал, что зеркало души отражает то же самое и от него самого. Действительно, когда он плакал, когда смеялся последний раз... даже лежа в обнимку с очередной Дорой?..

Смеяться и плакать из всех них мог разве что Иван Каляев. За десять дней до рокового броска под губернаторскую карету он писал — и не кому-нибудь, а жене Савинкова, затерявшейся в Европе вместе с сыном Вере Глебовне:

«Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно я оттаял от снега и льда, холодного уныния, унижения, тоски по несовершенному и горечи от совершающегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной хотя бы радости изголодавшейся душе. И я радуюсь, сам не зная чему, беспредметно и легко, хожу по улицам, смотрю на солнце, на людей и сам себе удивляюсь, как это я могу так легко переходить от впечатлений зимней тревоги к самым уверенным предвкушениям весны. Еще несколько дней тому назад, казалось мне, я изнывал, вот-вот свалюсь с ног, а сегодня я здоров и бодр. Не смейтесь, бывало хуже, чем об этом можно рассказывать, душе и телу, холодно, неприветливо и безнадежно за себя и других, за всех вас, далеких и близких. За это время накопилось так много душевных переживаний, что минутами просто волосы рвешь на себе...

...Может быть, я обнажил для вас одну из самых больных сторон пережитого нами?.. Но довольно об этом. Я хочу быть сегодня беззаботно сияющим, бестревожно-радостным, веселым, как это солнце, которое манит меня на улицу под лазурный шатер нежно-ласкового неба. Здравствуйте же, все дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами. Здравствуйте, добрые мои, мои дорогие детские глазки, улыбающиеся мне так же наивно, как эти белые лучи солнца на тающем снегу».

Конечно, это писал человек, не зря носивший кличку

Поэт, но даже и поэт найдет ли такие слова для женщины, к которой равнодушен?..

Муж этой затерянной в Европе женщины знал его любовные излияния... муж не осуждал. У него была другая любовь — к бомбе ли, к революции ли, все едино. Его звали дела.

Дороги, дороги! Скитания по вокзалам, случайным приятелям и гостиницам. Теперь вот — в Женеве. Подликующие возгласы своих однопартийцев:

— Слава нашей В. О.!

— Борису Викторовичу!..

— Несравненному нашему Бриллианту!..

По случаю убийства Плеве безденежье не грозило. Они знали: один полицейский клан милостиво разрешил убить предводителя другого клана, а кто-то, кто мог бы помешать, не помешал. Видимо, и сам не малую мзду получил. Догадка, господа, пока только догадка! Поживем — увидим.

А пока в Боевую организацию прямо-таки сыпались пожертвования. Плеве многие не любили и теперь радовались, разделяя и радость исполнителей приговора. Жаль, конечно, Егора Сазонова, который после операций, полицейских больниц пошел-таки на каторгу, но что делать? Надо было отдохнуть от бомб... министров, губернаторов и великих князей!

Но тосты тостами, а великого князя Сергея Александровича, пятого сына Александра II, родного дяди Николая II, ему милостиво подарила сама «бабушка русской революции».

— Возьмите на себя этого душегуба и распутника.

— Как можно, Екатерина Константиновна, убивать такого мужика! — в притворном ужасе отшутился Савинков. — Его мальчишки любят.

— Он мальчишек любит. Лучше сказать — насильничает. Не разубеждайте старуху, крестничек, — все-таки на прежний, молодой лад пококетничала бывалая каторжанка.

— Не буду разубеждать, крестная. В вашу честь возьму князюшку-распутника на себя.

Савинков-то лучше ее знал, что для московского генерал-губернатора полицейские чины по всей Москве выскивают смазливых подростков. Своей крестной, то бишь Екатерине Константиновне, он не мог отказать: именно она во время вологодской ссылки и развода с большевиками повенчала его с истинной революцией и ее карающим мечом — Боевой организацией.

После недолгих празднеств, совещаний, споров, толком не повидавшись с женой, он обратным ходом выехал в Россию. На этот раз — в Москву. В его группе, разумеется, были Иван Каляев и Дора Бриллиант.

Паспорт в кармане — подлинный. На имя англичанина Джемса Галлея, одетого с иголки. Кто бы мог догадаться, что под платьем вальжного англичанина кроется несколько фунтов динамита! Поэтому женевские портные и шили такой просторный, вместительный костюм. Деньги у Боевой организации водились. Один Савва Морозов вон сколько отвалил! Истинно — по-купечески. Так что на английское сукно хватало. Хотя теперь в цене было вроде бы суконце шинельное.

В Москву приехали под громы взбудораженной и еще не утихшей революции. Дора Бриллиант, как и Иван Каляев и другие, привезла под платьем свои неизменные фунты динамита. Ей в удовольствие, разгрузился, сразу похудел на несколько фунтов, и Джемс Галлей. Тело отдышал от опасного груза, душа пела:

— Вот дожили! В присутствии дам оголяемся дочиста. Не затерялось ли что... такое взрывоопасное? Поищите, любезная Дора.

Она отмахнулась от ему несвойственных шуток:

— Ну вас, Джемс! У вас же английское воспитание! Я здесь — порядочная дама. Акушерка! Вот увидите — все московские, тайно забрюхатевшие купчихи ко мне побегут. Как не помочь в таком деликатном деле!

Джемса радовало приподнятое настроение Доры, по рождению тоже купчихи. Сейчас англичанин не мог уст-

раивать богатый торговый дом, с веселой хозяйкой-певицей. Нельзя повторяться. Акушерка так акушерка. В конце концов, Дора Бриллиант, а вообще-то купчиха Чиркова, действительно окончила акушерские курсы при Юрьевском университете... пусть занимается своими новорожденными, у которых всех единое имя: Бомба.

Акушерка Дора Бриллиант, забывая фамилию Чирковых, сняла номера на Никольской, в «Славянском базаре». Это диктовалось близостью к Кремлю — не таскать же своих, таких нежных, деток откуда-нибудь из Сокольников, где сейчас у какой-то молодо-хозяйки, пропал противный англичанин. Дора любила порядок в своем деле. Она знала, что ей придется не один раз пеленать и распеленывать душераздирающих детушек. Они ждут не дождутся совсем близкой встречи... Князюшку Сергея Александровича следовало встречать под громовой салют на выезде из Кремля.

За ним уже давно следили высланные вперед наблюдатели — опять извозчики, уличные торговцы и прочие московские завсегдатаи. К приезжим, заграничным, присоединились и свои. Так уж выходило: Иван приводил Петра, а Петр — очередного Ивана. Под шум и гром не затихавшей в обеих столицах революции это было естественным делом. Джемс Галлей, а тогда просто Боренька Савинков, не забыл, как он еще варшавским гимназистом попал, под такие же громы, в руки полиции. Не забыл и друг варшавских лет Иван Каляев, который витийствовал в тех же гимназических коридорах. Выручил их, да и то для первого раза, отец — уважаемый во всей Варшаве петербургский дворянин и неподкупный судейский чиновник. Но кто выручит нынешних гимназистов?

По приезде в Москву прямо-таки покорила мальчуган, решительно загородивший дорогу на Никольской.

— Я знаю, — сказал он с нарочитой взрослой хрипотцой, — вы — террорист Савинков. Я хочу вместе с вами метать бомбы.

— Учиться еще надо... бомбист!.. — опешил Савинков, не совсем войдя в роль Джемса Галлея.

— Учите! — и согласился, и потребовал гимназист. — Я покоряюсь вашему опыту. Но учтите: у меня в портфеле своя собственная бомба. Бертолетовая соль, гремучая смесь... правда, порох, за неимением динамита. Хотите, для пробы брошу портфель? Во-он в того городского! — указал он на усатого, ленивого, полупьяно бредущего «селедочника».

— Ну зачем же! У него семья, дети, пожалуй, уже и внуки.

— Жа-алость? У вас, гражданин Савинков, — порочная жалостливость?!

Он не мог отвечать на такой вопрос, просто напомнил очевидное:

— Бросать надо не в городских...

— ...в министров, губернаторов... царей?! — с жаром подхватил новоиспеченный террорист.

Теперь он в свободное от уроков время доблестно нес уличную службу... пока Джемс Галлей отдыхал у них на даче в Сокольниках.

Савинков с удовольствием переменил Замоскворечье на Сокольники по предложению все того же удалого гимназиста. Место показалось удобным: дача разбогатевшего на торговле казенной пригородной землишкой московского лесничего, а хозяйские рысаки, чтобы добраться до центра, были в его полном распоряжении. Мать гимназиста, недавняя курсистка, вполне сочувствовала революции, следовательно, и жильцу. Отец гимназиста не знал ничего другого, кроме пригородных высокодоходных роц и скачек на ипподроме. Всегда извиняясь, наказывал жене:

— Ты уж, милая Софи, не обижай постояльца — лучше сказать: гостюшку.

Ну как его можно было обидеть, если и сын, когда бывал дома, грозил:

— Пускай только! Ма со мной будет иметь дело. Я теперь ученый.

Учили его поочередно и сам постоялец, и друг Иван. Единственное неудобство — впечатлительный, как и мать, гимназист разрывался в любви к этим двоим лю-

дям. Он был даже в восторге, что Савинков, как и Каляев, сменил свое «лицо» — вместо респектабельного англичанина стал затерханным московским мещанином. Неведомо дурашлепу было, что Савинков про себя-то думал: «Если каждый гимназист будет узнавать...» В деле мелочей не было. Усы ли, очки ли, борода, фуражка — все должно соответствовать манере и поведению. Вон Ванюша — извозчик, каких поискать!

Но и Ванюша стал нервничать. Когда Дора Бриллиант в тиши «Славянского базара» изготовила две первые бомбы, потребовал:

— Пора! Хватит и одной. Князь — мой.

Его невозможно было остановить. Извозчик, а сейчас уж истый крестьянин, он, десять дней назад в лице жены друга боготворивший солнце, стоял на лютном морозе с бомбой, запеленутой с легкой руки Доры в ситцевый платок. Узелок какого-нибудь захожего рязанского крестьянина, каких много, за неимением пристанища, шаталось по Москве.

Подымалась вьюга. Даже полущубок не спасал. Может быть, дрожь от нестерпимого волнения?

Не опоздал ли?..

В этот момент из морозной вьюги вихрем вылетела давно примелькавшаяся карета. Он бросился наперерез. И уже поднял руку с ситцево-динамитной бомбой... но в окне кареты, кроме князя Сергея, увидел великую княгиню Елизавету и племянников, Марию и Дмитрия...

Рука опустилась безвольно.

Карета остановилась у подъезда Большого театра. Был спектакль в пользу Красного Креста.

Каляев, пробежав немного за каретой, вернулся в Александровский сад.

— Борис, ты друг до гробовой доски! Скажи: разве можно убивать детей?!

Он не мог дальше говорить. Захлебывался в затопивших всю душу рыданиях.

Своей властью упустил единственный для убийства случай.

— Не осуждаю, Янек, — сказал друг на гимназичес-

кий, варшавский лад. — Князь в театре. Что, если на обратном пути?.. Возможно, князю надоест сидеть... без девочек-то!.. до конца спектакля, и для княгини приплюют отдельную карету. Пойдем посмотрим. Я подстрахую.

Под мещанской затертой шубой и у него было такое же, согревшееся от собственного тела, дитё...

Но князь досидел до конца — какие девочки, если заранее оглашено общественное, благотворительное действие! — и сел в карету опять вместе с семьей.

Каляев убийственно замкнулся в себе.

Савинков приобнял его за плечи и повел к поджидавшей их Доре. По дневному времени он решился зайти к ней в номера — тяжело было с бомбами. Распеленывая и разряжая опасных детушек, Дора своей немногословностью решила:

— Поэт поступил так, как и должно поступить. Ему надо отдохнуть... как и нам с тобой, несчастный генерал...

— Да, наша утешительница.

— Может, твоя?

— И моя, и моя, не обижайся, я тоже устал...

Но долго отдыхать под ее рукой и утешаться не приходилось. Его звала истинная, все заслоняющая любовь. В счастливый час и созрел новый план:

— Если не среда — так пятница, все равно.

В пятницу и решили повторить все сначала. За два дня метальщики в самом деле могли передохнуть от напряжения.

Но за эти тревожные дни напарник Каляева окончательно струсил и отказался. Дежурившего возле Каляева гимназиста, как он ни напрашивался, допустить к такому делу было нельзя. Другие участники группы тоже не отличались большим опытом. Следовало подождать, пока прибудет подкрепление. Но случай, случай!..

Два дня спустя Савинков принял единственно правильное решение:

— Рискнем? Подкрепления ждать долго, одного метальщика мало — запасную бомбу я беру на себя.

Иван Каляев решительно возразил:

— Ты говоришь — долго? Правильно. Ты говоришь — мало? Неправильно. И в прошлый раз я был фактически один, мой напарник сдрейфил. Тебе, Боря, нельзя. У тебя у единственного — настоящий английский паспорт. Мы под этим прикрытием. И потом: в случае неудачи вся организация останется без руководства, а наш великий князюшка будет тешиться с московскими гимназистками.

— Все так, Янек. Но мы никогда не решали дело с одним метальщиком. Вспомни Плеве! Было даже четыре!

— Я говорю тебе, Борис Викторович... генерал ты мой несговорчивый: справлюсь один. И — баста.

Они шли по Ильинке к Красной площади. Время было выбрано точное. Князь должен в 2 часа выехать из Никольских ворот на Тверскую. Там, на выезде у Иверской, и встретит свою смерть.

Когда они подходили к Гостиному двору, на башне в Кремле пробило два. Каляев остановился:

— Прощай, Боря.

— Прощай, Янек, — опять, как в гимназические годы, сказал Савинков, с трудом сдерживая дальнейшие слова.

Каляев поцеловал своего озабоченного гимназиста и свернул направо, к Никольским воротам. Остановился у иконы Иверской Божьей Матери. Икона была застеклена; стоя спиной к Кремлю, не привлекая внимания многочисленных здесь шпииков, он в отображении стекла видел Никольские ворота.

Савинков кивком головы поманил маячившую невдалеке Дору:

— Запасную!

— Я знала, что потребуешь. Припасла.

Отойдя с ним под ручку обратно к Гостиному двору, привычно оглянувшись, она вынула из хозяйственной сумки точно такой же ситцевый сверток, как и у Каляева, только не синенький, а в горошинку. Но цвет менять было ни к чему: он сунул его под просторную шубу, к ко-

торой сама же Дора пришивала вместительные мешки-карманы.

Оставалось поцеловать Дору, коль приличный мещанин расстается с приличной женой-кухаркой, и быстрыми шагами, в обход здания суда, пойти к началу Тверской. Следовало опередить своего друга, стать на некотором расстоянии. От быстроты и неосторожности, да еще по скользкому снегу, он рисковал споткнуться, но делать нечего: за спиной уже слышался цокот копыт. Едет!

Напрасно при такой быстрой ходьбе раскачивал хрупкую бомбу: она не потребовалась. Мостовая под ногами, даже на расстоянии, дрогнула и, казалось, вздыбилась вместе со зданием суда...

К нему бежал неизвестно откуда взявшийся бесстрашно орущий гимназист:

— Свершился суд, свершился! Долой ца...

Савинков зажал ему морозной рукавицей рот и бросился к месту взрыва. Забыв, что и сам с бомбой. Спасать? Уводить? Но там уже ничего нельзя было поделать...

— Ваня? Янек?!

Он отвечал уже как бы с того света:

«Я бросал на расстоянии четырех шагов, не более, с разбега, в упор, я был захвачен вихрем взрыва, видел, как разрывалась карета. После того как облако рассеялось, я оказался у остатков задних колес. Помню, в меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Я не упал, а только отвернул лицо. Потом увидел шагах в пяти от себя, ближе к воротам, комья великокняжеской одежды и обнаженное тело... Шагах в десяти за каретой лежала моя шапка, я подошел, поднял ее и надел. Я огляделся. Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья, и она вся обгорела. С лица обильно лилась кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг. Я пошел... В это время послышалось сзади: «Держи, держи», — на меня чуть не наехали сыщичьи сани, и чья-то рука овладела мной. Я не сопротивлялся.

Вокруг меня засуетились городской, околоток и сыщик противный... «Смотрите, нет ли револьвера, ах, слава богу, и как это меня не убило, ведь мы были тут же», — проговорил, дрожа, этот охранник. Я пожалел, что не могу пустить пулю в этого доблестного труса. «Чего вы держите, не убегу, я свое дело сделал», — сказал я... (Я понял тут, что оглушен.) «Давайте извозчика, давайте карету». Мы поехали через Кремль на извозчике, и я задумал кричать: «Долой проклятого царя, да здравствует свобода, долой проклятое правительство, да здравствует партия социалистов-революционеров!» Меня привезли в городской участок... Я вошел твердыми шагами. Было страшно противно среди этих жалких трусишек... И я был дерзок, издевался над ними. Меня перевезли в Якиманскую часть, в арестный дом. Я заснул крепким сном...»

Статья в «Революционной России», появившаяся со слов очевидца два дня спустя, могла немного добавить:

«Взрыв бомбы произошел приблизительно в 2 часа 45 минут Он был слышен в отдаленных частях Москвы. Особенно сильный переполох произошел в здании суда. Заседания шли во многих местах, канцелярии все работали, когда произошел взрыв. Многие подумали, что это землетрясение, другие, что рушится старое здание суда. Все окна по фасаду были выбиты, судьи, канцеляристы попадали со своих мест. Когда через десять минут пришли в себя и догадались, в чем дело, то многие бросились из здания суда к месту взрыва. На месте казни лежала бесформенная куча вышиной вершков в десять, состоявшая из мелких частей кареты, одежды и изуродованного тела... Публика, человек тридцать, сбежавшихся первыми, осматривала следы разрушения; некоторые пробовали высвободить из-под обломков труп. Зрелище было подавляющее. Головы не оказалось; из других частей можно было разобрать только руку и часть ноги. В это время выскочила Елизавета Федоровна в ротонде, но без шляпы и бросилась к бесформенной куче. Все стояли в шапках. Княгиня это заметила. Она бросалась от одного к другому и кричала: «Как вам не стыдно, что вы

здесь смотрите, уходите отсюда!» Лакей обратился к публике с просьбой снять шапки, но ничто на толпу не действовало, никто шапки не снимал...»

— Вот видите? — говорил Савинков на даче в Сокольниках Доре и дрожавшему от восторга гимназисту. — Народ не снял шапок... хотя снимал шапки даже перед казнью Пугачева. Не правда ли, знаменательно: бедного Ваню из Якиманки перевезли в Пугачевскую башню!

— Да, бедный... — не менее гимназиста, только уже от запоздалого страха, дрожала и Дора, ни разу не дрогнувшая при работе с динамитом. — Это я убила Ваню.

— Я убил Янека. Поэта! Я послал его на смерть.

— Пошлите и меня! Меня! — заходился от восторга гимназист.

— Всему свое время, — остужающим взглядом остановил Савинков пыл гимназиста. — Пока надо выводить группу из Москвы. Я дам тебе адреса и пароли остальных участников. Прикажи... от моего имени!.. всем срочно разбежаться по разным городам и собраться... через десять дней, да, через десять... в Финляндии. Они знают где. Сделаешь?

— Сделаю, — обиженно ответил гимназист.

Чувствовал, что Савинков не договаривает. Но на такой риск он не мог пойти. Финляндия — это укромная дача брата Веры, Бориса Глебовича. Последняя, запасная явка — как запасная бомба. В тайну ее были посвящены немногие.

— Нас кто-то предал. Только счастливый случай да отчаянность Янека довершили дело. Я не говорил заранее, но я знал: у всех филеров — моя фотография, изготовленная еще накануне... Собираемся! — бросил слишком долго копошившейся Доре. — Всеволод выполнит мое задание.

— Выполню, — воспрянул гимназист. — Но потом вы возьмете меня с собой... хоть и за границу?..

— Я же сказал: всему свое время. Вам, Всеволод, после выполнения задания тоже следует немедленно скрыться. Думаете, никто не слышал, как вы кричали на месте взрыва вслед за уводимым Ваней: «Долой царя!»? Даже ваша уединенная дача опасна. Я скажу отцу... ах, его нет, тогда матери скажу: отправьте своего гимназиста куда-нибудь к дальним родственникам...

В это время вошла мать, очень молодая, при таком-то сыне, и очень красивая женщина.

— Всеволод — единственный сын у меня. Но я не осуждаю вас. Я отправлю его в дальнюю подмосковную деревню. А что будете делать вы?

— Незабвенная Софи... Я выезжаю на извозчике до попутной станции, а дальше — на Петербург. Так же поступит и моя спутница, — он кивнул Доре. — Только пересядет в Подмосковье на харьковский поезд. Мы все встретимся позже. Прощайте, — поцеловал он руку прекраснотушной хозяйке. — Привет супругу. Берегите Всеволода... его время придет!

С Дорой они простились на выходе из Сокольничьей рожи и сели на разных извозчиков.

Из Москвы уезжал уже не англичанин — средней руки купчишка второго класса, в меру пьяненький и в меру глупый. Все-таки дорога между двумя столицами была опасна. Умных людей на этой дороге не любили.

IV

Об Азефе уже давно ходили недобрые слухи.

Еще в 1902 году, когда Савинков, будучи в вологодской ссылке, только «приглядывался» к эсеровской партии, возникло обвинение в провокации. Как водится, суд чести. Азеф был оправдан и отпущен с извинениями.

В августе 1905 года, когда за Савинковым уже тянулся шлейф громких дел, появилось хоть и анонимное, но вполне аргументированное письмо. Фамилии, явки, даже оклад провокатора: 600 рублей в месяц. Ссылка на засвеченный полицией съезд социалистов-революционеров, проходивший в Саратове. Явная слежка за выпу-

щенной с каторги Брешко-Брешковской. Филеры, провалы, аресты. Был арестован почему-то и член ЦК Филиппович, которого многие отождествляли с Азефом. Савинков, уже прекрасно сработавшийся с ним, решительно отметал обвинения:

— Провокация? Возможно — со стороны полиции. Издержки нашей конспирации, надо понимать.

Некоторые странности характера? Внезапные исчезновения в самые решительные моменты подготовки теракта, как было и в случае с Плеве, и с великим князем Сергеем? Но ты разве забыл, великий конспиратор, что полиция ожидала твоего появления в Москве, что в день убийства были разсланы телеграммы о твоём немедленном аресте и только звериное чутье помогло тебе ускользнуть из рук полиции?

— И все же севастопольская история... Ведь опять куда-то сбежал твой друг Азеф?

— По-олноте! Говорю же: издержки конспирации.

Побежишь, когда за тобой по пятам гонятся филеры и более крупные сыщики. Даже в Севастополь он, руководитель группы, вынужден был ехать раздельно со своими поделщиками. Кто мог поручиться, что у них не возникло бы подозрение: бросили, предали?!

Очень нелепый арест? Но он, Савинков, склонен в этом обвинять себя. Самонадеянность! После Плеве и князя Сергея вполне может закружиться голова.

— Борис Викторович, а внезапный, непредсказуемый арест спасшего вас Сулятицкого?

— Соль на рану, господа! Взрыв дачи Столыпина на Аптекарском острове был организован слишком эффективно, если хотите — нелепо. Моя вина — передоверился. У Василия Сулятицкого было еще мало опыта. Я сам вместе с ним вишу на виселице!

Страсти не утихали. Члены ЦК и члены знаменитой Б. О., вдруг потерявшей всякую боеспособность, снова ли из России в Париж, из Парижа — в Базель, из Базеля — в Финляндию, где хранился весь партийный архив, следовательно, и документы по Евно Фишелевичу Азефу (он же: Евгений Филиппович, Василий Кузьмич,

Иван, Иван Николаевич). Был вытащен из архивов перехваченный полицейский «портрет» самого важного агента:

«...Толстый, сутуловатый, выше среднего роста, ноги и руки маленькие, шея толстая, короткая. Лицо круглое, одутловатое, желто-смуглое; череп кверху суженный; волосы прямые, жесткие, темный шатен. Лоб низкий, брови темные, глаза карие, слегка нависающие, нос большой, приплюснутый, скулы выдаются, губы очень толстые, нижняя часть лица слегка выдающаяся».

Мало?!

— Но это — и портрет провокатора... и портрет человека, которого надо отправить на виселицу!..

— ...как Сулятицкого? Как и спасшего тебя Зильберберга? Ты разве не знаешь, что Азеф отговаривал Зильберберга от поездки в Севастополь?

Да, теперь он знал и это. Друг Иван долго удерживал сразу ринувшегося на выручку Зильберберга. Доказывал, что нет никакой возможности освободить не только всю группу, но и одного Савинкова.

Организация не должна жертвовать своими членами ради таких заведомо неудачных попыток! Неужели вы, опытный конспиратор, этого не понимаете?!

Лев Зильберберг не понял этого и на огненных крыльях прилетел выручать товарища...

— Да, но повешен-то он был за покушение на петербургского градоначальника генерал-майора фон Лауница и за взрыв дачи Столыпина, кстати, совместно с Сулятицким...

— Вот именно — совместно. Оба твоих спасителя повешены, ты только своим звериным чутьем... и нахальством, нахальством, не обижайся!.. избег виселицы — мало?

— Мало. Я спрашивал у Ксении. Она говорила, что накануне последнего покушения у Левы совсем разболтались нервы, что он потерял всякую осторожность и самоуверенность, что в группе не было опытных людей, что время вычислили неправильно, что она его отговари-

вала и советовала, даже требовала срочно связаться со мной!..

Он, конечно, не договаривал и для самого-то себя. Утешать жену друга — опасное занятие. Ксения Панфилова была такой же огненной женщиной, как и ее Лева. Ей подпалило крылья общим огнем. Как он мог бросить ей под ноги такую черную весть и сказать: «До свиданья, я ваш дядя!» Крылья обожгло и у него самого, при всей занятости он задержался на два дня. Вокруг него гибли люди — неужели неясно, как он страдал. Ксения — понимала. Она понимала не только Леву — и несчастную Дору Бриллиант, которая как раз умерла в Петропавловской крепости...

— Ее-то кто выдал?

— Дорогая Ксения, иногда мне кажется, что всех выдаю я сам. Я — посылаю на смерть! Не зря же говорят: «Генерал террора...»

— Не переживайте так, мой генерал!

— Ваш генерал, — резко поправил он.

Но все-таки остался на два дня, хотя сплетни об Азефе буквально били в затылок.

Впрочем, такие ли уж сплетни?

Был назначен суд чести, в который вошли Герман Лопатин, князь Кропоткин, Вера Фигнер, Виктор Чернов, Марк Натансон и Борис Савинков. Потолкались по разным частным углам, потом решительная Вера Фигнер предложила:

— Удобнее у Бориса Викторовича, если он не возражает.

Савинков не возражал. Но напомнил:

— Иван — мой друг и боевой соратник. Я согласился стать членом суда на одном условии: если обвинение в провокации подтвердится, я сам же и должен исполнить приговор. Читайте письма, какие мне шлет Иван! — бросил он на стол перед ними пачку писем с хорошо знакомым всем почерком.

Да, тяжелая вещь — письма...

«Дорогой мой.

Конечно, судьи не историки, они обязаны выслушать и проверить все; они обязаны потребовать доказательства и от вас. Но... ведь тут не равные стороны; вы и полиция...»

«Дорогой мой.

Сегодня к тебе заходил, а вчера у тебя просидел целый вечер, поджидая. Вы решили. Моя активность выразилась лишь в том, что я определенно высказывал свое желание, чтобы ты непременно участвовал в суде, как ты этого хотел».

— Да, я хотел. Но еще раз напоминаю, какое я ставил условие!

Все почему-то посмотрели на карман его отлично сшитого английского сюртука.

— К сожалению, Борис Викторович, с Азефом покончено. — Вера Фигнер склонила голову. — Вашей вины нет. Меня в свое время подставил такой же ближайший друг-provokator... забудем его фамилию, тем более что нами же он и расстрелян. Такова наша жизнь.

— Приходится, конечно, сожалеть. — Князь Кропоткин старчески покашлял. — Но что говорит бывший директор департамента полиции сенатор Лопухин? Зачитайте-ка у кого глаза получше.

Зачитали:

«Получая 500 рублей в месяц, он требовал у меня 600».

— На пропитание брэнного тела! — на свой лад заметила Фигнер, недавняя узница Шлиссельбурга, по тюремной привычке не любившая жирных людей.

Да что сенатор Лопухин, из «бывших»! И нынешние высшие полицейские чины, грызясь между собой, выбалтывают еще более страшные цифры: оказывается, уже 15 000 годовых получает их главный provokator...

Сам премьер-министр и министр внутренних дел Столыпин вынужден отвечать на запрос Думы, и отвечать именно так:

«Перейдем к отношению Азефа к полиции. В число сотрудников Азеф был принят в 1892 году. Он давал сна-

чала показания департаменту полиции, затем в Москве поступил в распоряжение начальника охранного отделения; затем переехал за границу, опять сносился с департаментом полиции и, когда назначен был директором д-та Лопухин, переехал в Петербург и оставался до 1903 года. В 1905 г. поступил в распоряжение...»

Это уже не имело значения, в чьем распоряжении сейчас Евно Фисшелевич Азеф...

В самом конце декабря 1908 года состоялось окончательное собрание Центрального комитета. Был поставлен вопрос: возможно ли убить Азефа немедленно, как поступали в аналогичных случаях с другими provokatorами? Или продолжать дальнейшие допросы его самого и свидетелей и уже по результатам дополнительного расследования решить судьбу?

Не все члены ЦК и не все члены суда чести поддерживали такую решительную постановку вопроса.

Савинков высказался со всей ясностью и определенностью:

— Азеф, конечно, знает о подозрениях Центрального комитета. Если не упрежден полицией, то догадался по перемене отношения к нему товарищей. В частности — моего. Я не привел свой личный приговор в исполнение только потому, что не хочу самосуда. Уважаю партийную дисциплину. Давайте решение!

Ему возражали. Советовали еще лучше разобраться во всех деталях этого запутанного дела.

— Чего разбираться? Все ясно. Дальнейшее разбирательство поведет только к тому, что Азеф сбежит. Немедленно! Тройку!

В нее вошли Виктор Чернов, Николай Ракитников и Борис Савинков.

Он недолюбливал излишнюю в таких делах интеллигентность Ракитникова, сомневался в твердости Чернова, но отказать в доверии никому не мог. К тому же Чернов — главный теоретик и, по сути, нынешний руководитель партии. Ни Брешко-Брешковская, ни Фигнер уже не могли нести такую сумасшедшую практическую нагрузку.

Вечером 5 января 1909 года все трое стояли у дверей квартиры Азефа. Савинков, как всегда, был при оружии, но Чернов, потрясая рыжей взволнованной бородой, просил, советовал, именем партии требовал без его согласия на дому, при жене, не стрелять. Савинков иного и не ожидал. У Чернова всегда так: один глаз на вас, другой в Арзамас! Это уже стало печальной поговоркой. Он глянул на Ракитникова — тот опустил глаза. Тройка называется! Но спорить было уже поздно. Чертыхнувшись, позвонил.

Дверь открыл сам Азеф:

— В чем, господа, дело?

Чернов промямлил самое необходимое:

— Суд чести. Нам доверено... Центральный комитет... — Войдя в квартиру, из гостиной которой в соседнюю комнату выскочила жена, все же маленько приободрился. — Нам известно, что ты солгал, что ты скрытно ездил в Петербург и просил Лопухина взять свои показания обратно.

Азеф рассмеялся:

— К чему эти допросы — где и у кого я был. Мое прошлое ручается за меня!

Оттеснив Чернова, Савинков взял инициативу на себя:

— Ты говоришь — твое прошлое ручается за тебя. Но как попали на виселицу Сулятицкий и Зильберберг, как умерла Дора Бриллиант?

Азеф отвечал с достоинством:

— Они сами виноваты. У них не было такого опыта, как у тебя, друг мой.

— Не называй меня другом — первое. И второе: Зильберберг был одним из опытейших конспираторов. Почему ты отговаривал его, чтоб он выручал меня в Севастополе?

— Мы не раз говаривали с тобой: организация превышает единого человека. Все это я отношу и к себе.

— Хорошо. Провал покушения на Дурновó? Между

прочим, Татьяна Леонтьева из-за ваших провалов уже в Париже стреляла в одного обывателя, приняв его за Дурновó, и сейчас сидит во французской тюрьме.

— Тебе, друг мой, — с нажимом все-таки повторил это Азеф, — тебе лучше знать про Татьяну Леонтьеву, взбалмошную бабенку...

— Замолчи... несчастный! — чуть не сорвался Савинков, но уже спокойнее добавил: — В случае с Дурновó вышла полнейшая нелепость. Начальника своего пожалел? Провалить такое хорошо подготовленное дело! Что ты скажешь?

Азеф пожал плечами:

— То же самое. Опыт рождается на крови.

— Там были опытейшие метальщики, братья Вноровские. Но они все были введены в заблуждение. Диспозиция неряшлива. Неразбериха. Накануне, как положено, ты не пришел на последнее свидание с метальщиками, чтобы уточнить все последние мелочи.

— Нет, я приходил.

— Значит, Вноровский сказал неправду?

— Нет, Вноровский не может сказать неправды.

— Значит, ты говоришь неправду?

— Нет, и я говорю правду.

— Где же объяснение?

— Не знаю.

И так далее, и все в том же духе. Савинков прекрасно понимал своего бывшего друга. Хитрая лиса. Или незаметно подойдет к какому-нибудь столику, где у него под газетой браунинг, или даст какой-нибудь тайный знак непременно сопровождавшим его филерам. Да это могли сделать и домашние, например жена, из соседней комнаты — окна-то на улицу выходят.

Савинков готов был, вопреки своему ЦК, исполнить приговор. Но его отжимал в сторону такой же толстый, как и Азеф, растяпа Чернов. Они толклись грудь в грудь. Слава богу, Чернов маленько ожил и напирал:

— Когда ты ездил в Петербург к Лопухину, Лопухин не называл фамилии Савинкова. Он не знал нынешнего состояния дел. Откуда русской полиции стало известно,

что в суде участвует и Савинков? Она пытается связаться с французской полицией, чтоб под благовидным предлогом всех нас схватить? Как и Дору Бриллиант?

Азеф встал из-за стола и в волнении заходил по комнате. Савинков заранее смотрел на него через прицел. Азеф же знает, что толково распорядиться оружием из всех троих может только его старый друг... черт того друга поberi!..

Чернов все дальше увязал в словесах:

— Мы предлагаем тебе условие: расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью. После признаний — поезжай хоть в Америку!

Савинков резко наступил на лапу рыжему словоблуду. Азеф, видимо, почувствовал, что его старый друг все решит сейчас без Чернова, хотя в партийной иерархии Чернов и выше.

Азеф останавливается против Чернова и смотрит ему прямо в глаза:

— Виктор! Мы жили сколько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь... Как мог ты ко мне прийти... с таким гадким подозрением?.. — Евно все время держался так, чтобы Чернов был между ним и Савинковым.

Чернову казалось, что найден прекрасный компромисс:

— Ведь правда, Борис? — заискивающий оборот в сторону. — У меня хорошее предложение. Дадим нашему товарищу последний шанс. Если не использует — твое право, Борис. Тогда решай сам. А я от имени ЦК говорю: мы даем тебе, Евно Азеф, дополнительный срок — до 12 часов завтрашнего дня. Все рассказать... и покаяться, да-да.

— Как же, расскажет! Как же, будет ждать до завтра! Сбежит через час... Но запомни, Евно Фишелевич, — уже открыто достал браунинг Савинков. — Вот твое покаяние. Хорошенько запомни: я приму его... вместо растяпы Чернова! Куда бы ты ни сбежал. Куда бы ты ни скрылся. От меня не скроешься.

Он первым вышел из квартиры. Ракитников за все это время не проронил ни слова — застенчивость социалиста-революционера! Теоретик и вдохновитель партии в чем-то еще извинялся перед хозяином и вышедшей напоследок хозяйкой.

Не дожидаясь их, Савинков позвал парижского лихача:

— К блядам!

Он повторил это и на французский лад, но продувной лихач понял и без перевода.

Прежде чем он домчал туда своего сердитого седока и тот бросил вместе с деньгами: «Утоли моя печали... черт подери!» — Азеф в одночасье собрал жену и выехал из Парижа в неизвестном направлении.

Уж кто-кто, а Савинков-то знал: лупит сейчас через какую-нибудь Италию в какую-нибудь Канадию!..

Ближе оставаться не посмеет.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ МИНИСТР-БОМБОМЕТАТЕЛЬ

I



осле двух лет немецкого плена поручик Патин возвращался на родину. Разумеется, он не стал дожидаться официальных бумаг и паспортов, а попросту при первой же возможности сбежал из лагеря, который и находился-то фактически на польской земле, близ Лигницы. Пробраться через немецкие кордоны было сущим безумием; он предпочел окольные пути, вплоть до Англии, благо что Европа велика, а добрых людей в ней и за войну не убавилось. В России революция... р-революция, черт ее дери! Как может служивый поручик сидеть в немецкой дыре?!

Но даже и такая большая земля, как Европа, полнилась нехорошими слухами. Оказывается, можно и напрямиком, через немецкие кордоны, и даже за немецкие денежки. Не зря, пожалуй, поговаривали, что Ленин и весь его хриstopродажный синклит не искали окольных путей, а катили в Россию напрямиком через Германию. В это не верилось, но это повторялось при каждой солдатской встрече и во Франции, и в Англии, и в Швеции, так что Патин в конце концов сказал себе: «Черт их всех дери! Я вот раньше в Швеции не бывал, да и в Финляндии

только наскоком. Гляну и на эту пуговицу с императорского вицмундира». Не очень вежливо называли дачный закраек Российской империи, но что делать. И об Англии с солдатским смешком: «Надутая жаба», — хотя именно оттуда и начинался его путь в Россию. Не случайно и по одежде он был истый англичанин: в кеши восьмиклинном, отличнейших крагах, под цвет кеши светло-клетчатом полусмокинге-полупиджаке, с сигарой в нагрудном кармане и, разумеется, с тростью на левой руке. Правда, по мере продвижения к Финляндии, через все военное море и через всю слишком уж растянувшуюся Швецию, стал ехидно примечать: что-то больно уж много таких вот англичан едет в российскую сторону!.. Но границы открывались и закрывались, таможенники пропускали — чего роптать? Документы у него были как у истого англичанина, не придерешься. Сэр Брайтон Месгрейв, владелец фирмы с Черч-стрит... антиквариат там и прочее, извольте видеть! Как и всегда при пересадках в очередное купе, он небрежно разбросал по столу рекламные проспекты, а сам листал английское издание Шерлока Холмса, чтоб уточнить детали своей наспех писаной биографии. Хоть таможенники и полицейские во всех странах истые дураки, но ведь могли же и они что-нибудь читать. Нет, и под хорошие английские фунты назваться самим Шерлоком Холмсом он все-таки не рискнул. Более скромно: Брайтон Месгрейв, желающий в разоренной и нищей России пожить этим самым... антиквариатом... Славно вспоминались гимназические годы; славно и язык булыжником ворочался во рту. Лагерь не прошел даром, сидел он вместе с англичанами и мог вполне усовершенствоваться и без того неплохой университетский курс, хотя и незаконченный: война помешала. Зато и обкатала — под вполне приличного англичанина.

Больше беспокоил немецкий язык. Разумеется, он говорил и на нем, но как?.. Из какого-то лагерного презрения ведь мало обращал внимания, а жаль. Боши на финской земле были в большом почете и, кажется, чувствовали себя хозяевами. Они расхаживали со своими винта-

рями наперевес, а зачастую и с примкнутыми мясницкими штыками, особенно по рынкам и мелким финским фермам. Штык — удобная штука, вроде длинного ножа, а против такой мелочи, как подсвинок или барашек, финны не возражали. Попробуй возрази! Любопытная иногда открывалась картина: идет целый взвод, а на запячленных штыках — что твоей душеньке угодно!..

Правда, чем дальше продвигались от Гельсингфорса, тем меньше становилось бошей, а за Выборгом их и вовсе не стало. Патин понимающими глазами провожал мрачную каменную громаду старинного шведского замка; на пятидесятиметровую семярусную сторожевую башню он лазил еще в студенческие годы, ради дури, конечно, но война научила смотреть на все посерьезнее. И с нынешней артиллерией взойти туда было нелегко, но ведь Петр-то взошел! Что-то теплело в груди от студенческих библиотек; как раз на первом курсе, в 1910 году, и праздновали двухсотлетие русского Выборга. На башне развеялся финский флаг... и слава богу, что пока не немецкий!

Ах, финны, финны!

Они как с цепи сорвались; везде полувоенные-полупартизанские патрули и целые, маршем проходящие отряды. Патин знал, что здесь, в бывшей Финляндской губернии, а того раньше и в Финляндском наместничестве, теперь никто никому не верит. Ни губернатору, ни наместнику, ни батюшке-царю... ни немцам, ни русским... ни самим себе, пожалуй. Поезд-то шел к Петрограду, а там что?.. Там — полная неизвестность. Все «англичане» их единственного люксовского вагона стали молчаливы и подозрительны. Патин еще раньше, до Выборга, переложил под руку свой безотказный вальтер — сунул на голое тело, под рубашку хорошего английского покроя. Хотя и пуговка на рубашке как-то небрежно растегнулась, но все же было спокойно. Революции революциями, а доживала свой век еще не растерявшая свой царский пыл охранка, да и новая под новые порядки подлаживалась. Тут стой и замри, не смей возражать! Ну, а кто возражал...

Не было того придорожного столба, где бы не висел русский офицер, а то и простой солдатишко... Об этом Патин еще в Швеции наслушался, а теперь и насмотрелся; финны ошалели от прихваченной в переполохе свободы. Им все время мерещилось, что новая власть только и думает о том, как бы прикарманить отбившуюся от Российской империи, страхом вздыбленную Финляндию. А власть, как хорошо знал Патин, и с ближайшим Петроградом не могла разобраться — куда уж ей до финской окраины!

Но поезда, тем не менее, хоть и без прежней регулярности, ходили. На последние лондонские фунты, которыми снабдили его друзья, Патин взял двухместный люкс — для пущей безопасности, а вовсе не для удобств. Немецкий лагерь приучил обходиться самым малым, чего было барствовать.

Станным образом, до Выборга он ехал в одиночку, и только там уже подсел к нему неразговорчивый и явно ко всему недоверчивый господин... разумеется, все того же английского покроя, только более респектабельного и ухоженного: в черном смокинге и котелке, который теперь с небрежной осторожностью застыл на краешке стола под брошенными на него опойковыми перчатками. Внезапный выборгский попутчик раскланялся с молчаливым достоинством, взглядом спросил разрешения и закурил свою сигару. Патин кивнул, не зная, на каком языке с ним говорить. На всякий случай представился по-английски:

— Брайтон Месгрейв, владелец фирмы с Черч-стрит... антиквариат и все такое прочее. С кем имею честь, сэр?

Попутчик некоторое время молчал. Несмотря на внешнее спокойствие, держала и его какая-то настороженная пружина...

— Вам следовало бы назвать себя Шерлоком Холмсом, — прищелкнул он пальцем по раскрытой книге.

Не отвечал и Патин, пораженный совпадением в мыслях. Давно ли и сам-то он думал над этим? Кто присел на противоположный диван, упорно и назойливо его изучает?

О себе Патин как бы и позабыл, хотя смотрел через стол, наверно, точно так же.

Кто?!

Был попутчик плотен и внушителен, когда сидел, но Патин при входе успел заметить, что росточком так себе, разве что на высоких каблуках. Но смокинг на нем сидел бесподобно! Может, Патин поэтому и засмотрелся, а уж потом приметил: и у него вовсе не по небрежности слегка расстегнута нижняя пуговица, разумеется, не на рубашке, а на самом смокинге. Чуть-чуть, невидимо. Но толк в таких тонкостях поручик Патин понимал: как-никак до плена он служил не где-нибудь, а в армейской разведке. Добрый знак или злой подвох?

Так они сидели друг против друга на разных диванах, покуривали сигары, каждый свою, и разделял их всего лишь столик, застланный безупречной крахмальной скатеркой, совершенно беззащитной для того и другого. Патин прикидывал, что в случае чего ему сподручнее выхватить из-под ремня свой вальтер, чем закованному в английское сукно соседу — продраться сквозь дебри своего одеяния.

Эта самонадеянность и вызвала очередную реплику попутчика — на вполне приличном немецком:

— Прошу прощения, у вас пуговка на рубашке расстегнулась.

Патин не растерялся и тут же отпарировал по-английски:

— Тоже прошу прощения: у вас со смокингом что-то неладно... внизу...

Спутник слегка улыбнулся сухими, негнуцимыми губами, застегнул нижнюю пуговицу и повинился:

— Я понял смысл вашего замечания, хотя несилен в английском.

— Опасная неосторожность... при такой-то аглицкой экипировке!

— Что делать! Я русский.

Патин некоторое время колебался, прежде чем ответить:

— Я тоже.

Они уже порядочно отъехали от Выборга, где оставались еще кое-какие, держащиеся под дулами своего флота российские гарнизоны. Здесь опять начиналась ничейная земля; корабли оказались в стороне, а сухопутные части то ли разбежались, то ли повымерли. Скорее, последнее... Картины за окном открывались все безрадостнее и безнадежнее. Уже не только столбы, но и заборы были утыканы иссохшими армейскими фуражками. Какие-то уж истинные мясники, вооруженные топорами и прикольными мясницкими ножищами, гнали на убой вовсе не лошадок и коровок — целую колонну русских пленных. Об их дальнейшей судьбе можно было и не загадывать: не на курортное взморье вели...

— Это уже подлые мясники!.. — нарочно ли, нет ли сорвалось с задрожавших губ Патина, и даже рука дернулась с совершенно очевидной целью.

— Вы слишком громко... и вовсе уж напрасно.

— Вот именно: напрасно! Прошу прощения.

— За что?! — в упор вперились на него два остекленелых, холодных глаза.

Патин не успел ничего ответить — за дверь послышался какой-то подозрительный шорох. Попутчик презрительно прислушивался. Он явно ушел в себя и едва ли понимал сейчас Патина. Он тоже возвращался в Россию.

II

После смертного приговора, дерзкого, даже безумного бегства из севастопольской комендантской тюрьмы... и десяти лет беспечально-нудной эмиграции, где он числился то немецким шпионом, то французским архипатриотом и журналистом, то лондонским контрабандистом... Во всяком случае, любая из этих полиций с удовольствием поставила бы его к стенке. Не говоря уже о российских заплечниках. Так что терять ему было, собственно, нечего... даже при таком странном соседу, одетом тоже на английский манер, но с неистребимой русской сущностью... Он не без умысла бросил ему откры-

венный вызов — до Петрограда оставалось часа полтора, не больше, — уж лучше разобраться во всем в дороге, не тащить же за собой малопонятную подозрительность.

За окном проблескивали серенькие финские скалы. Даже и зимой со многих ветрами сдувало снега, а сейчас уже грянул апрель, с водой, солнцем и первыми грачами. Право, что-то ошалело-черное и милое кружилось сбоку поезда, на станциях жирными гроздьями увешивало несокрушимые здешние березы, голыми плечами своими подпиравшие тяжелые свесы скал. Вроде как уже Россией пахнуло?.. Повешенных стало меньше, а потом они и вовсе отшатнулись в глубь Финляндии. И уже никакой местной полиции, никаких мясников с прикольными ножами... Даже крестьян не виделось. Голая, попрятавшаяся, примолкшая земля.

Значит, сюда уже не суются? Россия!

Он никогда не впадал в сентиментальность, но заметил, что его попутчик тоже смотрит в окно оплывшими, незрячими глазами.

— Что, друг дорожный, не перебрали мы вчера?

Его милый, наивный спутник покорно тряхнул закрившейся головой и как-то по-свойски крякнул:

— О-го-о... было дело!

— Странно, у меня никогда не бывает перебора...

— У меня — бывает. Русский!

Знал он этот грешок за всеми своими русскими друзьями. Особенно той достославной десятилетней поры... Когда метаетесь бомбы в министров и великих князей, невольно рюмкой упокойшь нервы; на том и сгорали, как самодельные запалы, расхристанные други-студяши. Он — не сгорал; нервы — те же вожжи, держи покрепче в руках. «В чистых руках», — мысленно добавил он, от нечего делать шлифуя карманной пилкой и без того безупречные ногти.

Однако ему стало жалко своего приунывшего спутника. Даже некое подобие улыбки скользнуло.

— Не обращайтесь на меня внимания. Правьте свою голову... как гусарскую саблю! Час и всего-то до России...

Спутник не заставил себя спрашивать, тем более что у

него ничего и не убиралось со вчерашнего: видно, не хотелось чужих, прислужничьих глаз...

Хоть люкс и международный, но ведь не прежний; они ехали в нынешнюю Россию, пора было привыкать.

Уже Выборг с его живописно ниспадающими к морю домами, с его старой и даже сейчас грозной крепостью, с наивно вколотыми в весеннее небо остриями кирх, с незримой границей, где опадало все финское и начинало проступать свое, русское, — даже и этот перевалочный город давно остался позади. На подступах маячил Сестрорецк; река Сестра окончательно перенесла их на свой, петроградский берег. Дальше маленькие курортные станции, сейчас совершенно пустые и голые — от весеннего межсезонья и полнейшего безлюдья. Они подъезжали к Петер... бургу... граду... черт их, нынешних, разберет. Немца и свинцовым градом не оставишь — куда уж там словесным! Словеса он никогда не любил, хотя и пописывал, как сам ехидничал, глупые стишки. Нет, словеса губили самое живое революционное дело. Это — Нахамкиным и Бронштейнам, хотя... «Хотя ехали-то все они на немецкие деньги, в немецких запломбированных вагонах», — подумал он как бы вслед за своим попутчиком, но в отличие от него не тратя дальнейшей мысли на то, что любой чухонке-молочнице было ясно. Слава богу, он едет, как и положено сейчас русскому человеку, через Англию, Швецию и эту вот... придворцовую пуговицу с бывшего царского вицмундира! Он, конечно же, не знал, что мысли его опять переkreциваются с мыслями загрустившего спутника. Видения за окном, что ли, морщили их? Ничего он раньше против добрейших финнов не имел, наоборот, на их же явочных квартирах и бомбы для великих князей да министров изготовлялись. Вроде как вместе начинали? Чего же они нынче на все русское взбесились?

Ведь, право, нравились неподкупные финские други-приятели. Уж если сказали — так не продадут и не выдадут. Да и Европой маленько попахивало. В Гельсингфорсе всегда — чистота и порядок, за каждой соринкой — с

метлой; про станции, про первоклассные вагоны и говорить нечего: не всегда так бывало и в Царском Селе. Может, он после десяти-то лет эмиграции не тем глазом на все нынешнее смотрит? Может, и не бывало никаких р-революций... и всяких там застрявших на запасных путях стукачей?..

Но неужели?!

Он еще внимательнее прислушался. За дверью похмельно и чесночно посапывали, поскребывали, пробуя ее на ноготок. Чего ж, пора! Часа не пройдет — и Петро... бург... град... а там ищи-свищи ветра в городском закаменелом поле. Он посочувствовал этому запоздалому стукачу: привязался еще на Гельсингфорском вокзале, всячески набиваясь в прислужники и целя именно в него, ехавшего под именем англичанина Роберта Сент-Саймона, — как и спутник, прикрывшегося Шерлоком Холмсом. Надо бы только уточнить: кажется, этот Сент-Саймон был лордом? Да велика ль беда — он тоже «потомственный дворянин Петербургской губернии», как не без гордости заявлял презренному суду еще на первом университетском курсе, а стукачам до лордов и потомственных дворян далеко, пусть скребутся за дверью. Вот каналья! Куда ему тягаться со старым конспиратором? Он несколько раз перетасовывал шляпы, котелки, кепи в привокзальной толпе, да и в поезд, когда понял, в чем дело, сел с третьеклассного, многолюдного вагона, постепенно перебираясь во второй, а потом уж в первый. Но все равно еще перед Выборгом, выйдя для страховки в коридор к туалету, наткнулся на этого замызганного субъекта. На всей его затертой полицейской харе было написано, что вход в такие вагоны ему запрещен, а он вот, тем не менее, крутится, и цель у него совершенно ясная, собачья. Он ведь еще и не просыпался с царских времен — когда ему думать о революциях и всяких там переменах! Его дело чисто иудино: за тридцать сребреников... ну, положим, теперь побольше... сдать означенного на фотографии «риволюць-опера» и всласть покутить с такими же, как сам, сыскными заграничными харями. Значит,

жив курилка! В предыдущем вагоне, когда ночью выходил в коридор, его даже позабавило немного: стукача дрожащими руками листал пачку затертых фотографий и от смущения и спешки выронил одну — пришлось вежливенько поднять и, взглянув на себя, давней десятилетней молодости, подать со словами: «Смотри не перепутай, харя!»

Над этим и посмеяться было не грешно. Сколько их, сыскных заграничных шавок, до сих пор шляется по белу свету! Ведь и царя-то уже нет, и деньги небось никто не платит, а они все снуют и снуют по вокзалам... по Парижам, Лондонам, Стокгольмам... и никак своей вонючей сворой не скатятся в новую Россию. Может, за вечной хмелью и не слыхивали про нее! Ночью он только посмеялся над незадачливым стукачом, а сейчас сам себе сказал посерьезнее: «Но у них ведь всегда был приказ: стрелять... при попытке к бегству!..»

Но куда бежать? Одна-единственная дверь, за которой и торчит этот поскребыш...

Хорошо, что его спутник побрякивает утренней рюмкой, всякая мелочью на столе. Он приложил палец к губам и поощрительно улыбнулся: продолжай, мил-друг, продолжай. А сам взял с донышка котелка лондонские податливые перчатки и жестом хирурга мигом натянул их на руки. Собственно, он и не раздевался, и сейчас недоставало лишь этой малости — перчаток. С Богом!

Толстый пружинящий ковер не издал ни единого звука под ногами. Жаль только, что дверь просто откатывается, лучше, если б нараспашку в коридор... Хотя и тут чего же лучшего желать, если голова на плечах?

Мягко отшлифованная задвижка отошла беззвучно. А уж про подпипниковые салазки и говорить нечего: доброго финна стыдом заест, если в его хозяйстве что-то пикнет-скрипнет. Все в порядке.

Он выждал секунду-другую — и левой рукой резко отмахнул дверь.

— Ага, упойна харя!

Ночной стукач так и повалился ему на правую руку, подставляя затрапезный загрибок. И понять-то ничего

не успел, как эта вот лощеная, затянутая в перчатку рука вознесла его к холодной дубовой притолоке, какое-то мгновение подержала мордой у качающегося коридорного окна — и вдруг резко и безостановочно сунула в это разлетевшееся вдребезги окно, в обливное утреннее солнце и ветер, в откос, в какой-то каменисто бурлящий поток, прямо в пенистую сорную изволючь, так что даже последнего крика не послышалось, разве что шум железного моста диссонансом ворвался в расхристанное окно.

Перчатки брезгливой парой полетели следом — на память, что ли, от шумного мира сего?..

— Человек!

Один из кондукторов, заслышав грохот, и сам уже бежал по коридору.

— Что такое, господин?..

— Плохи, видно, финские стекла? Видите — дыра?

— Дыра, — повторил на довольно сносном русском языке кондуктор, ничего, конечно, не понимая.

— Так вставьте, заткните... сделайте, черт побери, что-нибудь! Дует. Сквозит. Вот за услуги...

Мягкий, дружеский шлепок по плечу. Хрустящее английское портмоне. Английские, самые дорогие по военной поре, фунтики — с ума сойти, да и только!

Он вернулся в купе, захлопнул так же мягко притершуюся дверь и сказал своему спутнику:

— Ну, давайте знакомиться. Теперь можно и выпить за Россию. Колпино проехали? Помню, помню... Не больше получаса осталось. Руку... гражданин России! Я — Борис Савинков... честь имею!

— Савинков... тот самый?..

— Не задавайте глупых вопросов... как вас?..

— Поручик Патин... тоже честь имею!

— Ну, поручик так поручик... хотя в новой России офицерские звания вроде уже отбирают? Но мы-то пока в старой России, поручик. Доставайте шампанское... и не смотрите на меня таким вальтеровским зраком!

Патин все еще сидел с вальтером на диване и черно, зряче простреливал закрывшуюся дверь.

— Я думал, придется...

— Уже не придется... помяни, Господи, его душу! — вполне серьезно перекрестился он, хотя с гимназических лет ходил в нигилистах.

Не успела хлопнуть пробка, как вежливый, служащий стукоток в дверь. Оба кондуктора, веселенькие.

— Стекол, господин-гражданин, нет, да ведь и это, наверно, сгодится. Вот, для Петрограда приготовлено!

Фанерный лист, точно вырезанный по размеру окна. На одной стороне его красной краской написано: «**ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!**» На другой — уже краской синей: «**ВСЯ ВЛАСТЬ ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ!**»

— Которой стороной, господин?..

— Гражданин, гражданин.

— Уж извините, никак не привыкнем... да и не знаем...

— Ладно, люди хорошие. Я тоже не знаю, но... мне все-таки более приятен синий цвет.

Новый размах портмоне — и кондуктора выкатились как со свадьбы. Это еще прибавило настроения, а шампанское — играло в душе, на какой-то забытой детской дудочке. Неужели было детство, неужели у него что-то было в этой России?.. Если б он умел плакать, право, всплакнул бы от умиления. Почему Бог не дал ему горячих очищающих слез? Ни во время детских жестоких потасовок, когда они еще жили с отцом-судьей в Варшаве, ни во время петербургских студенческих обид, ни даже после севастопольского «расстрельного» приговора; ему уж караульные советовали: «Плачь, милочек, легче станет». Да что там — мать, прикатившая на скором, трясла за плечи: «Железный ты, Борисик, железный, что ли?!» Ах, мама, под звон кандалов всех сыновей растерявшая мама... Не научила ты сыновей, в том числе и погибшего в сибирской каторге Андрея, лить нормальные человечьи слезы — не научила революционная ма! Молчали они, уж истинно железные. И не потому, что страха не было, — не было уважения к жизни, что ли. Да-да, и к своей, и к чужой! Вон милейший поручик, прошедший такую войну, очухаться до сих пор не может: как это — взять да и скинуть челове-

ка под откос?! Дул шампанское, а потом и коньячку сверху: зубы стучат, не успокоится никак. Да и спрашивает вот так наивно:

— Неужели вам все равно, Борис Викторович? Неужели ничего не беспокоит?

— Беспокоит, как же. Перчаток запасных нет. Терпеть не могу сиволапых революционеров... хотя сам-то, без всяких Ульяновых, и зачинал эту малопонятную р-революцию!..

— Ну-у, Борис Викторович!.. — восхищение, удивление. — Если бы я не знал, что вы и бомбы...

— ...и бомбы я метал в перчатках, уж поверьте, дорогой поручик. Э, что говорить! За Россию и Свободу... нет, за Свободу и Россию! Так-то лучше.

Он вкусно, со знанием дела, чокнулся и уже отпил глоток, как тот, милейший-то, вдруг взъярился:

— Э-э нет, дорогой Борис Викторович! Хуже. Хуже. Какая же Свобода без России?!

Вскочил красный и лохматый, при всем своем росте беззащитно-оголтелый. Он мог разбить кулаком дверь, но мог и бухнуться на колени — ему сейчас было все едино. Жалко стало его, в словесах запутавшегося, но и уступать не хотелось, не привык. Россия, ишь их!.. Свобода — вот высшая ценность мира, которую он, Борис Савинков, вопреки судье-отцу исповедовал еще с варшавских гимназических лет. Кто против с кулаками? И что же, вот тут, в купе, и драться... из-за двух каких-то бессмысленных слов?!

Он тоже поднялся — просто чтоб не торчали у него над головой. Но показалось — вроде как с угрозой. И уж новый крик:

— Что, не нравится, Борис Викторович? Давайте и меня в окно... коль поднимете!..

Тоже с угрозой, и нешуточной. Этот окопный поручик, пожалуй, бывал и в рукопашной...

— Сказано: других перчаток нет, — вышло вполне серьезно, хоть и уступчиво. — Да и за что?.. — еще помягче, с некой улыбкой на негнущихся, навечно затвердевших губах.

Дальше можно было и через стол перегнуться, слегка приобнять подзахмелевшего попутчика.

И этого с лихвой оказалось! Хоть ты слезы подтирай!..

— Смейтесь, смейтесь... вы твердокаменный! А я хоть и окопник, но интеллигент... гнилой интеллигент, скажу вам без утайки!

— Ба! Гнилым интеллигентиком называет себя и одна моя... петербургская приятельница... Я дал ей телеграмму. Если в новой России почта работает — встретит непременно.

— И вы?..

— Я крикну ей с подножки: «Гип-гип, ура!»

— И дальше?..

— Дальше — скучно. Стихи. Вроде этих... — Он подумал и хорошо поставленным, хоть и тихим, почти шелестящим голосом прочитал:

...Все тот же, в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург?..

— Вероятно, так и есть — прекрасный! Страшный! Может, даже нам и чуждый... но ведь свой?! — совсем разомлел бедный поручик. — Как вы этого не понимаете?!

— Да уж куда нам, — тут не обиделся, а даже порадовался за свою давнишнюю... давнюю, как молодость, приятельницу, в известной степени свою неукротимую наставницу — Зинаиду Николаевну, которую иначе как З. Н. и не называл.

— Так за нее? — как для объятий сразу двоих, развел над столом руки поручик, наливая в обе рюмки. — Познакомите? Да?

— Уж это непременно... если нас не арестуют уже на Финляндском вокзале. Вы, по крайней мере, потише там себя ведите... и без имен, без фамилий, пожалуйста... сэр английский!

— Но ведь — революция? Новая власть?

— И при революции вон тот... — рюмкой кивнул он под гулко гремящий, опять порожистый откос, — стукач и при новой власти за здорово живешь кокнул бы меня. Что, думаете, в Петер... бурге... граде... черт побери, мало их?

— Но ведь вы, Борис Викторович, герой! — приходил поручик все в больший восторг. — Вы наша живая легенда! Ведь вы... вас на руках понесут!..

— На руках — это мертвых выносят, — пришлось попенять. — Я уж лучше на ногах. А самое наилучшее — в роскошном автомобиле да напрямик в «Асторию». Ба!.. Не заговорились ли?

Поезд подходил под чугунную колоннаду Финляндского вокзала.

III

Савинков застыл у окна. Из писем, парижских и лондонских встреч, да и из своих ввевшихся в кровь предощущений он знал: в огонь лезут дураки, а умники попросту жар ручищами загребают. Хоть и в приснопамятном 905-м, петербургско-московском; хоть и в 71-м, парижском — везде и всегда. Что же, нынешний Петроград — исключение?

В соседнем вагоне везли «балалайку без главной струны», как называли Чернова, может, самого важнейшего российского эсера, а может, и наиважнейшего дурака, — в зависимости как посмотреть на бывшего своего учителя, двадцатилетней наивной младости. Ручищи действительно российские, хоть и постаревшие; под них-то и поддерживали, подсаживая в вагон, именитого бомбометателя... который и дамского пистолетика никогда не держал, а вот поди ж ты — слава! Савинков поймал себя на мысли: уж не зависть ли? Целая толпа орущих сподвижников и сподвижниц, как всегда, сопровождала Чернова, а вот он, Савинков, тоже по всегдашней привычке ехал бирюком. Как хотите, граждане-господа, как хотите! Славная вещь — одиночество.

Кажется, он ехидничал; кажется, не разжимая губ посмеивался. Да и как было не смеяться? Революционный поезд, напичканный восторженными эсерами, угрюмыми социалистами, вечно голодными стукачами, хлынувшими на запах крови громилами, состарившимися гимназистками и еще не видевшими России парижскими молокососами, — этот гельсингфорский поезд входил под родимые чугунные колонны. Но как-то неуверенно, нервно, словно ему то и дело перекрывали путь на стрелках. Как кричали в коридоре проводники, так оно и было: железнодорожники не понимали, с какими флагами идет этот поезд. На подходах то останавливали, то переводили куда-то, пока не сунули наконец-то к парадному подъезду. И то благодаря расторопным финским проводникам, которые вертели в расхристанном окне своим фанерным щитом: то одной, то другой стороной. То Советы, то Временное правительство. То красное, то синее, в зависимости от флагов на обочинах и толп встречающих. Наконец, и вот они — знакомые, милые, встречающие лица...

— Синий, синий! — кричал возбужденный поручик, а сам прицеплял на английский лацкан подсунутый проводниками красный российский бант. — Что же вы, Борис Викторович?.. — и ему с рук проводников сунул прямо в руки роскошный, какой-то завитой букет шелковой ленты.

Первым и сбежал поручик со ступенек, своим криком как бы распахивая объятия:

— Революционному герою... нашему дорогому... Борису Викторовичу... Савинкову, Савинкову!..

Напрочь забыл о всяких предостережениях захмелевший не только от коньяку, но и от воздуха родины поручик.

— Но ведь договаривались — без фамилий? — хоть и с запозданием, но пытался остановить его Савинков.

Не остановил, конечно.

— Гип-гип, ура!

З. Н. могла и не понять его, всегдашнего твердокаменного молчальника. Впрочем, где ж она?..

Её приметной роскошной шляпки не было видно в толпе встречающих. Савинков в сердцах бросил под ноги свой бутафорский красный бант.

В ответ прогремели два спаренных выстрела. Хоть по нынешним временам — эго диво, но ведь щеку-то прямо каленым воздухом обожгло!

Глядь — поручик широкой грудью заслоняет его от чего-то смешного и непонятного, наострив в толпу свой зрячий вальтер.

— Бросьте... шалость! Разве так стреляют? — имел он полное право сказать какому-то обидчивому размазне, вырывая вальтер и с левого разворота сшибая двух рассеявшихся на фонарях ворон. — Мелочи жизни, поручик, — возвратил ему вальтер, — Хуже, что нас не встречают...

Ее не было.

Ведь если бы была, перрон перевернулся бы не от выстрелов — от ее восторженного, пенопенистого крика. А перрон, вдруг очистившись от каких-то двух плюгавых выстрелов, молчал. Словно прибывшие гости с какой-нибудь Малой Невки на какой-нибудь Васильевский Остров переезжали. Не из Англии! Не из Германии! Даже у соседнего вагона, где толпа орала здравницы в честь рыже-седовласого Чернова, установилась ошарашенная тишина. Небось и штаны подмочили? Так и хотелось сказать им: «Граждане-господа, не удивляйтесь, в революциях принято стрелять, и даже очень хорошо. Иногда и убивают... господа хорошие!»

Разумеется, ничего такого не сказал, а только перевернул затвердевшим, как и само лицо, плечом.

— Пойдемте, поручик, — направился к выходу. — Видно, так: в «Асторию».

Но сзади, опомнившись, опять загремело:

— Герою революции, нашему неукротимому Чернову — ура!

— Авксентьеву!

— Моисеенко!..

Это было уже интересно. Савинков остановился, поглядывая через плечо; и свою восторженную З. Н. все-

таки подждал... Вовремя она никогда не приходила, будь то Петербург, Париж или похороны наилучших друзей.

— Да-да, поручик, — сказал он, постороннему было и не понять.

— Да, встречают, — тот воспринял все на свой лад. — Слышите?..

А что другое можно было услышать? Все то же:

— Чернов!..

— Моисеенко!..

Все при огромных алых бантах. Все в обнимку с петербургской восторженной революцией. Вечно вертлявый, друг забугорный Чернов уже и на руках студенческих, как кукла, над толпой взлетает. За эти годы заметно отяжелевший, всегда профессорски невозмутимый Авксентьев и тот дланью помахивает, как бы дирижируя захмелевшей толпой. А уж про медоточивого Моисеенко и говорить нечего — прямо на глазах у всех разрыдался. Что делать, они ведь «настоящие эсеры», свои, родимые, во всех газетах прописанные. Несмотря на всю свою невозмутимость, Савинков, кажется, немного и ревновал: все-таки для себя-то не такой он ожидал встречи... Слаб человек, даже твердокаменный.

Но, на секунду какую-то раскиснув, тут же взял себя в руки: стыдись! Встречают-то ведь эсеров, а кто ты им?..

Да, по визитке — тоже! Но в душе? Но в сущности?..

Додумать эту простую мысль он все-таки не успел: пока последним глазом высматривал своеобразную, неповторимо симпатичную чету — профессорски знаменитого романиста и незаменимо знаменитую поэтессу — оказался в истинно русских, по-русски бесцеремонных объятиях:

— С приездом, Борис Викторович! С прибытием на родину! В наш революционный Петроград!

Вот же матушка-Россия... Стрелять на перроне стреляет, а без словес и без объятий обойтись все-таки не может. Чего ж иного? Друг давнишний и добрейший, Павел Макарович. Не думая о настроении европейского припельца, он тут же с ходу объявил:

— Мережковские отбыли в Кисловодск. Представьте, час назад. Зинаида Николаевна, как водится, рыдала, Дима ее успокаивал, вдрызг разругались из-за вас, но сквозь вагонное окно улыбались мне уже вполне благополучно. Не обижайтесь. Чахотка — дело нешуточное, а мокрая весна и подавно. Обещали пересидеть в теплых горах наше межсезонье и через месячишко вернуться в твои дружеские объятия. Ключи от квартиры и соответствующую меморацию, естественно, оставили. Я не слишком припоздал? Ведь прямо от них на извозчике — и сюда. А извозчики-то сейчас каковы? Р-революционные, не шуточки. Кулачиной в морду не ткнешь. Впрочем, чего я? Все-таки — Родина и Свобода?.. — неслось как бы в укор зардевшемуся поручику, не удостоенному, конечно, дружеских объятий. — Вы-то, вы-то — как? Ведь все-таки, и прежде всего, для вас эта Свобода! Родина! Петербург!..

Словеса, словеса. Боже ты наш! Все как в давние времена... Савинкову удалось наконец вырваться из дружеских объятий, и он по-дружески напомнил:

...Слова — как пена.

Невозвратимы — и ничтожны...

Слова — измена,

Когда деянья невозможны.

Так наша бесподобная З. Н. говаривала?

— Сейчас поменьше говорит. Капляет...

— Что делать, что делать, дорогой Павел Макарович... Старь и пыль жизни.

Он щелчком сбил какую-то невидимую пылинку с рукава отлично сшитого английского смокинга, к которому никак, уж никак бы ничто постороннее не пристало... в том числе и аляповатый красный бант, который прикрывал запавшую грудину давнишнего студенческого дружка. Под кого он рядится? Впрочем, и на себя посетовал за голые, пролетарски незащитные руки: эх их, какие сиротливые без перчаток-то!..

— Значит, Гип-Гип покашляла на прощанье и укутила? Ура! А я, представьте, хотел огорошить ее же собственными стихами. Она Париж и Лондон моими именны-

ми бандеролями завалила. Вот, пока сюда добирался — на зубок вызубрил. Еще хотите? Ведь через всю воющую Европу слала мне — через всю обезумевшую... Ладно. Довольно стихов. В «Асторию»? Или в «Националь»?

— На первое время — ко мне, — безоговорочно отрезал Павел Макарович, поправляя уже порядочно полинялый бант. — В городе неспокойно. Вам было мало двух выстрелов?.. Еще слезая с извозчика, я слышал. А в кого же другого могли стрелять? Ко мне. Сейчас подойдет наш министерский автомобиль — я уже телефонировал с полдороги, а здесь недалеко. Тряхнем у меня стариной! Так З. Н. решила. Вы не хотите подчиниться ей?..

— Подчиняюсь, подчиняюсь, — очнулся от раздумий Савинков. — Представляю моего попутчика: поручик Патин, — жестом притянул его к руке Павла Макаровича. — Ладно, взаимные объятия — потом. Едемте, коли так... с этого всесветного базара!

На перроне студенты все еще раскачивали, как нелепую, разлохматившуюся куклу, разомлевшего от всеобщего внимания, добрым десятков бантов увешанного Чернова, и даже грузному, породистому Авксентьеву, тоже при двух-трех прилепнутых бантах, порядочно доставалось, — и целой толпой не могли как следует подкинуть, а только вякали от натуги.

Что-то нехорошее, вроде как завистливое, опять шевельнулось в душе Савинкова, но на пути к поджидавшему их министерскому автомобилю утихло, умиротворилось и растворилось в дружеских рассказах Павла Макаровича, и по фамилии-то — Макарова, а по нынешней должности — почти настоящего министра... ну, скажем, председателя какого-то никому не нужного комитета. Он и сам-то посмеивался над своей должностью, истинно не понимая, чем занимается. Савинков узнавал своих друзей, делавших такую распрекрасную... и вроде как безродную революцию. От всего этого у него не явилось ни грусти, ни раскаяния. Жизнь как жизнь. Уличные парижские деяния научили ничему не удивляться.

А за обедом, где и пришлого революционного народу понабралось, душа эмигрантская, немного завистливая, немного и оскорбленная — вот, мол, опять опоздали, к шапочному разбору только и поспели, — все же встала на свое место, покойное, уверенное и никому не подвластное. Эту душу было не раскатать и не подкинуть на хлипких студенческих руках...

— Такие мы с вами... гражданин поручик, — приобрел он никому здесь не знакомого Патина, этим как бы вводя его в круг своих давних друзей.

— Такие... гражданин бомбометатель, — после петербургского шампанского улыбнулся доверчиво поручик.

Встреча после десятилетней разлуки удалась на славу. Во всяком случае, многих и на второй, и на третий день сельтерской отпаивали... Что поделаешь, расходилась русская душа.

Савинков только через неделю переехал на квартиру Мережковских, заваленную книгами, рукописями, нотами, иссохшими цветами... и пылью давних воспоминаний...

Поручик Патин вырвался из дружеских петербургских объятий раньше его: надо было к себе, на Волгу. Савинков не удерживал. Дел-то никаких пока не находилось. Истинно пророчила пророчица З. Н.: словеса, словеса!

Его звала живая жизнь. Улица столичного города.

Истинно он говорил на севастопольском смертном суде: «Потомственный дворянин Петербургской губернии». Дворянин не мог оставаться в стороне от своей родины. Он думал сейчас об этом без насмешки и горечи. Воздух Родины настраивал на спокойный и решительный лад.

IV

Салон всесокрушающей Зинаиды Гиппиус, дочери обер-прокурора Синода, не имел ничего общего с салонной жизнью ее отца. В жилах отца текла древняя скандинавская кровь — у дочери кипела славянская брага. Трын-трава... с хмельным стихом пополам!

Неподражаемо наивный Дмитрий Мережковский ничего с этим поделать не мог. Салон так салон — разговорный, никем не управляемый муравейник... Впрочем, как же без управления? А неподражаемая З. Н. для чего? Она царила — она и властвовала. Можно было ослушаться царя, губернатора, обер-прокурора — но только не ее. При ее появлении все, включая и отставленных от жизни камергеров, заискивающе восклицали:

— Гип-гип, ура!

Это было незыблемым паролем. Это было истинной правдой. Все являло привычные приличия, и даже многое сверх того, утонченно интимное и завораживающе интеллигентное, но при всем при этом незримо затоптанное и захватанное чужими руками. Нет-нет, ни пылинки, ни соринки при появлении самой хозяйки — для чего же и горничные существуют? — однако общее впечатление пригородной, со всех сторон обтопанной муравьиной кучи не проходило. Здесь представало все, что добавляет большой профессорской квартире: и два не сообщающихся между собой рабочих кабинета, и спальни, и прихожие, и полуприхожие, и необъятная общая гостиная, и непонятного назначения какие-то полугостиные... и комнаты, и комнатухи, и двери, двери, двери, — а их, дверей-то, вовсе и не замечалось. То есть они открывались и закрывались на хорошо смазанных петлях, да кто с ними считался? Входили и выходили. Звонили и не звонили, просто так, мимоходом с улицы. Неслышно ступали по коврам лакированными туфлями и топали смазными сапожищами. Раздевались вроде бы в прихожей, вдоль целого ряда вешалок, но могли и так, в драной солдатской шинели, прямиком к общему столу. Хозяйка не только не возражала — хозяйка радостно всплескивала болезненными, призрачно-прозрачными руками:

— Ах, мой дорогой... ведь революция, революция... правда?..

Она всегда торопилась, всегда немного покашливала, то ли от наигранной, уже устоявшейся нервности, то ли от болезни своей, которой несказанно дорожила.

А под руку ей сейчас попался не кто иной, как сам нижегородский гений — немного с иронией, немного и с опаской называла она так российского буреветника. В красной косоворотке, в смазных, скрипящих сапогах, окающий и топающий одновременно, он был неотразим, он даже в этом непререкаемом царстве царствовал всем наперекор. Рука его, когда бесцеремонно и хозяйку брала под локоток, казалась железным обручем, а окающий голосок и того туже стягивал мысль:

— Открою вам, Зинаида Николаевна, откровение отнюдь не святого Олексия. Да. Все отдам. Славу — отраду жизни, отменное трудолюбие, святой озноб творчества, ночной прибой на Капри — верните мне только молодость. Мо-ло-дость, Зинаида Николаевна!

— Ах вы, бури вестник! — попробовала она высвободить занемевшую руку. — Буря и революция — что лучше!

— Разве что женщина... да еще стопка водки. Не обессудьте.

Стопка явилась по одному взгляду хозяйки, но такой избалованный гость уже не мог остановиться:

— Опося, опося. Я про молодость! Ведь страшно стареть, дорогая Зинаида Николаевна. Вот — буря. Вот и она — революция. А человек?

— Человек — это звучит гордо, — вспомнилось и ей что-то такое, всем известное.

Такому гостю нельзя было возражать, да и кому она возражала? Всяк сюда входящий...

— Правда, что не человек, а революция... ну, признайтесь, признайтесь?

— Правда, — в тон ей отвечал всем знакомый эстет, может, и нарочно не снимая белых перчаток.

А через минуту и шинель какая-то особенно затрапезная то же самое, на те же самые слова отвечала:

— Правда ваша, Зинаида Николаевна. Революция.

Было в этих однообразных ответах-приветах вдоволь и скуки, и наглости, и всякой вспучившейся петербургской пены; но было и нечто подобострастное, заискивающее перед такой обворожительно революционной хозяйкой. Здесь раздавались аттестации, здесь прописью пи-

сались дипломы общественной значимости. Попробуй-ка не угоди! Ниц — и только ниц, под шелестящее: «Гип-Гип, ура!» Вот ведь дела: и не особенно красива, и не слишком, может быть, умна, а люди бежали, ползли, выпагивали и прорывались к милому их сердцу мурaveйнику. Здесь все свои, здесь судьбоносные. На перекрестке путей и перепутий. Квартиру эту словно и создавали для российских бестолковых революций. Все на виду, на самом уличном юру. Известно, революция начиналась около Думы, то есть около Таврического дворца; прямые улицы, словно переполненные кипучей кровью артерии, неудержимо сюда и стягивались. Широко раскинувшийся дворец екатерининских времен задумчиво и гордо поднимал свой неповторимый купол, и кто-то вечный, недосыгаемый взирал оттуда на бешено текущую уличную толпу, а бельэтаж последнего перед воротами дома — как пост наблюдательный всей разрошенной российской интеллигенции. Стоило из орущей, музицирующей, декламирующей профессорской квартиры выйти на балкон — и вот она, решетка старинного парка, липы, ясени, деревья по весне трогательно обнаженные, как плечи курящих и спорящих молодых дам, а сейчас в густой, завьюженной листве — как отучневшие плечи дам постарше, еще старше... и совсем уж неприлично неприкрытого возраста. На это, конечно, не обращали внимания. Время-то, время какое! Даже оробевший поначалу поручик Патин, только что вернувшийся со своей Шексны, скоро разошелся и только что не потрясал засунутым во внутренний карман вальтером, — прямо-таки всем своим взъерошенным видом шел на решетку Таврического дворца:

— На таких ветрах, на таких кострах возжечь такую невиданную революцию... и трусливо ходить на поводке у каких-то немых Советов!..

— Почему же?.. — в спину ему из дальнего угла. — Они и бани хотят обобществить. Лейся-зелейся из единой шайки с какой-нибудь чухонкой тол... толсто... Молчу, молчу, — смирился голос перед гневным взглядом хозяйки.

Едва ли и слышал возражение распалившийся поручик Патин, а уж другие и подавно. Речи — как свечи, вздувались, и гасли, и снова возгорались:

— Нет, мы не будем молчать!

— Мы вопрошаем, мы говорим...

— ...о чем думает наш незабвенный Александр Федорович, что он от нас скрывает?

— А вот мы его сейчас и спросим... — милый, все покоящийся голос хозяйки, устремившейся в прихожую. — Наш неподражаемый, наш революционный... к слову ли, к закуске ли нагрывший!.. Добрейший Александр Федорович, просим. Что вначале?..

— Известно, — входя, двумя пальцами провел он по борту черной, грубой, прочной тужурки, как бы пересчитывая пуговицы. — Вначале было Слово...

— ...и Слово было — Керенский, ура! — выскочил из другого угла кто-то уж совсем в своей преданности неуправляемый.

От такого неприкрытого лакейства каменный пойдет вспять, но вошедший не отступил, а только еще круче вскинул бескровное, болезненно матовое лицо и поискал кого-то ошалелыми, ничего не видящими глазами. Гости расхаживали, как в его министерской приемной, шумели, размахивали руками, суетились незнано с чего — попробуй-ка останови на чем-нибудь взгляд! Но вот ведь остановился, выискал, выхватил нужное и любезно склонился, так что и бант красным венчиком опалнул пуговицы тужурки:

— Борис Викторович? Мы, кажется, сегодня не виделись... извините, запамятовал... Когда страсти египетские поулягутся, мне нужно с вами поговорить.

Савинков, не вставая с дивана, утвердительно кивнул, а Керенский сейчас же дальше прошел. Можно было подумать — и здесь конспирация! Кто в нее только не играл... Но от всевидящих глаз хозяйки ничего не укрылось. Она следом подошла:

— Если нужно — не стесняйтесь, в мой кабинет.

И ей так же безлично кивнул Савинков, так что она даже обиделась, прошептав: «Господи! Да есть ли хоть у

него какие-то привязанности?» Конечно, нагоняла на себя парок, кокетничала, а как же без этого. Дамская доля — трудная, а уж салонной долюшке не позавидуешь. Все так и едят взглядом хозяйку, иногда и про закуску забывая. Что она, сёмушка? Плечико вниз, плечико вверх, да если еще вздохнуть обреченно, а если уж фыркнуть немножко — и несокрушимого Бориса Викторовича можно свалить. Ан нет! Верно, для него что плечико, что рукояточка револьверная — одинаково ловко и цепко обнимет, уж непременно. И если б она его не знала, самым ближайшим знанием, пятнадцать последних лет, особенно десять парижских-то, — назвала бы слонокожим, стоеросовым, дубосердечным, а то и новое словцо бы придумала. Стоит того невозмутимейший из невозмутимых! Но ведь это, как говорится, до первой спички. Не очень-то и нужна была ему парижская гризетка, прошел бы мимо с полнейшим равнодушием, но вздумалось Леве Бронштейну показушно преревновать, из плюгавых политических целей смехотком подкольнуть — и что же? Тут же мгновенно как пулю всадил, да нет, хуже — публично, не снимая перчатки, коротким, но крепким размахом так съездил по ухмыляющейся физиономии, что бедный Лева, падая, и гризетку под себя подмял. Что ему оставалось? Дуэль? Кулачный поединок? Обычная потасовка? Но ведь он, сверхмудрый прохиндей, знал: правый Боже... или Маркс там... упаси связываться! Ничего, утерся и лишь бумажную злобу затаил — в газетенках на него поплеывал. На такие мелкие плевки Савинков не отвечал — гордыня не позволяла. Керенский-то не дурак, чтоб взглядом поднимать его с дивана, как прочих других. Савинков — не прочий, он, он... «Личник. Личник!» — вспомнила хозяйка свое же тайное прозвище. Не от робости — от невольной сдержанности перед ним в глаза так не высказывалась, разве что дневнику доверялась. Вот ведь: ближайшие друзья и, можно сказать — фу! — со-ратники, а тайное все-таки остается. «Нельзя же... как эта любвеобильная Матрена!» — пронзительным ехидным взглядом окинула она одну из своих подруг,

которую звали, конечно, не Матреной и которая декольтировалась — уж дальше некуда, и это при ее-то почтенном возрасте! О своем возрасте она в эту минуту как-то и позабыла.

Слава богу, развеселил этот новенький, поручик, кажется, которого привел с собой Борис. Он, как свечка, с двух концов зажженная, — так и пылал праведным гневом, Керенского, видимо, не узнавая, а может, и не зная в лицо. Убеждал, как самый правоверный:

— Советы — гнать надо из Смольного. Бронштейна — на виселицу. Ульяшова этого... как его, Ульянова... драмой метлой обратно в Германию: на чьи деньги приехал — на те пусть и убирается. Нас почему-то через Германию не пустили, не только тех шикарных вагонов, но и телячьих теплушек немцы не дали. Наши пленные солдаты гниют в грязи... о боши, боши!.. Знайте же: мы за войну до победного конца. Россия — не плюха европейская, чтобы перед всяким там кайзером половичком стелиться. Дума — этого не знает? Керенский — не понимает? А раз понимает... и его метлой драмой!.. Нечего делить власть с этими Советами немьтыми!..

— Да ведь бани?.. — опять перебил его какой-то загольный голос. — Бани они тоже собираются обобществить. Понимать надо.

Новичок не собирался этого понимать.

— Так что ж Керенский — из одной шайки-лейки с толстопятой чухонкой, раз одной ногой в правительстве, а другой — в Советах?!

Нет, приятель Бориса Викторовича был неподражаем в своей наивности. Керенский, не называя себя, — еще бы унижаться до называния, — совершенно скоропалительно:

— Да именно потому, что у меня две ноги. Две. Правая и левая... левая и правая. Не так ли, молодой человек?

А «молодой человек» не так уж и молод, почти того же возраста, что и сам Керенский, но ничегошеньки не понимает. Стоило немалого труда очнуться:

— Разве вы... вы?..

— Я, молодой человек.

Бешеные искорки запрыгали в глазах ушедшего было в себя Бориса Савинкова. Будь это с ним, он давно бы поменялся местами не только с министром юстиции, но и с самим Господом Богом. Но смелый пред штыками поручик — здесь всего лишь отставший от поезда пассажир. Смешно и горько? Спасает разве, что не он один такой. Здесь много топталось таких, приехавших откуда-то и зачем-то при дальних раскатах красного словца — революция. Не понимают, что поезд давно ушел, и кто успел прыгнуть на подножку — тот вспрыгнул, а остальным нудно и мерзко плестись по шпалам. Савинков и себя вдруг ощутил едва-едва зависшим на подножке; бывало это в его ранней молодости, при всех свершившихся и не свершившихся терактах. Там уж раздумывать некогда: дёру! Но сейчас-то, сейчас?.. Облапили единый поезд все они... и Бронштейны, и Ульяновы... и Керенские с Черновыми... висят, кто вниз головой, кто вверх ногами, а дальше что? Выбора-то, собственно, нет, как нет и батюшки-царя, против которого они с такой рьяностью метали бомбы. Право, жалко стало. Там хоть охранка, горюдовые те же, железнодорожные и всякие другие стукачи, а нынче что? Смешно воевать с тем же Керенским, и не только потому, что в роде как «со-ратники» на каком-то загаженном поле, — не получится ведь при его полнейшей незащитности, дрогнет разомлевшая от безделья рука. Министр с блуждающими, какими-то наркотическими глазами? Лицо узкое, бледно-белое, полуприкрытые, как бы зашторенные щелки глаз, и эта надутая, поребьячь оттопыренная верхняя губа — нечто клоуновое, наигранное, несерьезное, да и вечное нервическое непостоянство. Положим, на публику все это действует поистине каким-то наркотиком — но на тех, кто провел с ним вместе целую череду предреволюционных, потерянных лет? Савинков не замечал, как произвольно выплещивается его холодная, внешне незаметная ирония. А над чем, над кем иронизировать? Люди не ангелы, ангелов и теперь, когда свалили ненавистную охранку, что-то не замечается. Значит, губа, хоть верхняя, хоть

нижняя, не дура?.. Выбери! И хоть выходило, что выбирать-то особо нечего, дух противоречия подзуживал и крутил остановившиеся мысли. Савинкову было скучно. И если бы не первое обещание — в узком приятельском кругу провести поэтическую полночь, если бы не вторая обещанка — в «дамском» кабинете решать судьбы России, он давно бы надвинул на глаза отличную английскую шляпу — котелок в революционном Петрограде пришлось все-таки сменить, — тотчас же вышел бы на свежий воздух. По крайней мере, в подворотне можно нарваться на какого-нибудь уцелевшего городского и маленько поразмяться. Он непроизвольно и как-то лихо двинул плечом, стиснутым все тем же отменным английским сукном.

— Бьюсь об заклад — Борис Викторович даже сейчас мечет бомбы... не обижайтесь, ради бога! — выскочив высокой нотой, на тихий чахоточный лепет сошел голосок неподражаемой хозяйки.

— Нет, божественная З. Н., — поднялся Савинков с дивана, и при невысоком росте став сразу и выше, и заметнее многих. — Скучаю. Просто скучаю...

—...от безделья? Борис Викторович, согласитесь?

— Да. Безделье, — без всяких уверток и тоже с полнейшей открытостью согласился он.

При этом Керенский, тихо и вяло закусывавший в полном одиночестве, вскинул заметавшиеся глаза и, как гончая, насторожил оттопыренные уши. Чтобы на своем отрезанном слове и покончить, Савинков прошелся по гостиной, перемешивая и смущая взгляды, и бесцеремонно, как это он умел делать, направился в кабинет З. Н. Не сомневался, что Керенский последует за ним. Но не так же шустро, будто нагоняя на длиннющем Невском проспекте! Савинков не успел и осмотреться в сегодняшнем дамском пристанище. Тут каждый Божий день что-нибудь ломалось, переставлялось, разбрасывалось и чинилось — даже завсегдатаю разобрататься было нелегко. Немудрено, что насмешливо остановился при пороге. Сейчас же нетерпеливая рука и легла ему на плечо:

— Безделье? В революцию? В такую великую революцию?!

«Без аффектации он не может», — с молчаливой ухмылкой подумал Савинков, который уже больше десяти лет распрекрасно знал этого человека и по России, и по Парижу, и по другим всемирным градам и весям. Хоть и социалист, и революционер, под ручку ходивший с Плехановым, и даже с Бронштейном, но внешнего «демократизма» никогда не допускал, был по-своему элегантен, а сейчас... Эта черно-суконная, чуть ли не матросская, тужурка с отцветшим затасканным бантом, пепел и крошки на коленях, какая-то неуловимая неряшливость во всем!.. Отвечать ему не хотелось. Но надо.

— Мы революционеры... без нас свершившейся революции! Кому мы нужны?

— Революционной совести. Свободе!

Савинков знал, что последует дальше: равенство, братство... этаким плебейский брудершафт! Истинно говорит эта сумасшедшая, слишком уж эмансипированная З. Н.: слова — как пена... Чтобы не смотреть в блуждающие, поджаренные глаза давнего «соратника», он свои-то насмешливые, колюче-ледяные — по столу, по всем этим грудам дамских бумаг, разворошенных неподражаемо дамской революцией. То ли слышалось ему уже где-то, то ли в Париж через все европейские фронты залетало? Какой эсер все не вспоминает про крестьянскую землю? Даже и большевики карасей на эту приманку ловят. Как раз кстати! Он только огласил, да и то чуть-чуть небрежно:

— Мне — о земле — болтали сказки: «Есть человек. Есть любовь». А есть — лишь злость. Личины. Маски. Ложь и грязь. Ложь и кровь.

Керенский едва ли уловил здесь что-то поэтическое и ухватился за самое внешнее:

— Кровь? Борис Савинков убоился крови? С каких это пор?

— С тех пор, как вижу: целыми сотнями, гуртом, будто овец, убивают русских офицеров!

— Так не давайте это самое... убивать! Поезжайте комиссаром Временного правительства — полномочным комиссаром... ну, скажем, на Юго-Западный фронт. Там, кажется, Брусилов... или Корнилов?.. — запутался в командующих. — Все равно. Славные воители! Наши. Будущие революционеры. А вы?.. Вы — комиссар правительства. Второе лицо после командующего, вы...

— Но — дальше? Дальше — что?

— Дальше?.. — на какую-то секунду задумался Керенский. — Военный министр... да, военный! В моем революционном правительстве. Вы слышали, конечно?

Это уже не походило на словесный абсурд. Да, Савинков слышал: бывший адвокат, бывший министр юстиции сегодня выбран... или назначен... черт их там разберет!.. да, председателем Совета министров, премьером, как для солидности, на европейский лад, судачили во круг вездесущей хозяйки. До этого Савинков участия в досужей болтовне не принимал — тут, в роскошнейшем салоне, каждый день кого-нибудь снимали... или назначали, согласно случаю. Но не столь же круто? Дело было посерьезнее. Как ни относиться к бывшему адвокату, не станет же он набирать несуществующую команду.

— Да, я вас слушаю, Александр Федорович.

— Я намерен коренным образом преобразовать Совет министров. Не буду вдаваться сейчас в подробности. Скажу только: уже сегодня утром на вас глаз положил. Хватит вам, Борис Викторович, без дела шататься. Не такой вы человек. Идите работать в мое правительство. Мое! — с удовольствием повторил еще непривычное и для него самого слово.

Видимо, так: еще до прихода сюда думал о своем предложении. Уж не З. Н. ли постаралась? Дай ей волю, она не только засевшую в Смольном Совдепию, но и суматошное правительство расшвыряет милой дамской ручкой... как вот эти необозримые бумаги на этом необозримо-революционном столе! Статуэтка Робеспьера на книге неистовой воительницы Дашковой; матросская бескозырка и казацкая нагайка; гипсовый Стенька Разин и черно-стальной «Броненосец Потемкин»; листов-

ки, воззвания, свои и чужие стихи, лапотки детские, гроздь ярчайших бантов, склянки из-под лекарств, вниз головой брошенный Бальмонт, письма, конверты, записки, писульки и просто клочья разодранных бумаг... Чего тут только не было! Мужчине следовало бы отвести взгляд, чтобы не наткнуться на нечто и дамски-интимное. Но Савинков привык к этой беспардонной революции и думал о своем: «Она? Лукавая З. Н.?» Пожалуй, именно она и порешила, а судьбоносный министр не мог ей отказать в такой малости... Бедная, ослепшая Россия!

Но сказал совсем другое:

— Комиссар? Военный даже министр? Играем! Ставки сделаны, граждане-господа.

Керенский пожал ему руку, и на голой, бесперчаточной ладони проступил чужой нервный пот.

Савинков, скрестив на груди руки, на какое-то время застыл перед развороченным столом. Не такова ли и судьба?

Убийца в Божий храм ни внидет.

Его затопчет Рыжий Конь...

— Бледный! Разве вы забыли? Готова книга, я поправила. Рыжий — еще только предвестие беды. Бледный — сама беда. Ах, несносный Борис Викторович! Сейчас бы я сказала: Конь Вороной. Будьте Вороным! Будьте!..

Как заклятье, как новая судьба. Разве уйдешь от нее?

— Шпионите, милая З. Н.?

— Что делать, что делать, Борис Викторович... — ласкающая, заигрывающая грусть. — Жить напротив Смольного, на самом острие бури, писать, описывать все день за днем... и не прописаться в шпионы?! Да знаете ли вы...

— Гип-гип, ура, — остановил ее Савинков. — Мне только что поступило предложение с того света... да, с того, запредельного, — выдержал он бешеный взгляд Керенского. — Предложение — стать дьяволом этой российской революции. И, знаете, я согласился. Дьявол — это в моем вкусе. Но! — поднял он палец, к чему-то прислушиваясь. — Поброжу-ка я по нынешним вонючим

улицам и попытаю дьявольскую судьбу. Скучно на этом свете, господа.

Он не видел, как за его спиной заломила руки слишком уж экзальтированная З. Н., но все-таки, выходя, слышал всхлипывающий шепоток: «Ну, что с него возьмешь? Он такой неисправимый бесенок... да что там — революционный бес...»

Дьявол ли, бес ли — все едино. Проходя по залу, гудевшему всякой чертовщиной, даже нижегородским рыкающим баском бывшего пекаря и нынешнего лекаря всея Руси, даже хитромудрым распевом уличного лотошника... нет, самого богатейшего издателя, даже балаганскими шутками какого-то лапсердачного прихлебателя, Савинков неторопливо и ни на кого не глядя выпил кем-то услужливо поданный бокал шампанского.

— Спокойной ночи, граждане-господа.

— А говорили — литературные чтения? Говорили — Савинков? Не все же мне отдуваться!

Красная косоворотка, скрип смазных сапог, рыкающий говорок нижегородского гения — все раздражало Савинкова. Он бросил через плечо, уже ему одному:

— И вам спокойной ночи... товар-рищ!

Улица быстро отвела его от этого расшумевшегося дома напрямиком к Таврическому дворцу.

Несмотря на поздний час, все подходы были запружены народом. Не то больше-вики, не то меньше-вики. Не то анархисты, не то монархисты. А больше всего праздных и пьяных. Скука не тетка! Побежишь не только на улицу, но и в самую растреклятую революцию...

Савинков поймал себя на мысли, что до сих пор не может всерьез воспринимать происходящее. Фантасмагория при свете прожекторов, свечей и горящих в мягкой ночи факелов. А ведь и без того светло. Еще не отцвели, подобно революционным бантам, белые петербургские ночи... или уже петроградские?.. Но все равно — славные ночи! Жаль, их мутит всякий сброд... Хотя почему

же? В потоке движущейся, мятущейся, ревущей толпы, не торопясь, как в лучшие времена, двигался открытый автомобиль, окруженный исключительно женской цепью. Ландо — сказал бы Савинков, знавший роскошь Парижа. Вот при виде его и ревела толпа. Думал, какой-нибудь прыщ совдеповский, а это... Ба! Неподражаемая, тоже сумасшедшая — а кто сейчас нормален? — революционно-царственная Вера Фигнер. Что делать, он уважал эту женщину. Она была сродни ему самому. У нее — не словоблудие, у нее — браунинг в руке. Право, так и виделся символ карающих народовольцев. Да что там — сам Савинков не знал ничего лучше браунинга, хотя лапсал рукояти всех мастей и всех марок.

— Фигнер!

Шлиссельбургская узница, конечно, не слышала — что услышишь в реве восторженной толпы... Она плыла, как рыба, в революционной реке. Савинков, само собой, встречался с ней за границей и питал своего рода симпатию, странную савинковскую симпатию, когда все не всерьез и все с молчаливой усмешкой. Да и годы, годы!.. Ее немолодое и отнюдь не миловидное лицо при подсветке таких уличных огнищ было даже по-женски симпатично, в чем он никогда бы не признался. Но тут что-то на него нашло, да и проезжала, вернее, проплывала она совсем близко, может, даже и видела его — не отворачиваться же. Он вежливо, сняв шляпу, раскланялся, да и вслух, кажется, добавил: «Славная бабенка... если бы еще лет на двадцать помоложе!..» Увлеченный зрелищем, не замечал, что к нему уже давно приглядываются, пожалуй, даже и принимают. Этаким парижско-лондонский поклон и решил все.

— Андикалон? — дохнули ему в лицо чесноком и воблой. — Буржуй? Над нашей революционеркой насмехается?

— Бей его, ребята, как матросского адмиралешку!..

— Нож в спину!..

Почему же не в грудь? Не в горло? Знать, грамотные! Только что красным пятном расплылась по газетам кровь несчастного адмирала Напеина — именно в спину

своему адмиралу и воткнули ножище... Ах, славные балтийские матросики! То же ждет и его?.. Ну уж дудки!

Прежде чем разнеслось и завязло в толпе это злосчастное «бей», он по-звериному вспрыгнул в раскрытое ландо, кулаком вышиб на тротуар шофера и, рывкнув клаксоном, дал полный газ. Сопровождающих революционных амазонок железной волной раскидало на стороны. Может, кого и подавило, ибо вой и рев усилился, но уже не мог сдержатъ вырвавшегося из толпы автомобиля. Улицей, переулком, снова улицей, каким-то проездом — тройка русская, выноси! И она, потаскав по городу, вынесла на Невский. Савинков спиной чувствовал, что с заднего сиденья, прямо под левое ребро, упирается прохладное, такое знакомое железо. Даже любопытно было: неужели браунинг? Но ведь не оглянешься при такой бешеной гонке, не посмотришь. Впрочем, и не выстрелишь. Кто же, не рискуя сломать себе шею, будет стрелять в несущегося на такой скорости шофера? Савинков бесстрастно посмеивался. Нахлобученная от встречного ветра шляпа скрывала лицо, да и что увидишь со спины? Вера Фигнер, видимо, его не признала. А играть в прежние знакомства не хотелось. Надо было убираться подальше от браунинга несгибаемой народвопки. При выезде на Невский он увидел довольно большое пространство, резко высек мотор и нажал тормоза; пока в центробежном вихре раскручивалась машина и крутила в лоне своем потерявшийся браунинг, Савинков тем же звериным махом выскочил на улицу, приседая. Прогремовший выстрел даже отдаленно не коснулся его.

— Стараете, Вера. Разве так вы раньше стреляли? — не оборачиваясь, бросил он, отряхнул невидимую пыль со своего чуждого здешней толпе смокинга, поправил шляпу и неспешно пошел вверх по Невскому.

Там, позади, еще много пройдет времени, пока очухается пришибленный шофер, догонит и оседлает крутящуюся машину. Да и куда преследовать? Кого? За ним смыкался разгульный, веселый народ. Уж истинно: гулять так гулять. Рр-революция... черт ее дери!..

Военный министр хорошо узнал Главковерха Корнилова еще в бытность свою комиссаром Юго-Западного фронта. Конечно, пришлось сменить английский смокинг на френч военного образца и, чертыхнувшись в очередной раз, все-таки нацепить революционный бант; но все ж и бант выглядел новомодной розочкой в этом море расхристанной солдатни. Если в Петрограде ножами, как овец, кололи адмиралов, того же славного Напеина, если полковникам плевали в лицо, если в Киеве никто и никому не отдавал чести, то что говорить про Бердичев? Зачуханный жидовский городишко волею судеб превратился в ставку необъятного российского фронта, но от того не стал ни краше, ни чище. Как лузгали все поголовно семечки, так и лузгают. Как сновали под ногами чесоточные жиденята, так и спуют. Как хлестались на залитых помоями улицах бабы мокрыми тряпками, так хлещутся и сейчас на потеху российскому воинству. Под гам и местечковый визг, под стук копыт и скрип несмазанных колес. Из-под калиток, кое-как примотанных веревками, потоками лились кухонные оплески; в низинах собиралась непроходимая бердическая грязь. Но что за невидаль — после загаженных-то окопов!

Целые стада серых шинелей полеживали по задичалым скверам, затоптаным садам и просто на улицах, где находилась хоть мало-мальская тень. Офицеры давно были разогнаны, воевать никто не хотел, но замызганные красные тряпки почти у каждого — у кого на фуражке, у кого на шинели, у кого и на плече, вместо содранных погон. «Еще бы и на заднице!» — всласть посмеялся бывший комиссар, а теперь неограниченный правитель военного ведомства. Надо же, увидел и такое: какому-то спящему вахначу прямо на штаны и прицепили... Чтобы и в хмельном чаду отличался от всяких прочих господ офицеров. Даже караул из кавалергардов, по красоте и выправке не знавший себе равных, представлял теперь то же стадо всклокоченных, немых, распахтанных дезертиров, лишь по воспоминаниям хра-

нивших еще недавнюю воинскую доблесть. «Под пулеметы бы всех!» — подумал военный министр, но содрать свой ажурный бантик не решился; давняя подпольная выучка: без нужды не манкировать мнением толпы. Толпа всегда права. В случае беды и спасет, и пригреет, стоит лишь поверх крахмального белья вздеть на себя какое-нибудь отрепье и запах аткинсоновского «Шипра» и гаванских сигар притушить гарью махорки.

Он молча прошел мимо расхристанных кавалергардов, и еще дальше, к маячившим у входа текинцам. Вот эти — да! Для них никаких революций не существовало; был «бóяр» Корнилов — и все. Раньше в карауле стояли парные георгиевские кавалеры, а сейчас вот они, намертво застывшие в своих стройных черкесках. Ясно, Корнилов тоже никому не доверял... кроме этих сынов Аллаха, любую жизнь вздымавших на острие кинжала. Но страшны были не они — они без приказа своего «бóяра» ни на кого не бросятся, — страх и стыд терзали душу при виде расползшихся по всему фронту серых отар...

В первые дни своего недолгого комиссарства Савинков хоть и нацепил плебейский бант, но не захотел отказываться ни от удобного английского костюма, ни от шляпы, ни от сигар, которые ведь нельзя же курить тайком, из рукава. А солдатский сброд не понимал, как это комиссар, следовательно заместитель командующего, может быть штатским человеком: не отдавать же честь, в самом-то деле, какой-то шляпе! Уж на что невозмутим Савинков, а тоже сорвался тогда на расхожие словеса: «Вы теперь свободные граждане свободной России, а я представитель вашего правительства!..» — «Временно-го», — как штыком под ребро, ударили ему в ответ, сразу обнажив суть всего происходящего. Но уступить он не мог. «Если так, если вы действительно свободны, вы должны защищать Россию до последней капли!..» — «Чаво? — было в ответ. — Чаво гуторит егая шляпа? Да растягай его да выбивай дурь шомполами!..» — уже похуже, чем штыки, застолбили его. И растянули бы прямо на бруствере окопа на потеху в сотне метров так же

оравшей немецкой солдатне не выручи славные текинцы. Ни на кого не глядя, они как единым кинжалом разрубили солдатскую толпу и в своем строю вывели незадачливого комиссара к встречавшему на крыльце Корнилову. Тот, как положено, отдал честь, но после попенял: «Борис Викторович, я ничуть не сомневаюсь в вашей храбрости, но лезть в такую толпу с сиротливым наганишком... Ведь есть же за пазухой?» — не видя кобуры, прицелился он прищуром глаз. «Есть... за поясом», — немного обиделся Савинков за эту, тоже плебейскую пазуху, и вроде как от духоты расстегнул пиджак, с сигарой в зубах отвалился на спинку кресла. Вороненая рукоятка, торчавшая из-под ремня, не скрылась от цепких азиатских глаз Корнилова, но он, воспитанный все же человек, бывший офицер Генерального штаба, поспешил перевести разговор на дела фронтовые; тогда они, российские дела-делишки, еще пробовали наступать, следуя прошлогоднему примеру генерала Брусилова. Теперь отступали, безвозвратно катились к развалу и анархии...

Обоюдная ли солидарность, чувство ли неизбежной беды — все толкало локоть в локоть. Так они всегда и сидели на заседаниях Временного правительства. Так уселись и сейчас, Главковерх и военный министр... да, то ли министр, а то ли управляющий военным ведомством — кто тут кого поймет! Истинные военные дела вершил Главнокомандующий, но ведь и гражданским хочется покомандовать, тому же Керенскому! Когда он, после недолгого комиссарства, назначал на министерство — да, сказал, полномочный министр! — но потом и сам захотел покрасоваться, как ему воспретишь? Вражда и сплетни гуляли по кабинетам... и все в клочья рвали одеяло на себя! Тот же давний эсеровский подельник и приятель — Чернов? То ли министр земледелия, то ли затрапезный «товарищ» в Совдепии, а проще говоря — отпетый прохвост; походя выбалтывает разным австрийским и немецким социалистам, вроде Отто Бауэра, все военные наисекретнейшие планы. Да хоть и Бронштейнам? Принцип у них один: чем хуже — тем лучше! Из соли-

дарности с каким-нибудь берлинским краснобаем за полупушку продадут Россию. А Корнилов не политик — Корнилов генерал; на заседания правительства, как башибузук, приезжает со своими текинцами и со своими пулеметами, но министрам-то все-таки доверяет. Да и как совещаться, если ничего друг другу не говорить?

Фронт катится к Киеву и Петрограду, как лавина, а Совдеп до сих пор не разогнан и правит солдатским сбродом из Таврического дворца. Кажется, изменила военная выдержка даже Корнилову. Неужели прозрел? Он только что подсунил под руку записку:

«Борис Викторович, я кликну сейчас своих текинцев. Пора кончать нашу говорильню».

Ага, тоже проняло. А если уж у Корнилова кончается терпение...

Ничего хорошего это не сулило. Ну, разгонит бессмысленные посиделки, а что дальше? Горстка текинцев удержит власть? Совдепы сметут ее вместе с Корниловым, Керенским... «И Савинковым — тоже», — явилась неизбежная мысль.

Он видел, что Корнилов готов сейчас сказать нечто такое, что красной пеной поднимет весь Смольный, а Керенский по своему обычаю, перед заседанием наглотавшись кокаину, будет метать направо и налево, не отдавая себе отчета, где сидит — в Зимнем ли, в Таврическом ли...

Вот дожили! Зная все это, Савинков и сам написал записку:

«Лавр Георгиевич, крепитесь. И держите пока при себе как планы наступления, так и планы обороны — в такой обстановке не стоит их обсуждать. Все это сегодня же станет известно немцам».

Записку небрежно подтолкнул с какими-то случайными бумагами. И надо было видеть скошенные от бешенства калмыцкие глаза Корнилова! На какое-то время Савинкову показалось: вот сейчас, сейчас он и кликнет своих текинцев! Долго ли. Они у самого парадного, в своих черкесках, папахах и при кинжалах. В пулеметах ленты запровлены, пока что молча обстреливают пло-

щадь. Но сюда, наверх, они и не потащат пулеметы — прямо своими кривыми клычками и кинжалами изрубят всех подряд, а Керенскому, может, и глазищи выколуют. И все будет в каменном молчании, разве что с единым словом: «Бояр! Бояр!»

От тревоги Савинков невольно кашлянул и вроде как нечаянно толкнул локтем Корнилова. Тот скосил левый зардевшийся глаз; но видно, что бешеный огонь уже угасает и офицерское благоразумие берет верх. Савинкову он доверял... как своим любимым текинцам. Что-то более крепкое, чем кабинетная мясорубка, зрело в его обкатанной азиатскими ветрами, ловко посаженной голове. Ответно кивнул с благодарностью. Папку с докладом прикрыл смуглой цепкой ладонью.

Ближайшие военные планы хоть на этот раз остались непроданными, поскольку и не обсуждались...

Пустая трата времени. Единственное, что запомнилось, — паническая угроза Керенского:

— Не смотрите вы все на меня так! Я все-таки глава России... себе же назло и разгону Совдепию. Если хотите — так сегодня же. Чего откладывать?

Нет, он наглотался кокаину свыше всякой меры. Савинков от удивления даже присвистнул:

— Фьють, мои каурые!..

Под этот наркотический визг, под собственный свистеж и ошарашила его, как бомбой, шальная мысль: «Нет ты — так я!»

Так бывало и в прежние времена, когда шли они с друзьями на «дело». Мгновение решало все, мгновение!

VI

Он не любил оставлять дела на полдороги. «Пойду в осиное гнездо», — сказал сам себе и по окончании правительственного заседания, которое ничего, конечно, ни во внутренних, ни во внешних делах не решило, направился к Таврическому дворцу.

Путь не безопасный.

Если Корнилов, идя в правительство, прикрывался

текинцами и пулеметами, то он прикрылся обыкновенной солдатской шинелью и скинул лайковые перчатки. Вот так: военный министр с поднятым воротником, руки в карманах и фуражка уже другая, с головы поручика Патина, а у Патина — с башки своего денщика, немаленькой. Так что на уши напоззала. Но это, пожалуй, и хорошо: не на царском плацу. По крайней мере, всякому встречному — свой брат.

Поручик Патин праведной мыслью горел, когда собирался идти следом за своей фуражкой, мол, у него и еще одна такая найдется. Но Савинков сердито цыкнул: ну, без цуциков! Когда требовалось, являлся и язык прежнего экса.

Не успел и за угол к Таврическому завернуть, как наскочила возбужденная З. Н.:

— Не ходите... Богом прошу, Борис Викторович!..

— З. Н.? Откуда вы взялись? Да и вам ли говорить о Боге?

— Да хоть о черте. Там только что стреляли. А недавно Александр Федорович пропылил, ко мне на парах заскочил, попросил стакан воды, прямо в прихожей, как водку, выпил и... — Она даже всхлинула. — Выбежала вот следом, как дурная. Но пока одевалась, его машины и след простыл... Что это было? Стреляли ведь там! — ткнула она пальчиком в сторону Смольного. — Палили ведь, как осатанелые. То ли арестовывали кого-то, то ли на кого-то нападали...

Неужели Керенский, маятником качаясь между Зимним и Смольным, качнулся все же в свою сторону? От него можно ожидать и этого. Говорит одно, делает другое, а думает третье. Грозил ведь разогнать Совдепию. Ах, если бы!..

Но, зная неукротимое, божественное, истинно поэтическое преклонение З. Н. перед кумиром ее «революционного салона», думать дальше, тем более вслух, не решился.

— Так и быть, на обратном пути заверну. Гип-гип, ура, — отрезал он всякие возражения и крупным, размеренным шагом двинулся к решетке Смольного.

Смольный!

Выпустивший из своих благородных стен столько чудных русских женщин, — лебединый взлет великого Растрелли, — он напоминал теперь разбойничий приют. Заплеванный, загаженный. Туда свозили, в предвкушении власти, горы мучных мешков, полные кузова консервов, вина и вообще всякой жратвы. Вперемежку со снарядными ящиками и пулеметными лентами. С какими-то прихваченными на улице, застрявшими мычавшими провокаторами. Грузовики разносили за кованой решеткой смрад и вой. Бегали вооруженные до зубов солдаты и матросы — особенно балтийские матросики, ножами заколовшие, как барана, своего адмирала Напеина. Обвешаны, что азиатские шаманы, с ног до головы грохочущим железом. Выпущенные из тюрем каторжники, неприкрытые немецкие шпионы, разгулявшиеся в революции писатели и адвокаты; они призывали к себе министров Временного правительства и допрашивали их, как на пытке: «С нами — или против нас?» Поневоле и сам прибежишь. Вот только что, утирая кровь и слезы на лице, — по пути, видно, потрепали, — пропшыгнул в спасительные ворота министр земледелия, он же и Чернов, он же и доносчик, а ко всему прочему и суккин сын. Министра, еще недавно ораторствовавшего на правительственном заседании, провожали насмешками дегенераты с дамскими бриллиантами на грязных шеях, с золотыми кольцами на пальцах, которыми прицеливались по золотым же портсигарам с княжескими и графскими вензелями на крышках. Сами ворота ярко освещены, все видно. Савинков шел глаза в глаза, пыхтя разудалой козьей ножкой.

Прямо в воротах два пулемета. В проходе между ними матросня. Не обойдешь. Маузеры бьют по коленям, гранаты за отяжелевшими брючными ремнями. Гроза и опора революции, не шутка!

— У себя товарищ Троцкий? В кого стреляли? Почему так мало? Пуль жалели? — истинно революционными вопросами размел себе путь.

Ему с запозданием, по-за спиной, отвечали:

— И-и... стрелять-то разучились! На одного лазутчика пять винтарей... и все, мать их солдатскую... вкривь да вкось!..

Нечто подобное и говорилось, и слышалось еще несколько раз, прежде чем Савинков рукой раздвинул последнюю пару штывков и вошел в кабинет неукротимого Бронштейна.

Там, само собой, было столпотворение.

Савинков товарищески кивнул председателю Совдепии и молча прошел в передний сравнительно свободный угол. Так что справа оказалось только раскрытое от духоты окно. Можно было не торопясь возжечь очередную козью ножку. Мол, дело пролетарское, подождем.

Надо отдать должное сметливому Бронштейну: одного за другим распахнул по дверям своих приспешников и пошел к нему навстречу с протянутой рукой:

— Сам Ропшин? Не дрогнув перед солдатскими штывками?

— Сам Бронштейн? Не боясь моих оплеух?

Вежливо привстал со стула, но руки за спину, чтоб отряхнуть всякую прошлую фамильярность: пощечины пощечинами, но когда-то, в Париже, они опускались и до приятельских рукопожатий. Правда, перед ним был уже не прошлый, безобразно расхристанный, раздерганный Бронштейн, а человек вполне упитанный, чисто выбритый по открытым частям лица и даже постриженный. К тому же в просторной кожаной куртке, которая делала его и суровее, и строже, чем позволяла плюгавенькая фигура. Р-революция... браунингом ее в висок!..

Но на лице ни один мускул не выразил этих мыслей. Савинков вполне вежливо сказал:

— Не друзья, но и не враги же?.. В конце концов, мы оба социалисты.

Троцкий тоже сдержанно хмыкнул:

— В большей... или меньшей... степени!

— Хорошо. Пусть я в меньшей... конечно, в меньшей степени, — согласился Савинков. — Но дело-то вот в чем: будем мы защищать Россию?

— От кого?

Вопрос был настолько провокационный, что Савинков животом ощутил жар набухшего под ремнем кольца. Пожалуй, и на бледно-каменном его лице какая-то искра порскнула, потому что Троцкий шутливо отшатнулся. Смешно, если уж говорить о дальнбойном вессоне. Да и не с тем пришел Савинков, чтобы по-матросски трясти кобурой. Он вполне искренне повторил, уже на иной лад:

— Будем мы защищать революцию? Завоеванную свободу? Насколько я знаю, это целой строкой входит в вашу программу. Революция под кайзеровской пятой — этого вы хотите?

— Нет, — поспешил согласиться Троцкий. — Царь, кайзер, король — какая разница!

— Вот именно, — самым примирительным тоном заметил Савинков. — Но армия в последней степени разложения. Уж поверьте: я все-таки был комиссаром Юго-Западного фронта, окопной благодати хлебнул. Дисциплину... хотя бы партийную... ваша программа признает? Вот-вот, — вытащил он руки из карманов, чтоб выказать свои мирные намерения. — Без дисциплины и к бабе не сходишь, — в душе улыбнулся давним воспоминаниям, и Троцкий это понял, уже в открытую хмыкнул. — А Россия — не баба. А кайзер — не маменькин воздыхатель, лезет на нее всем своим железным брюхом. Но солдатские комитеты, по-моему, не только нам — и вам не подчиняются. Окопное поцелуйство. Братание. Как вы думаете, к чему оно приведет?

— К мировой революции.

— По-олоте, гражданин Троцкий! — убийственно засмеялся Савинков. — Вы и сами в это не верите. Придет мародерство. Всеобщая анархия. Животное скотство. Оно пожрет и вас, и нас. Не разбирая ни правых, ни левых.

— Так что же делать... гражданин Ропшин?..

— Перед вами не стихоплет! Перед вами министр! Человек, наконец! Давайте без псевдонимов.

— Это вам хорошо — вы Савинков, а хорошо ли мне, Бронштейну?..

— Бросьте. Среди моих бомбометателей были такие, с позволения сказать, евреи... Одна Дора Бриллиант, покалеченная собственной бомбой... ах, Дора, Дора... — вопреки характеру вздохнул он, — одна она чего стоит. С оторванными руками на каторгу пошла. Воскресни, так, право, окрестил бы... Но вот беда: я и сам двадцать лет не ходил к святому причастию. Может, вместе? Причастимся?

— А почему бы и нет, — хмыкнул Троцкий, как-то очень ловко доставая из телефонной тумбы початую бутылку «Смирновской», два стакана и два ошметка селедки на газете.

— Ай-яй-яй! «Правда»? — отметил Савинков характерный заголовок. — Не обидится.

— Не обидится. Она привычная... как и я, — побулькал Троцкий. — С нашим революционным причастием, гражданин министр.

— С революционным, гражданин Совдеп, — чокнулся Савинков и не поморщившись выпил, хотя водку не любил, да и от захватанного стакана несло еще позавчерашней, наверно, селедкой. — Вы спрашиваете — что делать? Я отвечаю — подчинить солдатские комитеты воинской дисциплине.

— То есть генералам?..

— Вот-вот, того же боится и Керенский. Но! — стукнул он о стол ненавистным стаканом. — Есть генералы — и генералы. Да и не они командуют полками — оконные страдалцы, самые простые пахари войны. По нынешним временам, выходцы из самых низов. Солдатские комитеты вполне могут положиться на них... чтобы и нынешние полковники полагались на солдатское братство. Две руки! Две руки единой общей революции, — внутренне покраснел Савинков за свое внезапное, отвратительное красноречие, но заметил, что оно пришло к душе Троцкому.

— Гражданин Савинков...

— Да, гражданин Бронштейн?..

— Ненавижу эту фамилию! Троцкий.

— Хорошо. Без оговорок.

— Вот так-то лучше. Не хотите второго причастья? — он без обиды плеснул одному себе. — Вы правы, пожалуй, гражданин Савинков... вы, конечно, правы, — поспешил договорить. — Армия есть армия. С анархистами нам тоже не по пути. Я поставлю об этом вопрос на заседании Совета рабочих и солдатских депутатов, я со всей откровенностью выскажу ваше мнение, мнение военного министра, которое мы на сегодняшний день признаем правомочным и с которым сотрудничаем...

— ...которому подчиняемся, как всякому правительству!..

— ...народному?..

— Разумеется. Что же это за правительство — без народа?

— Вот именно! Вот именно.

Разговор опять уходил в словесные дебри.

— А если, гражданин Троцкий, еще проще? Еще конкретнее? Солдатские комитеты — на правах военного совета. Полкового. Дивизионного. Армейского, наконец! Председатель совета — фактический заместитель командира. Что еще надо?

— Выборный командир.

— Но ведь это же безумие. Представьте, завтра вы будете возглавлять правительство или военное министерство, все равно. На вас прет немец, со всеми своими пушками, танками и аэропланами. Что, вы будете на митингах избирать командиров? Да на это полгода ухлопаете! А немцу и недели достаточно, чтобы занять ваш революционный Питер... — Он умел, когда надо, и говорить, не только хорошо стрелял, — он сделал внушительную, убийственную паузу. — Что вы тогда скажете защитникам революции? Да и где вы вообще-то будете? В лучшем случае — за Уралом. В худшем — в немецком плену. Вместе со мной, конечно, поскольку я, подчиняясь вам, как военному министру, с фронта не побегу и разделю весь позор русской армии. Этого вы хотите?

Троцкий, явно смущенный, отбежал к другому, огромному, заседательскому столу и начал копаться в ворохе бумаг. Что искали его скрытые стеклышками

бесовские глаза? Какие бумаги? Савинков не сегодня на свет явился, понимал: тянет время, раздумывает. Но у него-то времени не было.

— Так что мне сказать правительству? Видел я вас или не видел? Да и вообще, сам-то разговор был ли?

Савинков повернулся, чтобы уходить.

— Погодите... Борис Викторович, — вдруг по имени назвал его неукротимый революционер. — Разговор, само собой, был, но по нынешним временам мы пожалуй что и не виделись. Так, что-то через кого-то передавалось... Думаете, поймут вас в правительстве, что вы так вот, тайком, приходите в Советы?..

Савинков покачал головой.

— Вот видите. Мы поговорили... для обоюдной пользы... а дальше — как революционная ситуация сложится. Минутку! — схватил он со стола ручку. — Сейчас я дам вам обратный пропуск, чтобы не случилось чего...

— Савинков отовсюду выходит без пропусков. Даже из севастопольских военных тюрем. Даже из камер смертников!

Он небрежно распахнул шинель и, засунув руки в карманы, решительно двинулся к двери. Замолкший на полуслове Троцкий, конечно, не знал, что карманы-то были распороты и обе руки лежали на привычных, по-домашнему пригретых рукоятках.

Все же возвращаться прежними коридорами Савинков не рискнул. Смольный он знал распрекрасно, еще по прежним студенческим временам. Лабиринты переходов, смежных и перекрестных коридоров, зал и рекреаций, разных подсобных, обслуживающих лестниц выводили ведь не только к парадному подъезду; ими пользовались и великодушные девицы Смольного, и ихние ночные дружки-революционеры... Вся и разница, что сейчас еще нужно покруче сигарку в зубы, — было, было приготовлено с пяток козьих ножек. Савинков шел вразвалку, никому не уступая дороги. Это здесь любили.

— Вот дает пехота!

— А морячок за него в карауле сопи?

— Ла-адно! Что, браток, не сильно ли перебрал?..

Отвечать надо было не думая:

— В-полне р-революционно, братишки! Только что сменился с поста — имею право?

— Имеешь... вот счастливец!..

Но надо было выйти еще и за ограду.

У боковой малоприметной калитки — по давним воспоминаниям, ах, какой счастливой! — торчали часовые. Тоже кто-то пользовался потайным ходом... Савинков пошел с разудалым присвистом, конечно, покачнулся и сунулся всей козьею ножкой прямо в чью-то бороду:

— Бр-раток... э-э, браток?.. Погасла, з-зараза. Зажжем р-революционную?..

Козья ножка, сверху, как патрон, прикрытая ватным пыжом, вспыхнула так, что и бороду чуть не обожгла.

— О, чертушко!.. — одобряюще проводил его часовой. — Сразу видно, наш паря!

Напарник ответил более подозрительно:

— А ты забыл, что только один человек может пользоваться этой калиткой?..

Кто кому отвечал — уже не имело значения. Темнота Улица. Родная стихия. Савинков достал из потайного кармана сигару, откусил родимо пахнувший кончик, прикурил от ненавистной козьею ножки, а саму ее отшвырнул назад, к ворчавшей солдатскими языками калитке.

Так, с сигарой в зубах, и З. Н. на перекрестке встретил.

— С ума сойти, мадам! Неужели вы все это время торчали здесь?

— Да как же не торчать, когда вы, Борис Викторович, торчали в самой пасти!..

— ...Да-да, милейшая З. Н. В пасти революции. Нашей революции! Ради которой мы десять с лишком лет метали бомбы и палили из браунингов. Гип-гип, ура!

Он был в прекрасном настроении.

— Как говорят товарищи, я надрался... надрался в компании с товарищем Троцким. Да! Тьфу, — невежливо сплюнул под ноги. — Терпеть не могу водку, но при-

шлось — пришлось, дражайшая З. Н. Так что самое время запить ее чайком. Угостите?

Она очнулась от нервного транса и песенно, даже как-то молитвенно пропела:

— Бори-ис Викторо-ови-ич... Побойтесь Бога.

— Боюсь, боюсь, божественная!.. — Ему по старой памяти захотелось подурачиться. Ну кто замечает, что и время ушло, и женские годики посерели? Чахотка — это ведь тоже революция во всей ее женской сущности. Для кого-то и удавалось скрыть внутренний пожар, но только не для него. Румянец прожигает щеки даже в темноте... но не от давнего же восторга! Бр-р... Он даже поежился от немыслимого предположения: кто бы мог ее сейчас поцеловать?

З. Н. истолковала все это по-своему.

— Не бойтесь, Б. В. Меня вы в этом смысле никогда не боялись... Чайку-то не попьем? — умная женщина сразу перевела разговор на житейское.

Но не успели подняться в квартиру и, едва раздевшись, по старой привычке пройти в «дамский», наиболее удаленный кабинет, как во входную дверь постучали. Так обычно поступали свои, близкие знакомые, чтобы зря не будоражить прислугу, звонок для которой нарочно отнесли в сторону.

Савинков не был расположен к новым встречам и отрицательно мотнул львиной набрякшей за день головой: гони, мол, всех к черту!

Но на такой приятельский стук дверь следовало все же открывать. З. Н. сама поспешила в прихожую. Правда, из осторожности окликнула:

— Кто там?

— Министр.

Какая-то фантазмагория — голос незнакомый! А уж министров-то, даже каждодневно сменяющихся, она в своей приемной повидала. Но страх ей был неведом, да и любопытно: неужели любезнейший Александр Федорович опять кого-то назначил-переназначил и посылает, как всегда, «на смотрины»?

Открывает дверь. Стоит привычный петербургский

шофер официального клана — развозит чиновничью публику и цену себе знает. Кожаная куртка. Гетры. Картуз. Защитные очки. Даже нечто холуйское в бледном испитом лице... Не сразу поняла полуночный камуфляж.

— Вы... Александр Федорович?!

— Да, на одну минуту.

Не проходя через ближайшие двери в столовую и не раздеваясь, тем не менее, и уходить не собирался.

— Савинкова нет?

— Он ведь давно ушел и не обещал возвращаться. Помилуйте, Александр Федорович, полночь уже.

— Ну, для Савинкова полночи не существует. Мне стало известно: он только что был в Смольном. Интересно, о чем ему толковать с Троцким?..

Гиппиус была хорошей актрисой: ничто не дрогнуло на ее нервном, обычно подвижном лице.

— Смольный... и Савинков?! Вот новость. Что, стрелял в Бронштейна?

— Он не Бронштейн, он Троцкий, как вы все этого не понимаете! Он — власть. Реальная власть в Петрограде.

— Алекса-андр Федорович! Реальная власть — это вы. Еще — Корнилов. Еще — Савинков. К. С. К.! Используйте такой удачный триумвират: Керенский—Савинков—Корнилов. Чего вы боитесь?

— Я никого и ничего не боюсь. Я лишь опасаясь... измены, понимаете?

— Ну, это уж, Александр Федорович, знаете!.. Савинков? Корнилов? Измена?!

Как-то незаметно, но уже и в гостиную перешли. Все при тех же гетрах, при картузе. Театр, да и только.

— Не в них дело, Зинаида Николаевна. У каждого — куча сподручников. У Савинкова — все эти артисты-бомбисты, разные порученцы-поручики, вроде Патина. У Корнилова — одна Дикая дивизия чего стоит! И — никто ничего не понимает. Я борюсь с большевиками левыми и с большевиками правыми, я хочу пройти посередине, а от меня требуют военного положения. Что закричат «товарищи» из Смольного?!

— Тогда ступайте в объятия к ним — не будут кричать.

Что за женщина эта З. Н.! С ней и премьеру не справиться. Савинкову хотелось выйти и вышвырнуть его за дверь вместе с камуфляжными картузами, гетрами, со всей наркотической чепухой. Но он знал, что З. Н. и сама хорошо управится, а с Керенским все равно придется говорить завтра, вернее, поутру, накануне отъезда к Корнилову. Он поудобнее уселся в кресле и попытался сосредоточиться на стихах, которыми были буквально пропитаны все разбросанные и скомканные бумаги. Да-а...

«Когда предлагали мне родиться — не говорили, что мир такой. Как же я мог не согласиться?»

Стихи ли, бунт ли оскорбленной души? Но кто мог оскорбить Антона Крайнего — надо же выбрать себе такой псевдоним! «Как ей хочется быть мужиком», — вдруг понял Савинков.

Какие там стихи! Слышно даже через двое дверей:

— В объятия? Но они идут на разрыв с демократией. Как я могу это допустить?! Я? Я? В такое трагическое время ставший у руля революции?..

Савинков, кажется, хотел, чтобы его услышали — уже почти в полный голос им вторил:

Здесь все — только опалово,

Только аметистово,

Да полоска заката алого,

Да жемчужина неба чистого...

Нет, это уже не Антон Крайний — Антон Крайний буживал там, за стенами кабинета, перед самим премьер-министром:

— А я вам говорю: бойтесь! Не бойтесь... не бойтесь, дорогой Александр Федорович. Мы с вами...

«Я — с вами», так будет верней, — поправил Савинков.

— ...мы все с вами. Покруче нажимайте. Помните, что вы — всенародная власть, вы над партиями...

— Не «над», а «под»!

— Вот именно, Александр Федорович, вот именно. Выбирайтесь из этого подполья. Властвуйте же наконец!

В ответ широкий, нервный топот по гостиной. Уж кто-кто, а Савинков-то знал: давно Керенский пытается сделать из себя этакое самодержца, для чего и поселился в Зимнем дворце, в прежних царских покоях, и даже на трон как-то перед министрами садился, а уж вся остальная атрибутика — столовые приборы, царские погребца, услужение, автомобили, ковры, непомерные кровати — это и царю-то, наверное, претило, поскольку было от рождения привычным. А вот присяжному поверенному — нравится, еще не накушался царского пирога. Прохвост... но на кого же им садиться? Где Рыжий, где Белый, где Конь Вороной?.. Не может быть, чтобы только Конь Бледный и оставался!

— Его затопчет Бледный Конь...

— Ну, это уже ваша версия. Помнится, у меня было — Рыжий Конь?

— Который раз мы с вами спорим? Который? Пойми те же: Бледный! Четвертый, последний Конь Апокалипсиса. «...Конь Бледный, и на нем всадник, которому им Смерть; и ад следовал за ним...»

Савинков вдруг заволновался:

— Да — ад. Именно так и будет. Своей смертью мне не помереть. Не удастся, дорогая З. Н.!

Вот тут уже страха никакого не было. Все унеслось, поднялось ввысь — к облакам. На земле осталась только какая-то высшая, надчеловеческая уверенность. Он спокойно напоследок поцеловал ей руку и деловито призначился:

— Вам можно доверять все... даже и это... Завтра, самое крайнее послезавтра, как только окончательно уговорю Керенского, я еду в ставку Корнилова. Если мы не хотим все погибнуть и вместе с собой погубить Россию, надо вводить военное положение. К. С. К.! Керенский не может без Савинкова, Савинков не может без Корнилова, а все трое мы не можем друг без друга, хотя и торгуемся... как жида в какой-нибудь лавчонке. Но Россия — не лавочка! Еду. Решаюсь. Не поминайте лихом.

Он не хотел выслушивать напутствий и вышел своей твердой, быстрой походкой.

VII

Вагон военного министра был прицеплен к курьерскому поезду. Обычный вагон, в котором ездили и царские министры, с той только разницей, что шел он по новой, задезертирившейся, обезумевшей России. Кругом мешочники, никому не подчиняющаяся, но вооруженная солдатня. Вагоны берут приступом, даже не спрашивая, в какую сторону они идут. Лишь бы ехать. Лишь бы в пути ухватить что-нибудь пожрать. А охраны почти не было, всего-то адъютант Патин да четверо юнкеров. Зато — каких! Одним своим молодецким видом, выправкой, а главное, смертной решимостью в глазах останавливали лезущую на подножки толпу. Вдобавок и пулеметы на площадках, как раз по две пары, направо и налево. Когда становилось совсем невмоготу, над головами, сшибая запаршивевшие, с содранными кокардами, фуражки, рассеивались громовые очереди, иногда даже счетверенные. Страх все-таки сдерживал толпу, и это еще больше укрепляло Савинкова в мысли:

«Военное положение. Везде. По всей России. И прежде всего на железных дорогах. Ничего, Троцкие-Тоцкие почешутся, но согласятся. Им тоже деваться некуда. Призрак всеобщей анархии кого угодно в объятия бросит».

Он покуривал неизменную сигару и сквозь щель занавески посматривал на мятущуюся толпу, которая еще не так давно, при прошлогоднем Брусилове, и во время июньского наступления, при нынешнем Корнилове, была грозной, для немцев просто недоступной армией. Но этой армии уже не существовало... За два месяца, с помощью Тоцких-Троцких, она окончательно развалилась, и почему немцы, взяв Ригу, вступив в Финляндию, торчат где-то под Нарвой и не берут Петроград — сказать никто не может. Скорее всего, та же анархия, что и здесь. Немцам тоже хочется жрать и грабить.

Потому они в первую очередь прут на хлебную Украину, не встречая никакого сопротивления. А ведь и надо-то совсем немного... Рассказывали, и вполне досто-

верно, что десяток офицеров во главе с полковником, надеясь уже на солдат, скрытно выдвинулись с двумя полевыми пушками и четырьмя пулеметами в передний дозорный окоп и так встретили наступавший, тоже под палкой, немецкий полк, что он бежал с криком: «Русиш дивизион!» Так можно ли воевать в таком положении?..

Мысли прервал на какой-то запатной станции особенно похабный ор за окнами:

— Таперича слобода! Какая еще военная министра?..

Фуражки сыпались уже вместе с кровавой пеной. Сейчас пойдут в ход приклады — по стеклам... Савинков деловито приготовил еще два запасных пулемета — для себя и для Патина. Не царские времена, браунингами не отобьешься.

К счастью, машинисты были надежные. Не дожидаясь положенного звонка, рванули прямо на красный свет и уже поодаль, за станцией, остановились, едва не врезавшись во встречный: на последней стрелке, чиркнув концевым вихляющим вагоном по поручням паровоза, пронесся все с теми же орудиями, стреляющими куда попало солдатами.

Несколько пуль просвистело и над столом со штабной армейской картой. Савинков придержал за руку Патина, который хотел вдогонку угостить славную солдатскую братию, ехавшую явно по своим деревням:

— Не надо. Давайте лучше выпьем.

И когда уже поуспокоилось, вроде бы для себя, но все же вслух, разговорился:

— Ради чего все это? Я годами скрывался в подполье, я вечно болтался между тюрьмой и виселицей, я рвал в клочья своими бомбами царских министров, губернаторов и великих князей — и что? Чтобы эта вот сволочь, — он кивнул на раздрызганное пулями окно, за которым проносился очередной увешанный солдатней поезд, — потерявшая всякий облик человеческий, бросала фронт и матушку-Россию и мразью вооруженной расплзлась по стране? Грабила своих же мирных жителей? Когда-то это мародерством называлось и каралось расстрелом... Знаете, поручик, появилась мысль: не послать ли в

Тобольск за Николаем? Да-да. — Не будучи пьяницей, он выпил все-таки еще рюмку. — Мой приятель, соратник, эсер Макаров, у которого, кстати, после возвращения из эмиграции мы останавливались, — так вот он, оказывается, и отвозил все царское семейство в Тобольск. Боимся? Чего? Монархии? Парадокс истории... Я, социалист, начинавший даже с большевиками, я, давний эсер, вместе с царем и на большевиков плевавший, теперь говорю: выбора нет. Свобода? Братство? Демократия? Все пустые слова! Есть власть — и есть безвластие. Ничего иного! — Он помолчал, понимая, что ничего существенного предложить не может. — Знаю вашу честность и преданность, поручик, потому и скажу: если не удастся сговориться с Корниловым, так что же останется?.. Думайте.

Поезд подошел к Могилеву, к Ставке Верховного главнокомандующего. Здесь уже не было разнузданной солдатни. Прямо образцовый, как и раньше, порядок. Вот что значит сила! Власть!

Но ведь власть-то эта держалась на клычках Дикой дивизии, которая беспрекословно веровала в своего «бóяра»? Совдеп в Могилеве безмолвствовал. На всех постах бронзовозаматеревшие текинцы, белые папахи, кинжалы за поясами, неизменные кривые клычи. Ставка находилась в том самом губернаторском доме, где около двух лет прожил государь, и недавний разговор со своим адъютантом как-то больно ударил Савинкова по сердцу: «Все тот же парадокс! От царя отреклись, а живем в царских хоромах... как и Керенский, и другие».

Впрочем, генерал Корнилов мало напоминал «других» — просто здесь как была, так и оставалась Ставка двух необъятных фронтов — европейского и азиатского. Следовательно, связь, коммуникации, склады, казармы, лазареты. Да и сам Корнилов, сын сибирского казака и калмычки, мало походил на прежних генералов. Невысокий, жилистый, с зоркими, прищуренными глазами, он с первого взгляда отметал всякое двоедушное. Легенды о нем ходили еще с Туркестана, когда он в чине капитана Генерального штаба напросился в глу-

бокую разведку по Афганистану, и всего-то с двумя верными джигитами-туркменами, откуда после всех безуспешных предыдущих попыток вернулся с подробными планами и снимками английских укреплений, — не сиделось тогда англичанам на дальних подступах к Индии, хотелось и к российским провинциям подобраться. Легенды эти, причем самые достоверные, росли вместе с чинами и ранними морщинами, — он уже и сейчас лицом походил на китайского божка. Не зря же так, не за страх, а за совесть, сроднился с кавказцами-текинцами. А после дерзкого и, казалось, безнадежного побега из австрийского плена ему не требовалось ни громового голоса, ни стрекота телеграфов — он больше уважал громовые раскаты пушек и ровный рокот пулеметов. Не его вина, что так успешно начатое июньское наступление было бездарно, а проще говоря, предательски задушено в Петрограде онемечившимися руками Тодких-Троцких и безвольно-морфинистскими — Керенских. Начавшееся отступление обернулось повальным дезертирством. Корнилов мог еще держать в железной дисциплине свои ближайшие дивизии, но уже не властен был над совдепами и временными министрами, которые с двух концов, но одинаково безумно сжигали, разлагали армию.

Что-то трагическое проступало в его застывшем лице. Но Савинкову не приходилось выбирать: не было сейчас в России более надежного человека, чем Корнилов. При нем и Керенский вместе с окружавшими его агитаторами-истеричками мог показать надлежащую власть.

Навязывать свое мнение такому человеку бессмысленно, но и скрытничать негоже: все поймет с первого взгляда. Добравшись до Ставки и даже не отряхнув дорожную пыль, Савинков начал без всяких предисловий:

— Лавр Георгиевич, вы смотрите на меня как на башибузука-революционера, я на вас — как на царского генерала. Но мы давно уже не прежние, и мы давно — одно общее. Можем смотреть спокойно на все происходящее? Немцы идут на Петроград, фронты от повального дезертирства оголяются, и даже странно, что мы еще

держимся... что вы еще держитесь, по крайней мере, на вашем участке фронта...

— Вы напрасно льстите мне, Борис Викторович. Да, на австрийском фронте положение помаленьку улучшается. Спасибо, не без вашей помощи Керенский согласился на возобновление смертной казни. Вовремя расстрелянный дезертир и провокатор иногда спасает целый полк. Но при нынешней анархии и при нынешних совдепах, особенно фронтовых, мне от Черного моря до Балтийского не растянуться. Коротковаты! — сам того не понимая, артистично развел он руки по разложенной на столе карте.

— Если не возражаете, Лавр Георгиевич, к вашим рукам я присоединю и свои, — так же размахнулся от моря до моря Савинков с противоположного конца стола.

Едва ли минуту назад они думали, что руки их сойдутся в таком братском смертном рукопожатии. Белая, холеная рука военного министра и жилистая, темная — Главковерха.

— Аннибалова клятва?..

— Да, если хотите. Рука об руку.

— Не замечал я в вас, Борис Викторович, подобной сентиментальности...

— Не замечал и у вас, Лавр Георгиевич, подобной снисходительности к штатскому человеку.

— Савинков — штатский? Как вас называли — «Генерал террора»...

— Если и был генерал, то весь вышел. Браунингом и самодельной бомбой Россию сейчас не спасешь. Вы — боевой генерал!

— Да почему же именно я?

— Потому, что вам доверяют — прежде всего солдаты. Для всех нас — вы последний исход... Надо идти на Смольный!

— Ваше прежнее — К. С. К.?

— Иного выхода нет. Триумвират! Военное положение. Везде — на фронте, в тылу, по всей стране. Промышленных жуликов, раздевающих армию, дезертиров, ее разлагающих, большевиков, нас скопом продающих немцам, — всех к ногтю, как говорит мой поручик...

— Что за поручик?

— Есть такой. Патин. Много таких — Патиных. Видите! У нас же ни царя, ни правительства, ни военного министра!..

— Вы же, Борис Викторович, министр? Побойтесь Бога!

— К сожалению, я безбожник. А как военный министр... сделать могу не больше своего адъютанта Патина. Связан по рукам и ногам. Значит, рвать пути! Только так — военным рывком, без обсуждений и словопрепений. Слова — как пена, слова — измена! Верно говорит наша дорогая поэтесса...

— Мне не до поэзии, Борис Викторович. Что вы предлагаете... Диктатура?! Триумвират?!

— Дело не в названии. Пусть Керенский посредине, президентом. А мы с вами... слева да справа!

— Вы, конечно, полевее?

— А вы, безусловно, поправее? Хорошо. Правая рука России — ваша, Лавр Георгиевич!

— Ох, эта российская привычка!.. Слишком много слов! Есть согласие Керенского?

— Я говорил с ним, уже решительно, но... опять разговоры!.. Да, перед отъездом. С трудом, но удалось убедить, что глупо и унижительно положение Временного правительства рядом с Совдепом, который давно стал отделением германского штаба. Александр Федорович готовит постановление правительства — о введении военного положения...

— По всей России?

— Петроград и Москву пришлось уступить в пользу демократии. Не забывайте, что мы социалисты, — иронично улыбнулся Савинков. — Но все остальное — тылы, военные заводы, снабжение, железные дороги, суды — под единую руку. Да, пускай и тройную. И-и... — помедлил он, — непременно, поголовный арест и предание суду военного трибунала всего петербургского Совдепа! Со всеми Ульяновыми и Бронштейнами.

— Неужели и на это согласился? Ведь Керенский — и сам член Совдепа. Он туда на цыпочках бегае!

— Ошибаетесь, Лавр Георгиевич, — с той же улыбкой возразил Савинков. — Не бегают, а ездят в Смольный на автомобиле императрицы Марии Федоровны. В остальном вы правы: этот Троцкий, со своим клоком бороденки, топает на премьера ногами и орет: «Продались царским генералам! Вы не революционер, вы — контр!..»

— И что же?

— Утирается премьер рукавом... и надирается кокаином... Уж лучше бы русской!

— Не откажите в любезности, Борис Викторович. Да и время — самое обеденное.

Уже позднее, пообедав и начитавшись телеграфных лент, которые были мрачнее одна другой, Корнилов скучным штабистским росчерком двинул по карте свои войска:

— Хотя основная армия разложена и развалена, я рвусь за несколько ударных батальонов... ну знаете, моего собственного имени. Правда, они на фронте исполняют роль заградительных отрядов, но что же делать — придется. Дальше! — продолжал он передвигать карандаш по карте от австрийской границы к Петербургу. — Ближние части, псковских, новгородских и прочих гарнизонов, никуда не годятся, они во власти ваших совдепов... Извините, — поправился он тактично, — петербургских совдепов. И потом, для стремительного захвата городов необходима конница, она больше бьет по воображению, да и передвигается в четыре ноги. К сожалению, и гвардейская конница не оправдывает своего овса — помните, в бытность вашу комиссаром, кирасиров в Бердичеве? Вот-вот, — горько ткнул он, как штыком, сломавшимся карандашом. — Надежны и дисциплинированы только кирасиры Его Величества... — по прежней привычке сказал он. — Да, этих можно двинуть на Петроград. Да, Желтые кирасиры вместе со своим командиром князем Бековичем-Черкасским грудью пойдут на Совдеп! Но этого мало. Я вынужден буду двинуть и Дикую дивизию...

— Но что скажут мои любимые демократы?! — в приговорном ужасе спросил Савинков. — Иностранцы освобождают Россию?!

— Дорогой Борис Викторович, когда вы за свое бомбометание сидели в севастопольской военной тюрьме, не все ли равно было, кто откроет дверь смертной камеры? Татарин? Хохол? Грузин?.. Конечно, я понимаю вас... политиков петербургских... — досадливо взял Корнилов новый карандаш. — Дикая дивизия не пойдет первым эшелонам, будет как резерв, на зачистку, так сказать. Есть еще хороший конный корпус — общевойсковой, без инородцев. Есть армейские, вполне боеспособные части генерала Крымова... вы его знаете, отличный боевой генерал...

— Вне всяких подозрений.

— Видите, уже кое-что набирается. Вам, безбожнику, я все-таки скажу: с Богом! Но... — замедлил он стремительное движение к Петрограду карандаша, — если корпус Крымова, пехотный все-таки, не успеет подойти, если ваши совдеповские железнодорожники утворят какую-нибудь сволочную забастовку и не успеют даже кавалеристы, если наш любимейший премьер не получит вовремя достаточную дозу кокаина и утворит нечто бабье-демократическое... это будет... полной катастрофой. Полным крушением и фронта и тыла. Я оголяю фронты, чтобы спасти тылы России. Вы понимаете это?!

— Я понимаю, прекрасно понимаю вас, Лавр Георгиевич, — в полный, хоть и невысокий свой рост, как раз под Корнилова, встал Савинков над картой, давая понять, что штабные учения покончены. — И заверяю: сделаю все, и даже больше, чем все, чтобы вашими силами смести совдепы. Безбожник, но тоже говорю: с Богом!

Они еще раз пожали друг другу руки, и Савинков, не теряя времени, двинулся со своим министерским вагоном в обратный путь.

В поддержку юнкерам Патин взял еще десяток казаков и несколько дополнительных пулеметов.

— Может, сразу уж блиндированный поезд? — сев наконец-то за походный стол, спросил Савинков.

— Не торопите, Борис Викторович, — отставил рюмку Патин. — Может дойти и до блиндированных...

— Не каркайте, поручик. Пейте.

— Пью, мой генерал!

— Я бы мог и обидеться за это!..

— Ну что вы, Борис Викторович!.. Просто не хочется мрачных мыслей. За счастливую дорогу! — махнул он рюмку, доставая папиросу.

— За счастливую, — неторопливо посмаковал Савинков и закурил сигару.

Истинно на счастье заторов и задержек на обратном пути не было.

VIII

— Безумец-самодержец... и раб большевиков!..

— Что? Что вы сказали, Борис Викторович?..

Ведь слышал, а притворяется глухим. Артист! Вот только сумеет ли доиграть свою роль там, в Смольном?

Савинков отговаривал: о чем можно было сейчас договариваться, о че-ем?! Полки и дивизии Корнилова, пока что негласно и незаметно, подвигались к Петрограду. Надо было ставить последнюю точку — вводить военное положение. Министры прибыли на заседание все, как один, кроме Чернова, который отирался, видимо, у Троцкого. Они знали, что должно произойти, и были сумрачны, серьезны и неразговорчивы.

Через полураскрытую дверь большой министерской приемной Савинков слышал звонок, слышал бессвязные и торопливые оправдания Керенского, а потом и его папаческие сборы. Не иначе как на пожар?

Но пожара никакого не было. Просто в Смольном, видимо, уже прослышали, что батальоны, корпуса и дивизии умевшего держать свое слово Корнилова, при всем нынешнем саботаже и беспорядках на дорогах, уже высаживались на подступах к Луге. Собственно, шли они хоть и скрытно, но с ведома и согласия Керенского, более того, для прямой защиты правительства... от распоясавшихся мародеров и анархистов. Так в узком кругу договорились — если топот корниловской конницы дойдет до ушей Совдепа. О самом Совдепе, разумеется, и речи не было.

Все это время Савинков с внутренней дрожью на невозмутимом лице подталкивал и подталкивал продвигавшиеся к Петрограду эшелоны; медленно, теряя по дороге прежнюю корниловскую дисциплину, но все же шли они по тайному уговору. К тому же распускался слух, что тут будет контрнаступление на немцев. Само собой, укрепляется прибалтийский фронт.

Сам Корнилов задерживался в Ставке. Там и все штабные связи, там и безопаснее. Именно с этой целью предполагалось, что сразу после заседания правительства и сам Керенский уедет в Могилев, под защиту корниловских штыков. Военное дело пусть делают военные. Правительство пусть переждет смутное время, а заодно без всяких телеграфов и переписки состыкуется с Корниловым. Все ясно и понятно.

Савинков оставался в Петрограде, в самом пекле закипавшего котла. Он самолично выбрал эту жертвенную роль; тут же, без промедления, по указу Керенского должно было последовать назначение его петроградским генерал-губернатором — фактическим правителем революционного змеюшника и всех прилегающих к нему провинций. Он уже создавал несколько ударных отрядов, которые становились под его беспрекословное начало. Главный — отряд Патина; именно ему и предстояло арестовать посидельцев Смольного. Судьба Совдепии оказывалась в полных руках Савинкова.

Но руки-то, руки... пока связаны!.. И развяжет ли их Керенский, побежавший... за советом в Советы?!

Тут была горькая ирония, в благополучном исходе которой Савинков сильно сомневался...

Как ему только что сообщили, корниловцы наступают уже не таясь, а правительственного Декрета о военном положении все нет и нет. В таком случае против кого же идут они? Кого защищают?!

Да, дела такие: министры, даже премьеры, как напроказившие школьники, держали ответ перед Смольным... Троцкий тряс бороденкой и кричал:

«Что вы себе позволяете, гражданин Керенский?!»

«Но ведь, собственно, ничего и не произошло...»

«Ни-че-го? И это после того, как Корнилов, поговору с Савинковым и, возможно... лично с вами!.. бросил на революционный Петроград своих черкесов?!»

«Черкесы, говорят, далеко...»

«Ах, говорят! Ах, далеко! Они еще не в Смольном! Они еще и ваше... временно-сраное!.. правительство клычави не изрубили?! Ждите мясорубки. Но мы, сознательные революционеры, ни под штыки, ни под сабли не пойдём. Сами возьмем их в штыки. Я! Лично я возглавлю оборону Петрограда!»

«Именно это мы и предполагали, назначая от имени правительства полномочного генерал-губернатора...»

«Савинкова? Он — предатель. Он — заодно с Корниловым. Арестовать Савинкова!»

И слышно, как с грохотом мчатся набитые матросами грузовики. Смешно, не на того напали! Пока возьмут Савинкова, можно и послушать, что там мямлит серо-землистый, дрожащий премьер... Ого, на него уже в открытую топают ногами, а матросы перед самым носом потрясают маузерами. У Бронштейна клок бороденки, задранный кверху из-за малого роста, исходит огненной революционной пеной:

«Вы сами продались царским генералам! Вы... лично ответите перед революционной совестью!»

«Нет, моя революционная совесть чиста. Я сам только что утром услышал о наступлении Корнилова на Петроград. Возвратясь в Зимний, я сейчас же выпущу воззвание... заклеймлю Корнилова изменником и предателем... Арест! Да, отдам приказ об аресте».

«Это уже лучше. Но — пришлите воззвание в Смольный, для корректуры. Все!»

Премьер и тому рад, что жив остался. Вихрем обратно, за стол заседаний, где уныло торчали ничего не понимающие министры. Они уже свыклись с военным положением, которое должны объявить, а тут...

— Корнилов — предатель. Измена. Срочно воззвание! Все на защиту Петрограда! Корнилова — отстранить, арестовать. Я сам буду Главнокомандующим!

Адъютант Савинкова Патин, выхватив из-под ремня

своей вёссон, грудью загородил было дорогу к телеграфному аппарату, но набежала личная охрана Керенского, и под охраной он гневно приказал доверенному телеграфисту, бросая помятый в потной руке листок:

— Вот! Срочно! За моей подписью!

Кивнув Патину, чтоб уходил, Савинков повернулся, чтобы и самому уйти... и больше никогда не возвращаться в этот сумасшедший дом!..

Но не так-то просто и дверью хлопнуть. Мало министров, стонущих, как бабы при родах, — еще и всякой посторонней публики набилось. Наверняка и осведомители Смольного, и уличные шарлатаны, и неизвестно как забредшие сюда пьянчужки, и разнахальные петроградские газетчики. В одном углу истерично рыдали, в другом без всякой утайки вытряхивали из пакетиков в глотки белый, такой успокоительный и такой подходящий для сегодняшнего дня порошок... А на диване, как в самом забубенном кабаке, даже затянули:

Встава-ай, проклятьем заклейменный!..

Уж истинно проклятье! Клеймо. Позор.

Савинков с трудом выбрался из сумасшедшего дома и отправился к З. Н.

По улице мчались грузовики и слышались крики:

— Савинкова! Савинкова в первую голову!

— Ищите на квартире! Ищите в министерстве! Ищите везде!..

Это было даже не страшно — было до горечи смешно. Правительство как ни в чем не бывало заседает, а одного из главных министров разыскивают по улицам, как Ваньку-карманника... И ведь не отдашь ответного приказа об аресте всех этих Тоцких-Троцких: нет у него ни власти, ни солдат под министерской рукой...

Он с трудом преодолел искушение испробовать на них, не заржавел ли нынешний кольт, как когда-то и браунинг. Но все та же горькая мысль:

«Министр-одиночка! Вот дожили!..»

Оказывается — нет. Не один. Следом набежал Патин, уже успевший переодеться в солдатскую шинель. За ним вразной, чтоб не привлекать внимания, тянулось еще

с десяток распаханых, явно увешанных оружием шинелей.

— Генерал! Ну хоть один грузовик?

Савинков приобнял за верные плечи:

— Поручик, нас слишком мало. Идите на нашу тайную квартиру и ждите от меня вестей.

Он неприметно помахал рукой всем остальным, сворачивая в переулочек. Смешно, но самым безопасным местом сейчас была уютная дамская гостиная.

З. Н. не терпелось узнать «все до последнего мизинчика», но ему играть в поэтические сентиментальности не хотелось. Да и салонного, жадного до новостей народу — не протолкнешься. Нижегородский говорок опять:

— Конечно, Буревестники — не ангелы, но что ж мы хотим? Лично я Троцкого не люблю, но у него другого выхода нет. Революция в самом деле в опасности. Петроград надо защищать, поскольку от Временного правительства ожидать больше нечего...

«...кроме водки», — про себя сказал Савинков и, снимая шляпы, прошел в дальний, «дамский», кабинет.

Там он плюхнулся в кресло, посидел некоторое время с закрытыми глазами и уж тогда вскинулся на молчаливую З. Н.:

— Извините. Не до приличий. Кроме водки, как просит Буревестник, не найдется у вас какой-нибудь служебной каморки до утра? За министром гоняются по улицам, как за паршивым карманником.

З. Н. молитвенно сложила ладошки:

— О чем разговор, дорогой Б. В.? Да мы, да мы с Димой...

Он смеялся над ее поэтически несдержанной преданностью, и она, чутким глазом прозрев это, замолкла и провела в какую-то заднюю комнатку — место сбегавшей прислуги.

Следом — сам профессор, умнейший человек, что ни говори. Да он и не говорил ничего — просто поставил на прислужный столик наспех собранный поднос. Графинчик, балычок, огурчик даже — ай да профессор! Савинков молча пожал ему руку. Он сейчас же и вышел. Поня-

ла наконец-то его состояние и неукротимая З. Н., тоже поспешила оставить одного. Обошлась всего тремя словами:

— Белье сейчас принесут.

Значит, не вся еще прислуга в революционном порыве разбежалась. Выпив водки и даже не закусывая, Савинков быстро разделся и, не дожидаясь свежих простыней, бухнулся на узкую железную кроватку, в изголовье которой валялась женская ночная рубашка, тут же сорванный нательный крестик и скомканный носовой платок. Брезгливости от чужой постели у него уже не было — расплылась за прошедшее время. Да и не спал он две ночи подряд — сразу в темный омут с головой потянуло. В полуоткрытую дверь кто-то сунулся с простынями, но, поняв, в чем дело, бросил простыни на стул, исчез и прихлопнул смутный свет коридора. Тьма установилась непроглядная. Засыпая, Савинков понял, что и окна-то здесь нет — чулан, обычный лакейский чулан. «Ах, милая З. Н.!» — понял он эту революционную предосторожность. Не от скупости же затолкала его сюда — все от той же давнишней влюбленной преданности. И от мысли такой ему стало хорошо и уютно на узкой железной кроватке, не помещавшей мужские ноги. Девчонка, что ли, тут обреталась? Не ахти какой и у него рост, но пришлось просовывать ноги сквозь прутья, чтоб всласть потянуться... как было когда-то, всем на удивление, даже жалостливому батюшке, в камере севавтопольских смертников... Забывают люди простую истину: утро вечера мудренее. Утром воспрянут расхлестанные нервами силы, и все станет на свое место.

Так оно и вышло.

Петербургская интеллигентность З. Н. не позволила будить мужчину, пусть и самого дружеского окружения, — вбежал поспешно, совсем не по-профессорски Дмитрий, давай дергать одеяло со словами:

— Опять гетры... картуз... шофер!..

Даже со сна понять нетрудно. Савинков в две минуты собрался, ополоснул лицо из предусмотрительно... подсунутого кувшина, причесался, передернул плечами

перед осколком лакейского зеркальца и вышел в гостиную.

Так и есть: гетры, картуз, полнейшая неменяемость бескровного, безжизненного лица.

— Борис Викторович, я надеюсь, у нас одна цель! Одна отправная точка — и одна великая задача! Родимая, выстрадавшая Революция!..

Он понимал, что слово «Революция» произносится с большой буквы.

— Прочь разногласия. Революция в опасности. Я от имени правительства!.. — долгая, жалкая пауза, будто закусывали похмельную стопку сильно пересоленным огурцом. — От имени правительства я назначаю вас... Борис Викторович, в эту трагическую для России минуту... назначаю полновластным петербургским генерал-губернатором. С правом неограниченной власти! С правом принимать все решения, необходимые для спасения нашей светлой, осиротелой Революции!.. Вот Указ. Мандат, — сунул он в руку кожаную папку и развернул, показывая свою подпись.

Он склонил голову. Он плакал. Премьер России, сам себя возведший в самодержцы...

Савинков лихорадочно и трезво соображал.

— Но ведь поздно? Против Корнилова, еще и не приблизившегося к Петрограду, брошена вся совдеповская сволочь!..

— Ах, Борис Викторович, как вы выражаетесь!.. — трагически закрыл Керенский глаза истощенными, безмускульными руками. — Все-таки и они социалисты, и мы социалисты...

— Мы — половые тряпки под ногами Тощих-Тощих. Мы предали Корнилова и самих себя. Вы понимаете, что происходит? Войска Корнилова идут на защиту правительства... вас, вас защищать... уважаемый морфинист!.. — не сдержался Савинков и позволил себе то, чего никогда в частных разговорах не позволял. Извините, меня не интересует личная жизнь. — Меня интересует Россия, проданная Бронштейном и Ульяновым. Я понимаю, что в этой обстановке сделать... одному уже ни-

чего невозможно, но... Я принимаю ваше предложение. Вы подчиняете мне все верные правительству войска?

— Но ведь я Верховный главнокомандующий и с отстранением Корнилова от должности взял всю полноту власти, в том числе и военной, в свои руки...

— ...руки плюгавого морфиниста! — опять несвойственно себе повысил голос Савинков; повыскакивали все домочадцы, включая и перепуганного профессора. — Этим рукам... предательским... я больше не верю, как не верю и забубенной присяжной голове. Но! — он не давал прервать себя. — Я иду. Я до последнего патрона буду биться с Троцкими-Тощими... и с вами, если потребуются, Александр Федорович. Говорю — как генерал-губернатор. Диктатор! И-и... прочь с глаз моих, несчастный премьер!

Шоферские краги, картуз, кожаная куртка — все лакейски попятилось к двери и где-то там, на лестнице, свалилось к подъезду, к перекрестку взбаламученного Таврического дворца.

Вокруг Савинкова хлопотала, истерично покашливая, хозяйка, топтал ее профессорский муж и сожитель, неискоренимый патриот России, что никогда не мог отличить косу от топора, а поповскую камилавку от бабьего кокошника. Савинков понимал, что в своей злости несправедлив, что нет у него сейчас ближе и доверительнее людей, чем они, но уже ничего не мог с собой поделать. Генерал-губернатор отвлекался от личной жизни. От друзей и приятелей... от самого себя, наконец...

— Последний шанс, — холодно и спокойно сказал он сам себе, но, видно, так, что и другие услышали.

— Вот именно, вот именно!

— Шанс есть... шанс будет, если за дело беретесь вы, дорогой Борис Викторович!..

Милый семейный дуэт, при женском поэтическом и мужском профессорском голосе, мог кого угодно усадить в мягкое, податливое кресло, пред чашкой кофе и рюмкой отменного коньяку, но только не его. Он встал и нарочито серьезно одернул свой полувоенный упругий френч.

— Значит, дело? Дмитрий Сергеевич, как истый философ и историк, должен знать завет великих предков: промедление смерти подобно. Смерти — не хочу. Не желаю! — уже в дверях выкрикнул он, понимая, как благоговейно воспримут все это его наивнейшие, поэтически-профессорские друзья.

Но делать нечего. Генерал-губернатор так губернатор. Следовало подыскать себе штаб-квартиру и застаться хоть небольшой, надежной охраной. Совдеповские грузовики с матросским ором по-прежнему носились по городу, и при дневном свете, как и прошедшей ночью, требуя:

— Корнилова — на виселицу! Савинкова — на другую!

К. С. К. теперь означало: кто сожрет кого...

Он велел разыскать Патина и письменно поручил ему собрать в единый кулак верные окрестные войска, даже малые команды, объявить сбор гражданской военизированной дружины.

Все на защиту Петрограда?!

Как и большевики на всех перекрестках кричат?..

Да. Только не от имени Совдепии, а от имени петроградского генерал-губернатора. Согласитесь, граждане-господа-товарищи, — разница большая.

IX

...Петроградским генерал-губернатором Савинков пробыл три дня...

Ни войск, ни полицейских, ни порядочной гражданской дружины собрать не удалось, как ни бился над этим бесстрашный Патин, сам не раз попадавший под смертельный огонь. Время было упущено, время! А элементарной правительственной поддержки от расклюявившегося вконец Керенского не было... Дай бог себя оборонить и не попасться в лапы распоясавшейся матросни!

Никто не верил ни в красную, ни в белую диктатуру. Посидельцы Смольного, своими речами сотрясавшие своды старинного дворца, на всякий случай запасались

фальшивыми паспортами, чтобы при подходе «черкесов» успеть за финляндскую границу, а министры и без паспортов разбегались, как мыши, все по той же логике: от греха подальше.

Савинков по старой памяти с несколькими верными людьми ринулся в сторону Выборга, чтобы силами прежней полиции и застрявших там кое-где воинских команд перекрыть границу. Но под Выборгом уже всюду орудовал немецкий десант, а добропорядочные финны помогали ему. На пристанционных берегах уже и за Парголовом закачались трупы русских офицеров, поверивших в честное финское слово, мол, мы вас не тронем... А в курортных Териоках показались и немецкие патрули; вели они себя по-домашнему, распоясавно и небоязливо.

— Поручик, когда мы поумнеем?

— Когда наши офицеры поумнеют!.. — правильно понял Патин.

Говорить тут было нечего. Обманутые защитники Отечества стали попадаться чуть ли не за городской заставой. Пойми возьми — кто их развешивал на берегах! И эти... краснознаменные!.. отряды появились... На первых порах они даже открыто появлялись, маршировали как на смотру, но дальше хоть и сокрылись среди скал, а каждый поезд если и не из пулеметов — глазами, наверно, обстреливали. Поезда ходили уже нерегулярно, так, от случая к случаю.

Савинков вместе с Патиным и несколькими верными друзьями ехал, конечно, не как русский губернатор, которому подчинялся весь этот скалисто-заболоченный край, — все они запаслись паспортами шведских подданных, да и приделались соответственно. И все же независимо вскинутая львиная голова была слишком заметной в серой вагонной публике — люкс тоже превратился чуть ли не в общий вагон. В купе лезли без спроса, коридор был забит мешочниками.

По случаю ли, по судьбе ли — те же проводники, что везли его и в апреле. Они не подавали виду, что узнают, но совестливо охраняли от всех дорожных передраг.

Один почти постоянно маячил около дверей, отталкивал мешочников и разных подозрительных типов. А открывая, как бы по услуге, дверь, проводники вполне понято переговаривались между собой:

— Мало красные, мало наши белые — теперь и немцы начнут проверять поезд. Здесь уже есть и ихние патрули. О, ома муа¹, дожили!

— Все одинаково грабят пассажиров. Попробуй воспрети...

— Да хоть и на станциях! Ома коди²... мой дом сожгли!..

В другой раз:

— Мой гуатто³ расстрелян... как петроградский шпион! А он верой и правдой царю служил.

— Не говори... Моя муамо⁴, служившая прежде касиршей на Финляндском вокзале, потому, наверно, и жива, что на постое солдаты. Были финские, теперь уже и немецкие. Она-то ничего, стара уже, но моя дочь, о, пергеле⁵!..

Савинков закрывал глаза от полнейшего бессилия. Было их всего, русских-то, шесть человек, хоть и с гранатами в дорожных сумках, и с двумя упакованными средь роскошных штор ручными пулеметами, но что это значило?! Разумеется, разведка, всего лишь собственное наблюдение, — может, в этой стороне, еще не занятой большевиками, удастся организовать оборонительный тыл? В сторону Москвы и Луги подступа не было; надежда оставалась лишь на финское побережье. По слухам, оттуда прорывались уцелевшие русские войска, кто морем, кто побережьем. Их-то еще не должна была заразить петроградская революция!..

Войска!

Если и оставались где-то, так прятались, тайком, через леса и скалы пробирались все в тот же завшивевший

¹ О, родина.

² мой дом.

³ отец.

⁴ мать.

⁵ черт!

Петроград... А верные присяге... застревали на придорожных берегах...

Утепительного было мало. Чтобы запереть от красной заразы границу хоть с этой стороны, а тем более создать плацдарм для наступления на Петроград, надо, по крайней мере, две-три дивизии, а у него и комендантской роты на ближних подступах не набиралось. Все застрявшие под Выборгом военные потихоньку драпали в сторону Петрограда. Разве можно их обвинять? Да и можно ли остановить?..

Финны ошалели от провозглашенной независимости. Подзуживаемые немцами, они, как истые мясники, резали всякого русского только за то, что он русский. Даже не спрашивая, гражданский ли, военный ли, к Советам, к правительству принадлежит? А ведь здесь, начная от Выборга, еще оставались многотысячные русские поселения, не говоря уже о дачниках, и теперь толпы бездомных, перемешанных с переодетыми военными, двигались побережьем в сторону Петрограда, где тайно, где явно, при каждом опасном случае убегая в скалистые дебри. Но финны-то свои места знали лучше русских, вот в чем беда...

Отяжелевших от крови берез становилось все больше и больше; а люди в просветах каменистых распадков все шли и шли. Кажется, сама земля, забитая лесами и гранитными скалами, шевелилась от этого потайного судорожного потока.

— Напрасно мы...

— ...едем? — опять с полуслова понял Патин. — Но что нам делать? Вон!

По шоссе, повторявшему изгибы железной дороги, в сторону Петрограда открыто топал отряд финских егерей; форма частью шведская, частью немецкая, сквозь воинский строй проступало несмываемо чухонское, разношерстное. Новые финские власти поставили под ружье все мужское население, кажется, от пеленок и вплоть до семидесяти лет. На одних шинели болтались, как на детских вешалках, другие и плечами, и ручищами вылезали из них. Каждый поселок, каждый хутор

был вооружен. Маленькая лесная страна не в шутку собиралась воевать с Россией. А пока что у себя наводила железный порядок. Крестьяне, учителя и чиновники занимались своим обычным делом, а чуть что — мчались нарочные на велосипедах и в считанные часы собирали это сельское воинство в единые беспощадные колонны. Пока там, в Петрограде, кричали о границе, финны сами ее перекрыли. Охотничий, дикий край по-охотничьи и защищался — лесными дозорами, засадами. Что могли поделаться группами и поодиночке пробиравшиеся военные? Кто успел скинуть форму, тот и ружье бросал, а кто дорожил своими погонами... тот украшал... устрашал... придорожные березы.

— Партизанская война? Но с кем? — вопросы на этот раз задавал Патин.

Савинков с беспощадной ясностью отвечал:

— С нами.

Стало ясно, что нечего и держаться за эти непримиримые серые скалы. Хватило бы ума, коль потеряли Ригу и Таллин, Гельсингфорс и Выборг, под Лугой и Нарвой ногами упереться. Чтоб ноги-то эти не драпали без оглядки, как вот здесь, на этой безнадежно потерянной границе...

— О, пергеле, чухонский пергеле!.. — от души чертыхнулся Савинков, все еще вроде бы губернатор этого края, и шепнул Патину: — Передай нашим: пора уносить собственные ноги... Выходим. Поодиночке.

В Выборге, где они по каким-то железнодорожным неполадкам надолго застряли, Савинков со своими друзьями пересел с поезда на поезд — в обратную сторону. Это было делом нелегким, потому что на подножках стояли попарно и финские егеря, и немецкие солдаты — все почти что в одной форме. Спасибо, пользуясь железнодорожной заминкой, прежние проводники и помогли. Фунты английские фунтами, но было и нечто более трогательное и порядочное, когда они усаживали их под перекрестными штыками:

— Господа пусть не сомневаются, финны умеют держать слово.

Несмотря на немецкую охрану, финские егеря, улаженные через тех же проводников, сдержали обещание. Да немцы и не рискнули ехать дальше Териок. Финские патрули тоже, не доезжая до Парголова, поскатывались с подножек. Ободранный, притаившийся поезд шел дальше как международный, беспардонный нищий. Добрые люди сейчас по домам сидели — кому хотелось мотаться по загаженным стрелкам, не зная, в какую сторону они повернутся?

Нечего было делать на Выборгской стороне — нечего было делать и в Петрограде. Если продвижение корниловских войск застопорится, красный «стоп» покажут и ему, все еще числящемуся в губернаторах. Если не на финских березах, так на русских фонарях — все равно развесьте вместе с немногочисленными охранниками. Точки-Троцкие не упустят момента, а министерские болтуны промолчат. Губернатор без армии, губернатор без полиции — кому он нужен?

Поняв, что на помощь ближайших, еще остававшихся в Финляндии полков рассчитывать нечего, Савинков устремился навстречу корниловцам. Опять смешной парадокс: в камуфляже. Выбора не было: или громоздкий боееспособный конвой — или беззащитный автомобиль с одним шофером и верным ординарцем Патиным. Были, правда, запряганы под сиденьем два ручных пулемета, но, как и в финской вылазке, — что они могли сделать при такой сумятице и неразберихе?

Да, из всех своих верных спутников, сопровождавших его в Финляндию, Савинков оставил только одного — подручника Патина, чтоб большой оравой не привлекать излишнее внимание. Потребовалось бы ведь несколько машин, даже грузовых. Обоз! Колонна! По старой привычке он больше надеялся на одиночное бродяжничество. Ну, только шофер да Патин. Что еще хорошо — лицо у Патина, несмотря на все его дворянство, простецкое, крестьянское. Окопное уменье, да и смекалка фронтового раз-

ведчика — находить общий язык с любой встречной сволочью. Савинков только и сказал:

— Я еду навстречу корниловцам. А вы?..

Патин молча и беззаветно согласился, посетовал, правда:

— Нужно водки побольше, а денег у меня маловато.

Савинков достал еще сохранившиеся английские фунты:

— Разменяйте у спекулянтов.

Патин недолго пропадавал в водовороте крутившегося возле Исакия самозваного базара. Издали позвал:

— Помогите!

С машиной было слишком заметно соваться. Савинков сам подбежал. По ящику на плечо — и обратно. Были у них теперь два пулемета, два ящика с патронами, две канистры с бензином, гранаты, а теперь и эта разлитая парочка... Чем не жизнь губернаторская?

Савинков открыто, как давно не бывало, рассмеялся.

— Они надежнее гранат, — не поняв его настроения, смутился Патин.

— Вот именно, вот именно, поручик!

— Да какой я поручик? Признайся — растерзают...

Савинков искренне жалел, что поручику Патину после плена так и не пришлось покрасоваться в погонах. Если на генерал-губернаторе затертая солдатская шинель, а шофер в полном матросском камуфляже — куда высываться?

Нагнали какой-то сводный матросский отряд. Озвевшая братия, не желающая воевать ни с белыми, ни с красными, но тем не менее забубенной толпой ползущая к Луге. Пальцы в бриллиантах и кольцах, завитые и напомаженные гориллы... Савинков приободрился: «Ну, корниловцы их, как орешки, перещелкают!» Кроме всего прочего, матросики едва ли и нюхали сухопутного боя... Да, но как пробиться сквозь эту забубенную толпу?

Шофер, матросская душа, вперед выскочил:

— Братишки! За революцию умирать идем. Разведка, сами понимаете... По приказу товарища Троцкого. Так

что... похороните в случае чего... А пока что — выпьем напоследок?

— Вы-ыпьем!.. — радостно подхватили ближние, да и дальние заволновались.

Патин метал бутылки, шофер быстренько на свое место — и в обход, в обход по проселку!

Постреляли вслед, кому не досталось, но беззлобно, себе в утешение. На веселых парах вот так же и одну и другую толпу проскочили, и дальше, дальше, к Луге, где, по слухам, воюют доблестные балтийские матросики. Савинков велел изготовить пулеметы, намереваясь пробиваться через боевые порядки. Но что же это?..

Их никто не останавливал. На подходах к Луге стояли, сидели и полеживали по зажухлым травянистым склонам посланные Троцким солдатики и матросики, а с другой стороны, хоть и в строю, но не думая ни окапываться, ни перестраиваться в боевые порядки, сплошной массой торчали доблестные корниловцы. Кажется, из корпуса Крымова — Савинков узнал нескольких офицеров, безнадежно бегавших вдоль распахнутого строя. И там не знали, что делать. Шли защищать Временное правительство от какого-то вражья — от немцев, что ли, — а встретили своего же брата, который и винтовок с плеч не снимал. Один за другим стали перебегать справа налево и слева направо, а потом кто-то слишком грамотный вспомнил:

— Чего мы не поделили?

— В самом-то деле, братки?..

— Брату-ушечки!..

Они подъехали как раз тогда, когда обе толпы, повесив ружья за спины, сливались уже в единое, уже никому не подвластное скопище. Тут не было ни совдепов, ни корниловцев. Савинков запоздало пожалел, что так упорно возражал против Дикой дивизии, которая тащилась где-то во вторых и третьих эшелонах и не могла своими клычками разрубить это убийственное для России братание. Да и будь она здесь, что могла бы сделать? Время предательски упущено. По всем войскам уже передано «отстранение изменника Корнилова от должности» и

подчинение всей армии самому Керенскому. Какому поручику или капитану, да хоть и полковнику, захочется вникать в петербургскую неразбериху?

Неслись пьяные песнопения с осенних лугов Луги, подходили еще какие-то толпы матросов и солдат, уже более организованных, с броневиками, и судьба корниловского «мятежа», который и не начинался еще толком, была предрешена... В отличие от хныкавшего в Зимнем дворце Керенского, сюда, в солдатскую массу, сам Троцкий ворвался. Да, надо отдать должное — бесстрашно. В открытом люке броневика виднелась лохматая, знакомо-нахальная голова. Под красным флагом, под голосище, который казался невозможным в таком тщедушном теле:

— Ре-волюционные солдаты! Краса и гордость ре-волюции — балтийские матросы!.. — неслось над толпами братающихся. — Раздавим контрреволюционный мятеж! Нож в спину... как тому адмиралешке!..

Видно, тут были те самые матросы, которые, как ба-рана, закололи своего адмирала — несчастного, вышедшего к ним без всякой охраны Напеина...

— Защитим Революцию и Свободу. Наш оплот — красный Петроград! Долой Временное правительство! Всю на защиту Петрограда!

Не было ему дела, что на Петроград никто не наступал и Петроград никто не защищал. Главное — победа. А победа осталась за ним — не за Керенским же, о которого теперь без стеснения можно было ноги вытирать...

Савинков представил нынешнего — вместо арестованного Корнилова, — по-русски смехотворного «Главнокомандующего», лучше сказать — «главноуправляющего», в таком вот по ухабам ныряющем броневике — и зло, открыто рассмеялся:

— Дожила Россия! Ватная кукла, морфинист несчастный — вместо боевого генерала Корнилова!..

Он по своему обыкновению посидел с бесстрастно закрытыми глазами и вдруг, вскинувшись, спокойно сказал:

— Хватит. Возвращаемся.

— Куда? — резонно спросил шофер.

— Не в Питер же?.. — предостерег и Патин.

— Не в Питер, конечно, — согласился Савинков. — Опять в подполье. Я давно в подполье не бывал.

— Но генерал-губернаторский пост еще за вами? — напомнил неунывающий Патин.

— А это мы проверим у ближайшего же телефона.

Свободных телефонов, где можно было бы поговорить без толпившихся свидетелей, в округе не находилось. Пришлось доехать до Нарвской заставы, где жил один неверный доктор, лечивший грешные мужские болезни. Но и там он не захотел звонить прямо Керенскому — позвонил вездесущей Гиппиус:

— З. Н.? Отвечайте без обиняков — меня ищут?

— Бори-ис Викторович! — так запела она обо всем очевидном, что даже в заглохшей груди потеплело. — Вы знаете? Или не знаете? Получен приказ... да, дорогой Борис Викторович... приказ об отстранении вас... вас!.. да, от должности генерал-губернатора... Источник верный, прямо из канцелярии Керенского. Да и сам он звонил, спрашивал, где вы, и наказывал, когда объявиться, ехать прямо к нему...

— Ну да, чтобы «отстранили», как Корнилова! — понял все Савинков и успокоил мятущуюся заступницу: — Милая З. Н., я не рожден козлом на заклание. Не рыдайте над своим подопечным. Мы еще поживем на этом свете. Будет время, даже ваш чудный чуланчик навещу... Куда сейчас? Россия велика. Пока есть возможность, прогуляю в солдатской шинельке по Питеру, а там посмотрим... Не поминайте лихом, несравненная!

Начинались глухие сентябрьские вечера. Что-то грозно и неотвратимо двинулось в природе. По всем календарям еще должно было быть светлое, радостное время бабьего лета, веселых прогулок по тихому, теплому взморью, последнего возврата на предосенние шумные дачи, а тут как обвалилось небо, штормами застолбило море. Все серое, воинственное расползлось по казармам; все голодное, петроградское затаилось под крышами пока что сухих домов; все больное, пораженное неизлечи-

мой революцией, беспрерывно заседало в Таврических, Зимних и прочих дворцах. Эпидемия? Неизвестная человечеству холера? Пожалуй, что и так; пожалуй, того и заслужила Россия...

Пока что, не бросая Петрограда, Савинков вместе с верным Патиным переходил с квартиры на квартиру. Дезертирство было не в его характере. Социалист ли, одиночный ли анархист, безумец ли российский — он разделит с ней, матушкой-Россией, всю судьбу...

В исходе он уже не сомневался.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ»

I



алтйский декабрь был как декабрь — с сухими, колкими отзимками и гнилыми, слякотными оттепелями. Но все же не осень уже, можно ходить в полушубке. Это надежнее, чем в шинели, тем более в пиджаке или косоворотке пролетарской; опасно и гнусно чувствовать себя раздетым, а следовательно, и беззащитным. Думал первое время: шинель спасет, ведь пол-России в сером сукне. Нет! И за шинель, даже солдатскую, всякий раз приходилось объясняться, порой и круто, с кольтом наголо, да и что там под ней, приталенной и насквозь продуваемой взглядами, как степными ветрами, можно было спрятать? Другое дело полушубок: и широко, и балахонисто, не только кольт — матросский маузер, даже больше — какой-нибудь австрийский куций пулеметик можно спрятать. Что делать, не царские времена, браунинги не помогали.

Савинков имел полное право роптать на судьбу: внешностью она его наделила о-ё-й!.. Ни под пролетария, ни под солдата. Это не в первые расхристанные октябрьские да ноябрьские месяцы, когда еще можно было ходить со снятой кокардой в чем есть, маленько лишь

маскируясь под какого-нибудь зачуханного, трижды революционного, трижды контуженного пехотного капитана; так именно после разгрома, вслед Корнилову, генерала Краснова, после окончательного бабьего бегства Керенского из Царского, Гатчины, из Луги и далее, далее... и появился он, недавний военный министр и трехдневный петроградский генерал-губернатор, в родимую столицу. Хоть все Тощкие-Троцкие знали его в лицо, он на улицах не церемонился: «Не видишь, р-раззява, окопный капитан идет защищать доблестную революцию?!» Такие слова в дрожь бросали плюющего семечки патрульного солдатика, хоть и с красным бантом во все пузо, а все равно ничего не понимающего. Теперь Чека не дремала, Чека за эти декабрьские стуженицы тоже прошла остуженную школу и хоть часто по революционной глупости стреляла и сажала своих, но и настоящим офицерам доставалось. А по возрасту и своей осанке Савинков никак не мог претендовать меньше чем на капитана. Если при громком смехе распоясавшейся солдатни по-детски ясноглазого подпоручика, который и первых двадцати лет не изжил, бросают под поезд только за то, что, верный присяге — Боже правый, кому теперь присягать?! — он не желает содрать с мальчишечьих плеч погоны, то что ожидать такому вальжному господину, как он?

Савинков поименно знал Чека: поляк Дзержинский, председатель; латыш Петерс, его заместитель; немец Фогель, армянин Сайсун, двое затесавшихся русских — Александрович да Антонов; ну, а дальше — Шкловский, Зейстин, Кронберг, Ривкин, Делафарб, Циткин, Блюмкин, брат председателя Совнаркома Свердлов... даже бабы — Книгиссен, Хайкина... 23 еврея при 8 латышах!

Всего только 36? И все-то Чека?!

Но кровь уже ручьями текла с офицерских погон...

Прошло несколько месяцев, как мелькнул на вокзале несчастный мальчишка-подпоручик с криком «За Россию и свободу!», а Савинков, за это время испытывший себя и в чине капитана, и в чине железнодорожного служащего, и, само собой, тупорылым пролетарием, не мог забыть и

простить — себе, себе! — этого обреченного крика. Сам он давно, еще в баснословные времена первой русской революции — будь она проклята, как теперь зрелым умом понимал! — еще тогда уяснил непреложную истину: слава затерявшимся в толпе! Серая, безликая толпа всегда права. Хотя на чей взгляд... Когда после слюнявого дезертирства Керенского на славном Дону вместе с бежавшим из красной быховской тюрьмы Корниловым, уже в полном офицерском обличе, пытался возродить честь и достоинство русской армии, Корнилов по-генеральски похваливал: «Вот теперь, Борис Викторович, вы похожи на русского человека. Терпеть не могу всякую рвань!»

Уезжал он тогда — да чего там, убежал, тайком с друзьями пробирался на казацкий неподкупный Дон — все-таки в чине капитана, хоть и пехотного, — перед Корниловым, так счастливо и дерзко бежавшим из застенка города Быхова, захотелось покрасоваться. Мог даже вытянуться с молодцеватым криком: «Рад стараться, господин генерал!» Право, никому и никогда не отдавал чести, а чего же не отдать ее, честь дворянскую, боевому генералу, дважды за год бежавшему из плена — австрийского и большевистского?

Генерал похвалил, позволил покрасоваться среди своих, а потом зазвал на штабной огонек. Добровольческая армия только-только складывалась в военную силу; Савинков не ошибся в предчувствии, когда после первой же рюмки Корнилов спросил:

— Борис Викторович, жалко снимать достойный мундир?

— Жалко, Лавр Георгиевич.

— Но ведь придется... во всяком случае, прощу вас!..

— Что за просьбы — приказывайте.

— Такое приказать нельзя. Пусть сердце ваше прикажет... господин военный министр...

— ...и петроградский генерал-губернатор, не забывайте, Лавр Георгиевич, — понял и принял Савинков горькую шутку.

— Думаете, легко мне снова посылать вас... как-никак моего прежнего начальника!.. — в зубы к Бронштей-

ну или Апфельбауму? — Он высказывался с полупушливой иронией. — Да, да, в Москву и Петроград. Создавайте тылы... готовьтесь нас встречать с фанфарами!

Нет, горечь в его словах все-таки была. Савинков, чтобы не томить, постарался ускорить ход дела:

— В общем-то я понимаю, но будут и письменные поручения?..

— Будут. В этом и вся сложность. В случае чего, на словах можно и извернуться, а с бумагой — не отвертись. Но и без нее нельзя: у вас будут официальные полномочия Добровольческой армии и создающегося на ее основе правительства... Нашего!

— Бумага так бумага, — как можно легкомысленнее пожал плечами Савинков. — По зимнему времени легко прятать.

Корнилов помолчал, еще что-то готовя. И Савинков не ошибся в своих предположениях.

— Но будет на закуску, — пожевал Корнилов донского судака, — более приятное поручение. Плеханова не забыли?

— Как можно забыть своего старого, первого учителя, — оживился Савинков. — Да и эмигрантского старого друга, если уж на то пошло. С началом войны мы ведь вместе с ним во Франции издательское дело поднимали — сами, вероятно, знаете, — за победу русского и французского оружия ратовали, за что нас Бронштейны и Ульяновы отступниками во всех своих писаниях называли... Честно говоря, с радостью навещу старика. Он сейчас в Царском Селе, по моим сведениям...

— ...и по моим.

— Не удивляйтесь, Борис Викторович, контрразведка работает. Но она не может сделать того, что можете сделать вы, — уговорить седовласого революционера войти в наше правительство.

— Вот как! — удивился Савинков. — Вы идете на полное сотрудничество и с социал-демократами?

— Ради России. Ради спасения России!

Но пока Корнилов — все-таки генерал, а не политик — возился с будущим правительством, на казацком Дону

произошел большевистский переворот. Красная грязь замутила и чистый Дон...

Бывшему Главковерху предстояло брать, терять... и снова брать Краснодар, уже ценой своей жизни, а бывшему военному министру срочно ехать за помощью в Москву и Петроград...

В последний момент поездка чуть не сорвалась. Прибежал новый адъютант, юнкер Клепиков, — Патин с разрешения уехал на родину, куда-то под Рыбинск, — влетел прямо из корниловского штаба и со всей решимостью в упор бабахнул:

— Борис Викторович, вас в Воронеже арестуют.

— Вот как! Что за сорока на хвосте...

— Контрразведка. Наша, корниловская, эту весть принесла. Хотите проверить?

— Ах, милый юнкер... Само собой.

— Тогда — я с вами.

— Да? Знал бы вашу неводержанность — не отпустил бы поручика Патина.

Новый адъютант, с которым Патин, уезжая, и познакомил его напоследок, обидчиво надулся. Совсем мальчишка. Видно, ревновал.

— Не ревнуйте, юнкер. Почему бы петроградскому генерал-губернатору, пускай и бывшему, не держать двух адъютантов? Собирайтесь. Одному мне действительно нельзя...

Сейчас он возвращался в Петроград бывшим учителем, по сути, мешочником, лезущим на рожон ради голодных детишек. Смотри любой патруль, смотри Чека! Если в затасканном солдатском мешке — призраке новой России — лишь насыпь пшена и сухарей, немного сальца-смальца, ну, там, вязка рыбки вяленой и с миру по нитке напихано того-сего, в том числе и бельишка незавидного, так чего не затеряться и десятку-другому патронов? Старый кольт — он, конечно, под полубубком, да еще и под рубахами, как холодное напоминание о промерзшей насквозь России...

Но в своем солдатском сидоре Савинков не только пшено голодным детишкам вез; в подкладках двойных

застиранных рубах — еще и личные письма Корнилова к возможным союзникам, важнейшие бумаги Добровольческой армии. Создавалась она, конечно, стараниями неукротимого Лавра Георгиевича, но вокруг него, как всегда, поналипло всяческой политической шпаны, в том числе и с красной перхотью. Тоже учатся, пройдут школу контрразведки. Можно рисковать своей шкурой, но не всей же агентурной сетью российских столиц. Осторожность, осторожность, наивный бомбометатель! Чаше повторяй: «Теперь не царские времена...» На теле спрятать расстрельные бумаги Савинков не решился — обыскивают в первую очередь на ощупь. Рубахи нарочно шили из самого бросового солдатского белья, насквозь пропахшего махрой; кальсоны хоть и драные, но утепленные, с заплатами. Носки, портянки запасные, все, по зимнему времени, толстое. Все мятое-пермятое.

— Значит, вдвоем? — напоследок все-таки попытал юнкера.

— Вдвоем, — подлаживаясь, так же коротко отвечал тот.

— Через Воронеж?

— Ах, Воронеж — не догонишь, и догонишь — не возьмешь!.. — совсем на пролетарский лад распелся бывший юнкер бывшего такого славного Его Императорского Величества Павловского училища; да, было время, юнкер имел честь сидеть за одним обеденным столом с самим императором, по уставу.

Перед отъездом, напоследок, сидел с Савинковым. Надо было обдумать и предусмотреть все мелочи.

Савинков с удовлетворением осматривал своего попутчика. Скинуть форму, царские вензеля — и с такой охотой, от своих, опять на север! Мало одёжку — и привычки поменять. Да, вид что надо. Тоже полушубок, хотя и теплый, но такой простецкий, грязно-нагольный, что дальше слесаря не пошлют, а главное — треух, треух, в котором босяка-буревестника какого-нибудь и играть, да и то на провинциальной сцене. А чем Россия — не сцена и Воронеж — не провинция?

Флегонт Клепиков — да, у юнкера подходящее имечко оказалось! — показал и новое техническое изобретение для этой сцены.

— Рукав видите?

— Вижу, — кивнул Савинков. — Но я не дама, чтоб брать под ручку...

— А вы возьмите, возьмите, Борис Викторович.

Савинков церемонно подхватил его под локоток, ничего не понимая.

— Конечно, чекисты берут поглубже, но все-таки... — совсем по-пролетарски шмыгнул носом Флегонт Клепиков. — Руки вверх!

Из рукава у него моментально выскочил ствол револьвера и оказался в руке, на пружинистой оттяжке.

— Резина?

— Тугая, для гимнастов. Да и не одна. У меня целая система...

— Блатные?

— Что делать, Борис Викторович, давно у них учусь. Блатари, сами того не ведая, и подсказали... — Клепиков с удовольствием раскрывал свои секреты. — На здешних толкучках подсмотрел... Приходится толкаться. Должность.

— Да, должность у вас отменная... — посочувствовал Савинков; контрразведчиков, как и все официально-штатное, он не любил. — Ну что ж, в путь, — закончил последний смотр, выбрасывая за ненужностью сигары и носовой платок.

Провожать на вокзал никому не разрешил. Более того, велел своему шоферу отвезти в один из пригородов Екатеринодара, еще не взятого красными, и уж оттуда пешком, с одним Флегонтом Клепиковым, почавкал грязной дорогой к облепленной мешочниками железке.

Ничего, влезли в вагон, поехали.

Но...

Предчувствие, господа-товарищи!

Было время подумать, пока от Екатеринодара пробирались к Воронежу. И чем ближе, тем яснее становилось: прав юнкер. Жди засады... По вагонам бродили

внешне неприметные, но достойные белой петли людишки. Время от времени кто-то из соседей намертво пропал в уборной или в тамбуре, куда выходил стеснительно покурить, — пропал, да и все, за свою несмыслимую вежливость. Остальные-то дули махру прямо в вагоне. Переживая за несмышленных соседей, Савинков сморщил козью ножку и смачно поплеывал под ноги. Иногда он слышал запоздалый вскрик под откосом, и тогда рука предательски лезла под полушубок, еле удавалось сдерживать ее праведный гнев. Но надо было еще посмотреть и за солдатским сидором, и за Клепиковым. Сидор он подмял под себя, а лямку неприметно вздел под левый локоть; правым пришлось удерживать рукав Клепикова: как бы чего не выстрелило! Больно уж нагло вели себя неприметные, но дерзкие людишки. Они явно очищали вагоны от всякой швани-рвани. Савинков несколько раз переходил из вагона в вагон, чтобы не мозолить глаза. Чутье его не обманывало: шваль выбрасывают, но берегут нечто покрупнее... Савинков с пониманием воспринимал смертные вскрики за окном; земля пока ничейная, в плен, что называется, здесь не берут. А уж Воронеж — под красным флагом, там револьверешком не отобьешься, да и по-простецки с подножки не скинут...

Чтобы проверить свое ощущение, он одного такого типа, который давно уже отирался в их вагоне и пристально присматривался ко всем входящим-выходящим, явно сличая с зажатыми в лапе фотографиями, прямо спросил:

— Ищешь? Я вот тоже ищу. Бронштейн тебе не попался? Клятая работа! На первых порах чуть не спойл какой-то Сави... Сами... Савинков! Или контра, или жулик, черт его поймет!..

— Где? — не выдержал слишком любопытный ловец душ.

— Через два вагона на третий, если к хвосту... Да погодь ты, погодь!.. — шептал Савинков и дергал его за полу, в которой железно погромыхивало. — Слышь? Ну его!.. Моего поспрошай... Бронштейн, говорю, Бронштейн!

Типа унесло попутным дорожным ветром, а Флегонт Клепиков сжался от смеха:

— А если он знает, кто такой Бронштейн?

— Если и знал, так по пьянке забыл. У них теперь одно на языке: Троцкий, Троцкий!

— Да, но что же нам-то делать? Я сзади углядел: в общей колоде и вапа фотография, прямо сверху. И не один он тут шатается, так что пока, для разведки...

— Вот и мы, милый Флегонт, поразведем. О! Станция впереди. Прыгаем.

Они скатились, не доезжая станции, под откос и переждали, пока уйдет этот слишком назойливый, все-таки пассажирский, поезд, а подойдет другой, товарный. Хоть и не было у него здесь остановки, а ход все-таки замедлял: пути на станции везде забиты народом. Тем, кто переждал у хвостовых вагонов, легче было зацепиться за подножку какого-нибудь тамбура.

— Не ожидал от вас, Борис Викторович, такой прыти, — даже удивился наивный юнкер.

— Ничего, милый Флегонт, учишь у стариков, — успокоил его Савинков. — Мы еще не хуже вас попрыгаем... Смотри.

Оказывается, они вовремя пересели — всего за одну остановку до Воронежа. Товарный состав не стали задерживать у перрона, а потащили дальше, — притаившимся в грязном тамбуре было видно, как остановившийся раньше пассажирский поезд оцепляли с полсотни беспогонных солдат, при многих кожаных куртках, и не давали никому ни войти, ни выйти. Может, искали Савинкова, а может, и других Савинковых... Кто попадется.

— Знаете, юнкер, когда закидывают общую сеть, не гнушаются любой рыбешкой. В молодости, когда я был в вологодской ссылке, на той достославной реке насмотрелся. Неуклюжая, но верная работа. Спасибо нам, кажется, пронесет... если не замерзнем, конечно, господин юнкер.

— Не за-мерз-нем, — постучал зубами Флегонт Клепиков. — Спасибо контр-р...

— ...разведке, да? Зря я ее ругал.

Разведка корниловская все-таки знала свое дело, иначе и самому Лавру Георгиевичу не уйти бы — после отстранения от должности главнокомандующего и последовавшего за тем ареста, — не убежать бы, в обход и от Керенского, и от большевиков, из красного Быхова, а теперь вот и своему посланцу, и по должности, и по дружеству, не послужить бы в дорожных мытарствах...

Прекрасно, что их ждали в Воронеже. Прощайте, господа большевики! Адью, как говорят. Видите — они законопослушные кондуктора, хотя сам-то профсоюзный «Викжель» настраивает всех железнодорожников против новой власти. Они — не против, они — за, честно блюдут порядок, а заодно и достояние большевистской власти. Вагон — ого, он сколько стоит! В «Викжеле» засели буржуи, а они люди простые, они за новую власть. Пускай и наступают белые, пускай и отступают красные, но... Откуда простым кондукторам сие известно? О, кондуктору все известно, не зря же он доблестно мерзнет в заднем тамбуре заднего, хвостового вагона... Пока-то поезд, в обход Москвы, проберется к Петрограду! Да почему — туда?! О комиссар!.. Разве кондуктор, высовывая на станциях свой замерзший нос, не слышит от других комиссаров, сующих железнодорожным начальникам уже не носы — самые настоящие маузеры, — не чувствует сквозь мерзлые сопля, как внизу революционно кричат:

— Зеленый! Полный свет пролетарскому Питеру!

А что могут везти в Питер, да в крытых пульманах, нынешней голодной зимой? Не слонов же цирковых, не шелка персидские, не мебель заграничную — жратву, конечно, и только жратву, это и слону... будь он здесь, понятно...

Комиссары их на станциях похваливали, классово напутствовали:

— Товарищи кондуктора, смотрите в оба, смотрите!.. Чтоб этот литературный поезд... чтоб он дошел до истинных пролетариев!

— Смотрим, товарищи, смотрим, — отвечали кондуктора, утирая рукавами носы не только для пролетарского форсу, но и от стыни дорожной.

На одной станции даже грозно попеняли:

— По-очему без оружия?! Взять винтовки! Смотреть в оба!

Прямо хоть плачь, хоть смейся. Мало того что безопасно, так еще и с винтовками. Знай наших.

Теперь каждый объявлял себя тем, чем хотел. Министром — так министром. Кондуктором — так кондуктором. Ясно, что были и в этом вагоне кондуктора, да, наверно, сбежали, чтоб от «ридной Украины» не тащиться в оголодалую Россию. Ясно, что все случайно тут были понатыканы, по какому-нибудь минутному комиссарскому приказу. В лицо никто никого не знал. Теперь им на остановках, — а мотались они уже, в обход Москвы, второй день, — из других, лучше обжитых вагонов и чайку горячего приносили. С приятельским сожалением:

— Да-а, у вас на хвосте...

Верно, хвостовой вагон со всех сторон продуваемый, а тамбур, как снежное помело, вихляется. Даже горячий братский чаек не спасает. Где-то под Орлом — удивительно теперь ходили поезда — Савинков не выдержал:

— Нет, дорогой Флегонт, я хочу на мягкий диван, да чтоб в вагоне-ресторане, да под настоящий чаек с коньячком...

— Ага, коньячо-ок... — замерзая, повторял еще по-мальчишески не закаленный юнкер; кажется, он уже мало и понимал, о чем речь.

За Брянском поднялась стрельба со всех тамбуров, и они постреляли, маленько согрелись, а потом вместо Москвы поперли их куда-то на Вязьму, на целую ночь.

— Жа-адничают питерские большевички! — теперь-то уж догадывался Савинков, да и от других кондукторов, приносивших на остановках чай, узнавал очевидное: да, в обход Москвы идут, чтоб со своими братьями-товарищами не делиться.

— Жа-адничают, — вслед за ним твердил и осинелый юнкер, уже плохо ворочая языком. — Когда ж Москва, гостиница «Славянская»... или, извиняюсь, мадам, будuar с каминчиком?..

— Да-а, камин... — душой понимал его Савинков. — Как вас блатары учили? Сматываться надо.

Самим не верилось, но живыми вытащились к Вязьме. А там на путях стоял хоть и зачуханный, но пассажирский поезд, на котором, как в добрые старые времена, под орлами еще кое-где виднелись таблички: «Смоленск — Санкт-Петербург». Вот тебе и революции, и Чека! «Санкт» — и никаких серпов-молотков, на орлиных крыльях неси! Савинков решительно бросил на промерзший пол винтовку:

— «Санкт»! Слышите, юнкер Клепиков?..

Юнкера пришлось стаскивать с подножки и чуть ли не на руках тащить через пути, потому что пассажирский стоял уже под паровозом. А сзади еще кричали кондуктора:

— Куда же вы, товарищи? Опоздаете. Мы отходим!

— И мы отходим, — чуть слышно отозвался Савинков. — Но не на тот еще свет...

У пассажирского поезда, конечно, столпотворение. Размышлять было некогда. Савинков решительно выдернул из-под ремня революционный револьвер — хотя с другого бока был более привычный кольт, — нахлобучил на голову кожаную фуражку со звездой — была у него за поясом и такая предусмотрительность. Ничего не стоило револьвером рассечь толпу и поднять Флегонта Клепикова на подножку решительным, как команда, голосом:

— Дорогу, сознательные товарищи. Помогите. Комиссар тверской Чека! Мой товарищ ранен белобандитами!..

— Да, ранен... чайку... извольте меня в вагон-ресторан, госпо... — не понимая, что уже в тепле, в вагоне, заходилась не привыкший к таким передрыгам юнкер.

Полушубок у юнкера, не умевшего выбирать одёжку, оказался все-таки ветреный. Совсем зашелся парнишка. Савинков едва успел зажать ему рот и усадить, оттиснув кого-то плечом на лавку.

— Господи! — как надо, поняли долговязого слесаря. — Совсем замерз. Водочки!

Если с умом да с понятием — все находилось в дороге. Русская душа, она ведь не совсем же отмерзла за эти годы...

Не только осиневшему слесарю, но и Савинкову осталось на хороший глоток. Он сейчас даже не понимал, как это мог ненавидеть плебейскую водку. Хорошо! Очень даже хорошо.

Вагонные сотрапезники и ему освободили место — помяли комиссарский револьвер, который опять бесследно исчез под полушубком. Даже кондуктор принес своего чайку.

— Товарищ комиссар, я понимаю, я все понимаю... тс-с!.. Молчу, молчу. Но чайку попейте. Замотались на такой работе?

— Замота-аешься с вами!.. — с истинной благодарностью принял Савинков два позвякивавших ложечками стакана. — Я вас запомню, товарищ.

— Уж обязательно, обязательно! — засуетился почему-то кондуктор. — Время, знаете, такое, опаздываем... «Викжель» наш бастует, саботаж, знаете, а я ничего, я вашенский...

— Знаю, знаю, товарищ, — похлопал его по плечу Савинков. — Мы подремлем. А вы посма-атривайте!..

Он засыпал, прислонясь к чьему-то плечу. Среди мешочников и всякого дорожного жулья место они отвоевали хорошее — пол-лавки у самого окна. Клепикова он приткнул в угол, а сам, не спуская с левого локтя солдатский мешок, прислонился к услужливому плечу; так и дремал, крепко, но настороженно. Сквозь сон слышал, как шептались:

— Повезло нам. Комисса-ар!..

— С комиссаром не тронут. Надежно.

— Надеемся, надеемся... — не вслух ли откликнулся Савинков, потому что и во сне чувствовал, как под ним дернулось услужливое плечо, подпертое сокрытым в рукаве револьвером.

Но ничего, успокоилось и притихло.

Дорожный люд понимал: с этим молчаливым решительным комиссаром лучше не спорить...

Савинкова устраивала дорожная репутация. До Петрограда они добрались вполне благополучно.

II

Их не встречали, да и они нарочно полдня, заметая хвосты, по замерзшему Петрограду плутали, прежде чем осторожно пробрались к Таврическому дворцу. Его было не минуть, да и нечего им, при таких праведных красных звездах, скрываться. Мимо прошли бодрым, озабоченным шагом.

В воротах торчали бессменные пулеметы, горели костры. Оно и хорошо: со света не видать темного подъезда. Савинков оставил Флегонта Клепикова в первых дверях, а сам поднялся в «бельэтаж», на площадку, где раньше за высоким бюро восседал вахтер. Сейчас — лужи грязи, сквозняки от выбитых окон, не говоря уже о коврах и цветах. Грязь, мусор, как на помойке. Сквозняки разносили обрывки газет. Несокрушимая дверь несокрушимой, казалось бы, петербургской профессорской жизни злосчастно раздергана и опшугана не иначе как воровскими медвежками или штыками, — глумились, ломились и без него, а у него какие же штыки? Тихо, осторожно постучал. По опыту знал: такой стук и привлечет только внимание вечно настороженной З. Н. Чуткое ухо уловило шаги. Прошаркали подошвами, замерли у двери. Савинков подал голос:

— З. Н.?..

Не отзываются и на этот явный пароль.

Тогда он губами в замочную скважину, уже погромче:

— ...Убийца в Божий град не увидит,

Его затопчет Рыжий Конь...

— Или Бледный...

Только после того и щелкнула тяжелая задвижка, а потом и какие-то тяжелые засовы отодвинулись...

— Бледный, Бледный! Боже мой, Борис Викторович... Какими судьбами?!

— Революционными, мадам, революционными, — чтобы скрыть удивление, отшутился он, проходя в прихожую, но не раздеваясь.

— Нас уплотнили, — подала она и свой пароль, всем хорошо известный по нынешним временам. — Люди неплохие, не матросы, но...

— Понимаю, милая З. Н., понимаю... — никак не мог настроиться Савинков на прежний лад. — У меня там слесарь один... на стреме, как говорят блатарии...

— Так давайте, давайте этот стрём сюда! — слишком поспешно засуетилась З. Н., кутаясь в тяжелую, какую-то бабушкину шаль, которую Савинков никогда не видел на ее хрупких плечах.

Он вернулся на лестничную площадку «бельэтажа» и тихо присвистнул. Флегонт Клепиков не заставил себя ждать.

Впустив его, Савинков уже самолично задвинул все мыслимые и немыслимые запоры и взглядом спросил: куда? Хозяйка, обычно такая шумная и поэтически экзальтированная, тоже взглядом показала: сюда. Значит, в проходную комнату, и еще подалее, в тот знакомый глухой чулан. Там все оставалось на прежнем месте: узкая кровать, для какой-то самой зачуханной прислуги, столик, один-единственный стул... и ночной, можете себе представить, ночной горшок...

Тут, в комнате без окон, было глухо, и хозяйка уже смелее, пытаясь сбить свое смущение, отпихнула носком валенка — да, господи, валенка! — уродливую и насмешливую посудину:

— Прочь с дороги... революц-онный ватерклозет!

Савинков понимающе кивнул, снимая с плеча солдатский мешок. Флегонт Клепиков принял это как нужный знак и распустил шнурок своей торбы, более объемистой и тяжелой:

— Раз уж так, раз уж мы торопимся...

— Ничего, посидим, — присел Савинков на единственный стул, приглядываясь к хозяйке и прислушиваясь. — Кстати, а где же Дмитрий Сергеевич? Что, без него?

— О, Дима!.. — начала помаленьку входить З. Н. в свою роль. — Милый Дима отрабатывает нашу... и вашу, да, господи, и вашу!.. свободу... Свободу, господи!

Помните, еще в марте нынешнего сумасшедшего года... давно ли?.. мы писали это слово с большой буквы?!

Улыбка совершенно не шла Савинкову, но он чувствовал, что и его каменное лицо растягивается от какой-то тихой грусти.

— Дмитрий Сергеевич читает матросам... да-да, господа, доблестным матросам «Авроры», прямо на самом корабле!.. лекцию на тему: «Историческая личность и ее значение для судеб России».

— То есть Ульянов, Бронштейн, Апфельбаум — и Русь святая?

— Ах, Борис Викторович, вам смешно, а нам не до смеха. Тс-с!.. Хорошие люди... мы похлопотали, чтоб подселили хороших, но...

Клепиков тем временем развязал свою замызганную дорожную торбу — тут уже без всяких тайников и патронов, — с черными сухарями, гречкой, просом, вяленным мясом, луком и прочей дорожной необходимостью. А на дне оказалась такая непозволительная роскошь, что хозяйка от умиления прослезилась:

— Я не могу, нет, я не могу на это смотреть!.. Я сейчас, господа, чайку соображу... извините, без заварки. Но керосин у нас есть!

Она убежала на кухню... она, которая без прислуги ни ботинок, ни шубки не снимала, вот сейчас где-то там гремит, видно, керосинкой, — из такой чуланной дали в такой большой квартире этого, конечно, не слышно, но не трудно было представить нынешние хлопоты избалованной, уже немолодой петербургской салонной дамы, которой приходится сейчас думать о ночных горшках и каком-то керосине... Право, тут не было ничего смешного. Савинков рассматривал снедь, которую юнкер Павловского училища, по обычаю и уставу его бывавший и на императорских обедах, теперь скупно и осторожно разрезал на газете. «Правда», как безошибочно отметил Савинков.

— Ай да З. Н. — тоже охранную грамоту в доме держит!

— Новые жильцы, наверно, приносят, — заступился за хозяйку юнкер, отирая нож о газету.

Кто нынче ходит без своего ножа? Юнкер прямо складным резакон и кромсал донское сало, леца и утаенного в дорожных передрягах подкопченного судака. А ведь были еще и другие сухари — белые, знайте нас! — и шоколад в дореволюционной упаковке елисеевского магазина. Вернувшись с чайником и тремя чашками, слишком уж впечатлительная З. Н. опять всплакнула:

— Это от счастья, от счастья, господа... Господи, не снится ли мне? Видите, как мы живем?

Кроме жидкого морковного чаю, на подносе было несколько трофейных — да-да, немецких, уж военные-то это должны знать, — совершенно иссохших галетин... и больше ничего... Хозяйка со смущением опустила поднос на не застланный убогий столик.

— Живем рас-прекрасно, милая З. Н., — поцеловал Савинков дрожавшую от холода бледную руку. — И у вас, и у нас — непозволительная по нынешним временам роскошь. Видите, шоколад? Угощайтесь... и вытрите, вытрите слезы. Они вам не идут.

З. Н. не то что постарела за эти зимние месяцы, а вся как-то посерела, словно вылезшая из своей норы мышка, и стали уж очень заметны ее женские, старательно скрывааемые годы.

— Да, живем распрекрасно, — в тон ему сказала и она, принимаясь в первую очередь за сало, которое сложила на белый, такой вкусный сухарик. — Вот трапезничаем в этом чулане, сидя прямо на кровати... и даже не познакомились. Нет, господа, ведь не слесарь же с вами, Борис Викторович?..

Тут нельзя было удержаться от улыбки.

— Интуиция? Поэтическое прозрение? Чтоб не перепутать чего в дороге, я его слесарем называю, но вообще-то... юнкер Павловского Его Императорского Величества училища... Флегонт Клепиков!

Все-таки не забыл прошлое юнкер: вставая с железно скрипнувшей кровати, лихо прицелкнул растоптанными каблуками и галантно поцеловал ручку, которая никак не хотела выпускать покрытый салом сухарик.

— Честь имею, Зинаида Николаевна!

— О, у вас еще остались настоящие люди! А у нас здесь — уже никого... Хлопочем о пропуске хотя бы до Риги... или до Гельсингфорса, а уж там... Не вырваться без пропуска. По тайным лесным тропам мне не пройти, хотя и такой вариант обсуждается... Нет! — вдруг гневно вскочила она. — Пройду. Жива не буду, а пройду. Хотя лучше — законно, по нынешним собачьим законам... Вот ради всего этого и крутится несчастный Дмитрий Сергеевич возле большевиков... Или?!

Близки кровавые зрачки... дымящаяся пасть...

Погибнуть? Пасть?..

От стихов она и сама смутилась:

— Какие уж рифмосплетения! Разве что с кровью пополам...

— Будут, будут и стихи, милая З. Н. Авось соберемся с силами, и-и...

— Авось! Случай! И вы, Борис Викторович, на российскую погибельную случайность полагаетесь?!

— Нет, на себя. Да на таких вот, как этот юнкер, — положил он ему жестом старшего руку на плечо. — А потому и не хочу, чтоб вы рисковали. Обыски? Облавы?

— И облавы, и обыски. И проклятое уплотнение, как видите... Мы пока что существуем под маркой Комитета... Ой, забыла, как называется! — бесподобно по-прежнему всплеснула она ожившими руками. — Что-то вроде Комитета литераторов... или содействия революционным театрам, что-то такое...

— Значит, и дальше содействуйте, а мы поищем другое пристанище. Вы уж слишком близко от Бронштейнов, — кивнул он на глухую стену, за которой угадывалась даже спиной решетка Таврического дворца. — Нет нет, не уговаривайте, — допив чай, решительно и прощально поцеловал он руку опечалившейся З. Н. и, пропуская вперед своего спутника, в темноте стал выбираться в проходную комнату и дальше, к прихожей. — Передавайте наши приветы добрейшему Дмитрию Сергеевичу... ну, и всем, кого считаете нашими, — с нажимом добавил он. — Думаю, что мы дадим о себе знать. Скоро. Очень скоро!

Хозяйка шла следом с огарком чуть тлевшей свечи. Шепотом, без всяких прикрас, призналась:

— Знаю я вас, Борис Викторович... вы уж себя берегите... А то лучше оставайтесь? Ночь, куда вы?..

— Вот и хорошо, что ночь, днем было бы хуже, — ласково пожал он ее худые, вздрагивавшие, истинно мышиные плечики. — У нас есть запасная нора. — Заглушая всякую печаль, добавил: — Хор-рошая норка!

И с этими словами, уже не оглядываясь на прощавшего Флегонта Клепикова, открыл все мыслимые и немыслимые задвижки, вышел на лестничную площадку, всему прежнему Петербургу известный «бельэтаж».

Там, выше, топали какие-то пролетарские каблуки. Может, не совсем пролетарии, да ведь не спросишь, лучше и не дожидаться, — он почти бегом спустился к парадным, сейчас просто хлопающим дверям, так что Клепикову пришлось догонять уж истинной пробежкой. Встречи на лестничных площадках ни к чему. Такие встречи только усложняют и без того сложную, тайную жизнь... Пусть уж лучше всяк свою тайну в себе несет, кто под полушубком, кто под шинелью почтового служащего, а кто и под самой настоящей нищенской рванью. И так им у соседнего дома встретились двое. Бедолаги питерские, бездомные? Шпики новоявленные?..

— Не унывайте, юнкер, — похлопал он, когда вышли из подъезда, своего спутника по оцетинившемуся рукаву. — Мы мужчины. Мы не можем подвергать опасности эту истинно поэтическую, следовательно, беззащитную женщину. Есть у нас другое... есть распрекрасный доктор! Кстати, вполне по мужским болезням. Не согрели ли мы на славном казацком Дону?..

Флегонт Клепиков брезгливо пожал плечами.

— Значит, идем. Это такой доктор, к которому не зазорно зайти и пархатому Бронштейну... да и заходил, в бытность свою в Париже. Он ведь вездесущий, наш доктор, то здесь, то там. Мало ли что могли перевезти через границу, тем более в запломбированных вагонах, наши славные революционеры! Не хмурьтесь. Поглядывайте.

Опять встретились двое, уже в солдатских шинелях, и опять, чувствовал Савинков локтем, напрягся правый рукав юнкера. Но и этим двоим не было дела до двух других, несущих свои пролетарские полушубки по стыллой петербургской улице. И все же Савинков, толкнув Клепикова, круто свернул вправо, как чувствовал, в переулок. По улице, светом отсекая мелкие перекрестки, пронесся грузовик, погромыхало в кузове железо, и, надо же, в ночи бравая староокопная песня:

Сол-датушки да браво реб-бятушки,

Где же наши ж-жены?..

От окопной, без всякой революционной примеси, совершенно случайной песни и на душе стало по-окопному твердо и хорошо. Ведь кругом, локоть к локтю, друзья боевые!..

III

Доктор, к которому наконец-то пришли, оказался на редкость породистым и вальяжным человеком. Не замечалось, чтоб пробавлялся большевистской воблой. Но все же, едва умылись и маленько почистились, стал жаловаться:

— Понимаете, Борис Викторович, понимаете, до чего я дошел? Я? Я должен угощать вас каким-то пошлым холодцом, какой-то картошкой и... отнюдь не шампанским... Нет, господа! Прошу — не обессудьте.

Савинков удовлетворенно потягивал навечно, кажется, закаменелыми губами, изображая усмешку. К холодцу и, великолепно прожаренной картошке нашлась все же икорка, нашелся и богом хранимый балычок.

— Видите? — кивал он на своего младшего товарища. — Юнкер такой бесподобной картошки уже неделю не едал.

Флегонт Клепиков смущенно, не в силах подавить звериный аппетит, молодыми своими зубами хрумкал до сухости запеченную картошку, сдабривал ее холодцом и оправдывался:

— В неделе что-то восемь дней уже оказалось... Наверно, наряду с новым календарем и новый недельник большевики вводят.

— Они такие, — согласился доктор, — что хочешь введут. А мы — мы таковские. Они — водочку под воблочку, а мы — коньячок под балычок. Вот шампани... уж извините, говорю, господа. Разве какой комиссар, не зная ценности этого благословенного напитка, вместо водочки, как плату за свои обычные пороки, под полой шинельки принесет... Ба, звонят, господа! — засуетился он, поднимаясь. — В моем доме есть электричество, значит, есть и звонок. Чтоб ему!.. Да. Хоть это у меня и не приемный кабинет-с, а так, можно сказать, альков, услада души-с... но все же извольте ретироваться в соседнюю комнату-с...

Он торопливо и покорно убежал на звонок, нетерпеливо повторившийся, а Флегонт Клепиков так же нетерпеливо, утолив первый аппетит, но так и не доев, все остатки собрал со стола и в охапке унес в соседнюю боковушку, блаженно поохивая:

— Ох-хо, Борис Викторович! Где вы такого благодетеля ссыскали?

Савинков посмотрел на него внимательно и сухо:

— Поскитайтесь-ка с мое по заграницам, поваляйтесь-ка по разным революционным бабам — не о таких докторах запоете.

Флегонт Клепиков подавил обиду, и Савинков уже помягче, усаживаясь к тому же в мягкое кресло, продолжал:

— Не я его нашел — судьба нашла. Я еще не видел ни одного Тоцкого-Троцкого, ни одного Либера-Дана, чтоб он не пользовался услугами таких вот докторов. Да еще болтливых, слишком болтливых, юнкер. А этот?.. Этот — могила. Проверен, засекречен и оберегаем... как славное оружие нашей славной революции! Что?.. В патетику впадает престарелый Савинков? Нет, просто сущность человеческую прозревает. Ведь этому Киру Кирилловичу жизнь такая, как и нам, — тоже вечное шатание по окровавленному ножу. Думаете, легко ему одновременно и с нами, и с комиссарами вожжаться? Не скажите, юнкер: кто вот так бесшабашно и артистично залезет в пасть... положим, в зад-

ною... любому архиважному комиссару? Не обижайтесь на старика, — закончил он чуть-чуть кокетливо, — а лучше еще выпейте да поешьте. Силы — они любви к отечеству прибавляют.

Флегонт Клепиков давно уж эту легкую обиду под холодец пропустил, а тут и вовсе растаял:

— Какой вы, Борис Викторович...

— Такой, юнкер, такой, милый.

Он приобнял его, тоже с удовлетворением оглядываясь. Умел доктор жить, ничего не скажешь. На это умение ему, конечно, и раньше подбрасывали, да и теперь, наверно, кое-что, но он не уставал удивляться. Ведь знал его и по заграничным встречам, знал и по приезде в Петроград, бывал не раз в этой путано-запутанной квартирище, заодно и нелегальной больничке, но вот и сейчас в душе похмыкивал: эх живет человек! Кир Кириллович, — человек исконно ярославский, носивший вот такое имечко, при фамилии Бобровников, — умел устраиваться в своей многотрудной жизни. Дом ему вроде и не принадлежал, а на какой-то чухонке был записан, следовательно, и адресные следы доктора заметал, к тому же скромным своим плечиком лишь немного высывался на улицу; тулово многоликое и многоногое погружалось в самые настоящие октинские трущобы, переходящие в заброшенные склады, так что полк там потеряется — не найдешь. А между тем внутреннее убранство — на все вкусы и лица. Сеть запутанных коридоров и коридорчиков, начиная от скромного, вполне в таком духе, парадного крылечка, — она неприметно тянулась из одной комнаты в другую и заканчивалась такими вот уютными тупиками. Наподобие чуланчика З. Н., но пошире и побогаче. Не замечалось, что для прислуги, — для своего, так сказать, употребления. Были три кресла, диван, стол, сияющий лаком граммофон, большущий книжный шкаф... Славненькая ловушка... только для кого? Не для старого же конспиратора.

Савинков догадливо хмыкнул:

— Хэ... помогите-ка, юнкер.

Подошел к этому осевшему от книг шкафу и плечом подпер один бок, Флегонт вознамерился в другой... но тяжеленный шкаф без всяких усилий отъехал в сторону, открывая вполне приличную дверь.

— Видите? — с довольным видом потер руки Савинков. — Вот так и живут истинные революционеры... Однако шаги? Не будем смущать хозяина нашими изысками.

Шкаф, поставленный на ролики, за какую-то секунду встал на прежнее место, и Савинков успел еще вытереть руку о край скатерти, налить коньяку, прежде чем явился хозяин.

— Устроились? Вижу, что прекрасно. А вот и я! Да с чем, смотрите!.. — потряс он обернутой в пергамент бутылкой. — Ой, какой матерый комиссарище!.. Молчу, молчу. Страшно и имя называть, не только что копаться в этом...

— ...пениксе?

— Да, в его чертовом прогнившем пениксе ковыряться!

— А вы ничего, Кир Кириллович, вы ковыряйтесь... для пользы дела, — дружески поощрил его Савинков. — Руки, они отмоются. Доктору — да не знать!

— Знаю, Борис Викторович, знаю. Стараюсь. Куда денешься? Везде обыски, везде аресты. Куда порядочному человеку свою бедную головку упрятать?

— Да разве что в такую вот октинскую трущобку, — хорошо наевшись, посмеялся Флегонт Клепиков, окидывая взглядом потайной альков.

Неизвестно с чего от такой-то простой и благодушной шутки доктор насторожился и заходил по комнате, потом подошел к шкафу и поворочал совершенно не нужные ему книги... Савинков думал — заподозрил их невольное открытие. Но нет — достал то, что искал, и даже при закладке. Вот, извольте:

Я знаю: жжет святой огонь,

Убийца в Божий храм не внидет,

Его затопчет Бледный Конь,

И царь царей возненавидит.

— Вы вгоняете меня в смущение... своей памятьливостью!

— Ну, не по памяти, как видите. По душе — запомнилось, залегло вот тут, — постучал он пухлым кулаком по груди. — Ведь устаешь... от всех этих пенников!.. Ну их к бабам, как только что сказал мой комиссар. Не будем усложнять жизнь,отрежем это... как говорю я своим несчастным пациентам... Да, врежем.

Он хорошо, профессионально хлопнул пробкой и только потом спохватился:

— Ах, бокалы!..

Пришлось пускать первую струю в коньячные рюмки и, конечно, расплескать по скатерти, но уж тут и хозяйский зов:

— Авдю-ша!

Через секунду — право, как будто стояла за дверью, — и прислужница молодая и складненькая явилась с бокалами на подносе. Она, наверно, с тем и шла, да Кир Кириллович слишком поторопился. Ведь поднос-то собрать надо было. Там оказалось еще и печенье, и, боже мой, яблоки!

Поставив поднос, прислужница тут же бессловесно и тихо вышла. Кир Кириллович торопливо бокалы наполнил. Но Савинков остановил его:

— Ого-го, куда вы так торопитесь?..

Они выпили под это «ого-го», и видно было, что юнкер ждал каких-то других речей. Но Кир Кириллович решил, видно, объяснить.

— В двух словах, господа, чтоб не было никакого недоразумения. Вы же знаете, — кивнул он Савинкову, — я был мобилизован, как всякий врач, а при вашем министерстве — так и с моим удовольствием, под Ригой служил. И, между прочим, резал не только пенники. А когда наши доблестные войска... — он даже выпятил не геройскую, пухлую грудь, — предводимые Верховным главнокомандующим, то бишь адвокатом Керенским, драпанули от Риги... что, вы думаете, началось? Да, повальное скотство. Мародерство и насильничанье. Не суть важно, немцы, русские или латыши там целым

скопом извозили бедную Авдюшу... на глазах у матери, которую тем же катком прокатали, а потом и пристрелили, поскольку слишком громко уж выла... Ах, о чем это я?.. Давайте за нее, за мать, — дополнил он бокалы. — За Авдюшу успеется... Что было делать, когда ее, онемевшую от страха, привезли в наш госпиталь? Взял в санитарку. Кой-чему научилась при мне, и теперь не то медсестра...

— ...не то?.. — начал было повеселевший Флегонт.

— Немая прислужница, работница безответная, — строго глянув на него, закончил Кир Кириллович.

Всем почему-то стало стыдно, и Савинков сказал:

— Однако не за тем мы приехали. Жить у вас можно?

— Сколько угодно. Я пока вне подозрений. А если подозрения, как комиссарский трипперок, каким-нибудь дурным ветром надует, могу переправить и на родину, в родовой свой Рыбинск. Представьте, за мной еще где-то числится с полсотни десятин земли.

— Ну, насчет этого не беспокойтесь, — урезонил его Савинков. — Ваши подопечные комиссары наверняка ее уже попехонским оглодам пораздали. Так?

— Не знаю, — без особой печали признался Кир Кириллович. — Землица меня никогда не кормила, а уж сейчас и подавно. Но видите, что делается в Питере? Можно жить такому человеку, как я?

— Можно, — тихо, но уверенно остановил его Савинков. — Нужно! Нужно, Кир Кириллович. С вашего разрешения, мы эту ночь отдохнем, а потом и делами займемся.

— Располагайтесь, господа. Авдюша принесет белье. Один из вас в этой комнате, другой в прежней, как хотите. Думаю, что у меня еще будут посетители. Ба! Звонят!

Он шутливо развел руками, выбегая.

А встречу ему, будто опять ожидала за дверью, явилась Авдюша с двумя пачками белья. Она с еле заметным поклоном сложила все на свободное кресло и, мягко прилепывая домашними фетровыми туфлями, собрала на поднос посуду, вышла.

Неизвестно, что подумал об этом слишком впечатлительный юнкер, а Савинков не без сожаления подумал: «Да, умеет устраиваться наш бесподобный доктор...»

IV

Савинкову предстоял визит к Плеханову.

Именно визит — ибо это, несмотря на все большевистское засилье, и не могло быть ничем иным. Светская согласованность, церемонная вежливость, педантичность и вообще вся внешняя сторона дела были не чужды корифею-социалисту. Плеханов не любил наездов, наскоков, бесцеремонных вторжений; ему следовало прежде «протелефонировать» и самым почтительным тоном попросить: «Георгий Валентинович, сообразуйте меня принять по очень важному делу». И только после того, после старческого хмыканья и раздумья, — хоть не был он очень стар, — уже получив согласие, приезжать в установленный день и час, и чтобы минута в минуту. Да хорошо бы и с цветами — с алой гвоздикой лучше всего.

Георгий Валентинович уважал партийную символику. При этой мысли Савинков и сам на его манер хмыкнул: «Гвоздика!» Он имел при себе только тяжелый военный наган, привычный кольт и полшубок — вещи, совершенно не совместимые со взглядами старого социалиста. Но приходилось учитывать эти внешние досадные наслоения. Он прежде всего отказался от нагана, решив обойтись одним кольцом, потом и от полшубка, заменив его железнодорожной шинелью и черной, видавшей виды, но по-своему изящной фуражкой. После полшубков и шапок сегодняшней камуфляж ему понравился. Да все же и некоторая безопасность: ехать до Царского Села, где последнее время жил Плеханов, приходилось по железной дороге. Соответственно и документы: от «Викжеля» — неуправляемого, строптивного профсоюза, но все-таки сотрудничавшего с большевиками. Большевики вынуждены были признавать «Викжель» — этот закоснелый, по их взглядам, профсоюз, рассадник старой буржуазии и контрреволюции. Что де-

лать, управлять паровозами, тем более целыми дорогами, они не умели.

Савинков одернул железнодорожную шинель: «Викжель» так «Викжель». Иду на красный. Других световых нет».

Флегонта Клепикова, как тот ни упрашивал, с собой не брал. Во-первых, надо было проверить в самом Петрограде все прежние явки, а, во-вторых, один человек, да к тому ж свой брат, железнодорожник, менее приметен, чем толпа полшубков явно с чужого плеча. Нет, Флегонт. Нет, бесстрашный молодой адъютант! Савинков поедет к старому социалисту, как добропорядочный советский служащий. Засунув кольт сзади под ремень, он покрутился у зеркала так и этак и сам себе сказал:

— Как барышня на выданье. Не улыбайтесь, господин юнкер: именно мелочи и губят нас. Имею честь быть хорошим железнодорожным служащим!

С тем и отбыл на вокзал, душой, конечно, сомневаясь в успехе дела.

С донского восставшего закрайка было вроде ясно и понятно: если создавать, в противовес большевистскому, окраинное русское правительство, то как же обойтись без Плеханова? Весь семнадцатый год мысли вокруг этого крутились. С первых своих шагов по российской земле Савинков вдалбливал благую мысль тупоголовым министрам Керенского: Плеханов, Плеханов, Плеханов!.. И не только потому, что их связывали давние, устоявшиеся парижские отношения — предчувствие такой неизбежности. В отличие от Ленина, Троцкого и всей их компании, Плеханов вернулся из эмиграции без немцев, тихо и незаметно, наперекор большевистской разнузданности, и держал его неколебимый, несмотря ни на что, авторитет. Казалось, чего бы лучше? Если уж не премьер, так готовый министр экономики. Для России, которая так судорожно латала экономические дыры! Но мало что другие не понимали — не понимал и социалист Керенский. Сколько крови в свое самое авторитетное время извел Савинков, прежде чем однажды уговорил Керенского поехать к Плеханову, в то же самое

Царское Село! Он знал, что здоровье корифея не ахти какое, но все же вполне работоспособное. Плеханов, и только Плеханов утихомирит межпартийные страсти и придаст Временному правительству характер правительства постоянного! С тем и затащил Керенского в автомобиль, казалось, еще пахнувший тончайшими духами императрицы Марии Федоровны, — социалист Керенский любил все прежнее, царское и точно так же возлюбил личный автомобиль Божьей помазанницы. Своего ехидства Савинков, конечно, и тогда не выказывал, а, пользуясь этими бархатными, дрожащими от напряжения стенами, вдальблывал в ухо слабовольного русского вседержителя: Плеханов, Плеханов, Плеханов!..

Собственно, тогда они, хотя и с оговорками, заполучили согласие Плеханова: ладно, так и быть, господа-товарищи, только под этим решением пусть подпишутся и остальные министры, чтоб не походило на какой-то келейный заговор. Вот на той маленькой оговорке и сорвалось все дело, потому что перессорились граждане-господа-товарищи и стало им не до Плеханова: каждый на себя драное российское одеяло тянул...

Сейчас вроде бы и нет прежних оговорок, потому что и нет прежних господа-товарищей, кроме него, Савинкова, да кой-кого из замерзающих в донских степях, но зато — заговор уж истинно келейный, никуда не денешься. Каки-ие выборы, кака-ая всенародность?! Учредительное собрание если и соберут, так все равно разгонят; за большевистским кордоном ни единой опальной мысли — и возможно российское правительство. Савинков все еще верил: народное. Без веры он никогда и ничего не делал. Что с того, что уважаемого корифея приходилось вовлекать, по сути, в заговор? Иного пути не было. Это знал он, Савинков, но знал ли столь щепетильный и столь чувствительный ко всякой крови старый социалист?

Савинков трясся уже помаленьку в вагоне. Не прежние царские времена — одна из лучших дорог, а проще сказать — придворных дорожек; сейчас громыхало по рельсам нечто донельзя разбитое, ржавое и заплеван-

ное. Обычных пассажиров почти не примечалось, даже мешочников, — сплошь солдаты, железнодорожники и редкие запуганные пригородники, женщины поголовно. Мужчины если где-то и были, так предпочитали, видно, отсиживаться в своих норах, а по петроградским делам ездили безответные дачницы, у которых за убогой одежкой угадывались дворянские повадки. Савинков незаметно, но цепко присматривался. Привычка. Не знаешь ведь, где встанешь, где сядешь. Вот пожилой потасканный жизнью красноармеец — без всяких нашивок, следовательно, рядовой; что заставило его надеть опять солдатскую, еще брусилковского покроя, шинель и только обозначить ее, в знак любви к большевикам, красной матерчатой звездой на обычной серой папахе? Вот молодой бледнолицый железнодорожник — гимназист по прежним меркам; хлеба насущного ради служит как-ким-нибудь телеграфистом или билетером. Вот добренькая, чистенькая, вся высохшая старушка в убогом драповом пальтишке; из коротких рукавов, однако, выгибаются тонкие, назойливые кружева. Вот молодая, красивая — да, красивая, несмотря ни на что, — женщина в хорошей беличьей шубке, пожалуй, слишком приметной и неприличной по нынешним временам; Савинкова что-то беспокоило при взгляде на нее, но что?..

Видел, видел он ее! Но только — где?

Привычка вспоминать, привычка.

Неужели?..

«В салоне у милейшей З. Н.!»

Он уже собирался пересечь поближе, ну, хоть посоветовать, чтоб не кичилась своим видом, но тут в вагон торпливо прошел новоявленный командир новоявленной армии, с какими-то красными шевронами на рукаве и сказал с укоризной:

— Ай-яй-яй, Надежда Васильевна! Комполка ждет вас в первом вагоне.

Первый вагон, как еще при посадке заметил Савинков, был закрытым и видом почище; вот туда с извинениями и увели бесцеремонно красивую женщину. Недавнюю завсегдательницу одного из лучших петербург-

ских салонов. Дремавшие по лавкам красноармейцы заулыбались:

— У нашего комполка губа-ть не ду-ура!

— Лихой-ть мужик!

— Да он же прежний барин, только орла на звезду пыменял!..

Савинков уже задним числом, когда дверь вагона за женщиной закрылась, окончательно вспомнил: да это ж любовница полковника-латыша Гоппера! В бытность военным министром они даже в какой-то разгульной компании вместе вечер коротали... Тесна земля, тесна.

Хороший полковник, Гоппер, и полк был хороший. Что, при виде немцев и разных белых эстляндцев, подступивших уже к Нарве, он, и сам эстляндец, опять защищает Россию? Какую? Зачем?..

Но осудить полковника Гоппера Савинков почему-то не мог. Разве сам он не ради России трясется в этом холдном скрипучем вагоне?

— Товарищ... э-э, товарищ... почему вы так плохо работаете?

Савинков не сразу понял, что обращаются именно к нему.

— Поезда ползут, как черепахи. Совсем не революционно! Так мы никогда не отобьемся от буржуев да немцев! И-и... бастовать еще нам?!

Молодой и такой настырный солдатик, из непримиримых. Едва ли и черепаху-то видел, а туда же: даешь ответ, и все! Форма-то железнодорожная. Досадно, чуть не опростоволосился.

— Вы говорите, товарищ, о возникших кое-где забастовках. Будьте спокойны: мы разберемся — по-пролетарски! О перебоях в движении? Ускорим! Об авариях, кражах на железных дорогах? О «Викжеле», наконец? — Нашелся он какое-то мгновение спустя. — Но революция, как видите, многое распатала, в том числе и рельсы. Все только укладывается на новых шпалах. Где взять верных людей? Где взять специалистов? Вот вы? — уже сам стал напирать. — Вы можете работать диспетчером? Или составителем поездов? Или машинистом?..

— Я-то? — хмыкнул солдатик, может, неделю назад ставший красноармейцем. — Я-то революцию защищаю! К-кой черт машинист!

— Вот-вот, — не давал ему опомниться Савинков. — А поезда все равно кто-то должен водить? Пути ремонтировать? Паровозы новые делать? Сигнализацию поломанную обновлять? Что на этот счет товарищ Ленин говорит?..

Солдатик сразу неприкаянно поник. Он знал, конечно, про товарища Ленина, но не знал, что Ленин говорит. А Савинков вытащил из наружного кармана и без того приметную «Правду», ткнул наугад пальцем:

— Вот. Читайте.

Он был совершенно уверен, что новоиспеченный красноармеец и читать-то не умеет...

Так оно и оказалось. Солдатик сделал вид, что его сморил сон, закрыл глаза. Савинков подумал: «Вот на них, безграмотных и темных, вся надежда у большевиков?..»

Больше таких великих споров в дороге не было. Если не считать маленького недоразумения при встрече, уже в Царском, с начальником станции, которому вздумалось спросить:

— Товарищ Цапко не передавал с вами новый график движения?

Савинков посмотрел на холеного, видно, хорошо у большевиков устроившегося железнодорожника и уверенно ответил:

— График уточняется. Товарищ Цапко просил передать, что к концу дня приплет с нарочным. По военному времени, дело секретное. Всего хорошего, товарищ.

Он круто повернулся и пошел на площадку перед вокзалом, где в старые добрые времена играли военные оркестры и, прогуливаясь, показывали свои наряды великосветские дамы. Теперь все было занесено снегом, завалено обломками, опметками всякого мусора и давно, наверно, с прошлого года не убиравшимся конским навозом. Задерживаться здесь не имело никакого резона. Железнодорожная форма хороша, но слишком уж ответ-

ственна. Чего доброго, спросят: подавать ли товарищу Бронштейну блиндированный вагон или обычный царский?

Дорогу к дому Плеханова, еще при прежних наездах, он знал хорошо, поэтому пошел напрямую, срезая углы по узким пешеходным тропам. Короче, да и безопаснее: красноармейские машины по тропкам не носят. А машин было много: все-таки фронт к Петрограду надвигался именно с этой стороны, до Луги и Нарвы было рукой подать.

Он не сомневался, что Плеханова уже опекают новоявленные, а может, и старые, переметнувшиеся к большевикам, филеры. Даже обрадовался своему прозрению: так и есть. Жив курилка! Расхаживал на некотором отдалении, в пальтишке и бараньей шапочке, а морда-то все та же, жандармская. Будь это где-нибудь под Выборгом, не миновать бы попутного окна... Но здесь — не финская сторона, здесь Царское, теперь Красное, Село. Савинков был готов и к такой встрече, охотно пошел на сближение, помахивая назойливой «Правдой»:

— Товарищ... вы не знаете, где дом товарища Плеханова? Железнодорожный Комитет поручил мне поагитировать товарища Плеханова, чтоб он решительнее становился на нашу сторону. Вот, не найду!

— Плеханов... — жандармская морда сделала вид, что вспоминает. — Вон. Ба-арский домишко!

Савинков по-пролетарски поднял правую руку, в которую так и просился кольт. Не спеша пошел в указанном направлении.

Плеханов занимал на одной из царскосельских улиц просек красивый и удобный особняк, арендованный для него у какого-то князя, теперь уже, бесспорно, сбежавшего за границу. Место по нынешним временам не самое лучшее, по сути, прифронтовое, но старый социалист и раньше не любил менять обжитую обстановку, а сейчас чего ж? Подальше от своих прежних соратников, нынешних большевиков, от шумного Смольного — поближе к себе... Несмотря на всю свою чопорность и житейскую непрактичность, приближавшегося фронта он,

пожалуй, не боялся — трусом все-таки не был. Савинков знал это по парижской жизни; тогда они вместе сотрудничали в одних и тех же журналах, да и сами кое-что совместно издавали. Плеханов уважал его военную осведомленность, основанную на личных окопных наблюдениях, — он был фронтовым парижским корреспондентом, — а Савинков уважал в Плеханове широкий, обобщающий ум. Ведь что тогда было в моде? Пораженчество. Германии, Франции, да хоть и самой России. Не все ли равно — в преддверии всемирной огненно-кровавой революции? Чем хуже — тем лучше, утверждали Ульяновы и Бронштейны. Не то твердил по-фронтовому бесстрашный старый социалист. Поражение России? Поражение Франции? Вы с ума сошли, господа-товарищи! И даже когда немцы подступили к самому Парижу и вот-вот могли его взять, а следовательно, и расстрелять всех, ратовавших за победу, сугубо гражданский социалист не дрогнул. Они с Плехановым еще громче затрубили в свои победные трубы, еще круче закрутили военные издания, и после, когда немцы откатились, старик радовался, как истый парижский ополченец. Оставалось только с винтовкой наперевес бежать вслед!

Не то ли самое и сейчас? Немцы опять наступают, и уже не на Париж, а на славную петровскую столицу; пусть и чужими, чухонскими силами, и под знаком двуедушного и позорного Брест-Литовского мира. Что же старый ополченец-социалист?..

Знакомая по прошлым наездам служанка-эстонка опустила заплаканные глаза:

— Господин Борис... к нему нельзя...

— Почему же... госпожа... Элма? — вспомнил он; баронесса как-никак, хотя и в прислужничьем фартучке.

Не стесняясь, даже руку поцеловал.

— Нельзя, Борис... Викторович, — и она вспоминала. — Какой вы сейчас!..

— Смешной?

Так и чудилось: сейчас сделает книксен и густо покраснеет, как бывало. Но она, наоборот, заплакала:

— Не ходите, не тревожьте... Георгий Валентинович умирает. Не надо мешать, нельзя...

— Мне — можно, — не стал дальше ее слушать Савинков и, скинув железнодорожную стылую шинель, прошел в гостиную, а оттуда, мимо дремавшего в кресле доктора, прямо в спальню.

Да, старый, вечно с кем-нибудь воевавший социалист умирал. Уже отсутствующий, обложенный подушками, как за последним своим бруствером. Отступать ему было некуда...

Но он еще узнал своего парижского волонтера. Даже прошептал:

— Вот так кончаются все революции.

Нет, ум его не терял ясности, хотя душа отлетала... куда?.. У такого атеиста и безбожника?

Так и хотелось спросить: «Уж не причастились ли вы напоследок, учитель?!»

В самой смерти его было нечто символическое, от давней неукоснительной привычки. На прикроватном, собственно больничном, столике, сплошь заваленном лекарствами, всякими баночками и коробочками, стояла, как напоминание о прежних временах, огнистая стеклянная ваза, а в ней... огненные, горевшие свежим пламенем гвоздики... Господи! Где они в такое время нашли его любимых цветов?.. Стесняясь, он погладил их рукой, больше привыкшей к браунингу и кольту.

— Настоящие, — понял его умирающий.

— Да-да, Георгий Валентинович...

— Был Георгий... но сейчас уже не Победоносец... Меня победиша, она...

Революция или смерть? Дилем-ма! Старый социалист любил ученые слова. Неужели и сейчас в голове у него все двойлось?

Савинков не мог разрешить последнюю дилемму своего умирающего учителя...

Но не это нагоняло слезу... слезу у Савинкова, не обронившего ее даже в камере смертников!

Среди гвоздик, с обратной стороны, так, чтобы не видел умирающий, был приткнут маленький образок Спа-

сителя. Медный нательный образок, с каким уходили паломники в Святую землю...

А что если — видел?!

Дилем-ма!

Кажется, умирающий понимал сомнения своего более молодого, следовательно, и более счастливого друга, но сказать уже ничего не мог. «Бледная тень нашей бледной революции», — подумал Савинков, подспудно переиначивая одно из любимых изречений Иоанна Златоуста: «Конь Бледный, а имя ему Смерть...» Было в этом сближении неистового социалиста, при всех алых гвоздиках, и неистового христианского проповедника нечто такое трогательно-трагическое, что Савинков пожал бледную — тут уж без всяких иносказаний, — совершенно бескровную руку и тем же обратным порядком, мимо доктора, вышел в прихожую. Доктору нечего тут было делать. Уместнее был бы священник.

— Элма, вы не пытались?.. — не договорил он, и ей пожимая прощально руку.

Бывшая баронесса поняла, но ничего не ответила.

Что тут было отвечать?

«Правительства... кабинеты... министры!» — вторил он сам себе, выбегая на улицу. Какие, к лешему, министры?! Их давно растоптал всех... Бледный, да, Бледный Конь!

Невдалеке от дома рассказывал все тот же новоиспеченный филер. Минуть его было невозможно. Смерть смертью, но надо было жить по законам этих филеров. Савинков нарочно опять подошел к нему и самым небрежным тоном сказал:

— Да, железнодорожный Комитет напрасно надеялся на товарища Плеханова. Товарищ Плеханов умирает.

— Правда-сь?.. — с нескрываемой радостью откликнулся филер, который, конечно, знал о болезни «революць-онера», но в дом, что называется, был не вхож.

— Правда, — потряс Савинков все той же назойливо выпиравшей из кармана газетой и быстрым шагом, но уже другими тропками-дорожками пошел к вокзалу.

Там было опять все то же: красноармейцы, пушки на запасных путях, теплушки, сплошь забитые заинде-

лыми шинелями, — фронт подошел так близко, что отапливать эти скотские — для скотины же, в первую очередь для кавалерийских лошадей, и приспособленные — вагоны не имело смысла. Час-другой, да и в окопах.

Но жалости у Савинкова не было. Да и какая жалость? Опять то же утреннее опасное соглядатайство... Даже начальник станции тут как тут.

Савинков ему уверенно пообещал:

— Я скажу товарищу Цапко, что вы беспокоитесь о графике движения. Товарищ Цапко, конечно, поторопит кого надо. Без церемоний!

Самому гнусно стало от этих пророчеств... Хватит с него царкосельских встреч. В Петроград! А оттуда — в Москву. Вот разве что с «крестной» на прощание повидаться... Делать тут, в осином гнезде, больше нечего. Москва все-таки подальше от Бронштейнов и Ульяновых...

Он еще не знал, что все большевистское правительство, а следовательно, в первую голову и Бронштейны с Ульяновыми, собирают чемоданы, чтобы драпать от немцев. Не Плехановы, господа-товарищи! Под немецкими снарядами не останутся, нет.

Кремль? Белокаменная? Ими же и разбитая при революционном штурме старая российская столица?.. Стены ее толсты и крепки... «как задницы у господ комиссаров»!

V

Вернувшись из Рыбинска, поручик Патин весь январь бессмысленно бродил по Москве. Савинкова он потерял, других друзей не находил. От безделья и шатался. Почти без прикрытия, запросто. За эти месяцы все его обличье, подпорченное еще грязно-серой повязкой на руке, так подзатерлось, что каждому встречному прямо говорило: бедолага-инвалид, не нашедший себе ни красного, ни белого пристанища... Шпана, в общем... дай ему, Боже, кусок хлеба!

Патин часто ночевал на заброшенных подмосковных дачах. Где они, хозяева? Частью по южным окраинам разбежались, частью в окрестной земельке покоились — от пули ли, от голода, какая разница. Кто в Москве оставался, так свои дачные вотчины позабыл. В Москве как-никак, стены каменные, а здесь почти сплошь деревянные. Любили москвичи дерево, хорошо проолифленное и покрашенное. Снаружи было не так сильно и обшарпано, разве что окна да двери выдраны. Из подмосковных, даже владимирских да ярославских, сел наезжали, запасались до лучших времен. Мало утварь, мало мебель — кафель разворачивали. Ну да ведь и печи же были — что дворцы!

Патин искал дачи поскромнее. Там печи не облицованные, голый мерзлый кирпич. Наломай дровишек да подсогрей — и сам согреешься, иногда до жаркого пота. Лежи да полеживай на чужой расхристанной кровати. Не так опасно, как в самой Москве, иногда в погребах и съестного, тайного и явного, маленько находилось. Перебивался, приглядывался.

Вокруг было белым-бело, как в первый день Творения. Ни следочка, ни знака живого. Господи, есть ли хоть где-то Россия?..

Встав однажды поутру, промерзший и голодный, — незадачливая попала дачка, без печки и без еды, — он яростно начеркал палкой — хороша для собак и мелкой шпаны — прямо по первозданной белизне: «Родина... или смерть?»

Но как ни карал себя за безделье, умирать, ей-богу, не хотелось. Какой смысл в его смерти? Подзаборная котятра и та не шелохнется; бросил в кошку ледышкой и, удостоверясь, что попал, побрел из Лосинога Острова в сторону Сокольничьей рощи.

Нет, все-таки оставалась еще Россия. Нутром своим фронтным, уже привыкшим к революционным передрягам, чувствовал: не один он такой, неприкаянный. Бродят смутные тени по Москве, а особенно по ближнему Подмосковию, ищут друг друга; если приглядеться, то в каждом втором или третьем мужичонке призывного

возраста, одетом черт знает во что, угадывался бывший фронтовик, почти наверняка — офицер; крестьянские солдатики разбрелись в поисках землицы по губерниям, а рабочие клепали в дедовских сараюшках кастрюли, примуса да разные жестяные буржуйки. Не то у бывших господ офицеров: ни землицы, ни рук слесарных... Лишь затасканная шинелька, подбитая морозным московским ветром. Стыдно сказать, поручик Патин, ходивший когда-то в разведку для легкости в одной гимнастерке, сейчас под шинель напялил еще и толстую женскую кофту — на одной из дач позаимствовал. Ночевать-то приходилось не у тещи... Сегодня так и при разваленной, разобранный на кирпичи печке и без единой сухой корочки — все там было съедено-доедено мышами. Горячась от злости, да и от холода, он стылыми сапогами, как на коньках, перемахнул через Язу. Тот, правый, берег был крутой, и на самом крутояре женщина с непосильной натугой рубила береговые хлипкие березки. На дрова, конечно. Опасаться ее было нечего.

Патин без долгих раздумий поднялся по откосу.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, если жить не надоело.

Женщина обращалась к нему тоном старшей, сонисходительной покровительностью. Но не того ли же и возраста была — кто ее разберет под шалью, полушубком и мужскими валенками. Топор-то все-таки не очень умело держала — заметил Патин. Явно не из деревенских. Да и какие тут деревни, у Язы.

— Позвольте, — скинув с руки ненужную перевязь, взял у нее топор.

Вот когда согрелось тело! Березки на береговом гребне были не толсты, а сила в руках все-таки оставалась. Он валил деревинки и тут же рассекал их на чурки, а женщина охапками носила к дому; туда была натоптана тропинка, а дальше — ни следочка, словно никто и не выходил за призрачный белый круг.

— Одна? — понял Патин.

Она не ответила и, пристально посмотрев на него из-под шали, сказала:

— Вы уж не утруждайте так себя... господин поручик.

Он вздрогнул:

— Почему... поручик?..

— Да потому, что для полковника еще молоды, а в рядовые попросту не годитесь, — не стала больше ничего объяснять, лишь пообещала: — Не стесняйтесь, я покормлю вас... вижу, что голодны. Право, без церемоний. Так вот и познакомился он с хозяйкой этого загородного, по сути уже сельского, запущенного особнячка, стоявшего на московском берегу Язы, на самой границе с Лосиным Островом. Странно было, что хозяйка — звали ее Софьей Сергеевной — так явно и безоговорочно доверилась ему. Она ничего о себе не рассказывала, а он не спрашивал. Рубил дрова, топил печку и отсыпался за все зимнее бесприютное время. Подходя к зеркалу, качал головой: ну и мордаха стала! За неделю разгладилась, побрилась и даже напиталась запахами старого, уже забытого одеклона. Вечерами при свете лишь тлевших в камине чурек — керосина для ламп у нее немного оставалось, но опасно было освещать, обозначать дом, — после долгого лежания на кровати, он спускал ноги к ней, сидевшей обычно у огонька, и спрашивал:

— Неужели ты совсем одна, Софи?

Она не отвечала, лишь зябко, даже у огня, подергивала плечами. Ясно, что не привыкла рубить дрова и доить козу. Но жаловаться не жаловалась. Только еще беззащитнее приникала к его спасительному плечу...

Иногда тихо играла на рояле, но петь никогда не пела. Да и разговаривала мало. Одно могла спросить:

— Щи? Картошку будем жарить?

Он кивал, с удовольствием уплетая и щи, и картошку. У нее здесь было кое-какое хозяйство, еще не разграбленное. Была и кухарка-служанка, да, конечно, убежала. Что, в общем-то, и хорошо — дом занесло снегом, ни следочка на подходах, стоял он почти что на глухой поляне, связанный с внешним миром только просекой. Из опаски они и не ходили никуда, не следили. Даже печку и камин — жили всего в одной комна-

те — топили по вечерам, чтобы не привлекать к себе внимания.

Патин постепенно узнал, что это усадьба лесничего, у которого и в Москве была квартира, но только не знал, где сейчас-то лесничий...

Но ведь нельзя же жить вместе, при одном камине и при одной кровати, хотя бы словом не проговариваясь. Постепенно и открылось...

Да, одна, совсем одна. Сына-гимназиста повесили еще при затухающих всплесках первой революции, мужа-лесничего, уехавшего в Москву за продуктами и оказавшегося близ Лубянки, накрыло шальным снарядом при осеннем штурме Кремля, а сама она до нынешних дней музицировала пролетарским бездомным детям с Преображенки — приют там какой-то создавали, даже с некоторым комфортом. А для нее — так и с пайком. Можно было жить.

— Когда господин поручик сбежит от меня, опять туда пойду.

Он клялся и божился... ну как в песне известной... Самому тошно становилось. Чего загадывать на будущее? Сейчас и на день-то загадать невозможно. Глушь, глушь, а со стороны Сокольниковой рощи слышались иногда выстрелы. Уж ему-то не знать — винтовочные! Москва жила своей жизнью, революционной. Не такой уж и далекой.

— Не мучайся, я не одна, как видишь. С козочкой.

Эта загородная, затаившаяся москвичка даже живностью кой-какой обзавелась. Кроме козы, были еще и куры.

— Вот петушка я посекала, чтоб голосишком своим меня не выдавал.

Патин с сомнением качал головой:

— Неужели сама?..

— А с какой же курятиной щи? Закрывает глаза... и рубанула топориком беденького...

Можно было только удивляться, как за несколько месяцев поменялась женская сущность... Но ведь не везде? Вопросов лучше не задавать.

Патин пил козье горячее молоко и чувствовал, как к нему возвращается жизнь. Осмелев, стал окольными пу-

тями, чтобы не наследить, наведываться к Сокольным. Выбравшись на натоптанные дороги, уже безбоязненно бродил по заснеженным окрестностям и лишь, уходя в город, снова вздевал на руку серую перевязь, маленько натирал лицо гряззой из камина: больно подурмянился на козьем молоке! Софья Сергеевна посмеивалась, но радостно: у нее ведь тоже оттаивала душа...

Но в Москве ничего хорошего не находилось; все пряталось... или умерло, или сбежало куда-то! Если так, если на юг не пробиться, следовало пробираться на север, к своей родимой Шексне. А может, и к Архангельску. По слухам, там тоже начинало что-то шевелиться... Сколько можно отсиживаться в приживальщичках? Все-таки хозяйка была не так стара, чтобы не мучаться советью. Он даже назначил день отъезда.

— Через неделю, Софьюшка... у тебя хорошо, а...

— ...у невесты лучше? — вздрогнула плечами при этом известии.

— Ну какая невеста! Уходил на войну студентом-молокососом... Господи, три года назад! Целая вечность.

— Да, теперь и год вечностью кажется. Я кое-что соберу в дорогу. Негоже господину поручику нищим под отчий кров являться.

Тут была и некая ирония, и некая материнская заботливость. В самом деле, нельзя же из столицы — и без гостинцев!

* * *

Но пока он собирался, время распорядилось иначе.

Не все же дни возле хозяйки да ее козы отсиживать-ся. Бывало, и к центру Москвы пускался, на что-то смутно надеясь и чего-то неопределенного ожидая. Случай!

Но случаем одарила не сама Москва — все та же окраина...

Как обычно под вечер, пошел прогуляться, малозаметный в метели и снежном мареве. Хитрил ведь: снега на этот час не было, ясность чистозвездная. Просто спокойнее так думать, надежнее. Да и хозяйку тревожить не хотелось, про снег твердил. Будто она на улице не выходит, не видит!

По целине, а потом по едва приметным тропкам, ведущим к выходу из Сокольничьей рощи. Тут уже обретались какие-то невидимые люди, понатоптали. Дачные улицы-просеки, кое-где застроенные еще перед войной, лучами сходились к выходным воротам. Но он и прошел-то немного, как в полной темноте, кроме звезд, не подсвеченной ни одним жилым огоньком, слышалось мужское приглушенное пение. Марш?.. Марш, конечно! Фронтовому поручику да не знать! Он, правда, подзабыл исходные слова, думал, что красноармейцы прут; поехидничал: «Да-да... в бой идут... за власть Советов... и как один умрут в борьбе за это!.. Чтоб пусто было!» И марш-то ведь краденый, у кадетов. На слова святые дерьма наложено; сами-то не могли сочинить, лишь заменили «кадетское» на «советское».

Но сейчас слова были старые, настоящие. На задворках одного из затемненных особняков топтались густые тени, и вот они-то приглушенно, думая, что их никто не слышит, и пели:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую!
И как один прольем
Кровь молодую!

И дальше уж совсем очевидное:

Пушки грохочут,
Трещат пулеметы,
Но не сдаются
Кадетские роты!

Какая-то необоримая сила толкнула его за калитку, по тропке, ведущей в тесный мужской круг.

— Я хоть и не был кадетом... но, господа!.. Поручик Патин. Честь имею.

Его негаданное вторжение разорвало и песню, и плотный мужской круг. Он видел, что несколько человек настороженно сунули руки в карманы.

— Вы ничем не рискуете. Рискую я, поскольку, видите, один и безоружен. Не изволите ли, ради доверия, убедиться?

Он не собирался в этот вечер забираться далеко в город и потому действительно был безоружен.

Но никто не решался обшаривать его карманы. Только один, черноусый, совсем не для нынешней улицы, да к тому же и в шинели с португеей, нехотя согласился:

— Что делать... Жандармскую роль возьму на себя.

Он старательно, хоть и неловко, охлопал его карманы, при ясном лунном свете посмотрел в глаза и уже без обиняков представился:

— Поручик... тоже поручик... Ягужин! Третий пехотный полк...

— ...полковника Гоппера? Я некоторое время при нем служил, как же мы не встретились?.. — и обрадовался, и насторожился Патин.

— Когда?

— Меня перевели, после двух месяцев службы у Гоппера, в армейский штаб в марте пятнадцатого... позволять не договаривать — для чего?

— Ясно! В марте пятнадцатого я уже валялся по госпиталям... Мы и не могли встретиться. Но все-таки еще один вопрос: кто был начштаба у Гоппера?

— Их несколько раз меняли. При мне — подполковник Самушкин. После говорили: погиб при славном Брусиловском прорыве...

— Погиб, я это знаю... царство ему небесное, — перекрестился Ягужин. — Ну, а мы-то что же... Мы живы еще, господа. Шампанского поручику Патину!

Он обнял его, а бокалы — граненые стаканы, конечно, а шампанское — все та же базарная самогонка. Но лихо, лихо лилась! Патин, сунув в карман надоевшую перевязь, не успевал чокаться и вместе со всеми, ходя по натоптанному кругу, подпевал:

Пушки грохочут,
Трещат пулеметы!..

До пулеметов было, конечно, далеко, а до пушек и того дальше — чуялись лишь кое у кого в карманах наганы и разные револьверы, не более. Но ведь все-таки оружие!

Он не спрашивал, с какой стати собралось десятка полтора бывших явно офицеров, которые в глухой подмосковной роще и в глухом вечеру топчутся вот на снегу

и каким-то смертным кругом очерчивают свою неприка-
янную судьбу. Душой угадывал: всему свое время. Пол-
ное доверие еще не пришло.

Перед этим все, пожалуй, хотели расходиться и пома-
леньку прощались, уже что-то для себя и на будущее на-
значая, поэтому Патин сам предложил:

— Кто-нибудь один выйдите ко мне навстречу... ну,
скажем, послезавтра. У Сухаревой башни. Там, как и в
старые времена, шпана разная крутится, безопасно.

Он тоже, на всякий случай, отводил своих новых зна-
комых от гостеприимной здешней хозяйшки. Видно бы-
ло, что и они понимали его настороженность. Поэтому и
вызвался все тот же поручик Ягужин:

— Я приду. У Сухаревки день как раз базарный. Так
что пораньше, скажем, около полудня.

Патин кивнул и, чтобы не мешать им расходиться, не
идти по пятам у настороженных людей, свернул на пар-
ковую аллею. Разумеется, в другую сторону.

Он прошел почти до самых сокольнических ворот,
прежде чем опять развернулся к Преображенке; по той
же Яузе — и домой.

Странное это было ощущение: «Домой?..»

Почувствовал: на Шексну дорога пока заказана.
Бывшие фронтовики, раз встретившись, нескоро рас-
стаются.

VI

Савинков тоже видел эти неясные московские тени и
утешал загрузившего Флегонта Клепикова:

— Выше голову, юнкер. Слышите, поют?

— Где? Что? — не принимал шутку слишком серьез-
ный юнкер.

— Вот это нам и предстоит узнать — где!

Напрасно они себя укоряли в бездействии: месяца не
прошло, как уже знали — и где поют, и что подпевают...

Господа офицеры, вышибленные, что называется, из
седла, не отсиживались по норам, а собирались то в од-
ном, то в другом месте, чаще всего на дачных окраинах.

Вездесущий Флегонт Клепиков, плутая для разведки в
одиночку, нарочно не прятал под башлыком или лохма-
той солдатской шапкой свое лицо: приманка так при-
манка. Его еще до встречи с Савинковым, по Доброволь-
ческой армии, знали многие — при штабе ведь служил,
рядом с Корниловым. Авось?..

Можно было высмеивать этот грешнорусский
«авось», но вышло то, что и должно было выйти. В ме-
тельной завихрухе на Мясницкой вдруг нос к носу с ним
столкнулся человек в потрепанной офицерской шинели,
попросил прикурить и, пока догорала спичка, шепнул:

— Следуйте за мной.

Это было рискованно. Но что сейчас без риска? Фле-
гонт вразвалочку побрел следом, на отдалении, только
чтобы не потеряться в метели, которая гнала вниз, к Лу-
бянке, всякий негожий хлам. А они поднялись кверху,
свернули в переулок, потом в другой, какими-то темны-
ми дворами, проходами — в глухой и глубокий подвал.
Флегонт невольно насторожил в рукаве свой безотказ-
ный наган. Но когда миновали и одну, и вторую дверь,
распахнулась большая и светлая зала; десяток свечей,
не меньше, по нынешним временам небывалая роскошь.
Вдоль залы — составленный из отдельных столов длин-
ный, покрытый белыми скатерками стол; на нем закус-
ка, бутылки и в горлышке одной — древко, настольный
штандарт с двуглавым золотистым орлом. Флегонт Кле-
пиков невольно прищелкнул растоптанными каблука-
ми, но ничего не сказал, оглядываясь.

Подвал этот служил когда-то забубенной пивной...
или ночлежкой, потому что одна из продольных стен бы-
ла прорезана несколькими дверями, и там, в боковых
комнатенках, тоже кое-где промелькивали огоньки.
А за общим столом сидели и стояли человек тридцать, не
меньше, разного возраста и разного строя, но все — в
офицерской, подчеркнуто аккуратной форме; несколько
моряков — даже с кортиками. Флегонт Клепиков уже
понял, куда он попал, по-прежнему молчал, ожидая не-
избежных вопросов. Знакомых он не признал... хотя
сразу же, с первого взгляда, увидел поручика Патина, но

тем же мимолетным взглядом и запретил ему признание. Посмотрим, мол, что из всего этого выйдет.

А тем временем с торца стола встал узколицый подтянутый полковник с Георгием на груди и спросил:

— Кто может подтвердить, господа?

Все молчали, в том числе и тот, что привел его с улицы.

— Кого вы выслеживаете?

Вот когда стало страшно: его принимают за шпиика! Интересно, какого образца — царского, временнокеренского или совсем нового, большевистского? Если последнее, то долгих разговоров не будет!

— Значит, никто, — подвел полковник неутешительный итог. — И что, господа, из этого следует?..

Ясно — что. Клепикова, даже не обыскивая, взяли под обе руки и повели к выходу. Он суматошно соображал: сейчас выхватывать из рукава наган... или когда пройдут дальше, в узкий коридор?

Но ведь могут и не пройти, могут и сейчас?..

Кажется, делать грязную работу здесь, в офицерском собрании, никто не хотел. Дальше повели, выше, бесцеремонно подталкивая... И когда дверь уже готова была захлопнуться, вскочил сидевший до того за столом поручик Патин:

— Погодите, господа, прошу внимания! Это юнкер... его Императорского Величества Павловского училища... юнкер Клепиков! Я думал, и без меня кто-нибудь признает, он служил при штабе генерала Корнилова — вспомните! Что касается меня, я тоже новенький... извините, не при полном еще доверии, хотя и вполне справедливо по нынешним временам!

Патин высказал все это так напористо и достойно, что полковник дал знак конвоирам вернуться.

Когда Флегонт Клепиков снова предстал перед столом, к нему стали приглядываться внимательнее, и один из многочисленных здесь поручиков, кроме Патина, сердясь за свою забывчивость, подтвердил:

— Клянусь честью, я встречал его в штабе Добровольческой армии... когда в прошлый раз выходил на связь с ними. Извините, юнкер!

Он подал жилистую пехотную руку, и Клепиков с жаром пожал ее, тоже присматриваясь:

— Вы были в декабре... числа пятого или шестого?.. Когда я собирался как раз сюда? — Он говорил пока только от своего имени, не решаясь называть Савинкова. — Если не ошибаюсь... поручик Ягужин?

Все происшедшее за эти две-три минуты, показавшись Клепикову вечностью, было столь очевидным, что председательствовавший полковник сам шагнул навстречу:

— Извините и меня, господин юнкер. Бедная Россия, до чего мы дожили... жандармами становимся!.. — На мгновение он закрыл лицо ладонями, но тут же резко откинул их: — Господа, пригласите юнкера за стол.

Какой-то гренадер уступил Флегонту Клепикову стул, зазвенели стаканы, и полковник более строгим тоном возвестил:

— За Веру, Царя и Отечество!

Все парадно и молча — под это мысленное: «Выше локоть!» — выпили и сели не раньше, чем сел полковник.

О незваном госте по-свойски и позабыли. Разговор шел как бы не прерываясь, для всех, в том числе и для Клепикова, одинаковый. Говорил с одобрительного общего согласия, затягиваясь просмоленной трубкой, артиллерийский капитан:

— Вести малоутешительные, господа. Поручик Ягужин был на связи в начале декабря и многое... как бы это сказать... предвосхитил, да! Я же только что вернулся оттуда и доложу вам: события развиваются не столь гладко, как виделось вначале. Добровольческая армия славного Лавра Георгиевича Корнилова... царство небесное ему, погибшему под Екатеринодаром!... все еще слишком мала и слабосильна, хотя генералы Деникин и Алексеев делают все, что в их силах. Но — не боги же. К тому же отрезаны широкой большевистской полосой от центра России. Крестьянские волнения разрозненны. Казаки мечутся из стороны в сторону, им умело морочат голову... иногда они попросту бьют в спину добровольцам... Да. Не будем закрывать глаза. Кое-где, правда, со-

здаются отряды самообороны, но они могут единственное — оградить свои уезды от продотрядов. Что еще? — Капитан надул себя самосадом. — Союзники? Больше болтают, чем делают. Никак не высадутся ни на юге, ни на Балтике, ни в Архангельске.

— На себя, только на себя надежда! Но общее белое движение не налажено, чего там — разобчено, господа. В Санкт-Петербурге, под рукой Зиновьева-Апфельбаума, самый настоящий повальный террор. С переездом большевистского правительства в Москву — красный террор укрепитя и здесь. Не стоит утешаться: Чека, к сожалению, набирается жандармского опыта. И при всем при том... — попыхал он трубкой, — в Москве тьмутущая нас... господ офицеров, забывших присягу! — уж совсем непримиримо отрубил он вспыхнувшей, как запальник, своей артиллерийской трубкой всякие возражения. — Да. Мало чувства ответственности... я уж не говорю — любви к Царю и Отечеству!

Он помахивал своим обожженно-янтарным фитилем, словно готовясь бросить его в пороховую бочку. Не было сомнения: случись что, батарею свою взорвет — не отдаст! Но глаза, вопреки плотно сжатым губам, излучали какое-то скрытое тепло. Этот окопный прямодушный капитан в душе, видимо, надеялся на возражение. И оно последовало — все от того же полковника:

— Вы забыли, капитан Вешин, про наш «Союз»? Так ли уж напрасно мы теряем время?..

Капитану было приятно это возражение. Он поправился:

— Что ж, наш «Монархический союз» уже представляет некую, еще неиспользованную силу. Я не выдам большого секрета... — взглянул он на полковника, и тот одобрительно кивнул. — Нет секрета в том, что «Союз» уже сейчас насчитывает восемь сотен офицеров. Главным образом, из гвардейских и гренадерских полков. Надеюсь, другие господа офицеры не обидятся. Я тоже не имел чести служить в гвардии, но... с не меньшим правом могу служить России! — всласть попыхал он своим запальником. — Нужно вылезать из нор. Не только

офицеры — рядовые, народ! Верно, мы не учились подпольной войне... Не обижайтесь, господа, наши собрания похожи на маскарадные игрища. Вот мы снимем сейчас мундиры... и в колушках да пальтушках разбредемся по матушке-Москве...

Капитану нечего было больше сказать. Он сел и уж дымящийся фитиль совал прямо в пороховую бочку. Казалось, вот-вот все и взорвется... к чертовой матери! Его заздравная речь оказалась совсем не заздравной — слишком тяжелой, чтоб отмалчиваться. И, звякнув шпорами на хорошо вычищенных сапогах, вскочил на стул недавний провожатый — он успел уже когда-то переодеться в гвардейский мундир, — глаза его гневно горели:

— Да-да, все так. Строевые? Гвардейские? Гнушаем своего подполья? А большевички не гнушаются, большевички вполне освоили прежний жандармский опыт и уже превзошли его. У нас слишком белые руки! — вытянул он вперед тонкие вздрагивающие пальцы. — С такими руками... с таким чистоплюйством... большевистскую тьмутаракань не одолеть. Нам нужна четкая конспирация, нужно хорошо продуманное военное командование, нужен, наконец, господа, беспощадный террор. Да, белый террор! Не морщитесь, пожалуйста. Разве не с этой целью я еще на прошлом собрании предложил вам разыскать Савинкова — по моим сведениям, он где-то здесь, в Москве. Вот к кому следует пойти на выучку! Хоть Савинков и не приемлет наших монархических взглядов.

Многие почему-то обернулись к юнкеру, которого чуть не расстреляли. Патин, что ли, успел нашептать?

Флегонт Клепиков посчитал за нужное дальше не скрываться:

— Предположим, Савинков... Но вы, господа, действительно подумайте: все-таки он социалист. Как мы решим это противоречие?

Полковник вдруг рассмеялся тихим, каким-то застенчивым смехом:

— Господин юнкер, ну какие вы социалисты? Вы просто русские люди. Русские!

— Да-да, — поддержал его сейчас же гвардейский, загоревшийся дерзким лицом провожатый. — Именно это я имел в виду: Россию! Не время делить погоны. В ледяной поход за Корниловым, вместе с юнкерами и мальчишками-кадетами, шли в общем строю, пешью, и седоусые полковники. А что же мы?.. Савинкова найти и уважительно... я подчеркиваю, со всей уважительностью... пригласить в наш общий строй. У него есть то, чего нет у нас: громадный опыт подпольной работы. Любовь к Роции не на словах — на гневной прицельной мушке. Мы ведь знаем, что в самое тяжкое время он был вместе с Корниловым и, собственно, не так давно от него и вернулся. Я ищу его, я найду. По моим опять же сведениям... — он смутился. — Извините за ячество. Но мои приятели из штаба Добровольческой армии передают: Савинков ищет нас, у него полные полномочия от Корнилова...

— ...жаль только, что генерал Корнилов убит, — перебили не вовремя.

— Герои не могут быть убиты! И полномочия, полученные от них, не могут быть утеряны! — закусил гвардейские удила провожатый. — Савинков не предаст память Корнилова. Я пью за Савинкова!

Он лихо хлопнул стакан и, как в былые времена, с треском бросил его в угол.

Полковник умудренно покачал головой:

— Так что за разговоры? Доводите свое дело до конца. Возьмите в помощники... хотя бы новеньких, да. Пускай послужат общему делу. Поручик Патин, юнкер Клепиков? Не спрашиваем — согласны ли? Не требуем сиюминутного ответа, но говорим: честь имеем пригласить Бориса Викторовича!

Флегонт Клепиков не мог вспомнить, где он раньше видел этого полковника, но когда тот рассмеялся и таким приятельским тоном назвал имя Савинкова, мысленно хлопнул себя по лбу: «Бреде! Командир первого латышского полка. Георгиевский кавалер и человек по истине совестливой чести...» Мысль возвращалась, возвращалась назад: Царское Село, Павловск, Луга, Нар-

ва... Так! Генерал Краснов как никогда был близок к Петрограду, но, кроме казаков, его почти никто тогда не поддержал. Не выручили ни финляндские, ни латышские полки, на которые была надежда: они в лучшем случае оставались в нейтралитете. И было невыносимо больно видеть, как с горсткой офицеров под полковым знаменем пробивался на помощь Краснову преданный всеми своими подчиненными немолодой, бесстрашный полковник... Захмелевшие от крови балтийские головы-резы Бронштейна хоть и были у власти без году неделю, смели бы их тогда начисто артиллерийским огнем, не пошли Савинков в такой спешке, даже без ведома Краснова, казаков из личной охраны... под командой какого-то подвернувшегося под руку юнкера! Во-он еще когда Флегонт Клепиков и с Савинковым, и с Бреде познакомился! Правда, Савинков и лица-то его не запомнил, а полковник истекал кровью, но что с того; не напоминать же сейчас об этом, как юнкер выносил его, уже растерявшего всю свою свиту, на собственных плечах... О долгах не напоминают. Полковник все-таки нашел в себе силы поблагодарить спасителя: «Честь имею... быть смертным должником!..»

Вот так встречал

С того студеного ноября прошло не так много времени, а Бреде уже во главе стола... да, видимо, и во главе офицерского подпольного строя...

Более жестом, чем словами, полковник дал всем знать:

— Расходитесь, как всегда, по одному. Без церемоний, господа.

Им с Патиным и не было смысла церемониться. Патин, правда, спросил:

— Вы не в обиде, юнкер?

— Что вы, поручик! — поспешил заверить его Клепиков.

— Поначалу могло показаться — я предаю вас... Но я и сам здесь впервые, вчера только и познакомился... на одной загородной даче... Сразу туда?

— Нет, к Борису Викторовичу. Вероятно, он волнуется.

Савинков на это время оставался в Замоскворечье, у давнего приятеля-анархиста. Он встретил своих адъютантов как ни в чем не бывало:

— Я же говорил — вы станете друзьями. Ревность? Не до нее, господа. Говорите.

Клепиков на правах последнего по времени адъютанта без упоминаний о своем несостоявшемся расстреле изложил суть дела. Патин добавил впечатления от собственных встреч, даже о благословенной для подпольщиков лесной даче, имя хозяйки, впрочем, тоже не называя. Савинков ни разу не перебил. Только уже под конец:

— Полковник Бреде? На него можно положиться. Монархист, социалист... какое нам теперь до всего этого дело?

VII

В нем жили два несовместимых человека.

Один говорил: «Россию спасут от красного террора два-три десятка человек! И то разбитые на мелкие группы. Внезапно, оглушительно и вызывающе они взорвут — к чертовой матери, можно принять и такой анархистский жаргон! — разнесут в клочья все большевистское руководство... как когда-то Плеве и великого князя Сергея! В один прекрасный день очистят затаившуюся Россию от ненавистных говорунов-инородцев и тем откроют дорогу истинной демократии и Учредительному собранию...»

Второй не давал договорить, возражал: «Генера-ал террора»?! Тремя десятками браунингов, да хоть и нынешних маузеров, Россию не спасти — ее очистят от красного ига заново восстановленные российские полки под водительством все тех же прежних генералов, — не морщитесь, гражданин социалист! Впрочем, пускай хоть и полковников. Но все равно — кадровых, преданных России офицеров. Мятеж? Террор? Крестьянский бунт? Не смешите своих погибших друзей, господин социалист! Времена изменились. Время браунингов и бомб

ушло! Слышите, что поют на тайных собраниях? «Пушки грохочут, трещат пулеметы... Пушки! Пулеметы! Роты! Полки! Вот оно — будущее России».

Подобные голоса раздавались и раньше, гораздо раньше — еще после первой русской революции, в темные, пораженческие годы. Выходила полная сумятица. Но ведь дело-то ясное: или армия, пусть тайная, но хорошо оснащенная армия, или террор смертников-одиночек. Вроде Ивана Каляева. Но — ничего третьего. Когда тогдашний Исполком партии социалистов-революционеров — считай, «рыжего Чернова» — принял соломоново решение: держать «под ружьем» Боевую организацию эсеров, лукаво названную «Милой Раей»... и не подавать признаков жизни, затаиться, — он, Савинков, с револьверной быстротой выстрелил в Чернова:

— Один глаз — на вас, другой — в Арзамас?! Не выйдет.

Смертельное оскорбление — но перенес. Разогнали так ничего и не сделавшее Учредительное собрание — перенесет, переблует с похмелья, хотя и вякает откуда-то с южных, дальних тылов все то же: «Террор?.. Армия?.. Ищите альтернативу! «Милая Рая» умерла».

Все то же словоблудие. Да, кучка террористов не может быть армией; в армии авторитет старших офицеров. Да, в тайной организации — авторитет успеха. Пока друзья-террористы стреляют — они в хомуте дисциплины; стоит им спрятать носы под подушки любовниц — становятся легкой добычей полиции. Что, Чека даст им отлежаться под подушками?..

Он мысленно перебирал опять, как весь последний месяц, навязшие в зубах 36 фамилий чекистов: Дзержинский, Петерс, Шкловский, Зейстин, Размирович, Кронберг, Хайкина, Карлсон, Шауман, Ривкин, Делафарб, Циткин, Розкирович, Свердлов, Бизенский, Блюмкин, Модель, Рутенберг, Пинес, Сакс, Гольдин, Гальперштейн, Книгиссен, Либерт, Фогель, Закис, Шилькенкус, Хейфис...

Господи... прости безбожника! Прости петербургского потомственного дворянина, не жалующего инородцев!

Но ведь даже царская полиция, паршивая охранка, была родимой, русской... Что ей было делать — иногда и закрывала глаза, особенно когда под спасительную затемень игриво совали в карман хрустящие «николаевки». Извольте нас не звать!

Закроет ли глаза Блюмкин... Держинский... Петерс?..

Дадут полежать господам-офицерам в тайной московской поре... если узнают?..

Пока — не знают. Это хорошо. Это обнадеживало.

Готовясь к тайной встрече с полковником Бреде, Савинков зря времени не терял. Он думал. Он прожигал своим раскаленным умом темень новой власти — власти Троцких, Ульяновых, Апфельбаумов и Держинских. Он сравнивал прошлое и настоящее. Сравнение было не в его пользу...

Напрасно упрекал Флегонт Клепиков, армейской выучки юнкер: он и сам отрешился от браунингов, хотя и славное какое-то созвучие с именем полковника!.. Нет, он еще раньше сказал себе: пусть пушки грохочут, трещат пулеметы!.. Опыт военного министра, даже маленький, не прошел даром. Да и общение с такими необоримыми генералами, как Корнилов, Краснов, Каледин, не прошло даром... хотя иных уж нет, а те далече... Скупые вести, но доходили: 24 февраля только-только вставшая на ноги Добровольческая армия, еще раньше оставившая Таганрог и Новочеркасск, оставила и Ростов. Каледин застрелился над штабной поверженной картой, а Корнилов увел пять тысяч своих «ударников» под Екатеринодар в погибельный Ледяной поход, в зимние метельные степи... Горстка бесстрашных мальчиков и шедших в пешем строю полковников, без артиллерии, без снарядов и патронов, даже без перевязочных бинтов, на одних штыках уносила из окружения знамя Добровольческой армии. Но — армии!

Больше ничего пока не знал Савинков, упрекая себя, что «отсиживается в теплой Москве»... в промерзшей конуре бывшего анархиста. Умирал в Замоскворечье анархист, всегда плевавший на партийную принадлеж-

ность и охотно помогавший «Милой Рае»... Савинков отдавал ему последний долг. А тут Флегонт со словами:

— Я договорился о встрече. Но они же монархисты?! А мы?.. Социалисты!

— Ну какие мы социалисты! Мы просто русские люди. И они — русские. Чего нам делить?

— Странно, Борис Викторович! Полковник Бреде почти то же самое говорил.

— Значит, не глупый человек. Бросьте вы, юнкер, этот дележ. Собираемся. До условленного есть добрый час в запасе. Я посижу возле своего друга, подумаю.

Друг-анархист умирал, уже не слышал их разговора. Но мысль Савинкова умирать не хотела. Господи, если ты есть... ради чего он двадцать лет отдал подполью, рвал в клочья своими бомбами министров и великих князей, даже готовил убийство самого Николая?! Только ради того, чтоб к власти, как голодные волки, бросились все эти Троцкие?! Судьба смеялась не только над ним — смеялась над несчастной Россией. Поводыри, вроде Керенского, разбежались по границам, а России бежать некуда. Она как мать перед виселицей: бессловесно мечет кресты. «Мама!» — из прокаленной, бесчувственной, казалось бы, груди вырвалось это запретное слово. Она ведь, когда все минуло, сознавалась: «Бывало, в Севастополе молось я перед твоей тюрьмой, а слов нет, вроде как и права на слова не имею, совесть заедает, — зачем ты убивал, сынок?!» Вероятно, как и его заедала совесть писать прошение о помиловании — он предпочел почти безнадежный побег из тюрьмы-крепости. Но ведь была в таком случае надежда? Почему же не быть ей и сейчас? Монархисты... прогрессисты... социалисты... сколько лишних слов! Он и себя на словоблудии ловил. Нашли чем выгораживаться — значками. Это как в полках: пехотный, гусарский, драгунский, артиллерийский... Ах, как славно, как красиво! На левом рукаве — голубая нашивка с белым черепом и двумя костями накрест под ним... корниловский, личный полк. Но что он, бесстрашный, в одиночку сделает? Корнилов собрал под свои знамена все полки. Под единый объединяющий

знак. Что говорил он, ведя в штыковую атаку своих мальчиков и седоусых полковников? «За Россию... единую и неделимую!» Вот и все, господа-товарищи... и милостивые государи!

Савинков думал, готовясь к важной встрече. Друг-анархист умирал... кажется, уже умер... Да, царство ему небесное.

— Пора, юнкер.

С Замоскворечья двинулись в таганские трущобы. Зачуханный слесарь да зачуханный, никому не нужный солдатик...

В прежние времена, при всей конспирации, Савинков терпеть не мог простонародного тряпья. Нет, аристократ до кончиков ногтей. Чаще всего англичанин, сорящий по российским столицам свои неистощимые фунтики... Сейчас и затрапезная шинелька радовала. Он врос в нее, как в собственную кожу. Перед чекистскими патрулями даже шмыгал носом и утирался рукавом. Вот так, господа-товарищи!

Встреча была назначена на своей явочной квартире. Укоренившаяся предусмотрительность. В своем дому стены помогают... и особенно одному ему известные черные лестницы. Правила подпольной игры он всегда устанавливал сам.

С полковником Бреде он не был знаком. Юнкер Клепиков мог и ошибиться, а поручик Патин по фронтовой солидарности мог и передовериться ему. Не с наганами же наголо, да в красноармейских шинелях топает по Москве Чека. Ясно, что бывших служаков подбирает. Не всякий устоит перед голодухой.

Он велел Флегонту Клепикову спрятаться в старом громадном шкафу, в дверце которого еще в прежние времена был проковырен ножом Ивана Каляева глазок. А сам приткнул запасной кольт за ничего не значащую картину — какие-то купцы пили затемненный от времени чай. Квартира была мещанской, заброшенной. Хорошая

квартира, на втором этаже, с задним выходом в дикий, трущобный переулочек. Они пользовались ею еще при убийстве великого князя Сергея; записана была на фамилию одного умершего купца, сын которого охотно уступил ее за революционные денежки. Надо же, за десять лет сохранилась! Сынок-пропойца если и жив, так бежал от такой квартиры куда подальше...

Савинков в последний раз осмотрелся, ожидая условленного стука — морзянкой слово «Бог».

Он закурил сигару. В своей норе можно было и сигарой побаловаться. Вездесущий Флегонт доставал на Сухаревке, перебивались...

Чу!

Бог так Бог. Он резко отмахнул дверь.

— Понимаю, Борис Викторович, понимаю. Мои спутники внизу, здесь я один. Обыщите, пожалуйста. Оружие оставил у сопровождаемых.

Перед ним стоял долговязый, узколицый почтарь, да же немного пригорбленный. Савинков сразу почувствовал доверие, но порядок есть порядок. Левая рука быстро и дотошно прошлась по телу раскинувшего руки почтаря.

— Разумеется, без обиды?

— Разумеется, Борис Викторович.

— Тогда садитесь и закуривайте. У меня есть несколько сигар.

Вошедший присел на стул, закурил, прислушиваясь. Не велик нужен был слух, когда раздалось громовое:

— А-ап-чхи!..

Узколище, уже морщинистое лицо гостя разошлось в улыбке:

— Юнкер?

— Он самый, — дрогнули немного и каменные губы Савинкова. — Выходите, Флегонт.

Чихая в другой и в третий раз, Флегонт Клепиков смущенно вылез из шкафа:

— Несносная там пылица... ап-чхи!.. господин полковник!..

— Неподражаемое приветствие, юнкер, — сказал Бреде; не оставалось сомнений, что это именно он.

— Я говорил, юнкер: мелочи и губят все дело, — сказал Савинков. — Трудно было избавиться от пыли?

— Не ругайте его, Борис Викторович. Я бы тоже не подумал об этом. Какие мы конспираторы! Без лишних слов поступаю к вам на выучку.

Пока Флегонт Клепиков отчихивался и отряхивался от десятилетней пыли, он поставил на стол заранее согретый чайник и достал из-под глухой свисавшей ска-терти бутылку дореволюционной «Смирновки».

— Господин юнкер?..

Голос не злой, скорее, насмешливо дружеский, но юнкер бросился к буфету, который был уже маленько ими обжит, и принес на подносе хрустальные рюмки, кусок заранее разрезанной ветчины, хлеб и соль.

— Да, хлеб и соль этому дому, — поднял полковник свою рюмку.

— Нашему общему дому, — добавил Савинков. — Приступим.

— Извольте, Борис Викторович.

Савинков без лишних слов стал развивать давно созревшую в его голове мысль:

— Я не военный... к сожалению, теперь могу сказать... но понимаю: армии надо противопоставить армию. Красной — белой. Позорной — честную. Насколько честность позволительна в Гражданской войне. Впрочем, как и во всякой другой. Когда мы вели беспощадный террор против самодержавца российского, так ли уж мы были честны? Конечно, светлой памяти мой друг Иван Каляев не решился первый раз бросить бомбу в великого князя, потому что в карете рядом с ними сидели жена и дети. Но в других-то случаях сколько гибло невинных? Задним числом признаюсь: лишь сами себя утешали террористической честностью. Оправдывали. Нельзя лить кровь без всякого оправдания — это говорю я, которого в глаза и за глаза звали «Генералом террора». Что говорить, нравилось. Тешило самолюбие. Вот и сейчас: есть оправдание. Красный террор! Когда господ офицеров, защитников отечества, будто карманников, отлавливают на улицах собственных городов, что нам ос-

тается делать? Наш террор! Для начала для устрашения. Наша армия — для полной победы. Все-таки победа остается за армией. Положим, террор я беру на себя. Кто возьмет армию? Не где-то там, на юге, в ледяных степях, — там есть кому водить полки, была бы армия, — а здесь, в Первопрестольной? Под самым носом у большевиков. Грозно и в то же время незримо. Кто? Вы, господин полковник?

— Вот именно: полковник. Всего лишь полковник. — Бреде покачал головой.

— По-олноте! — возразил Савинков. — Не время считаться чинами. В таком случае я должен идти в подчинение юнкеру Клепикову. Но, представьте, он предпочитает подчиняться мне. Почему же в таком случае не пойти в ваше подчинение?

Они давно уже разговаривали в таком тоне, но все-таки что-то недоговаривали. И Савинков понял — что. Власть... Снова вопрос о власти! Как и во времена Керенского, как и во все смутные времена.

— Ну, хорошо, полковник. Чистая политическая власть... как и грязный террор... за мною, сдаюсь. И грязные, и белые одежды беру на себя. Но — военная власть? Думаю, за вами. Извините, пока без генералов. Назовем наше общее объединение просто: «Союз защиты Родины и Свободы».

Чувствовалось, что полковник Бреде давно думал об этом.

— Союз? Военный? Военную власть еще надо создать.

— Создавайте.

— Положим, создадим. Но в каких условиях? Когда никто никому не доверяет и всяк себя подозревает. Что из этого следует?

— Конспирация. Добавлю: строжайшая.

— Да, но мы не должны только прятаться, мы должны упреждать события.

— Вот и прекрасно, полковник! Упреждайте.

— Выходит, не только разведка, но и контрразведка?..

— Выходит, так. Разве серьезная армия может без нее существовать? К вашему сведению: оба мои адъютанта —

разведчики. Патин — фронтовой, еще прежней закалки, Клепиков этим занимался при штабе Корнилова. Думаю, помогут. А остальное берите на себя... если не боитесь, конечно, испачкаться.

Полковник Бреде щелчком сбил с рукава своего почтового пальто невидимую соринку и горько усмехнулся:

— Какое уж там чистоплюйство! На войне как на войне. Один только вопрос: вы вполне мне доверяете?

Савинков жестко, даже отчужденно глянул в его холодные, балтийски непроницаемые, как сама балтийская стальная вода, недогнущие глаза:

— А вы — мне?!

Дальше эту перестрелку не стоило продолжать. Они молча пожали друг другу руки, и Савинков деловито сказал:

— Террорист — уже по своей сути контрразведчик. Исходя из нашего прошлого опыта — во время первой революции мы ведь тоже хотели создавать армию, да не успели, — так вот: хотите несколько наводящих предложений?

— Господа — выпить еще немного, — засуетился молчавший Клепиков.

Полковник Бреде утвердительно кивнул, как бы соглашаясь и с первым, и со вторым. Видно, не считал зазорным возвратиться за стол.

— Излагайте ваши мысли.

В изложении Савинкова выходило следующее. Да, создание настоящей армии — он сам дозрел до этого и должны дозреть все остальные господа-заговорщики. Да, полковой принцип. Следовательно, нужны полки всех родов войск, в первую очередь пехоты, конницы и артиллерии. Пехота начинает, конница, как говаривал Корнилов, бьет на воображение, артиллерия расчищает путь. Офицерский состав полка, пускай и подпольного? Думаю, что кадровый, восемьдесят шесть человек, как вы знаете. Считаем: полковой командир, его адъютант, четыре батальонных, шестнадцать ротных и шестьдесят четыре взводных командира. Скажете: база, огласка, когда достаточно одного предательства,

чтобы рассыпалась вся цепь? Нет, господа офицеры! А опыт бывалого террориста не хотите? Сколько мальчиков-гимназистов и студентов ни вешали, «Милая Рая», эта наша Боевая организация, никогда не прекращала своего существования. Почему? Да потому, что кроме Савинкова никто не знал полного состава той или иной группы — по-армейски, считайте: взвода. Вывод? Простой: время шумных офицерских собраний кончилось. Настает время железной конспирации. Принцип тот же, что и у бывалых террористов. Полный состав полка известен только полковому командиру, а взводному выше ротного, хоть ты его живьем сожги, не подняться. Батальонный — не знает других, смежных батальонов. Следовательно, никто, кроме самого полковника, не сможет продать больше трех человек. Недоверие? Обида? Всякий умный человек поймет эту суровую необходимость.

При всей врожденной скрытности, Савинков не мог бесконечно таиться перед человеком, которому вверял свою личную жизнь, и потому не без горечи признался:

— Да, недоверие — самый страшный бич всякой тайной организации. Поверьте, полковник, моему выстрадавшему опыту... — Савинков раздумывал, как уважительнее и спокойнее поставить последнюю точку в разговоре. — Чтоб уж до конца... да и для пользы дела, для связи, — тут же поправился он, — я пришлю к вам своего адъютанта. Представьте, у меня сейчас два... как у петроградского генерал-губернатора! — пошутил невесело. — Он будет при вас вроде моего посла. Лучше — самого молодого, юнкера Клепикова. В случае чего, скор на ногу.

— Благодарю вас, Борис Викторович, — только и сказал Бреде в ответ. — Предложение дельное. И хотя вокруг меня есть и молодые, и преданные офицеры, присутствие вашего посланца не помешает. Вы должны понимать: не все, особенно чистой воды монархисты, воспримут новое название общей боевой организации: «Союз защиты Родины и Свободы». Но я — принимаю. И с этим разрешите откланяться.

Они расстались в полном и безоговорочном доверии. Но и после, на протяжении нескольких дней, Савинков продолжал думать об этом проклятии конспираторов. Иного выхода не было, как не было и душевного спокойствия. Он не отличался излишней доверчивостью, скорее наоборот, однако же и в его подпольной жизни оставалось несколько непоправимых и жестоких провалов...

Азеф?!

Они вместе взращивали с пеленок и до полного замужества «Милую Раю» — Боевую организацию эсеров, которая называлась еще для краткости: Б.О. Вместе до мельчайших подробностей, разрабатывали планы покушений не только на министра внутренних дел Плеве, не только на министра Сипягина, великого князя Сергея Александровича, бесстрашного Столыпина, на разных больших и малых губернаторов, — на самого самодержца всероссийского бомбы готовили, увы, неразорвавшиеся... Как можно было не доверять Евно Азефу, этому обжоре, пьянице, распутнику, но, безусловно, упрямо бесстрашному сотоварищу? Даже когда уже все прояснилось, когда факт сотрудничества Азефа с охранкой подтвердил уцелевший после первого покушения, после погрома на Аптекарском острове, сам Столыпин, когда и суд чести вынес свое неоспоримое решение, — он, Савинков, все еще продолжал копаться в грязном белье своего ближайшего конспиратора и, поняв, что бельишко это отстирать уже нельзя, да теперь и не стоит, может, даже решительнее других сказал: приговор! Надо, надо брать на себя. Ему, и только ему, как ближайшему соратнику, надлежало исполнить этот внутренне выстраданный приговор. Вина или беда, если он — со своим-то чутьем зверя! — маленько опоздал с приговором и дал возможность старому сотоварищу, — нет, безоговорочному провокатору! — часом раньше уйти, ускользнуть черным ходом в глухую полночь, да еще и вместе с женой, чтоб уж не было никакого шантажа?..

Пожалуй, и вина, и беда всякого нелегала: за дол-

гое время тесного и закрытого общения он забывает, что имеет дело с таким же настороженным хищником, а может, и того похлеще. Чего тут хорошего? Если вдребезги разбивается многолетняя тайная работа, как уберечь ее от искушения на первых порах?! Старая истина: слишком сильно воняют подачки... От кого бы они ни исходили. От немцев ли, от французов ли, от чехословаков, как в их критическом случае. По-дача! По-даяние! Не чихайте, господа. Еще никто и никогда нищей рукой не наносил смертельного удара. Рука должна быть крепка, и в ней должно быть крепкое оружие.

Чтоб содержать такие нелегальные полки, какие замыслили они с полковником Бреде, от больших и малых подачек, от всяких подачек... не морщитесь, господа... если помягче, так все же без чужих денежек не обойтись. Самое малое, есть и пить надо? Да и патроны, как говорится, дороги. Где твои лайковые перчатки... товарищ-гражданин-господин Савинков?!

Вспомни!

Покушение на великого князя Сергея Александровича стоило 7000 рублей.

На министра внутренних дел Плеве, который был лучше защищен, ушло уже 30 000.

Тогда были тароватые «Саввы» — Савва Мамонтов, Савва Морозов, да и разные великосветские дамы, очарованные террористом-«англичанином». Где теперь «великий свет»?! Теперь — побирайся, «англичанин»...

Председатель чешского национального комитета Масарик обещал двести тысяч керенками. Под Ленина, под Троцкого...

Французский консул Гренар и военный атташе Лаверн — два с половиной миллиона...

Генерал Алексеев надеялся оторвать немного от Добровольческой армии...

Обещания, обещания!

Савинков не сумел казнить Евно Азефа, но он умел казнить себя... Напрасно его считали несокрушимым.

Меня адреса и явки и нигде не находя надежного укрытия — что может быть надежного в этом поруганном московском мире? — они с Флегонтом Клепиковым, по уговору с полковником Бреде, решили все же перебраться к Патину, как тот с самого начала и предлагал. Потом уже переходить на связь к полковнику. Толкаться общей кучей не годилось. В Москве начались аресты. А пока было непонятно — случайные или Чека вышла на связь с новым Союзом?

Когда анархист помер, квартиру его заняли незнакомые люди. Доверять им не было никакого резона. Явку на Таганке оберегали пуще глаза; не стоило засорять ее житейской грязью. На грязи появятся неизбежные следы. В Сокольники, так в Сокольники!

Легко сказать, еще легче подняться, все свое при себе — оружие, деньги, документы и немного немецких галет, — но вовсе не так легко решиться на дальний переход. Трамваи, естественно, не ходили, а извозчики если и были, так жались со своими клячонками где-то в подворотнях. Нет, надежда только на свои ноги. Сокольники — это, пожалуй, и хорошо, от цепких глаз подальше. Перебиться некоторое время, пока вездесущий Флегонт не подыщет что-нибудь лучшее.

Они склонили головы над упокоившимся анархистом — мир праху его — и не поздно и не рано, а так около полудня, тронулись в путь. Клепикову, по уговору с Бреде, еще до наступления комендантского часа надо было вернуться на Мясницкую.

Напрямую, мимо Василия Блаженного и Лубянки, идти было чистым безумием; шли кружным путем. Москву-реку перешли ниже Кремля, по льду, а там вдоль Яузы, по левому застылому берегу, как и многие другие. Не спеша, вразвалочку. Савинков впереди, Флегонт метрах в ста позади — так надежнее и неприметнее. Народ по берегам Яузы все-таки ходил, не одиночки же. И народец все больше горевой, с клунками или заплечными мешками. Направо и налево от узкой Яузы горба-

тилось под снегом много старых складов, каких-то мастерских и заводиков; все это было, конечно, когда-то огорожено и еще не полностью растащено. Вдоль заповоленной осенними дождями и сейчас замерзшей речушки скрипели санки с дровишками, какими-то мешками и даже с сеном — не иначе как расторопные москвичи обзаводились козами. Это вызывало невольную улыбку и заставляло думать: не-ет, его, москвича, ни голодом, ни холодом не выморить! Не таракан ведь. Мысли такие поднимали настроение, а путь был пока без приключений. На заснеженное взбережье Яузы казенные автомобили не заскакивали — им тут, на узких тропках, просто не пробиться, — а пешедрал попадался хороший, про себя думающий. Какое ему дело до встречных-поперечных бедолаг? Идет себе — ну, и идет-бредет человек. Сходится-расходится на диких тропках с такими же, себе подобными. Только на отворотке к Лефортову, у самого моста через Яузу, показался конный разъезд, но Савинков вовремя услужил какой-то бабуся, тащившей на санках целую гору заборных досок.

— Уж спасибо, спаси тебя Бог, соколик, — закивала она укутанной в шаль головой, не зная, что и он думает про соколиков, которые в Сокольниках. — Пожадничала старая! Где бы два раза обернуться — нет, все до кучи. Растащат ведь, пока взад-вперед чухаешься. Ох уж и во время ты, соколик мой...

— Вовремя мать, вот именно, — покосился Савинков на пересекавший им путь конный разъезд.

Вроде как для роздыха останавливаясь, краем глаза уловил: и Флегонт не промах, тащит на спине чей-то мешок! Не Чека обычный красноармейский отряд, однако береженого Бог бережет.

— Счастливого пути, бабуся.

— И тебе, соколик, счастьяца.

Под такие пожелания все в этот день складывалось удачно. Они еще засветло, как и было задумано, расшнуровали всю длинную Яузу и на задворках Сокольничьей рощи, собственно, уже в загородной глуши, вышли к дому когда-то богатого здешнего лесничего, — вдрут

вспомнилось все до ясности. Савинков забывал имена своих погибших друзей, а явки и связанные с ними обстоятельства до сих пор, оказывается, помнил. Так и они когда-то ходили, а чаще ездили — вдоль Яузы, единственно из предосторожности доезжая только до Преображенского. Дальше лес укрывал, шли, всем видом показывая, что на пикник. Дело молодое, обычное. С девочками под кустики-пустыки... Теперь и здесь поднялись, в пору еще торговую, особняки и дачи, кучками и поодиночке разодрали прогалами некогда цельную Сокольничью рощу. Разгром и разруха меньше коснулись этих заснеженных подгородных мест. От предосторожности или от бессилия дорог никто не чистил; те же тропки, пробитые человеческими, изредка и конскими ногами. По одной такой тропке и пошел дальше Савинков, наказав Флегонту возвращаться, пока не поздно.

Он узнал этот дом с первого взгляда, хотя примыкавший к нему флигелек, где они в свое время и ночевали, был снесен, да и венчавший дом островерхий шпиль упал или был сломан нарочно, — все из той же предосторожности?..

Да, эта дача принадлежала... отцу или матери?.. одного давно повешенного мальчика-эсера, восторженно влюбленного в революцию, — не то выпускника-гимназиста, не то студента-первокурсника. В звездные московские годы, когда готовили покушение на великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, здесь была запасная явка, ни разу не засвеченная. Безусловно, все та же звериная память и привела его сюда безошибочно — уже десять лет спустя. Патин, конечно, объяснил и пояснил дорогу, и на бумаге нарисовал, но все-таки — ни разу не сбиться?.. Он попытался вспомнить имя или хотя бы партийную кличку своего юного, погибшего за Россию — какую Россию! — очень даже любимого ученика и не смог. От такой забывчивости стало страшно — неужели так очерствела душа?.. — а вовсе не от того, что лезет на рожон, один, может, вовсе и не в тот дом, который описал Патин. Где он сам-то?.. Ни души вокруг.

Но раздумывать было некогда, дело шло к вечеру. В темноте дверей никто не откроет.

Он постучался, мало надеясь на удачу, хотя следы к дому были свежие, входящие. Думал уже вторично постучать, как наружная, крепкая еще с прошлых времен дубовая дверь бесшумно растворилась. На пороге показалась женщина. Савинков внутренним взглядом сразу признал ее, хотя она за эти десять лет сильно изменилась.

— Извините, меня пригласил сюда мой товарищ, но вы... Вы не помните меня?

— Я всю жизнь буду помнить человека, пославшего на смерть моего единственного сына. Входите.

Такое начало не предвещало ничего хорошего, но Савинков вошел, радуясь теплу и уюту, — да, в этом доме, несмотря ни на что, обреталась старая, уже забытая московская жизнь.

— Снимайте ваш лапсердак. Все маскируетесь? Не надоело?

— Надоело, но что делать... простите.

— Софья Сергеевна, — сняла она шаль. — Простите и вы, но я не забыла: вас в ваших кругах звали — Блед Копь.

Каково! Ему оставалось только развести руками.

— Говорите, к своему другу? Он скоро придет, к Преображенке на базар убежал. Не стесняйтесь.

— Просто поразительно, как вы догадливы... Софи Сергеевна, — вспомнил он ее домашнее, шутливое имя.

— Догадливой я стала позже... когда тринадцатилетнего сына с виселицы забрала. Здесь, в Сокольниках. Уже через год после убийства вами — вами, не извольте отказываться! — когда всех, причастных к вам, выслеживали, как дичь, стреляли и вешали без разбора... Не могла я помешать вашему знакомству... потому что была молодой и наивной московской курсисткой. — Она закурила папироску, его к тому не приглашая. — Ждите своего друга и оставьте меня в покое. Я поесть приготовлю. Что Бог послал, конечно.

Савинков вышел во двор — частью, чтоб самому от

такой встречи покурить, частью из привычной предосторожности. Что делать, жизнь приучила...

Он не успел докурить — скрипнула вдали садовая калитка. Покашливание. Шаги. Рука его в кармане пружинисто напряглась... но тут же и вытянулась навстречу. Патин!

— Вот и славно, Борис Викторович, — по-домашнему обрадовался здешний постоялец. — Мы здесь пока в безопасности... Но где же юнкер?

Савинков рассказал, где сейчас Клепиков. Патин немало попенял:

— Поздновато вы его отправили. Вдоль Преображенки уже патрули на дежурство заступают.

— Надеюсь на сообразительность юнкера... и на его молодую прыть, — не стал больше ничего объяснять Савинков и предупредил: — Я уже познакомился с хозяйкой, прошу очень — не задавайте лишних вопросов. Мы с ней, оказывается, знавались еще двенадцать лет назад.

Патин как-то даже ревниво глянул на своего старшего товарища, но не время было объясняться — из кухни навстречу в дом входящим послышалось:

— Уже вечер, закройте двери. Располагайтесь в гостиной. Посмотрим, что Бог нынче послал...

Бог послал им приличный, по нынешним понятиям, ужин. Картошка жареная с салом, хорошо проквашенная деревенская капуста и как деликатес копченый судак. Хозяйка вела себя с ними так, будто давно знает всю их подноготную и только из вежливости ничего не выспрашивает.

— Погодите закусывать, — принесла на подносе ужин, продолжала командовать она. — Самогонку пьете? В такое время нельзя не пить.

Она позвенькала в буфете и вынесла графинчик и три тяжелых граненых лафитничка.

— Пожалуйста, и четвертый, — тихо попросил Савинков, глядя на портрет мальчика-студента в инженерной щегольской тужурке.

Она на мгновение растерянно вспыхнула, но достала из буфета четвертый лафитник.

— И мне — как всем, как Ване... Был он братиком-сиротой, а я, как старшая, считала его сыночком. Что делать, Бог не сподобил своего, а теперь уже поздновато, — она с какой-то отчаянной усмешкой глянула на Патина, и тот, при всей своей несокрушимости, покраснел.

«Ага! — не подавая виду, подумал Савинков. — Жизнь продолжается, господа».

Вот тут он и вспомнил: да, сестрица Софьюшка и братец Иванушка, в отличие от Вани Каляева, тоже бывавшего здесь, совсем еще мальчишка-первокурсник. Кудрявый как ангел, восторженный как курсистка, хотя едва ли и успел познать тех курсисток, приехавших к старшей сестрице. Когда же он сыночком-то стал? Пожалуй, сестрица в душе его давно усыновила... может, и того, маленько чокнулась на этом... Он вопросительно глянул на Патина, и тот не нашел ничего лучшего, как сказать:

— У Софьи Сергеевны пропал муж...

— Вот как! — посочувствовал Савинков, хотя сам-то давно уже потерял всякое сочувствие — и к себе, и к другим.

Хозяйка поняла неловкость разговора, напомнила:

— Вы закусывайте, выпейте еще... да и мне налейте, не обессудьте.

Пила она по-мужски, не стесняясь.

Но пора было и честь знать. Савинков встал. За ним и Патин, как по команде. Хозяйка осталась сидеть, глядя на портрет братика-сына сухими остекленевшими глазами.

— Как вы жили все это время? — вдруг вскинувшись, в упор спросила она. — Совесть не мучила? Сейчас не мучает?

Савинков стоя выпил еще, сел опять и некстати напомнил:

— Ваня ваш, как и незабвенный Ваня Каляев, погиб за свободу и революцию, а мы ведь той же неисправимой породы...

— ...породы безмозглых дураков, превративших революцию в кровавый балаган?..

Трудно было ей отвечать. Савинков так и сказал:

— Я молчу. Мне нечего возразить. Единственное: если можете — простите меня. Я был старше таких, как ваш сыночек Ваня, как мой Ванюша Каляев, я руководил ими, я посылал их на смерть. Я! Моя вина, что...

— Наша вина, — неожиданно смягчившимся голосом поправила его Софья Сергеевна.

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Не режьте меня вашими железными глазами! — прежним тоном приказала она. — Мне и так больно... вот тут болит и болит... и не заживет до смерти, — ткнула пальцем в закрытую шалью грудь. — Наливайте! Я, пожалуй, еще выпью... что делать, одно утешение... Залью еще покрепче мой милый уголек, да и спать пойду. А вы располагайтесь эту ночь на диванах. Завтра я вам постели приготовлю, сегодня уж извините, господа...

Она ушла к себе в спальню пошатываясь, но ни Савинков, ни Патин не решились ее проводить или просто поддержать в дверях.

— И часто?..

— Каждый вечер.

— Но человек-то прекрасный?..

— Более чем прекрасный!

Савинков понял его состояние и замолчал.

После ухода хозяйки они быстро докончили ужин, выбрали себе по дивану, благо их было три, погасили экономно тлеющую лампу и растянулись кто как привык — Савинков на спине, с открытыми, не успокоившимися глазами, Патин бочком, свернув поудобнее крепкое, ладное тело. Поручик сразу начал прихрапывать. А его сон не брал. Что с того, что он жалел: эх его, дальней памятью растревожил прямодушную и совсем уж одинокую женщину! Она и тогда, совсем наивной курсисткой, проявляла характер. А-ман-си-пе! Маленько начинал припоминать: краси-ивая!... Но, право, не мог вспомнить, ухаживал ли за ней. Кажется, некогда было — все его помыслы князь Сергей занимал. Вот Ваня Каляев, так и не познавший девушек, исходил по ней неприкрытой тоской. Он уж советовал ему со всем своим циниз-

мом: «Да поди ты ноченькой темной в спальню к ней!...» Тогда живы были еще ее родители, но не это останавливало монашески чистого Ванюшу — ужас поразившего цинизма: «Вот так... взять и пойти?!» — «Ну, не совсем уж так, — отвечал. — Штаны-то лучше снять... чтоб не путаться в темноте». При очередном таком бездушном напущении Ваня расплакался: «Нет, не могу!...» И было непонятно — что невмочь: сестрица ли его восторженно го тезки, сам ли князь Сергей... Никто никого не заставлял становиться первым номером среди «метальщиков», наоборот, за это право дрались со всей революционной истинностью; он отговаривал Ивана — отговорить не удалось. Восторженно пошел на князя... с восторгом и до виселицы дошел! Чего стоит предсмертное письмо, начинавшееся словами: «Мой милый Генерал Терро-ра!...»

Лежа закаменело на спине, Савинков чувствовал, что его безудержно относит назад; прямо не диван, а побитый ветрами, неуправляемый парусник. Да, раза три или четыре он убегал из России с поникшими парусами. В 1903 году из Вологды через Архангельск вместе с незабвенным Ванюшей Каляевым — напрямик до норвежского порта Варде; в 1906 году с петербургского побережья — до Аландских островов, далее до шведского маяка, потом на парусной лодке чуть ли не до самого Стокгольма; в том же году из севастопольской военной тюрьмы — на парусном одномачтовом боте, в немислимый шторм, до румынских берегов... Падали сбитые ветрами паруса, черпали воду борта, но никогда не захлестывала волна, не перекатывалась через его грудь, как сейчас, на спокойном, домашнем диване. Он себя не узнавал. Что его так растревожило? Через братика Ваню — Ванюша Каляев? Через него же — эта непостижимая женщина, проплая курсистка, до которой ему просто не было дела?

Не замечал он за собой такой сентиментальности. Даже и сейчас душа не спрашивала: где ее муж, что с ним? Знал наверняка, что если и был муж — ушел на вечную встречу с братиком-сыном. Или в войну каким-нибудь неотесанным мобилизантом, или хоть и сейчас, при ка-

кой-нибудь глупой облове. Это видно по лицу насмерть раненной женщины. Обвинила... простила... и напилась под свою память. «Вот так всегда — хвостом кровавым тянется за мной несчастье, — проникся он мыслью. — Поистине Конь Блед... или Конь Рыж... с поднятым беспощадно мечом? Но только не Конь Вороной, победно несущий чаши праведных весов! Что взвешивать, если только прах могильный после меня и остается? Нет, Конь Вороной не для меня!»

Но, сказав с уверенностью, он уверенности в душе не почувствовал. Наоборот, тревогу. Даже подумалось: не влипли ли случайно в засаду? Он накинул купленное на Сухаревке, — конечно, все тем же вездесущим Флегонтом Клепиковым, — теплое и ладное, но не бросающееся в глаза пальто, которое Софья Сергеевна совсем некстати назвала лапсердаком, и вышел на крыльцо.

Светила февральская, но морозная и тихая луна. Вокруг дома была натоптана хозяйственная тропка — к дровянику, к колодцу, к пристроенному хлеву, в котором что-то возилось и погромыхивало. Вот собаки не было. Савинков вполне оценил практический ум хозяйки: собака в нынешнее время ни от кого не спасет, а лаем беду за собой вполне может привести. Если и сама Соколиная роща, и звезды над ней так замерли и притихли — чего же шуметь собакам? Нигде ни одной не слышалось, хотя на всем громадном пространстве, от Сокольников до Яузы, вдоль опушки Лосинога Острова, было немало особняков, дач, хуторков и каких-то бесхозных выселков. Но вот же — ни единого огонечка, ни единого лая. Дороги сюда заказаны, завалены снегом, а ведь кое-где еще живут люди, как вот в этом опустевшем лесном доме. Женщина, одинокая женщина, у которой в гостиной еще сохранился рояль... и поблеивающая, похрюкивающая — да, теперь и похрюкивало, — для нее, наверно, непосильная животиная? «Но непосильной казалась и смерть сына-братика?» — удержал Савинков себя от слишком сентиментальных рассуждений, жадно потягивая окурок сигары на прислоненной к хлевушке скамеечке. Он силился доказать себе: все, что ни делал за

эти двадцать бессмысленных лет, — делал осмысленно, правильно, честно и, главное, ради России. «И Ваню, одного и другого, на смерть послал — тоже с мыслью о России?!» Это угрызение совести легко было успокоить: в Боевой организации эсеров никто и никого на смерть не слал, наоборот, за это право — быть «первым номером» при бомбометании, а следовательно, и первым угодником виселицы, — боролись. А Ваня еще был слишком молод и неопытен, — нет, не Каляев, — Ваня-студентик рад был и запасным ролям; может, он потому и уцелел тогда, при покушении на князя Сергея, а погиб уже год спустя, выслеженный и вычисленный полицией, как и все остальные. Кроме него, Савинкова, главного на этом кровавом пиру? Он не упрекал себя, что один из всех остался жив. За ним гнались все мыслимые и немыслимые гончие, он был кругом в красных флажках... но не волк он глупый — он Конь Блед в этот победный год, перемахнул через все флажки, скакал на Нижний, на Ярославль, на Рыбинск, на Тверь, на Петербург... копытами вышиб пограничную стражу — и через Финский залив ушел на Аландские острова, дальше, дальше, до Стокгольма... В чем было винить себя?!

Ой, что же сегодня так тревожно Ваня-студентик, в сущности уже забытый, вспоминается и вспоминается, и чем дальше, тем яснее предстает его юное, наивное лицо...

Савинковым медленно овладела тоска. Нечасто, но и раньше такое случалось, особенно в пору никчемного бездействия. Причины? Бывали причины — провал ли, провокация ли, слишком ли густо посеянная смерть. Сейчас не было ничего такого, все только начиналось, и даже повода для провала нигде не виделось. Свою сокровенную мысль — покруче зарядить бомбы на Ульянова и своего давнего дружка Бронштейна — он никому, даже верному Патину, еще не высказывал, а уж Патин-то — умрет, не проговорится. Нет, мысль еще не вызрела. Это было великой тайной, хотя Москва уже подспудно вздевала на плечи офицерские погоны. Рано, рано желаемое выдавать за действительное. Он не откровенничал на

этот счет и с полковником Бреде. Это не старые времена: раз промахнулся, два промахнулся, а на третий влетел все-таки с бомбой в окно кареты, как бесподобный Ваня Каляев... Нет, Ульяновы и Бронштейны в каретах не ездят: сидят за толстенными кремлевскими стенами. А если и показываются где — так в броневиках и царских быстроходных лимузинах, под охраной неистовых латышей. Можно порассуждать пока, теоретически поразмыслить такую возможность, но всерьез говорить не стоит. Всему свое время... Время жить и время умирать.

Когда он довел свою блуждающую мысль до этого рокового слова, сразу полегчало. Да, «се Конь Бледный, и имя ему Смерть». И это как дважды два. Для красного, и для белого, и для такого террориста-одиночки, как он сам. «Хоть в этом мы все равны», — почти весело подумал он, глядя на чистые подмосковные небеса, на которых молча и неотвратимо исчислялись времена и сроки всего сущего.

Он загляделся на небо. На ясное ночное небо, сплошь высвеченное звездами. Если бы мог видеть себя со стороны, то удивился бы, как размягчилось каменно-неподвижное лицо. Так он жил всегда в предвкушении очередного рокового решения. Если судьбы пипнутся на небесах, то чистые, звездные небеса говорили: иди и держай. Право, такими возвышенными словами. Пожалуй, завтра, ну, послезавтра, самое большее через неделю, он и выскажет окрепшее в эту ночь, уже давнишнее свое решение. Кремлевских сидельцев — долой! Неужели их не выкурить никакими дымами? Думай, Борис, думай, старый «Генерал террора»! Ибо не простит тебе Ваня Каляев и на том свете бездумное размягчение души. Созрела мысль? Зреет! Значит... «Быть по сему!» Его не смущало какое-то книжное, даже библейское наваждение. Живая кровь соприкасалась с вековыми истинами, чего же лучше.

«А лучше — поспать...»

Да, но что-то вроде шумновато?

Он прислушался. Поскрипывало, пошоркивало явно не в хлевушке. Привычка подмечать даже случайную

мелочь заставила его вернуться на крыльцо, благо оно было сбоку, в лунной тени. А оснеженный скрип заносило с улицы, если можно назвать улицей заснеженную просеку и тропку на ней, вдоль здешнего забора.

Он постоял, послушал. В полнейшем морозном безветрии вроде как шепоток прорезался. Пусть воры, пусть ночные гуляки — кто береженого бережет?.. Увы, не Бог, а браунинг. В данном случае кольт, все равно.

Он тихо вернулся в дом и толкнул Патина:

— Вставайте.

Тому и со сна не надо было ничего объяснять. Через секунду уже рядом готовый.

— Слышите?

— Слы-шу, — шепнул Патин в самое ухо и в тени стены прошел немного вперед.

Теперь уже явственно поскрипывал снег. Но никого не было видно. Дом стоял в глубине лесной просеки-улицы; его заслоняли кусты, опущенные березы, да и молодые сосенки, бесхозно выросшие вдоль забора. Савинков верил в копачьи, по-крестьянски зоркие глаза бывшего разведчика, но тот долго не возвращался.

Наконец вернулся:

— Пя-теро.

Савинков размышлял недолго.

— Обойдите дом и пугните с другого угла. Если воры, то... Услышав даже единый выстрел, воры не полезут на рожон.

Но Патин пугал напрасно: не на таких нарвался. Сразу несколько выстрелов в ответ, как по команде.

На крыльцо выскочила хозяйка, одетая.

— У вас бывало раньше такое?..

— Н-нет... Жил, правда, некоторое время один заблудший капитан, но тише воды... Неужели?!

— Все может быть. Соберите, что поценнее. Вам тоже нельзя здесь оставаться.

— Мне — можно, — вытаскивая из кармана револьвер, несравненный браунинг, зло и непримиримо сказала она. — Я в своем доме... и это последнее, что у меня осталось!

Не было времени ее убеждать. Не желая попадать под выстрелы Патина, а скорее всего зная, где крыльцо, нападавшие бросились прямо в сторону Савинкова. Он дважды разрядил свой кольт, а выстрелов вышло три...

— Софья Сергеевна?!

— Я сказала — здесь мой дом!

Савинков, как и Патин, стрелял пока поверх голов, все еще надеясь на воровскую случайность. Ведь теперь уж ясно, что дом хорошо защищают. Уйдут?..

И верно: шаги и лунные тени отступили.

С полчаса не слышалось ни единого звука. Потихоньку и Патин с другой стороны дома вернулся, с той же надеждой: ага, дали деру! Они уже решили дежурить по очереди, а остальным сидеть дома. Пальтишко на Софье Сергеевне было легкое, чуть ли не летнее.

— Ладно, я пойду, — согласилась было она. Но тут с задворок донесло другие, четкие и торопливые шаги, и, как бы вторя им, на ближайшей проезжей дороге, где-то в полукилометре со стороны Сокольников, взревел мотор, явно пробиваясь по снегу сюда.

Савинков переглянулся с Патиным и, как бывало в минуты опасности, решительно приказал:

— Вот теперь — уходить. Всем. За мной.

Кроме колта, у него был сзади за поясом еще военный наган. Прижимая к бокам настороженные локти, напряженный, он первым двинулся по дорожке на просеку. Все равно, на зады отступать теперь не имело смысла. Если засада, так уж засада: тут кто кого! Он пожалел, что такой белый чистый снег. Черные волки на лунном свету, обложенные со всех сторон...

Но впереди было все тихо, не стреляли. Шаги уже в открытую слышались сзади, на подходе к хлеву, — не оглядываясь, он это угадывал. Некогда раздумывать. Кусты? Кустик и есть, пронесло. Его звериные прыжки были легки и стремительны. Один... еще один!.. Калитка, сквозь которую ничего не видно... боковым взлетом он к ней вымахнул!.. Пусто. И ее пронесло, открылась под слепой ногой. Дальше, дальше на улицу, которая

была все той же тропкой, только на широко раздавленной просеке... Что? Опять кусток и дальше кустики? Попереди густая и по-зимнему нарядная елка?.. Он уже хотел освободить отяжелевшую левую руку, с военным наганом, и сунуть ее в карман, как из-под елки раздалось сразу несколько выстрелов... и эхом отдались выстрелы там, сзади, у дома...

Савинков только и успел — в снег, на какую-то долю секунды раньше просвистевших над головой пуль. Одно порадовало: стреляли как спяну. Он на таком расстоянии не промазал бы!

Когда зарылся в снег, выгнувшись горбом после оттепели, утоптанная тропка стала хорошим брествером. Но он не стрелял, потихоньку роя снег и отползая от пристрелянного места. А пока выпцеливал порохи и осыпавшийся иней на елке, Патин прошмыгнул между забором и шпалерой призаборных елочек и оказался гораздо дальше злосчастной одинокой елки — в тылу. Трижды бухнул его очень гулкий по морозу маузер, и на Савинкова, лежащего за брествером, ошарашенно кинулись две оглядывавшихся тени. Успокоить их уже не оставалось никакого труда.

Только откуда же новые выстрелы?

Он был уверен: Софья Сергеевна пробирается следом за ними, и уже где-то здесь, за калиткой... не поверил своим ушам. Но там, позади, стреляли перекрестие, не сходя с мест...

— Патин?

— Да, надо выручать!

Но прежде чем они вернулись к калитке, выстрелы стихли. Кто-то совершенно безбоязненно сказал разошедшимся по морозу голосом:

— Она. Хозяйка. Теперь уже не доспросишься! Плохо, если и тех уложили... Всех, товарищ Латсис?

— Думаю, что всех. Там хорошо постреляли, товарищ Петерс.

— Хор-рошо!.. — хрипло откликнулся Савинков, отступая к той же, в засаде стоявшей елке.

Искушать судьбу было нечего — от развесистой елки

бегом по тропке, пока она была свободной. Где-то уже не-вдалеке заходилась по снегу мотор. Сюда!

Но, на их счастье, начались и боковые тропки, перекрестки: бежали-то они, куда вели дороги, в сторону города. Здесь гуще попадалось жильё.

— Жаль Софью Сергеевну... я к ней привязался, — повинулся Патин, еще не отдавая себе отчета, что и сами-то они выбрались только благодаря его молниеносной смекалке; в прямой перестрелке против такой оравы пансов не было никаких...

Все же не страх запоздалый и не угрызения совести за смерть ни в чем не повинной женщины сейчас тяготили Савинкова. Было и другое: что произошло?! Случайная облава? Ранее взятый под наблюдение дом? Фамилии латышей, прозвучавшие в ночи, ему были известны: чекисты!

О каком-то прилюдном капитане вспоминала Софья Сергеевна — не наследил ли слишком, может быть, беспечный капитан?..

— Похоже, мы в облаву попали.

— Похоже... но на кого облава?..

— Вот это нам и предстоит выяснить в ближайшие же дни, поручик. А пока...

Тут же, на ночных запутанных дорожках, было решено: в город не возвращаться. Ночь как-нибудь, а утром вылезать на проселочную дорогу и пристраиваться к крестьянским саням, возвращающимся из Москвы. Беда бедой, а торговлишка кой-какая помаленьку шла, иначе в Москве все давно бы поумирали... под звуки морозного «Интернационала»!

Можно было не спешить. До утра еще далеко. Они курили, успокаивая дыхание.

— На неделю, по крайней мере, залегаем. В берлогу! Потерянное время, но делать нечего, Патин.

Тот, молодая душа, под нервный смешок, пожалел совсем о другом:

— Такой сон перебили! Снилось мне, что я опять в Рыбинске, собственно, в родовой деревне... и моя невеста, представьте, принимает офицерский парад, уже разда-

лась команда: «На кар-ра-ул!» — а я почему-то вместо винтовки держу перед грудью букет алых-преалых роз...

— У роз цвет крови, поручик. Бедная Софья Сергеевна!

— Будто я не помню... — Патин обиженно замолчал.

IX

Вездесущий Флегонт, в красноармейском обличье шатаясь по Москве, напал на след старого французского друга — Деренталя. Был это, конечно, француз вполне петербургский, а теперь и московский, но когда-то!

«Да, были когда-то и мы рысаками!»

Не три года — три столетия назад — Савинков был шафером на парижской свадьбе; вполне обычное дело: русский офицер, а теперь и французский унтер-офицер — и застрявшая в Париже петербургская танцовщица. Кому же и представлять шафера, как не «Генералу террора»? Он по-генеральски был честен. Даже и сейчас горд: не покусился на кафешантанную, казалось бы, любовь. Просто и Александру, и Любе сказал: «Да, я всего лишь шафер».

Помнится, Люба, а церемоннее — Любовь Ефимовна, странно и жалостливо посмотрела на него; моральные принципы ее не особенно тягощали — танцовщица, бабочка на излете, порхай да порхай с цветка на цветок. Тем более война, через Европу ни взад, ни вперед — самое время в Париже устраивать жизнь. Вот она и устраивала — весело и звонко. Было, конечно, удивительно, что ее по всем законным правилам берут замуж, а не на содержание, как это бывало в сумбурное военное время с хорошенькими танцовщицами. Остановило ли благородство Саши Деренталя, поступившего волонтером в союзническую армию, наивность ли бабочки-танцовщицы, верность ли жене, старушке Вере, как-никак дочери Глеба Успенского, — пожалуй, все вместе, потому что о же не Савинков не так часто и вспоминал. Какая жена у террориста с пятнадцатилетним стажем? Не перед Богом — разве что перед смертью, как светлое петербургское воспоминание; тем более он и второй раз успел ожениться —

на Евгении Зильбергер, вдове своего погибшего товарища. Что делать, он позволял любить себя многим женщинам... пока любовь не превращалась в ненависть. Но до этого было далеко, а роль шафера при Саше и Любе играл безупречно. Все были довольны и счастливы. Свадьбу он устроил на славу — гулял весь эмигрантский бомонд, включая плюгавенького Бронштейна, который как бы в насмешку над Божьим творением мнил себя неотразимым ловеласом. Савинков не стал разубеждать его — просто подошел к воркующему перед невестой Левушке, рукой в белой перчатке взял его за пархатый ворот, а другой увесисто и круто вlepил по морде... не по щеке, а именно по плебейской, нахальной мордахе. И уж в полный голос сказал: «П-шел вон». Даже без злобы. Просто для будущего напоминания. Минуту спустя, когда он, отвернувшись, допил бокал шампанского, шаловливого ловеласа не было и в помине, а Люба, нет, Любовь Ефимовна блаженно болтала ножками на руках у Деренталю и кричала: «Вот бы мне такого лихого муженька, Саша!»

Что говорить ей в возражение? Деренталь тоже не был размазней, иначе чего бы сейчас, под страхом ежедневного ареста, торчал в Москве?

Савинков нашел у Деренталей очередного таинственного поручика, который знал почти каждый житейский шаг бывшего военного министра. В связных у Корнилова, еще на Юго-Западном фронте, кажется? Да, что-то было такое, когда он в пыльном и душном иконе комиссарил там от имени Керенского, — его чуть не подняли любимые солдатики на штыки, да спас со своей сабелькой какой-то развесело-лихой поручик... Связной у Краснова, в мерзлом, оснеженном ноябре?.. Было и это видение — заледенелый офицерский башлык, оледенелая лошадь, но лихая приветственная кисть у виска: «Гражданин генерал-губернатор, пушки сейчас будут... кровь из носу!..» Светскостью поручик и тогда не отличался, а сейчас в затертом полушубке и лохматой бараньей шапке и вовсе походил на извозчика, на такого, кстатю, как чистой памяти Ваня Каляев, когда он в мас-

караде извозчичьем охотился на московского генерал-губернатора... Та же способность мгновенно и ясно преобразаться. Когда скинул полушубок и шапку, когда одернул на себе ладно сидящий офицерский китель, даже с погонами, не хватало лишь фуражки, чтоб по взмаху вскинутой руки признать: да, это он, везде и неуловимо он! Савинкова охватила давно не испытываемая нервная дрожь — признак созревшей уверенности.

— Вспомнил! Я вспомнил вас, поручик.

— Благодарю, Борис Викторович, — прицелкнул тот растерзанными сапогами. — Поручику полагается поручение. Сочту за честь.

Будучи по природе своей — или по природе двадцатилетнего подполья? — вечно недоверчивым, Савинков в иные минуты вдруг озарялся бесшабашностью. Если вскинута рука, надо стрелять? Надо. Тайну, которую знали только полковник Бреде, теперь вот юнкер Клепиков да поручик Патин, он без колебаний открыл и четвертому, прямо на голову свалившемуся поручику. Пока — не досаждая ушей Деренталю; все-таки женщина, не стоит рисковать. Они вышли покурить на черную лестницу.

— Вам можно доверить жизнь и смерть многих офицеров... очень многих?!

— Можно, — просто и без колебаний ответил поручик.

— Тогда слушайте. В Москве мы разберемся без вас... Говорите, родом из Ярославля? Значит, Ярославль — ваше удельное княжество? — Он сдержанно и доверительно улыбнулся. — Нам нужно взять это княжество в свои руки... скоро, может быть, очень скоро, поручик. А чем вы не князь... нашей конспиративной Тьмы?.. Не обижайтесь. Не до сантиментов. Представьте, я уже добрый месяц думаю о Рыбинске и Ярославле. Эти волжские княжества созрели, как вы думаете?..

— Думаю, что именно они и поддержат Москву.

Они вернулись в квартиру и, выжив хозяев в спальню, опять оговаривали наедине.

— Ярославль — это путь на север...

— ...к Архангельску?
— Вы догадливы, поручик. А — дальше?
— Дальше — Вологда, куда перебрались из Петрограда все иностранные послы...

— ...кроме немецкого, Мирбаха.
— Этот — пробольшевистский, не в счет. Остальные — там. Без них нам не обойтись. Но, погостив у них, продолжим путь?..

— До Архангельска. До французских и английских кораблей. Союзники? Союзный договор никто не отменял.

— Значит, Ярославль — главная наша база? Речной, железнодорожный...

— ...и человеческий узел, вы правильно мыслите, поручик. Возьмите этот узел в свою крепкую руку, — сжал Савинков холеный, не полинявший за эти месяцы кулак. — Вот наконец вспомнил: Ягужин?

— Он именно. Приказывайте. Когда выступать?

— Чем раньше, тем лучше, — вскинул подбородок Савинков. — Вы что — читаете мои мысли?

— Мысли о России... Они у всех одинаковые, Борис Викторович.

— Вы правы. За Россию?

— За Россию! — вскочил Ягужин.

Ему, конечно, хотелось еще посидеть в теплой и уютной квартире Деренталей, но они и так уже томили хозяев больше часа. Вино выпито, а всякое хорошее вино под цвет крови...

Других слов не требовалось. Все, что нужно, было сказано. Что будет, то будет. В таком деле лучше не допивать оплески.

Даже посылая на явную смерть друзей, таких как Ваня Каляев, он, Савинков, редко снисходил до объятий... и опять же сегодня изменил себе...

— В путь, поручик, — обнял его у дверей, в прихожей. — Весна на дворе, пора менять извозчичий полушубок на красноармейскую шинель. Через неделю, не позже, знакомый вам юнкер Клепиков припасет полное красноармейское обмундирование и вполне надежные

документы. Счастливо... князь Ярославский... и вся великой Волги!

Поручик Ягужин вышел. Савинков как ни в чем не бывало возвратился за стол.

Только тогда открылась дверь спальни — петербургская танцовщица на руках у французского унтер-офицера!

— Хор-роши! Боюсь, скоро я вас разлучу.

— Но не сегодня же? — понял Александр.

— Не сейчас же?.. — не поняла Люба.

— Не сегодня, и не сейчас.

— Значит, выпьем, — повеселел Александр.

— Значит, обнимемся! — зашлась в неподражаемом смехе Люба.

Обнялись и так, поддерживая хохочущую танцовщицу с двух сторон, сплетая за ее спиной руки, походили по просторной, отнюдь не бедной гостиной.

Умел Саша Деренталь устраивать свою жизнь на парижский лад. Ничего удивительного: свой человек в посольстве.

Посол из Петрограда напрямик через Рыбинск и Ярославль проследовал в Вологду, но место свое в Москве все-таки застолбил. Военный атташе, канцелярия, еще кое-что — находилась работа и для переводчика Деренталья. К тому же французского подданного, не подкопаться.

Это было истинной находкой для Савинкова.

На другой день он позвал, все через того же Клепикова, на штабную квартиру — в неприметный пока для Чека Молочный переулочек — другого поручика, Патина. Как хорошо, что он из Рыбинска родом! Значит, по тем же следам...

— Патин! Вы теперь — князь Рыбинский... и вся Шексны и Волги! Понимаете?

— Понимаю, Борис Викторович. Сделаю все, чтобы Рыбинск был нашим. Склады? Боеприпасы? Большевики готовят там тылы. Свои главные резервы. С Урала, с

Поволжья — все туда свозят. Источники верные. Мои земляки не учились конспирации, но с оказией передают: везут саратовские горшки, везут уральские бочки... Значит, не надеются ни на Поволжье, ни на Урал.

— Правильно мыслите, поручик. Берите княжество под свою руку. За Рыбинск вы отвечаете. Головой.

Поручение было точно такое же, что и Ягужину. Не доверчивость? Перестраховка? Чего лукавить, люди смертны, а дело, великое дело России, должно жить. Не обижайтесь, господа поручики!

Он велел Патину уезжать, как только вездесущий Клепиков добудет красноармейское обмундирование и необходимые документы, а сам в очередной раз подивился прозорливости поручика. Склады? Боеприпасы?.. Да-да. Ярославль — губернский город, он напрочь отрезал дорогу на Север, но там не было боеприпасов; Рыбинск — город уездный, прямых дорог к Москве не перерезал, разве что на Бологое и Петроград, но были сосредоточены все в нем северные, да и поволжские, уральские, военные склады Совдепии.

Савинков жил теперь постоянно у Деренталей. Эти легкомысленные вроде бы люди умели уютно устраиваться даже в такое неудобное время. Словно бы опять вернулся Париж... некая вечерняя кафешантанная эйфория... и только не хватало Левы Бронштейна, чтоб, откинув его за шиворот от любвеобильной Любы, дать по паршивой харе!..

Впрочем, про себя-то горько потешался: как же, дашь! Лева теперь вон за какими стенами кремлевскими первопрестольными! А ты, старый революционер — да что там, действительно немолодой, — таскайся по чужим, безадресным квартирам и лишь мысленно щелкай в него своим давним браунингом, да хоть и военным наганом или громоподобным маузером, — стен кремлевских тебе не прошибить, нет.

Об этом ему сказал не кто иной, как друг Чарский, если переходить на жаргон давней вологодской ссылки, или полнее и вальяжнее, под стать нынешнему хозяину наркомку — Луна-чарский.

Вышла встреча, конечно, не в Сокольниках и не в Замоскворечье, а прямо на Красной площади, у Лобного места. Савинков, в память о вековой традиции, вздумал перед Боровицкими воротами сдернуть с головы картуз вполне приличного совслужа, а друг вологодский, выплыв из Боровицких ворот, надумал поразмяться пешочком от дел писарских, по хорошей погоде, и тоже, хоть и задом к воротам, снял картуз, утирая ладошкой наметившуюся плешь. Вот и вышло, что они вроде как поприветствовали друг друга. Надо же, у Лобного места! По-старомодному. Без всякого комиссарства.

— Уж не в Вологде ли мы, уважаемый Борис Викторович?

— Уж не к девочкам ли побежали, уважаемый Анатолий Васильевич?

При желании Луначарский мог еще крикнуть торчавшему в воротах часовому, тот услышал бы, но надо отдать ему должное: двинулся, не оглядываясь, от Кремля прямо на Васильевский спуск. Пожалуй, не от храбрости. Знал ведь друг вологодский, для чего приличный совслуж, даже с портфелем под левой рукой, правую-то держит в кармане нарочито широкого летнего пальто.

— Стрелять не будете?..

— ...если не будете в полицейский свисток свистеть.

— Да у нас и полиции-то почти нет, все на фронте.

— Ага, фронты. Опять фронты?

— Да ведь их создают... люди, подобные вам, не так ли, Борис Викторович?

— Польщен. Горжусь, Анатолий Васильевич. Но... уезжайте-ка вы вместе с Троцкими куда-нибудь подальше от Кремля — глядишь, и фронты вместе с вами в небытие отбудут.

— Да как же это возможно? Власть-то наша.

— Была ваша — будет наша, как говаривали московские карманники. Да и вологодские — не забылось?

— Ну, как забудешь! Молодость революции... молодость жизни... Первая наша встреча — помнится?..

Савинков кивнул. Как это забудешь! После возвращения из Германии, где он «волчий» университетский би-

лет менял на вполне приличный европейский, ему-таки пришлось пять месяцев посидеть в Петропавловке, а от туда — в Вологду, в ссылку, вместе с молодой женой Верой, дочерью знаменитого Глеба Успенского. Гордись женой, гордись таким родством! Он был тогда социал-демократ, родимый брат не только знаменитому народнику — самому Луначарскому. Много там обреталось таких. Даже «бабушка русской революции» Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская, только что отбывшая четверть века на каторге. У молодого революционера глаза разбегались от знаменитостей. Но почему-то его тянуло к Луначарскому; передавали — тот тоже жаждет встречи. Как же, молодой да ранний; сам Ленин похвалил его статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии».

— Помню, помню, — все более оживлялся Луначарский. — Хорошую статью вы тогда написали. Правильную.

— Правильное еще не значит праведное.

— Все парадоксы, крайности. Сбила вас с толку уважаемая «бабушка». От нас — к Плеханову, от Плеханова — к Корнилову...

— Не поминайте всуе. Очень прошу, — так посмотрел на друга вологодского, что тот примолк. — Плеханов умер, Корнилов убит — чего тревожить их тени?

— Согласен... хотя бы перед Плехановым склонить голову. Не забыли, с каким пиететом мы обсуждали в Вологде его статьи?

Потеплел голос наркома Луначарского. Молодость, ах, молодость!..

Он как раз проводил занятия социал-демократического кружка. Народ серьезный, слушали внимательно петербургского ссыльного. Так бы обычным порядком, тихим пением «Интернационала», и закончилось, не войди новенький. Луначарский сразу догадался: это он и есть, бунтарь последнего призыва. Бледно-каменное лицо, при невысоком росте внушительность и кражистость, совершенное отсутствие улыбки. Скрестив на груди руки, постоял-то совсем немного, а уже отнял

всякий дар речи. Потом и вовсе скупым жестом рубанул воздух:

— Все слова? Все прекраснородушное краснобайство? Кончайте болтать, пора дело делать. Бомба, динамит, браунинг — вот истинные слова.

Он больше ничего и не добавил, но вести занятия в прежнем духе было нельзя. Карман его отлично спитого петербургского пальто вызывающе топорщился. С таким снаряжением едва ли стоило ходить по городу. Тем более в Вологде собралась чуть ли не вся семья: и старший брат Александр, которому предстояла якутская ссылка, и мать Софья Александровна, и жена Вера, и тайно приехавший из Ярославля, тоже ссыльный Иван Каляев — друг еще по варшавской гимназии. Истинно занятия социал-демократического кружка им были ни к чему! Мать проводит старшего сына в Якутию, где он кончит жизнь самоубийством, чтоб «не коптить бесполезно небо». Отец Виктор Михайлович, судейский чиновник, из-за непокорных сыновей отставленный от службы, будет помаленьку сходить с ума и уже не сможет уберечь от бунтарской заразы и последнего сына, Виктора. Борису предстоит отчаянный прыжок через моря и океаны... ему тоже, кажется, хотят прописать дорогу в Якутию, но он с верным Иваном Каляевым выбирает Архангельск — след на вологодских улицах прерывается в июне 1903 года. Без документов, без денег, через норвежский порт Варде в Христианию и Антверпен — до Женевы...

— А все же, Анатолий Васильевич, есть что вспомнить!

— Есть, Борис Викторович...

— Девочки? Гимназистки-вологжанки?.. Но... спокойно. Не вздумайте дурить.

Из-за угла Василия Блаженного вдруг вышли двое красноармейцев. Видимо, не рядовые, если узнали наркома и отдали честь. Савинков в ответ тоже вскинул правую руку — левая была в кармане.

— Видите, приветствуют наркома.

— Приветствуют военного министра.

Они посмеялись, понимая, что ссориться сейчас никак нельзя. После возвращения из заграницы Савинков не встречался с вологодским однокашником и сейчас находил в нем большие перемены. Мало сказать, что возмужал и налился революционным телом — кажется, и от трусости извечной избавился. Из песенки словца не выкинешь. Во время первой революции, когда уже начались аресты и расстрелы, нынешний нарком две недели прятался на квартире у общих знакомых, исходил потом от страха и дул беспробудно горькую. Кто-то умирал на баррикадах и в наркомы не годился, а кто-то вот сейчас вальяжно прохаживается вдоль кремлевской стены и со вьюстью особо не мучается. Даже поддерживает шуточный тон:

— Девочки, говорите? Посмотрите-ка на меня, — поднял он пролетарскую фуражку и вытер полысевший лоб ладонью. — Сейчас уже не девочки — сейчас товарищ Коллонтай, товарищ Крупская, товарищ Землячка...

— ...секретарша-полюбовница вашего красного зверя Белы Куна?

— Ах, Борис Викторович, все вы доводите до жестких формул. А они ведь тоже люди...

— Ну, в постели «товарищи» или «товарки». Вон опять...

Теперь из-за поворота кремлевской стены вышел целый конвой — пятеро вели какого-то старика, который едва ноги передвигал. Савинков на полшага отстал и уже обе руки засунул в карманы летнего, очень широкого пальто.

Эти не знали наркома, прошли мимо, явно в сторону Лубянки. Им было не до приветствий. Торопились закончить не такую уж и приятную работу.

— Что-то многовато военных, а, Анатолий Васильевич?

— Ну, это ж не мое ведомство. Спросите Петерса, а еще лучше...

— ...самого Феликса Эдмундовича? Нет уж, увольте.

— Охотно, Борис Викторович. Погуляем по такой прекрасной погоде да и разоидемся.

Все-таки друг вологодский сейчас осмелел. Может, красные флаги смелости прибавляли? Только что отошли грандиозные майские праздники, флаги еще не успело измочалить весенним ветром. Савинков любил красный цвет, точнее — черно-красный. Когда в июне прошлого года австрийцы прорвали фронт, им с Корниловым и пришлось затыкать эту гибельную брешь; вот тогда Савинков, еще в роли комиссара 8-й армии, и предложил идею ударных батальонов под черно-красными знаменами, как в древние времена. Сам в кожаной комиссарской куртке и с красным бантом на груди и вел в атаку первый батальон...

Здесь — то же самое. Красные флаги... с черным серпом и молотом. Где наберешься позолоты на такую прорву красной материи? Флаги на крышах, флаги на стенах, флаги на фонарных столбах. Иногда совсем низко нависали, как опахала. Когда Савинкова задело вот так по лицу, он остановился, высморкался в красную революционную тряпицу, а потом вытерся платком, несмотря ни на что настоящим французским платком, — и безразлично отшвырнул его прочь.

— Арти-ист! — всплеснул пухлыми большими руками Луначарский, всегда отличавшийся излишней театральностью. — Знаете, что я вам скажу: вы все-таки очень похожи на Владимира Ильича!

— На Ульянова?! — не смог сдержаться от изумления Савинков.

— Пускай на Ульянова, если вам так удобнее. Но вот какая мне мысль вдруг в голову пришла: а не свести ли вас вместе?..

— То есть на Лубянке, — недобро покосился Савинков, заметя впереди опять красноармейцев.

— Зачем же на Лубянке, — нарочно остановился друг вологодский, чтоб на пересечении улиц не встречаться с красноармейцами. — Скажем, на моей квартире. Вроде как случайно. Ведь не все так быстро и не все так вдруг... Предстоит убедить еще Владимира Ильича. Я, так сказать, третье лицо, дипломат. Разумеется, полная гарантия. Мое честное слово!

— Положим, я поверю в это слово. Но о чем же мы будем говорить с товарищем Лениным?

— О России. О ее настоящем и будущем. Представьте, Владимир Ильич прекрасно помнит вас по парижским встречам. Да и читал, читал Ропшина! Несколько раз интересовался: куда запропал наш бомбометатель? А не далее как позавчера у нас был разговор об издании революционных книг, и Владимир Ильич сам предложил «Коя Бледного». Разве этого мало? Разве в новой России не найдется дела для вас?

Савинков находился в некотором замешательстве, что редко с ним бывало. Даже внимательно осмотрелся по сторонам. Нет, никакого подвоха. Вполне серьезно вопрошает друг вологодский.

— А не побойтса товарищ Ленин, что я его убью? Вот прямо из этого дружеского браунинга? — приподнял Савинков руку из глубокого, как мешок, кармана.

— Я так и знал, остерегайтесь, Борис Викторович, — скрывая все же свой неизбывный страх, опять театрально раскинул руки друг вологодский. — Но как же вы убьете через третье лицо? Сквозь меня, такого толстого?..

— Да, не убить, — этим коротким замечанием и выдал Савинков свои мысли. — В таком случае почему бы действительно и не поговорить?

На том и разошлись, уже каждый всерьез опасаясь за свою жизнь: много попадалось красноармейцев, а раз на раз не приходится. Пора было заканчивать кремлевский променад.

— Будьте пока здоровы, Анатолий Васильевич. В случае чего я вас сам найду.

— Будьте пока здоровы и вы, Борис Викторович. Я в это время всегда полчаса прогуливаюсь. Имейте в виду. Без охраны. Кого бояться народному комиссару?

Картузы советские приподняли, как истинные парижане. И один — неспешно направо, другой — налево скорым театральным шагом...

В самом деле, нельзя было затягивать это театральное действо. Мало ли что при виде красных флагов присочи-

нит прямо на улице хоть и дрянненький, но все же драматург Луначарский...

Савинков сделал несколько крутых разворотов-поворотов и лишь потом, проскакывая переулок за переулком, вышел на Мясницкую. Надо было повидать полковника Бреде.



Нечто аналогичное вышло и при такой же неожиданной встрече с чекистом Блюмкиным. Савинков и имени его не помнил. Блюмкин — он и есть Блюмкин, стукач, каких свет не видывал. Редко, но дороги их пересекались. Еще в Петрограде, до переезда правительства в Москву. Однажды Савинков, пробираясь на квартиру доктора Кира Кирилловича, едва ушел от преследования. Блюмкин никогда не ходил в одиночку; за ним всегда следовало тенью несколько человек. Савинков только позднее узнал: у него было специальное задание — выследить парламентаря, который прибыл из Ставки Корнилова и устанавливал связи в одной и в другой столице. Жаль, недооценил тогда Блюмкина, хотя фамилию его уже знал. Пришлось стрелять, и хорошо стрелять! Жизнью заплатились охранители, а сам он ушел как заколдованный. Смелый, ничего не скажешь. Ловил Савинкова на живца, сам же таким живцом и являясь.

Во вторую встречу даже Луначарский вынужден был предупредить:

— К вам, Борис Викторович, приставлен Блюмкин. Вероятно, это дело рук Петерса, Дзержинский едва ли к тому причастен.

— Да, но зачем вы мне об этом говорите?

— По вполне понятной причине: я пытаюсь организовать вам встречу с Владимиром Ильичом. А если Блюмкин опередит?.. Грязный человек. Все-таки мы до этого еще не опустились.

Справедливо говорил российский интеллигент, которого почему-то заедала совесть...

Савинков только что узнал из верных рук, от Деренталя, который был своим человеком, да и переводчиком, во французском посольстве: Блюмкин и есть убийца немецкого посла графа Мирбаха... Трудно понять, какую здесь выгоду искала Чека, но ведь была же она, выгода. По крайней мере, перемирие сорвано, война идет своим чередом, Блюмкин разгуливает на свободе, да еще и под охраной кожаных тужурок.

Если Блюмкин ищет Савинкова — то вот он я! Проверить эту догадку можно было только на собственной шкуре...

Встреча произошла не у Лобного места, а на Мясницкой, недалеко от почтамта. Следовательно, недалеко от главной явочной квартиры — штаба полковника Бреде. По Москве уже шли аресты; не успев еще повоевать, погибло около сотни офицеров. Как ни маскируйся, природу офицерскую трудно переделать. Стесняются дрянной одежки господ хорошие. То шелковое бельешко их выдаст, то слишком белые руки. Сколько чекистских троек денно и ночью бродит по Москве?!

Они шли вразброд, вроде бы не зная друг друга, но наметанный глаз Савинкова подсказал: единая троица. Хоть и не было на них сейчас кожаных курток, но чувствовалось: маскарад под солдатиков.

Сворачивать в сторону было поздно, а закамуфлировался Савинков на этот раз под такого ветхозаветного почтмейстера, что даже толкнул маленько плечом своего стукача, на что услышал:

— И такие людишки работают при почте и телеграфе?..

Савинков хотел от души поговорить про почту и телеграф, но — благоразумие, благоразумие, господи! Он только круто развернулся и сдернул в ехидном приветствии паршивую почтамтскую фуражку вместе с клоком закрывавших все лицо затреханых волос. И шепот на ухо, спяну вроде бы, шатнувшегося от него человеку:

— Если ты, кремлевская... хоть слово сейчас пикнешь, провожатые тебя не спасут... Догоняй их и не оборачивайся!

Охранители уже на несколько шагов оторвались от своего подопечного и остановились. Блюмкин круто сунул руки в карманы, догнал их, вклинился между потрепанными шинельками — и продолжал свой путь действительно не оглядываясь. А Савинков, будто все с той же пьянки, склонился в сторону ободранной рекламной тумбы, из-под локтя посматривал, отсчитывал шаги револьверного выстрела: пять... десять... пятнадцать... Когда Блюмкину можно было бы уже безбоязненно обернуться, может, даже призвать на помощь, он сделал несколько быстрых шагов в сторону и юркнул под обшарпанную дворовую арку — проходя тут только что, приметил, сам не зная для чего. Привычка! Сейчас арка, уже глухими дворами, вывела его совсем на другую улицу. Он так и не узнал, поднял ли Блюмкин переполох; искушать судьбу не приходилось, удирал, как в молодые студенческие годы, и вышел с той стороны уже не старым, без всяких власев и бородачки, вполне приличным почтовым служащим.

Жаль, мало довелось поговорить с товарищем Блюмкиным, с которым они так и не успели сойтись на короткой ноге. Но ведь мир тесен, господи-товарищи чекисты? То Петроград, то Лобное место, то Мясницкая! По нынешним временам разница невелика: разыскиваемый всеми Чека человек преспокойно разгуливает по столице и время от времени сталкивается то с одним, то с другим своим знакомым. То-то смеху, наверно, в Кремле!

Но Савинкову при здравом размышлении стало не до смеха. Такие встречи добром не оканчиваются. Да и полковник Бреде, которому он при очередной осторожной явке обо всем рассказал, заявил категорически:

— Если я начальник контрразведки, так позвольте вас предупредить, Борис Викторович: я запрещаю вам вот так, в одиночку, даже под каким угодно камуфляжем разгуливать по московским улицам. Знаете, что сказал Троцкий, явно еще не ведая о вашей встрече с Блюмкиным, когда ему об этом донесли? Он сказал буквально: «Три месяца Савинков живет в Москве, а мы и понятия не имеем, чем он занимается! Услышали только сейчас от слишком стыдливого Анатолия Васильевича... Для чего

мы кормим нашу Чека?!» Он славно топал ножками... И теперь чекисты гончими псами будут рыскать по Москве. Они знают о существовании «Союза защиты Родины и Свободы». Понимают, что мы не благотворительством будем заниматься. Начавшиеся аресты — случайность или нет? Для случайности многовато: сотню человек мы потеряли, еще ничего не сделал. Как ни строга наша конспирация, кто-то может проговориться. Вот так, Борис Викторович. Вы признаете дисциплину, которой сами же нас и учили?..

— Для себя — с трудом, — ответил Савинков, не лицемера. — Но — придется. Приказывайте, начальник контрразведки.

— Не приказываю, Борис Викторович, прошу: время не царское, церемониться не будут.

— Знаю, полковник. Виноват. Я ведь еще не договорил. С Луначарским мы дважды уже встречались, ну, насчет Ленина. Чем плохо? Весьма хорошо было бы для наших планов. Авось и меня сделали бы наркомом! — без всякой улыбки пошутил он. — Из наших частных бесед я ведь тоже, притворяясь овечкой, кое-что вынес. Ну, например: власть чувствует себя очень неудобно. Власть готова к сотрудничеству и с господами офицерами... если они будут плясать под властную дудку. Почему бы нам не поиграть с ними в кошки-мышки? Луначарский — большой тюфяк, поддерживать с ним прежнюю дружбу не тяжело. Блюмкин? Этот волкодав покруче царской шавки. Я руку в карман — и он руку в карман, я левой приподнимаю почтамтскую фуражку — и он приподнимает, без страха. Такие дела, полковник. Не довелось толком поговорить, а стоило бы. Они чувствуют, что Савинков по привычке мутит воду, только не знают ничего о рыбешке. Как говорится, и на том спасибо. А пока — адью, товарищи! Адью, Чека!

Рассказывал он о своих похождениях самым безразличным тоном, но ведь было очевидно: отныне спокойной жизни не будет...

А они уже привыкли к размеренной, хоть и конспиративной, но вполне воинской службе. Во вновь сформиро-

ванных полках числилось пять с половиной тысяч кадровых единиц. Они регулярно получали при конспиративном штабе, в Молочном переулке, необходимое воинское содержание. Полковые, батальонные, ротные командиры пока не знали друг друга, но дух воинского братства уже витал над головами.

Это — только в Москве. Не считая местных рыбинских, ярославских, муромских, владимирских, казанских и других объединений, подчиненных таким эмиссарам, как Патин и Ягужин. Время от времени наезжая в Москву, они почти в один голос докладывали: Волга на пороховой бочке. Будет фитиль — будет и взрыв!

Савинков собрал подчиненный ему командный триумвират: полковника Бреде, отвечающего за Рыбинск, полковника Перхурова, отвечающего за Ярославль, и командующего всеми войсками генерал-лейтенанта Рычкова. Рискованно было монархистам вроде Перхурова, как и социалистам-революционерам вроде Бреде, разгуливать по Москве при погонах, но время было такое, предгрозовое. Наступала пора примерять погоны...

— В свое время вы доверили мне общее руководство нашим Союзом. Только — общее. Я не претендую на военное командование, но все же прошу: доложите. Рыбинск?

Полковник Бреде отвечал со всей обстоятельностью и дотошностью:

— В Рыбинск переправлено уже четыреста офицеров. Пока маловато. Но форсировать события нельзя. При всей доверительности к железнодорожникам они могут пропускать только по три-четыре человека. Больше — опасно. Точных сведений у Чека нет, но насторожена. Срок общего выступления немного затягивается. В рыбинский кулак надо собрать хотя бы тысячу человек.

Там штаб 12-й Красной армии во главе с полковником Геккером, там артиллерийские и оружейные склады, там, наконец, хлебная биржа. Хлеб к Москве и Петрограду везут по рекам. Хлеб сейчас, может, даже поценнее снарядов. Пути подвоза хлеба с Поволжья перекрываем в первую очередь. Там вовсю орудуют питерские и

московские продотряды. С этой целью поручику Патину, кроме всего прочего, дано задание организовать диверсионные группы. Если нельзя вывезти и раздать населению — уничтожить. Что делать, война. Крестьяне помогут в войне с продотрядами. Но преувеличивать их значение нельзя: у них нет ни оружия, ни опыта. Единственно — осевшие по деревням фронтовики. Эти смогут нам помочь. Только, повторяю, не будем гнать лошадей. В молодости я служил в кавалерии, знаю: на загнанной лошади далеко не ускачешь.

Савинков кивнул, подтверждая, что доволен докладом.

— Что в Ярославле?

Полковник Перхуров был человеком артиллерийской закалки. Следовательно, умел считать.

— Как известно, иностранные послы, не заезжая в Москву, все собрались в Вологде. У нас большая надежда на помощь из Архангельска. Французские, английские корабли уже у побережья. Разумеется, не торопятся, выжидают. Реальной помощи от них можно ожидать только тогда, когда мы выступим сами. Дай Бог, чтоб немного деньжатами помогли. Одевать, обувать нашу армию надо? Не в лаптях же господам офицерам в бой идти!

Он помедлил, не торопясь высказывать свои сомнения.

— С одной стороны, в Ярославле — мост через Волгу, там и перережем все пути на Москву. На реке, да по летнему времени, можно организовать хорошую оборону. Но... прошу меня выслушать очень внимательно! Мы оказываемся в полной зависимости от Рыбинска. В Ярославле практически нет оружейных складов, следовательно, успех наш будет зависеть от подвоза снарядов. При окончательном утверждении сроков общего выступления нужно, чтобы Рыбинск начал первым. Скажем, на сутки раньше. Будут взяты рыбинские склады — весело пойдут и наши дела. Уточнения очень важные, заметьте.

Нечего было добавить и к докладу Перхурова. Тем же молчаливым кивком головы Савинков подтвердил свое согласие.

— Но если мы хотим намертво сжать голодное кольцо вокруг Москвы, нам не обойтись без Муромца, без Владимира, даже без далекой Казани. Казань ведь, кроме всего прочего, с Уралом связана. Как там дела?

Вопрос напрямую относился к генерал-лейтенанту Рычкову. Савинков плоховато знал его единственного, не мог припомнить ничего такого решительного, что отличало Корнилова, Каледина или Деникина. Но те ведь в открытую воевали, а здесь пока что партизанщина. Может, осторожность-то как раз и есть главное благо?

Рычков не стал скрывать своих сомнений:

— С Казанью у нас связи плохи. С Владимиром связи есть, но там маловато надежных людей. То ли среди железнодорожников оказались провокаторы, то ли местная Чека слишком хорошо работает. Наши группы регулярно перехватывают. При переправке своего пополнения мы потеряли очень много офицеров... Я не знаю, что делать с Владимиром?

Вопрос, не достойный генерала, но ведь он был продиктован реальной обстановкой. Савинков пожалел, что в бытность свою военным министром не смог узнать всех генералов. Слишком мало было отведено времени. А сейчас разбираться в послужных списках уже не имело смысла — времени еще меньше. К тому же тайного, в пределах, дозволенных Чека...

Так и не решив, что же делать с Владимиром, он сказал самое расхожее:

— Давайте закусим, господа. Авось после этого прояснятся мысли.

Но не прояснялись. Так и завис вопрос: когда?!

Ответ-то был ясен: скоро, господа, скоро! Как говаривал великий Суворов промедление смерти подобно...

Сейчас конец мая, а дольше июля затягивать нельзя. Не под осень же зачинать с партизанской армией, которая пока не имела ни сапог, ни достойного обмундирования.

Да до осени могли и переловить половину этой, с таким трудом собранной армии. Нет, июль! И — ничуть не позже!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПРОПАВШИЕ ПРОДОТЯДЫ

I



абережье вольной Шексны, от Суды до Мологи, никогда не знало крепостного права. Государевы крестьяне. Монастырские. Приписные — к железодельным заводам приписанные. Что с них возьмешь? Только то, что государем указано; монастыри, частью под страхом совести, а частью и под страхом наказания, не могли брать большего оброка, чем казенный, а приписанные к Железному Полю на своих же варницах-кузнях и заработок получали. Уж тут сколько повезет и сколько силушки хватит. Разорять приписных не имело смысла, потому что откуда иных возьмешь? Дело опять же государево, размеренное на пуды железа, скоб, гвоздей, колесных пушечных ошинок, оголовков для петербургских свай, цепей и якорных трезубцев, а до последнего века — и пушек самых разных, от легких, удобных при санных набегах на финские и шведские городишки до тяжелых, рушивших стены крепостей по непримиримому побережью до Балтики. Так что тот, кто брал государев заказ, а вместе с ним и сотню-другую крестьян, для своей же пользы должен был их беречь. Они только числились «хрестьянами», а наполовину уже пропитались заводской, куз-

нечной пылью. Пахать и сеять им не возбранялось, но тоже до той поры, пока выполнялся казенный заказ. Заводчик и кузнец были связаны общей смертушкой, и еще стоило подумать, кого рубить в первую голову. Конечно, хозяина, если он не умел с кузнецами дело наладить. При плохих вестях кузнец мог ведь и в бега удариться — ищи свищи по всему Железному Полю!

Огромное междуречье между Шексной, Мологой, Судой и Уломою Железнопольской с незапамятных времен и до самого девятнадцатого века, а местами и до революции, из болотной руды варило и ковало железо, которое при царях Иванах целыми зимними обозами шло в Московию, а позднее и в Петербург. Уральское железо позже появилось, да и стоило дороже; далеко и накладно, в диком безлюдье. А здесь — под боком, свое, домашнее, считай, что даровое.

Савинков не жалел, что вопреки всякому здравому смыслу ринулся в здешние гибельные места. До пятисот штыков уже собралось в окрестностях Рыбинска, а где им обретаться в таком небольшом городишке?

В молодые годы, убегая от жандармов из Нижнего Новгорода по Волге и Шексне, он насквозь прошел эти побережья. Именно на Железных Полях и потеряли жандармы его след. Тогда, в конце 1905 года, после 25-летней отсидки в Шлиссельбургской крепости, как раз вернулся в свой Борок Николай Александрович Морозов. Лично они не были знакомы, но понаслышке друг друга знали, — Савинков нагрянул без всякого опасения. Террорист к террористу. Холода начинались, на болотах без поддержки было не усидеть. Личным присутствием он досаждал Бороку только один вечер, но едой и теплой одеждой не гнушался. Отсиживаясь перед броском на Петербург в полуземлянке рудокопов, с удовольствием встречал у огонька старого шлиссельбуржца. Как знал, подумывал: «Если жизнь снова загонит в угол, лучшего места не сыскать...»

Пока еще не самый угол, но место действительно хорошее. В полусуточном, даже пешем, переходе от Рыбинска — и в совершенной безопасности. Строй лагеря, да хоть и целые казармы, собирай в единые роты разбродный люд, при желании — стрельбы учебные устраивай. Никто не услышит, никто не узнает. В Рыбинске, как и в Москве, можно половину людей порастерять, а здесь они отдохнут и сольются в нечто такое, что нестыдно и армией назвать.

— Поручик, домой вы съездите попозже, а пока давайте проведем инспекторскую поверку. Армию обушь, одеть и накормить надо. На свое несчастье, а нам на удачу, ваши землячки и хлеба на болота навезли. Деньги у нас пока есть, расплатимся сполна. Не заниматься же реквизицией. Мы — не продотряды. Я пару дней здесь побуду, а остальное вы доделаете. Нет возражений?

— Какие возражения, Борис Викторович! Устроим настоящий военный городок.

Как ни терпелось Патину домой, он не мог, конечно, оставить Савинкова в этих болотах. Кое-что знал о его прежних, давних похождениях, кое о чем догадывался — занимался устройством лагерей. Легко сказать — лагеря! Тут не знаешь, кому довериться. Даже землячки, вроде Тишуней, не годились. Одно дело — хлеб для будущих солдатиков прикупить, и совсем другое — их же ногами наследить на болотах. Решено было: своими силами, только своими. Кто повязан круговой порукой, тот повязан, язык распускать не будет.

Надо было ставить хотя бы временные летние балаганы — крытые еловым корьем шалаши. Бока сплести из ивовых прутьев и обмазать глиной; и Савинков, и Патин в свое время полазили по солдатским землянкам на Воляни и в Галиции, насмотрелись. Здесь того лучше — лес кругом. Два-три венца нетрудно опустить в землю, а выше — мазанка, хоть с небольшими окошками. Еще лучше — с печуркой; хоть и по летнему времени, а заждит — по сырости не обойдешься.

Они целый день в болотных сапогах лазили с гати на гать, искали еще более удобную и сухую гриву. Ближ-

ний холм, указанный Тишуней, чуть ли не тестем, для лагеря не годился: раз известен землячкам, может быть известен и балтийским морячкам. Откуда их на Балтику везли? С той же Волги, с того же Пошехонья.

Кони паслись на сухих, травневших гривах или прыгали вслед за ними по болотинам — не для кавалерии такие места.

Савинков торопил:

— Поручик, я не могу задерживаться здесь больше двух дней. Не забывайте: основные силы у нас еще в Москве. Мы, по сути, бросили их на произвол судьбы... или случая...

— Но генерал Рычков? — несмело возражал Патин. — На нем держится Москва.

— Удержится ли?.. — не договаривал — не хотел договаривать Савинков. — Надо скорей переправлять всех сюда.

— Вы можете положиться на меня, Борис Викторович, — с некоторой даже обидой замечал Патин. — Помощников найду, работников тоже. Не все же землячки — иуды. А если и попадетсЯ какой — иуде иудина смерть. На войне как на войне.

— Ну-ну, — смягчал свою озабоченность Савинков. — Разумеется, я целиком полагаюсь на вас. Охотились в здешних местах? Пути-проходы знаете?

— Только зимой. Тогда дороги хорошие. Гони — не хочу! Волчьи облавы, медвежьи берлоги — все это бывало. Но ведь давно... в молодости, Борис Викторович.

— Молодость! Года четыре прошло-то? Я же скрывался в этих местах — в девятьсот шестом году, под осень. Когда нас в Нижнем... мы там губернатора намеревались на небеса вознести... когда нас по растяпистости одного новичка-студента выследили и погнали вдоль Волги, что зафлаженных волчар. Хорошо быть по ту сторону флажков, стрелком... не приведи судьба оказаться внутри. До Рыбинска нас по пятам гнали, конные по обоям берегам, катера на самой реке — никак в сторону не свернешь. Только здесь, уже на Шексне, и удалось запутать след. Жандармы думали, мы на Питер подались,

там облаву устроили, а мы отсиделись на ваших болотах... спасибо старому шлиссельбуржцу, выручил, укрыв. Он тогда после двадцати пяти лет отсидки только что вернулся в родительский Борок, мы это знали. Но когда это было, когда? Я многое забыл, здешних дорог не помню, а люблю полагаться на собственный опыт. Рисуйте новую карту, поручик, в уме, разумеется, в уме. Бумаге нельзя доверять даже собственные мысли.

Так они говорили, где объезжая, где обходя в брод давно заброшенные гати. Пожалуй, на болотах и разбойнички, ну, скажем, каторжники, обретались. В одном месте на сухой, ветреной гриве нашли целое скопище полудземлянок, еще довольно крепких, может, и всего-то двадцатилетней давности. Посажены в землю на четыре венца, окопаны канавами, чтоб дождевая вода не заливала. Ремонта требовали совсем небольшого. Была даже вместительная хлебопекарная печь. Патин со знанием дела все осмотрел.

— Как в прифронтовой полосе! Тут были не разбойнички. В детстве до меня доходил слух: архангельские морячки взбунтовались... как раз в первую революцию, я тогда еще первоклашкой-гимназистиком в Рыбинске брыкался... когда за морячками погнались, они по Северной Двине, Сухоне — на Бело-озеро, Шексну целой оравой двинулись... и навсегда где-то здесь запропали... Скажите, может пропасть человек, если он не совсем голову потерял?

— Вы сами на это и ответили, — от воспоминаний ли, от хорошей ли погоды размяк Савинков. — Значит, мы наследники архангельских морячков? Место хорошее. Говорите, выход отсюда — на Гиблую Гать? А там недалеко и до Борока, если протянуть по болотине с полверсты потайную лежневку. Знаете, как это делается?

— Приходилось делать — на Полесских болотах, — успокоил на этот счет Патин. — Лежневку мы привязывали камнями, брошенными пушками — словом, всяким железом. Притапливали на полметра в воду — со стороны, даже с аэропланов, не видно, а проходить можно, в том числе и с кавалерией, с пушками...

— Не знаю, как насчет пушек, а кавалерия нам нужна. Хотя бы небольшой эскадрон...

— ...гусар летучих? — с понятливой улыбкой подхватил Патин. — Но лучше — драгун. Лошадь — для быстроты. В наших условиях не рубить — стрелять придется. Винтовка за спиной надежнее.

— Соображайте, поручик, соображайте, — опять на все пуговицы застегивался Савинков. — Среди наших волонтеров немало и кавалеристов найдется. Вопрос: где взять лошадей?

— Были бы деньги, Борис Викторович.

— Деньги будут. Лошади — за вами. Обустройство лагеря — тоже. А пока... — в последний раз обвел он взглядом заброшенную стоянку архангельских морячков, — пока проведем вечер в свое удовольствие. Если нет других вариантов, ночуем у шлиссельбуржца. Думаю, старик обрадуется.

Николай Александрович Морозов вообще-то был не так уж и стар: 64 года. Из них почти двадцать девять лет, если считать все, просидел вначале в Петропавловке, в Трубецком бастионе, потом в Шлиссельбурге, после выхода из него еще и Двинской крепости прихватил; но посторонние не делили его отсидку на разные сроки. Хотя и была существенная разбежка — в семь долгих безоблачных лет. Освободился он из Шлиссельбурга в 1905 году, и, между прочим, не без бомб главного российского террориста Бориса Савинкова. Когда в огне первой русской революции сгорел московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, а имения его в Дмитровском уезде и Орловской губернии были совершенно разграблены и сожжены крестьянами, когда пали его ставленники министр внутренних дел Сипягин, прозванный «дьяволом царских врат», и министр просвещения Боголепов, бывший военный министр генерал Сахаров — за жестокие расправы в Саратове над мужиками, петербургский градоначальник фон дер Лауниц, ненавидимый всеми честными людьми

Плеве; когда убили в Гельсингфорсе, прямо в своем дворце, заместника Финляндии генерала Бобрикова, бесчисленное число рядовых губернаторов и полицейских чинов; когда бесстрашно стреляли в Дурново; когда на Аптекарском острове разнесло вместе со многими высокопоставленными чиновниками дачу Столыпина; когда, по оглашенным в Государственной думе данным, бомбами и браунингами было искалечено 20 000 человек, — держать в крепости шлиссельбургских затворников стало невозможно. На 52-м году жизни Николай Морозов вышел на свободу, вскоре женился на Ксении Алексеевне Бориславской и в семь последующих лет полной мерой испытал славу русского героя. Но... Ему еще пришлось посидеть «на закуску» — за сборник стихотворений «Звездные песни». 15 июня 1912 года во время отдыха и лечения в Гурзуфе, уже привыкшего к свободе шлиссельбуржца снова арестовали, через Севастополь, Киев и Витебск привезли в Двинск и посадили в крепость... еще без малого на год. Так что 29 — общий тюремный список...

Но Савинков знал: не было душой более молодого человека! Вот как о нем после выхода из Шлиссельбурга писали очевидцы:

«Со стула поднялся человек, на вид лет сорока — сорока пяти, одетый в пиджачную пару, но изящно, почти элегантно. Точно так же изящно были подстрижены и его темные с сединой волосы на голове и такого же цвета небольшая борода. Фигура его, стройная, довольно высокая, имела в себе что-то юношеское по гибкости. Он выглядел лет на 5—10 моложе большинства лиц его возраста, проводивших жизнь в нормальных условиях.

Говорил он оживленно, но в этой оживленности не было ни малейшего намека на какую-нибудь лихорадочную возбужденность, на какую бы то ни было надтреснутость».

Как будто и не существовало 12 последних лет! Опять «со стула поднялся человек, на вид...».

Годы его нельзя было мерить обычной мерой.

— Здравствуйте, Николай Александрович. Узнаете? — не в силах скрыть какую-то влюбленность, поздоровался Савинков.

Так было с Ксенией Алексеевной оговорено — без доклада.

Но только мгновение и смотрел из-за маленьких блестящих очков этот непостижимый, с позволения сказать, старик.

— Ба... батюшки! — всплеснул он руками, вскакивая из-за стола. — Борис Викторович?! Опять революция? Бомбы? Погони?

И, высказав единым духом всю суть, пошел обнимать его, все-таки по-стариковски широко и бесцеремонно.

Савинков редко снисходил до объятий даже со сверстниками-друзьями, но тут ведь была живая история во всем ее неподражаемом российском обличье.

От двери тихонько посмеивалась Ксения Алексеевна, не мог оставаться в серьезности и Патин. Два главных российских террориста тискали друг друга и ничего не говорили. Что можно было сказать — после двадцати савинковских и сорока морозовских? Разве одно:

— Ксюша! Ты видишь — у нас гости?

А она и видела, и слышала лучше его — пианистка, дочь генерала, барышня из института благородных девиц и все понимающая, бесконечно влюбленная жена.

— Гости. Что нужно гостям с дороги?..

Он никак не мог сообразить. Он все и вся бесконечно путал.

— Гостям надо показать наши милые речки... Сутку, Хохотку, Суногу, Ильдь... да мало ли что, милая Ксюша! «Аллею мечтаний», например. «Холмы юности». «Дорогу в эхо»... Да я, право, не знаю, Ксюша!

Патин безмолвно похотывал, так и оставаясь у порога. Хотя в этом «скворечнике», носившем громкое название мансарды, от дверей до стола не было и десятка шагов. Все махонькое, прибранное, укромное. Гость и хозяин тут невольно сливались воедино.

Но — не хозяйка. Она и напонила:

— Борис Викторович? Уж хоть вы-то, пожалуйста, не поддавайте под его сентиментальность. Познакомьте.

— Ах да!.. — Савинков высвободился кое-как из рук хозяина. — Андрей Патин. Поручик Патин, если угодно.

— Угодно, угодно, поручик! — и на него пошел с распростертыми объятиями хозяин. — В моей жизни немало было поручиков... и даже генералов! Почему вы не генерал... поручик?!

Отвечать на это было просто невозможно. Патин поцеловал руку хозяйке, сел на один из двух свободных стульев и осмотрелся. Здесь что в монашеской келье: кроме письменного стола, книжных струганых стеллажей, железная, застланная клетчатým одеялом кровать, умывальный столик с тазом и кувшином, трехрожная вешалка... и более ничего, потому что стулья-то были заняты гостями, а кресла, даже самого примитивного, в мансарде просто не имелось. Тем не менее хозяин царскими жестами подтверждал все просьбы Савинкова:

— Да, Борис Викторович, да-а...

Впечатление было такое, что он витает где-то под самыми кучевыми облаками, может, и выше их.

— Может появиться необходимость оказать нам содействие...

— Все, что угодно!

—...в закупке, например, продуктов, обмундирования, ну, скажем, одежды... и лошадей, любезный Николай Александрович...

— Сколько угодно! Хоть две тройки. Хоть три...

— Кавалерийских лошадей...

— Кавалерийских? Да они плохо ходят в упряжи. Хотите орловских рысаков? У меня есть знакомый заводчик... был... кажется, его повесили... лет пятнадцать назад. Да, Ксюша?.. — на выручку позвал, когда она промелькнула в дверях.

Она склонилась к нему, поцеловала в щеку и преспокойно объявила:

— А вот теперь я скажу, что нужно гостям с дороги. Нужно умыться и хорошо закусить. Стол я велела накрыть в беседке. Вид на Шексну там просто чудесный. Не возражаете... господа-товарищи?

Она по-женски иронизировала, но в ее иронии было столько доброты, что Савинков первым встал и взял под руку хозяина:

— Закусить — это дело. Не будем отказываться.

Патин предложил руку хозяйке, но она, непосредственная душа, отмахнулась:

— Ой, что вы!.. Разве теперь есть настоящая прислуга? Пока сама не досмотрю, ничего не будет.

Она убежала по своим недоделанным делам, а они — где втроем, где вдвоем, а в узких мансардных дверях так и по одному — выбрались наконец-то на волю, на зеленый, отмеченный дубами и старыми липами луг; зеленый покров мягко, неслышно скатывался к Шексне.

Шли долго, увязая в разговорах и малопонятных для Патина воспоминаниях. Одно его поразило — хозяин говорил:

— Знаете, что самое трудное было после двадцати девяти лет одиночной крепости? Простор! Я до сих пор не могу привыкнуть к большим залам и открытым просторам... даже небесным. Из камеры мне был виден только кусочек неба, а здесь... вот вечером посмотрите... ширь небесная, глубина звездная!..

Беседка тоже была маленькая, тесная, но Шексна раздалась широко, красиво скатывалась к Волге. А пока тащились такой неуправляемой тройцей, хозяйка несколько раз, в сопровождении престарелой кухарки, промелькнула взад-вперед, и вышло в самый раз: рыбная, овощная закуска стояла на столе, а вдобавок и пирог-растегайчик в тени высокого, витого графинчика.

Не садясь до времени, хозяйка попросила:

— Борис Викторович, прошу вас: возьмите это мужское застолье в свои мужские руки. Я кое-что доделаю и к вам подсяду. Ни в коем случае Николаю Александровичу не позволяйте командовать парадом... уверяю вас, голодными встанете из-за стола... Лапочка! — к нему склонилась. — Ты о чем думаешь?

— Да вот о предложении профессора Вейнберга, стало быть, о Томске, о технологическом институте. Представьте, меня избрали профессором на кафедру химии, а я и гимназии не закончил... Ксюша, когда переезжаем? Они торопят. Телефонируй!

Ксения Алексеевна заразительно смеялась.

— Вот-вот. Борис Викторович, хочу предупредить... и вас, поручик... спрячьте подальше кошельки, а тем паче револьверы. Не пошли бы они на закуску. Всякий раз гости чего-нибудь да недосчитываются. Вот Вера Фигнер было всполошилась: «Караул! Милая Ксана, не увез ли по рассеянности Николай мою записную книжечку в черном переплете?...» Да что книжечки или револьверы! Он и меня-то, бывает, путает... Раз сидит здесь же, в Бороке, подает мне чашку, вроде бы смотрит на меня и говорит: «Мамаша, пожалуйста, налейте мне еще». Ой, лапушка! — побежала навстречу кухарке.

Савинков знал великую рассеянность Николая Александровича и решительно взял дело в свои руки. Так что когда Ксения Алексеевна возвратилась с жарким, они уже успели порядочно закусить салатами и пирогами.

Может, и еще перед жарким позакусывали бы, но на Шексне вдруг резко затрубил пароход. Ксения Алексеевна побледнела:

— Продотрядовцы! Они уже который день взад-вперед шастают... Кажется, сюда пристают? — заглянула в просветы деревьев. — Сюда. Борис Викторович, Андрей... прятаться вам бесполезно... побудьте-ка вы пока дворниками!

Она сдернула с себя фартук и накинула лямку на шею Савинкову, столь же проворно и кухарку раздела — Патина обрядила.

Хоть стой, хоть падай... хоть метлу в руки бери!

Кухарка, женщина пожилая, но столь же расторопная, и метлы тем временем притащила, сунула в руки:

— Метите! Да пуще, пуще пылите!

Зрелище выходило забавное: Савинков по одной аллее, Патин по другой — знай пыль клубами! Навстречу гудкам.

— Буржуи? Все обыскать! Если здесь заготовим нужное количество провианта, дальше можно и не плыть. Капита-ан? Как место называется?

— Боро-ок... — робкий ответ.

— Чего мямлишь? Сходни.

Пароход причалил по всем правилам, со сходнями.

Это был обычный пароход, реквизируемый для нужд продотряда. Даже пассажиры на палубе торчали. Конечно, помалкивали, пока отряд сходил на берег и даже строился в некое подобие колонны. Правда, на первой же сотне метров колонна развалилась в обычную раскристанную толпу с торчащими вкривь и вкось винтовками. Тот еще народец, в ногу-то не хаживал. Рискуя напориться на какую-нибудь случайную глупость, Патин ходил с метлой вокруг беседки, пылью отсекал незваных гостей от хозяев. Но тут уж крик:

— Что еще за холуй... тут на пролетариев пылит?..

На грубый и бесцеремонный окрик комиссара в кожаной куртке сам уже хозяин встал из-за стола, церемонно, старомодно поклонился со словами:

— Чем могу служить... господам-товарищам?..

Такого обращения продотрядовцы просто не знали и пырнули было в его сторону штыками, но хозяин их палочкой, как стукалочкой, отшиб:

— Жандармы? Опять жандармы? Разве не было никаких революций?

Патин обомлел от этого неожиданного выпада, но Савинков держался спокойнее, знай пылил под ногами комиссара. Тот вспылит не хуже метлы:

— Что здесь происходит? О чем вопрос?

— О революции. Была или не была?

— Была! Октябрьская! Великая!.. — решил себя показать комиссар.

— Неужели? — даже палочкой пристукнул Николай Александрович. — Если я не ошибаюсь, революция провозгласила: земля — крестьянам, фабрики и заводы — рабочим, а власть — народу, мне то есть, поскольку я и есть народ, самый главный и первейший, по крайней мере на этом берегу...

— Да кто... ты такой, чтоб разговаривать со мной?!

— Честь имею: Морозов.

— Да хоть... Заморозов, — не хотел больше ничего слышать ретивый комиссар. — Амбары открывай! Погреба! Контр...рибуция!.. — с трудом, но вспомнил он нужное слово.

— Насколько я понимаю, — ничуть не испугался высокий, статный старик, — насколько знаю, контрибуцию берут с покоренных, завоеванных земель. А вы ее, товарищи хорошие, землю эту, не завоевали, — откровенно, детским каким-то, безбоязненным смехом запылулся молодежавый старик, окруженный десятком нетерпеливых, злобных штыков.

— Так завоеваем, за чем дело стало! — комиссар в обиде на такой невыносимый отпор сапогом о ступеньку беседки пристукнул. — Расселась тут... контра всякая!.. Взять! Все, что по праву принадлежит революции.

Он еще говорил, а приспешники давно по двору рассыпались. Кто куда во что горазд. Но непостижимый старик сел на случившуюся тут, у стены беседки, скамеечку, достал из кармана пиджака записную книжку и карандашик, стал в ней что-то мелко и увлеченно чирикать.

Комиссар совершенно озверел от такого пренебрежения и попытался вырвать книжечку. Патин совсем вплотную подступил с опечерившейся метлой, но старик, в своем барском одеянии не казавшийся сильным, вдруг сильно и дерзко ткнул комиссара тростью в живот, так что того от боли скрючило.

— Что, крепка рука у старого экса?..

Комиссар судорожно расстегивал кобуру своего болтавшегося у ноги маузера, а старик как ни в чем не бывало чирикал карандашиком в книжице. Даже Савинков насторожился, а Патин со страхом и недоумением подскочил:

— Николай Александрович! Вы разве не видите, кто тут? Что вы делаете?..

— А стихи, Андрюша, пишу. Про революцию и ее темные, зверские силы. Вот послушайте:

Мрак гробовой,
Густ и суров,
Лег над страной
Вечных рабов.

Но слушать его не хотели: дикое, безумное удивление пробежало голосами от надворных построек до этой вот скамеечки, на которой безмятежно под дулами винтовок

посиживал крепкий, румяный, до наивности глупый старик. Удивление перерастало в крики:

— Здесь полны анбары!..

— Дом буржуйский... форте-пьяны даже!..

— Лошадей сейчас запрягаем, чего на себе таскать!

Пока комиссар вытаскивал свой маузер, а непостижимый старик читал какие-то стихи, Патин напомнил:

— Вам же говорят — это Мо-ро-зов! Тот, что два десятка лет в Шлиссельбурге...

— Ошибаетесь, гражданин дворник, — обернул к нему старик веселое, чуждое всякого страха лицо. — Не два десятка, а двадцать девять. А если быть совсем точным, без трех месяцев и семи дней. Не за эту ли вашу разбойную революцию, ха-ха?

Право, кого угодно мог с ума свести этот смешок. Патин чувствовал, что Савинков уже держит на прицеле комиссара, и сам под покровом метлы руку в карман засовывал, а комиссар все не знал, что делать со своим неуклюжим маузером, который должен же стрелять, коль вытасен из деревянной скрипучей кобуры, а вот не стрелял, вроде как норовил обратно, в темноту, юркнуть и затаяться до лучших времен. Вдобавок из дома вышла молодая, статная женщина с тюрбаном высоко взбитых, темных волос и тоже без страха и удивления сказала:

— Лапочка, брось морочить голову. Скажи им! Вот, — она протянула лоценый, хорошо пропечатанный бланк, на котором и безграмотному бросились бы в глаза крупная красная печать и надпись сверху: «СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ».

Не иначе охранный грамота! Предводитель отряда сам был комиссаром, к тому же грамотным, и вздрогнул при первых же словах, а подпись не оставляла никакого сомнения...

— Ле-нин?!

— Если быть совсем точным, — добродушно поправил хозяин этой неподвластной усадьбы, — Ульянов-Ленин. Следовало бы знать, молодой революционер.

Так ничего и не поняв, а только думая, как бы половчее отступить, комиссар махнул рукой:

— От-ставить! Все положить на место! Ну, ваша местная Чека!.. — уже на ком-то из своих соглядатаев отвел он душу. — Под трибунал... чтоб не подводил товарища Ленина!..

Но местный, зная, чем пахнут такие слова, дал такого дёру, что всем отрядом было не догнать. Хозяин все так же добродушно посмеивался:

— Естественные потери, ха-ха! На войне как на войне. Вот еще послушайте...

Горе и гнет
В каждом селе,
Гибнет народ
В рабской земле.

Стихи были настолько контрреволюционны, что комиссар побежал к пароходу как ошпаренный, а за ним и все остальные, недовольные, ничего не понимающие, бубнящие:

— Контра, а мы бегай?..

— За што такая наказания?..

Патин задержался, как прикованный к скамейке, на которую и Савинков, и Ксения Алексеевна присели. Ихто, видно, и потешал ни на что не похожий хозяин.

— Каковы нынешние революционеры, а? Писал я это после разгрома первой революции, а они на сегодняшний день примеривают. Нет, не понимаю, куда катится наша славная революция!

«И он не понимает! — с горечью подумал Патин. — Кто ж тогда поймет? Несчастный здешний чекист? Питерский комиссар?..»

Ответа не было, да и быть не могло.

II

Но как ни шифровали свою переключку, о существовании тайной офицерской организации стало известно и Троцкому, три месяца не имевшему о том ни малейшего понятия. Как он кричал на своих оробевших помощников, даже на главных чекистов! Исключая, конечно, Дзержинского — этот не потерпел бы неврастенических

криков. Собственно, Дзержинский-то и связал имя таинственной организации с именем Савинкова. Германское посольство подтвердило: оно уже давно следит за вашим неуловимым террористом, но, к несчастью, лишь сейчас может утверждать о его причастности к не менее неуловимой офицерской организации, в которой уже слышен топот полков... даже дивизий!.. А вы... кремлевские растяпы?! Нарком армии и флота проглотил очередную немецкую оплеуху. Что делать, чужая страна в чужой столице ведет себя, как... в местечковой лавочке!

Троцкий верил немецким слухам, но и полковник Бреде свои подозрения на немцах проверял. Под видом прогерманского латыша он был вхож в посольство, на счет немцев не заблуждался. Другой латыш, уже в немецкой форме, ему по секрету сказал: скоро огнем каленым выжгут заразу! Да что там — сегодня ночью, тс-с!.. Именно так: будет оцеплен Денежный переулочок, чтобы захватить сразу весь «Союз» вместе с Савинковым заодно. Раз Чека не справляется, надо добрым людям помочь. Чтобы не мешали установившейся дружбе. Чтобы не толкали новую Красную армию, как прежде и царскую, в объятия англичан и французов. Надежные союзники — немцы, и только немцы. Они умеют за добро добром платить. Поэтому и помогут... в пух и прах разместить офицерское отребье!

Кажется, и немцы немного знали, поэтому нарочно блефовали, нащупывая истинный след. Если что и верно было — так это Денежный переулочок; действительно, там существовала одна из конспиративных квартир, но сам Савинков в ней никогда не бывал и никаких заседаний штаба, тем более в этот вечер, не проводил. Все же сообщение полковника Бреде следовало проверить. Он послал туда надежного офицера, в совершенстве знавшего немецкий язык. А в засвеченную квартиру юнкер Клепиков, как раз вернувшийся из Ярославля, на халяву понавел таганских блатарей вместе с их невоздержанными чувихами — при виде разлитой выпивки они первыми и надрались до умопомрачения. Нагрывшая об-

лава застала здесь такую малину, что и самим от позора стало тошно. Растрезвонили до самых кремлевских стен, а чем отчитываться?!

Это мало беспокоило Клепикова, да и посланного туда следом офицера. Под блатаря он не играл — был разведчик, немецкий, разумеется.

Каково же было его удивление, когда оцепившие Денежный переулочек и одетые в красноармейскую форму патрули при виде задержанного начали переговариваться между собой по-немецки! Ну, с немецкой прямоотой и он им рявкнул: какого, мол, черта... доннер веттер!.. не видите кто?!

Не было сомнения, в своей погоне за Савинковым большевики, не брезгуя ничем, пользуются услугами немецкой разведки. Можно было посмеяться, но смех выходил грустный...

Савинков отдал распоряжение всем рассредоточиться, замереть пока и не шевелиться. Чутье старого зверя ему говорило: охотнички путаются в следах, бегают до времени на чужом поводке, но рано или поздно встанут под ветер и почуют запах притаившегося зверя, обложат его красными флажками. Непременно!

Истинный штаб, который находился в Молочном переулке, был переведен на казарменное положение, а деньги, оружие, документы, особенно списки «Союза», были попрятаны по глухим трупобам, чтобы случайный провал не сорвал все дело. Покушение на Троцкого пришлось отложить, а покушение на Ленина сорвалось: по какому-то тоже своему чутью пролетарский вождь не поехал в тот день выступать на заводе, где его вместе с товарищами-партийцами ждали и господа-офицеры. О возобновлении слежки пока не стоило и помышлять — самих отслеживали и загоняли за красную цепь. Савинкову пришлось прикрикнуть на своего слишком горячего ординарца:

— Ни шагу, господин юнкер! Шутки с переодеванием кончились.

Юнкер благородного Павловского училища был сейчас блатарь блатарем. Так вошел в свою роль, что нос вы-

тирал рукавом без всякой необходимости... Савинков не стал ему пенять на это. Уже помягче:

— Ни Бронштейна, ни Ленина нам сейчас не достать. А на Каплан надеяться трудно, она же сумасшедшая! Займемся Ярославлем и Рыбинском. Когда вы обещали своим вернуться обратно?

— Послезавтра.

— Завтра, юнкер.

Клепиков и в своей трупобной хламиде вытянулся по военному.

— Как там это горько-сладкий Пешков говорил? Пусть сильнее грянет буря! Вот так.

И верно, уже через неделю его не вовремя вызвали к телефону. Голос нарочито картавый, женский. Савинков признал, конечно, помощницу Перхурова, но требовалось проверить и пароль:

— Кто говорит?

Вот тогда-то и прозвучало:

— Сарра. У нас эпидемия. Повальный тиф. В первом отделении карантин. Вызвала своего доктора, срочно. Говорит, этих больных не спасти. Думаем, как обезопасить всех остальных.

Охотнички подбирались уже и к телефонам и, конечно, их прослушивали. Но что они могли понять из таких больничных сообщений? Разве только то, что штаб «Союза», как и было в действительности, перебрался в одну из частных больниц. Но куда? Не настолько глупа помощница Перхурова, чтобы звонить от себя, — был на другом конце города брошенный в прошлогодней смуте телефон. Возле него мог полатиться головой кто-то один, но не вся же организация.

Правила проверенные: если карантин, так не переступай запретную черту. Карантинная служба полковника Бреде свою охранительную службу выполнит. В тифозных бараках не плачут. В тифозных бараках должна быть дисциплина.

Стало известно по всей Москве, включая и Денежный переулок: арестовано до сотни человек, но руководство «Союза», оружие, документы и деньги уцелели. Слава

погибшим в застенках Чека, доблесть оставшимся мстить!

Они собрались втроем на квартире у Перхурова. Спорить было не о чем — надо было действовать. Савинков предложил:

— Пора начинать. Досрочно.

Полковник Перхуров согласно покивал умной, еще не забывшей математику головой и подтвердил:

— Пора. Но что же — без артиллерии? Если мы с ходу и возьмем Ярославль, так ее там нет, вся в Рыбинске. Поручик Ягужин дело свое знает, всех прибывающих хорошо, укрытно разместил, но все-таки мало их, наших волонтеров... Рыбинск! Его надо брать в первую голову. Ах, молодцы большевички! Склады не на большой московской дороге — в рыбинском углу устроили. Ожидают, что ли, нас в Ярославле? Не доверяют Ярославлю?

Полковник Бреде заговорил вроде бы совсем не о том:

— На улицах немцы, мои земляки-латыши да какие-то мадьяры. Такое впечатление, что Первопрестольная оккупирована.

Он помолчал, но его уважали, слушали не перебивая.

— Как удалось мне, под застольное настроение, вывести в немецком посольстве, между немцами и большевиками существует тайное соглашение: в случае столичного мятежа и вообще какой-нибудь внутренней заварухи немцы без сопротивления займут Москву. На главном минском пути стоят заранее приготовленные составы. Под самым Смоленском. Несколько часов — и в Москве!

Его и тут не остановили. Надо было дослушать до конца.

— Конечно, прихвастывают боши. По-немецки самонадеянно. Но не без оснований. Более мелкая сошка это подтверждает...

Прислушались. Глухой, заброшенный угол Таганки, но где-то совсем близко звучали выстрелы. Не это настораживало: меж воровской братии часто случались разборки, а притоны существовали здесь еще с прошлого века. Обычно слева направо да справа налево постреляют — и расходятся. Сегодня же стреляли явно с одной стороны, кучно.

— Не жулье, — чутким ухом уловил Савинков. — Вы поговорите пока, я разведую.

Он черным ходом вышел во двор, напоминавший глухой колодец. Чем хорошо, так была там потайная калитка; через пустующий дровяник выходил напрямиком на другую улицу.

Прежде чем воспользоваться ею, он все-таки постоял. Выстрелы не повторялись, но зато послышался приближающийся звук мотора. Где-то что-то заприметили новоявленные большевистские филеры, и теперь ночные гости ехали сюда. Может, у них были адреса, а может, и на дурачка ловили. В этом недалеком от центра, но глухом районе по подвалам и ночлежкам, меж жулья, проживало немало членов «Союза», в большинстве своем новичков, еще не успевших рассосаться по Москве, тем более уехать в Рыбинск и Ярославль. Если на Сухаревке, на Ордынке и в Сокольниках начались аресты, почему же им не докатиться и сюда, в самое ближнее гнездо «Союза»?

Размышлять было некогда. Он быстро прошел дровяником, отодвинул приставной щит и, сделав круг, выбежал с противоположной стороны, позади погромыхивающего грузовичка. Теперь оставалось палить в воздух и кричать:

— Братва-а, шу-ухер! Смывайся кто может!

В окрестных домах от такого крика затрепали двери, заскрипели окна, загромыхали подвалы, задребезжало листовое железо на переходных крышах — обычные звуки ночной облавы на воров и проституток. Каждый очнувшийся дом только усиливал переполох. И пока грузовик разворачивался, для устрашения, видно, постреливая, волна ночного содома покатила к Язуе кривыми переулками, так что самая лучшая гончая ухо сломает. А тут ведь, как понимал Савинков, были лопухие деревенские парни, по нищете ли, по глупости ли связавшие свою жизнь с новоявленной советской охранкой. Уже для насмешки он побегал еще по лабиринту переулков, пострелял направо-налево, чем окончательно ввел в заблуждение охранку и заслужил похвалу истинных

блатарей. Из темноты, откуда-то с третьего этажа, его благословили:

— Зуб даю, Васька-Жлоб?! Хорошо ты бобиков за нос поводил. Оторвал маненько от Маруськи, так пойду помну еще...

Савинков возвращался в самом веселом расположении духа, насколько он вообще мог быть веселым.

— Видите? — кивнул своим напряженно ожидавшим полковникам. — Я Васька-Жлоб. И все наши — жлобы. Люди, для Чека неинтересные. Так что район безопасный. Будем и дальше сидеть по норам?

Это почему-то задело полковника Перхурова, он резко ответил:

— Да, нора неплоха! Но отсиживаться... Я завтра опять выезжаю в Ярославль. Ягужин там из сил выбивается.

— Я — в Рыбинск, — поддержал его полковник Бреде. — Патину одному тоже не справиться. Народ прибывает. Главная ставка — на Рыбинск.

— Ну а я — в Тьмутаракань? — не принял их обидчивости Савинков. — Полноте, господа. К делу!

Он умел останавливать самых горячих... даже таких, как незабвенной памяти Ваня Каляев...

— Что правда, то правда: надо быстрее выводить людей из Москвы. Лагерь под Рыбинском, как докладывает Патин, почти готов. Дальше — Ярославль, Муром, Владимир, Казань. Можно и по более мелким окрестным городам. Это дело не одного дня и даже не одной недели. Не можем мы катить в Ярославль целыми составами... как немцы на Москву! Да еще с музыкой полковой. Нет, господам офицерам придется везти свои мундиры в дорожных котомочках. Придет время — отгладим заново.

Он не понравился сам себе: увлекся... Это никогда к добру не ведет.

— Пожалуй, не помешает опять навестить Рыбинск и Ярославль. Но — на самое краткое время. Сами понимаете, без вас мне в Москве не управиться. А надежда на добрейшего генерала Рычкова... — Он не хотел догова-

ривать. — Будем сами себе генералами. Надо разработать четкий график отправки наших воинских подразделений. С железнодорожниками связь установлена. Но, во-первых, не везде же там наши люди, а во-вторых, и пропускная способность невелика. Меня предупредили: группы должны быть не больше пяти человек. И на том спасибо. Они рискуют так же, как и мы. Хотя нам-то придется заниматься тоскливой арифметикой. Разделите-ка пять тысяч на пять?..

— Но уже пять сотен — в Рыбинске, — обиделся полковник Бреде.

— Семь сотен — в Ярославле, — без обиды, но твердо напомнил полковник Перхуров. — Объясните, Борис Викторович, почему вы нервничаете?

— Я? — удивился Савинков. — Сейчас объясню...

Но и без дальнейших объяснений было ясно, что процесс накопления сил в Рыбинске и Ярославле займет не менее месяца. Скорее всего, и больше. И потом — с вокзала в бой не бросишь. Та же конспирация, то же отсиживание в пригородах, пока все не соберутся... Нет, раньше июля не начать.

Он уже сам стал отступать под пронизательными взглядами полковников. Но и Перхуров тоже уступил:

— Хорошо. Я отлучусь пока на два-три дня... пока лишь в качестве квартирмейстера. Основные силы сосредоточиваем под Романовом, там недалеко от Ярославля. Часов пять пешего перехода, но в случае необходимости можно использовать и железную дорогу. Когда начнется — отпадет надобность скрытничать. Депо в Ярославле большое, порожняк обеспечим.

— В Рыбинске поменьше, но мы рекой. Думаю, задержки с подвозом не будет, — заверил Бреде. — Еще раз все проверю, хотя тоже долго не задержусь.

— Ну и ладно, — как грехи отпустил Савинков. — Есть в этом дворце хозяин-хлебосол?..

— А как же, — хмыкнул Перхуров. — Ча-лаве-ек!..

Он побрякал в старом пыльном буфете и принес поднос со словами:

— Кушать подано, господа.

Они выпили по стакану дрянного базарного вина, у которого и названия-то не имелось. На правах хозяина полковник Перхуров даже чертыхнулся:

— Вот дожили! Министры и полковники пьют... как таганские забулдыги!

Савинков благодарно пожал ему руку: самым простым способом сорвал горечь некоторой обиды. Ну, он-то привык — с гимназических лет подпольщик, а каково прятаться боевым полковникам?

Вышел он от Перхурова вместе с Бреде, но тут же и разошлись в разные стороны. Было недалеко до Деренталей, в одиночку оно и незаметнее. Шел мягко, неслышно, шпорами, разумеется, не гремел.

Да и полковника Бреде в десяти шагах уже не слышалось. За эти зимние месяцы георгиевский кавалер тоже разучился ходить строевым...

Как, впрочем, и юнкер Его Императорского Павловского училища; он как из-под земли вырос перед условленной на эту ночь квартирой.

— Вот что, — сказал Савинков, оглядывая образцовую красноармейскую выправку. — Ночной пропуск у вас, Сапа, в исправности — бегите на телеграф и предупредите Патина, чтоб сидел на месте. Мол, Сарра выздоровливает, не беспокойтесь.

Клепиков кивнул своей отлично сидевшей красноармейской фуражкой и так же тихо, как появился, исчез в темноте переулков, чтобы уже где-то там, на Мясницкой, выйти к почтамту. Савинков думал: все, можно подниматься на второй этаж. Хватит, тоже не железный, устал.

Но на лестничной площадке как ни в чем не бывало стоял поручик Патин.

— Весело в этой жизни! — пожимая ему руку, не без горечи улыбнулся Савинков. — Я только что послал Деренталю на почтамт дать вам телеграмму. Сарра выздоровливает... и все такое...

— Не надо было приезжать?

— Не надо, но вы не виноваты. Мы тут понакрутили... Пойдемте в квартиру, нечего тут маячить.

— Но Деренталь? Я догоню его?

— Пойдемте. У вас нет пропуска.

По тону голоса Патин почувствовал, что спорить бесполезно. Сидя в кресле заброшенной квартиры, потягивая какое-то убогое вино, Патин и половины своих приключений не успел пересказать, как возвратился Деренталь. Условный стук, скрип ржавой петли — и удивленный, обидчивый взгляд:

— Но я только что запретил вам выезжать из Рыбинска!

Патин развел руками — что тут, мол, объяснять? — а Савинков, доставая очередную бутылку все той же кислоты, вдруг совершенно серьезно спросил:

— Поручик Патин, как у вас насчет сифилиса? Ну хотя бы триппера?..

Недоумение было столь велико, что и Деренталь выпучил свои красивые французские глаза.

Савинков не спешил объяснять неуместный вопрос, предложил:

— Выпьем за мужские достоинства.

Уже когда несчастный Патин вдоволь намаялся, посчитал за нужное досказать:

— Да-да, мужской доктор. Кир Кириллович. Я просил его срочно перебраться в Рыбинск. Человек любит хорошо поесть — чего ему делать в голодном Питере? Пусть стерлядочку шекснинскую жует, а?

Патин был не в силах долго сердиться.

— Ну, Борис Викторович! Выходит, мне на той же ноге — обратно в Рыбинск?

— На той, на быстрой. Надо же встретить хорошего доктора!

О том, что туда же отправляется и полковник Бреде, а вскоре и он сам перенесет свой штаб, умолчал. Предрасудок старого подпольщика. Если несколько человек едут порознь, гораздо безопаснее и больше шансов просочить... хотя бы в единственном числе...

Дело прежде всего. Пусть простит Бог, но о живом человеке он в такие минуты не думал.

Нет, сам Савинков никогда не пользовался услугами Кира Кирилловича, но понимал, насколько обречены фронтовые офицеры, приезжающие в Питер на побывку. Будучи комиссаром Керенского, а потом и военным министром, он насмотрелся на юдоль офицерскую; без кола, без двора, без семьи, а последнее время и без Отечества — что они могли хранить в душе своей? Дешевый кабак да публичный дом — вот и вся их святая святых. Легко было обвинять — нелегко утешать. По примеру некоторых западных армий Савинков в свое время пытался узаконить прифронтовые бардачки, чтоб не развозить заразу по всей России, особенно по Москве и Питеру, но, Боже правый, как на него зашикали в правительстве!.. А зараза-то оставалась, не хуже гнойных нарывов назревавшей новой революции. Вот тогда-то, прослышав про чудачества военного министра, и заявился к нему этот странный человек, отрекомендовался:

— Кир Кириллович, Бобровников. С вашего разрешения, лучший специалист по сифилису и трипперу.

Патин при том не присутствовал, но, хорошо усвоив скупые, точные рассказы Савинкова, да в последний раз и сам познакомившись с доктором, тоже посмеивался. Что заставило его из Петрограда удрать в Рыбинск? Еще не было случая, чтоб тайное, совершившееся в укромном докторском доме, становилось явным. Значит, не доносили, не изгоняли. Кто погряз во грехе — уважай эти грехи; заботы доктора не афишировали, но ценили. Солдатне и матросне чего шлаться по таким дорогим венерологам? Им и глупых коновалов довольно. К любезнейшему Киру Кирилловичу ходили при больших погонах, а сейчас при больших звездах. Он подозрительно и насмешливо глянул на заросшего бородой посетителя, к тому же в замызганной солдатской шинельке:

— Вы не ошиблись... молодой-бородатый?..

— Нет, Кир Кириллович, — выдержал Патин его секундий взгляд. — Вы что, забыли меня? Прочитайте.

Была короткая записка от Савинкова: «Кир Кирилло-

вич, для этого человека сделайте все возможное и невозможное». Ни подписи, ни адреса, ни числа, но доктор сразу вскинул другие, пытливые глаза:

— Даже невозможное?..

— Как видите.

— Пока не вижу... ни-че-го! Скидывайте штаны. Ложитесь.

Еще в Питере наслушавшись Савинкова, да потом и переночевав у доктора, Патин и сейчас нечто такое ожидал, но не думал, что так уж простодушно и прямолинейно. Или память разлюбозному доктору отшибло, или совесть всякую. Патин все же надеялся на некий окольный разговор, который и привел бы его к цели позднего вечернего визита, — нарочно ведь глухой темноты дожидался, заранее высмотрев и улицу, и дом, и даже, при затворенных тесовых воротах, малоприметную боковую калитку, предусмотрительно не запертую. Шел по наитию да по зову натоптанной тропинки. Отыскать питерского доктора, а там видно будет. Коль речь шла о главной конспиративной квартире — тут и себе не доверяй, не только что докторам. Для начала покругимся, мол, вокруг сифилиса да триппера, а уж после пооткровенничаем — каков он сейчас? В такое время люди за шесть дней продают душу, не только что за шесть месяцев. При всем доверии к Савинкову, Патин не прочь был перед доктором-то повалить дурака.

Но этот несообразный доктор, вальяжный и до невозможности циничный, записку прочитал по-своему: «Скидывайте штаны». Патин хотел сказать тоже что-нибудь этакое, голоштанное, но вспомнил строгий наказ Савинкова: «Держитесь за него. На придурь внимания не обращайтесь. Лучшей квартиры нам не сыскать». И вместо секундного гнева явился такой же секундный, мгновенный смешок:

— Штанцы, говорите? С превеликим моим удовольствием.

Раздевался не торопясь, выигрывая время и осматриваясь. Доктору уже под сорок, а он все еще, пожалуй, холост — дом о том говорил. Большой и просторный, но

запущенный. Немудрено, если и сам доктор неделю как приехал из Питера. В соседних комнатах явно кто-то шебаршит ногами, но некая мужская запущенность лежит на всем: и на дорогой старинной мебели, и на коврах, и на крышке поседевшего фортепиано, и даже на самом хозяине, при всей его белой рубашке и атласном жилете. С декабрьской питерской встречи что-то неуловимо сдвинулось в облике доктора, стерлось, слиняло. Думая об этом, Патин покряхтывал:

— Ох, грехи, грехи наши!..

— Дамские, смею заметить. Настоящие мужчины выше греха. Вы — настоящий?

— Да как вам сказать... Фронтовой поручик.

— Ну, это уже кое-что... хотя Борис Викторович полковников ко мне обычно присылал... Не удосужились?

— Не успел. Сами понимаете, р-революция!

Патин с очень рискованным нажимом произнес это слово, но Кир Кириллович воспринял его по-домашнему:

— Да, революция. Она меня из Питера прогнала на рыбинские хлеба, а вам погончики подмазала. За год-то, да на фронте, до подполковника, поди, дослужились бы...

— ...если бы немецким штыком муди не распорили!

— Ух, поручик... Из нашенских? Из пошехонских?

— А что, заметно?

— Да как же — по мудям-то! Ну кто другой так выражается?

— А Лука-то? Лука Мудищев? Бессмертное песнопение греховодника Баркова! Лучшая окопная музыка. В каждой роте под первым номером числился.

— У-у, поручик, да вы и сами грамотнейший греховодник. Читайте, что я ваш неизменный лекарь. На всю оставшуюся жизнь.

— Кто знает, Кир Кириллович, кто знает... Жизнь нынешняя в девять граммов и всего-то, а?

— Предпочитаю — в сто, — не принял его тона доктор и привычно задергал дверцами буфета. — Штанцы-то пока подтяните, мы ее, заразу, пока с наружности погоняем, так, поручик?... Как вас прикажете называть? Мы ведь в Питере и не познакомились как следует.

— Приказывать уже отвык, а потому прошу: Андрей Тимофеевич. Опять спрашиваю: не узнаете?

— Ну, как не узнать, хоть и при бороде, — дернул он с такой силой, что не только эту бородавку, но и собственные запущенные и отвисшие, бакенбарды мог оторвать. — С приездом в славный град Рыбинск, купеческий, а сейчас и беженский. Но — вопросов не задаю... под трезвую-то руку, без настроеньица.

Слава богу, настроеньице быстро звоном по столу раскатилось. В две минуты «Смирновочка» с шекснинской обновочкой. Наголодавшись в Питере и в Москве, Патин в горенке у Капы успел, конечно, и стерлядочки, наловленной еще Ваней-Ундером, вкусить, но здесь-то. К копченой стерлядке и судачок, и балычок, и черная икорочка. Еще и с извинительной усмешечкой:

— Уж пока так... Как подзакусим, можно и горяченького чего. Жены, как изволите сообразить, и здесь не держу пока, но прислужница имеется, — как без услуженьица? Ваша питерская знакомая. Не оставлять же комиссарам на съедение!

Он и сейчас еще ваньку валял, но добродушно и необидно. При такой негласной профессии — как же иначе? Патин начинал понимать его, радуясь, что штанцы-то пока на ремне держались. Доктор вроде как и позабыл про свои прямые обязанности, самозабвенно правил закуску:

— Что, получше, чем в Москве? Уж про Питер и не говорю! Даже я, при моей-то богатейшей клиентуре, стал седлочкой ржавой пробавляться, как вам это нравится? — Он незаметно и вторым звоном прошелся. — Нет, думаю, трипперы трипперами, а я покорнейший слуга настоящей закуской. Что делать, поизбаловался. Когда человек перед тобой без штанов, изволите понимать, он уже и не полковник, и не генерал, и не граф, и не министр, и не комиссар нынешний — просто задрипанный греховодник, который всей мужской сущностью как хлыст осинового трясется. Ну-ка, проговорись! Но — не бывало такого случая. Все знали, и все это ценили. Когда уж там было скупиться? Я ничего лишнего не запрашивал — мне в полной мере от графских и министер-

ских, да и от нынешних комиссарских щедрот со спасибочком отваливали. Да, поручик... виноват, Андрей Тимофеевич, так-то лучше? Лучше, конечно. Какие в наше время чины! Вот и я сбежал, от нынешних-то голодных чинов, от ржавой селедочки — к родимой шекснинской стерлядочке. Что, хороша? — с пониманием осмотрел он вздетый на вилку кусок.

— Хороша, — Патин отозвался. — Тут ведь у вас все красное да с белым помешалось. Поди, наперебой несут?

Он опять одернул себя, мол, не зарывайся так далеко-то, но Кир Кириллович и это не стал скрывать.

— Ну, хоть и не совсем наперебой, а, бывает, сходятся на порожке... и красное с белым, и тайное с явным... Денежки, особенно злотенькие царские, все на один цвет, живительный. Под балычок, Андрей Тимофеевич?

— Под балычок, Кир Кириллович!

Так у них ладно и складно пошло, что про штаны вконец позабыли. Какие штаны, если вскоре и прислужница явилась. Патин вполне оценил вкус доктора:

— Ба! Та самая?..

— Самая... самая лучшая. Плохих не держим, — со своей простотой прошелся по спине поглядывавшей на Патина прислужницы. — Но... милая Авдюша! — в шутливом ужасе воскликнул он. — Кому ты глазки строишь?

— Мью... Ан-рю... — не дрогнув, раздельно и старательно промычала она и запросто, как к давнему знакомому, присела ему на колени.

Доктор хотел что-то сказать, но послышался негромкий, явно условный бой старинного бронзового молоточка, — теперь-то и Патин заметил его над входными дверями гостиной, — этот мелодичный бой сорвал доктора со стула и увел куда-то на выход, а потом и еще дальше.

На коленях сидела совершенно, собственно, незнакомая докторская прислужница, перебирала пальцами неряшливо отпущенную бороду и твердила свое, непонятное:

— Мью, мью?..

Патин кое-что повидал во фронтовых австрийских и жидовских местечках, но тут уж было черт знает что!..

— Слышать-то ты слышишь?

Она охотно, радостно закивала подвитой, аккуратной головкой, всем своим видом подтверждавая.

— Да, но откуда ты мое имя узнала? — догадался Патин, что «Ан-рю» — это он сам и есть.

— Мью... тью! — рассмеялась она и указала хорошо ухоженным пальчиком на странную картину, которая изображала не то Полтавскую битву, не то осаду какой-то турецкой крепости, — одним словом, было много пушек, много огня и всяких летящих ядер.

Патин смотрел на пушки, ничего не понимая.

— Мью... мьей, мьей! — вскочила она и потащила его под ободряющий смешок к дверям, из которых недавно вышла.

Патин слыл не робкого десятка, но засомневался: куда его, черт возьми, заносит?! И она это заметила:

— Бьешь, бьешь?..

Делать нечего, сопровождаемый все тем же странным смешком, он потащился к боковой укромной двери, не много зашторенной и от того еще более таинственной.

А там ничего таинственного и не оказалось. Просто была чистая, просторная спальня с широкой и ухоженной кроватью, с буфетом, туалетным столиком и странного назначения высоким пуфиком, на который взбираться, приди такая блажь, пришлось бы по четырем ступенькам. Патин грешным делом подумал, что не медицинские ли это какие причиндалы, но она взглядом, улыбкой ободряющей послала его наверх. И он взбежал как истинно уж на турецкую крепость... и тут-то сразу ему и открылось с десяток пушечных жерл, в которые заряжай любой глаз, хоть левый, хоть правый, а то и оба сразу: пушки расставлены были на ширину средней переносицы... «Ну, дела безгрешные... Чего подсматривать?»

— Мьё... чьё?.. — Она с удовольствием закатила хорошо подведенные, но и без того красивые васильковые глазки, тоже вскочив к нему на ступеньку, перецеловала раз за разом все жерла лукавых пушек.

До Патина наконец дошел смысл всех этих просто-душных, глупых и по-детски безгрешных жестов.

— Так ты сослуживица Кира Кирилловича?

Она опять радостно, охотно закивала кудрявой головкой, всякий раз заглядывая ему в глаза: понимает ли? Но куда уж понятнее...

— Значит, сестра милосердная? По доброте своей или уж истинно по милости?..

Она вроде как опечалилась и шумно, с притопом спрыгнула вниз. В ответ на все это сквозь пушечные жерла послышался отчетливый, приказной голос Кира Кирилловича:

— Авдюша, перестань голову морочить. Еще время не пришло.

Хохоча, Патин уже один вышел в гостиную, где все в той же вальяжной позе посасывал балычок, будто никуда и не уходил, этот невозможный Кир Кириллович.

— Министр? Граф?

— Ни то ни другое. Комиссарище... но какой!.. И сказать-то страшно.

— И-и, не говорите, мил доктор! И без того распотешили вы меня!

— Я лечу, а потешает Авдюша, — на этот раз строго, истинно по-докторски заметил он. — На посошок разве, да и вас за штанцы?..

Патин понял, что ходить дальше кругом да около нечего, и ответил:

— Сифилиса не имеется. Триппера тоже. Пришел к вам по совету Бориса Викторовича, а зачем — потом узнается... Мне нужен дом надежный... и надежный человек, как вы, Кир Кириллович. Не возражаете?

На этот раз доктор задумчиво уставился на жерла все не страшных, как выяснилось, пушек, но повернулся с ясным и решительным лицом:

— Нужно так нужно. Места хватит. Авдюша! — крикнул он. — Укажи Андрею Тимофеевичу комнату... да, ту, что имеет выход...

Авдюша тоже явилась как бы с другим лицом, строгим и непроницаемым. Патин смущенно поклонился остающемуся в зале Киру Кирилловичу и пошел за своей провожатой, смутно ожидая какого-нибудь очередного подвоха.

Но подвоха никакого не было. Она провела его через несколько пересекающихся и смежающихся комнат и вывела в просторный, уютный зальчик, в котором, как сразу же заметил Патин, при всех немалых размерах, не было ни единого оконца. Только кровать, тумбочка, умывальник, десяток ненужных здесь стульев и небольшой круглый стол с графинчиком воды и вздетым на него стаканом.

— Нью... тью... — силилась Авдюша еще что-то подсказать, указывая на узенькую, всего в пол-аршина, дверцу с заранее приготовленным ключом.

Больше она ничего объяснять не стала и смущенно вышла прежним запутанным ходом.

Патин постоял немного в нерешительности, походил по своей то ли больничной, то ли арестантской камере и решительно повернул назойливый ключ.

Хотя была уже глухая ночь, но где-то над головой промелькнули звезды. Он думал, улица или дворик, но бок сейчас же шоркнул по стене, он прынул в другую сторону — та же история, стена. Стало ясно, что это или дровяник, или путеводник потайной...

Решив отложить свои розыски до утра, он вернулся обратно, повернул ключ в другую сторону, быстро разделся и завалился на кровать. Дневная возня с продотрядами, с розысками этого странного доктора брала свое... ну оно все к черту пошехонскому!..

IV

Купеческий Рыбинск жил странной, невидимой жизнью. Никто сейчас, конечно, по-серьезному не торговал, но деньжата у здешних людшек водились. Это было видно не столько по одежке — с одежкой каждый ловчил на свой лад, то ли на рабочий, то ли на солдатский, — сколько по лицам затаенным, сытым и вовсе не пугливым, как их ни прикрывали козырьками засаленных картузов. Патин и сам лабазным картузиком обзавелся, поддевочкой, решив не мозолить глаза солдатской шинелькой. Да и жарковато в ней было. Ситцевая косово-

ротка, старенькая поддевка, пиджачишко — это больше шло к пропыленному рыбному городу. Все легло на его плечи с толкучки. Он думал, последним барахлом трясут на бесчисленных городских толчеях, возникающих в какие-нибудь пять минут, а при налете красноармейского отряда разбегающихся за единую минутку, но как присмотрелся повнимательнее — ба, да тут серебришко-золотишко, опалики-хрусталики, зачастую и неподдельные! Расторопный народ, еще не забывший купеческих замашек, скупал и перекупал все это до лучших времен. Здесь, как нигде, верили в эти будущие времена. Если человек человеку приглянулся, да если доверился, можно было услышать и такое: «Гниёт властиска! Помни мое слово, до осени не дотянет...» Москва была не столь откровенна, а Питер и подавно. Патин быстро сошелся с базарной улицей и уже безошибочно вылавливал из уличного отребья бывших офицеров и бывших держателей каменной рыбинской биржи, купцов зачастую первостатейных. Поговори-ка в других городах!

Кстати ли, некстати, и Кир Кириллович помогал, напоминая по утрам: сходи туда-то, спроси о здоровье того-то... Вроде как докторские невинные поручения, а во многом помогали: не голь же перекатная паслась у такого доктора. Так, после пустячного поручения — отнести лекарство — он сошелся и с капитаном Гордием; оба воевали на австрийском фронте, оба хорошо знали Корнилова и сокрушались о его незадачливой судьбе. Гордый после второй или третьей встречи уже открыто спросил:

— Вы — поручик Патин? Мне приказано познакомиться с вами. Сегодня в полночь. Только не обессудьте: и по темному времени придется завязать глаза.

Патин кивнул, хотя и посмеялся над такой провинциальной конспирацией. В полночь он был на условленном месте, возле каменной затемненной биржи, возле которой был и собственный, купленный еще отцом, дом Патиных; сейчас стоял с вывороченными окнами и расхристанными дверями — все, что осталось от постоя какого-то революционного отряда. А сама биржа высоким граненным выступом, всем своим трехсаженным несокру-

шимым цоколем далеко вдавалась в Волгу, образуя в былые годы просторную, открытую ресторацию и площадку для оркестра и танцев. В нынешнее время было, конечно, глухо, а на обоих выходах стояли счетверенные патрули; не то штаб, не то склад большевиков. Не простое любопытство разбирало Патина, поэтому и спросил о бирже тихо подошедшего Гордия.

— То и другое, — ответил капитан. — Подвалы у биржи несокрушимые, выдержат любую осадную артиллерию.

— Осаждать? С дробовиками? — нарочито посмеялся Патин.

— Не смейтесь, поручик, а давайте-ка ваши очи карие... Так — так, — ловко повязал он заранее припасенную повязку. — Берите меня под руку.

Они порядочно покружили по городу и спустились к реке Черёме — Патин это ногами чувствовал, по глинистому, осклизлому скату; прошли еще немного, еще спустились, уже в какое-то подземелье, прежде чем с него сдернули повязку.

Патин протер усталые от темноты глаза и немного опешил. В просторном и довольно приличном подвале со следами хорошей росписи на стенах и потолке, с настенными дутыми лампами и даже с раскрытым фортепиано — нечто вроде московского ночного клуба — сидело, ходило и полевывало с папиросами на диванах, как было и в Москве при первой встрече, с полсотни офицеров, начиная от полковников и кончая юнкерами, в приличной, даже подчеркнутой парадной форме. Ордена, знаки различий. Побогаче, чем в переулке на Мясницкой. Савинков при отъезде предупредил: «Вас, Патин, сами найдут, кому нужно». Выходит, уже нашли? Смешно, но он прицелкнул стоптанными рабочими каблуками и вытянулся:

— Поручик Патин. Честь имею!

— Знаем, поручик, — ответил за всех, выходя из соседней комнаты, полковник Бреде. — Что делать, проверяю, как вы находите друг друга.

— Я не знал, что вы здесь. Мне не говорил Борис Викторович...

— Верно, не говорил.

Следом за его спиной широко откинулась штора — Савинков!

Патин невольно заулыбался:

— Весело живем, ничего не скажешь.

— Вот и прекрасно. Пусть не обижаются господа, — повернулся Бреде к примолкшим офицерам, — но нас здесь слишком много. Если из двенадцати христовых апостолов один... Еще раз прошу: выше обид. Слишком серьезны наши игры. Я через два часа... — он прищелкнул крышкой карманных часов, — уезжаю в Москву. Поручик Патин будет выполнять роль доверенного связного... и моего заместителя, не обращайтесь внимания на чины. У Корнилова полковники шли в общем строю с юнкерами. Мы — тоже общий строй. Прошу любить и жаловать поручика Патина. Надеюсь, больше того, что ему положено, не проговорится. У нас первое такое общее собрание здесь, господа. Мы должны посмотреть друг другу в глаза... и немного вспомнить офицерскую форму. — Он потрянул Георгиевским крестом. — Думаю, форма скоро пригодится... Помните: за спиной у каждого из вас должен быть, по крайней мере, порядочный, боеспособный взвод. Без этого не стоит и начинать игру... смертельную игру, господа. Вы не привыкли к конспирации, но — придется. Распишитесь, не соблюдая старшинства. Кровь за Отечество!..

— Кровь за кровь!.. — глухо, тихо, но властно выдохнули все почти одновременно и потянулись к пропечатанному лощеному листу, в оголовке которого значилось: «СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ».

Для Патина это не было, конечно, новостью, но многие из собравшихся воспринимали все, как радостную весть. Прежде чем поставить подпись, крестились молча, а иногда и вслух роняли:

— Вот и привел Господь послужить!..

— С Богом!

— Под наше знамя!..

Савинков стоял чуть-чуть в сторонке. В полувоенном френче времен Керенского, в военной фуражке, подтя-

нутый. Руки за спину, молчаливый, наблюдающий. Больно или невольно — под растянутым на стене, им же самим установленным знаменем: черно-красное полотнище, под древний цвет, меч, вздетый на белый терновый венец.

Патин проходил уже, еще в Москве, через этот потайной церемониал, но после всех тоже подошел, спрашивая глазами полковника Бреде: надо ли вторично?

— Вторично не помешает, — скупое и осведомленно улыбнулся латышский полковник. — Вам должны и здешние доверять.

Когда все успокоились и подтянулись, не садясь, к столу подошел Савинков.

— Мне нечего скрывать, господа. В правительстве Керенского я управлял военным министерством — собственно, военный министр. Сейчас времена похуже — нет министров, нет министерств. Но цель все та же: власть. Не думайте, что моя личная. Наша! Общая. Без власти мы — сброд, теряющий честь и достоинство. Подумайте каждый, на что идете. После победы... нашей победы!.. мы многих недосчитаемся. Но... выше голову, господа офицеры! — Он вдруг широко улыбнулся, чего никогда не замечал за ним Патин.

Было ли это заранее подстроено, или уж так вышло: в руке у него оказалась хрустальная рюмка. Из дверей с подносами спешно вышло с пяток юнкеров и окружило стол. Зазвенело, празднично раскатилось:

— За Россию!..

— ...Родину!..

— ...Свободу!..

Право, полковники утирали глаза. Савинков, как недавно и Бреде, щелкнул крышкой часов:

— Я не буду вас, господа офицеры, учить, как воевать. Вы лучше меня это знаете. Я только еще раз... возможно, в последний раз... хотел удостовериться: готов ли Рыбинск?!

— Готов!

— Рыбинск не подведет.

— Надейтесь!..

Савинков на какую-то минуту задумался:

— Говорите, Рыбинск не подведет?.. Но пока — подводит. Что есть война? Знамя, пушка и хлеб. Да, хлеб. Без него, как без знамени, пушки стрелять не будут. Голодный солдат — уже не солдат. Все южные губернии — в огне белой, доблестной армии. Москва и Петроград кормятся только с Волги. Что есть в этом случае Рыбинск? Хлебный склад и перевалочная база. Собираясь воевать с большевиками, можем мы, обязаны мы кормить их?

Вопрос был поставлен яснее ясного. Многие уже обжились здесь, местную обстановку знали. Капитан Гордий выступил вперед и сказал как отрезал:

— Хлеб не пойдет в Питер. Хлеб не пойдет в Москву.

В ответ был удовлетворенный кивок:

— Верно, капитан. Работа грязная, работа не для господ офицеров, но другой пока нет. Как покормите большевичков — так и повоюете с ними! Я сам готов поголодать, но только с условием — чтобы и Троцкие ворона начали жрать!

Патин никогда не замечал такого ожесточения на невозмутимом, по крайней мере внешне, лице Савинкова. Он и сам, видимо, это почувствовал, поправил себя же:

— Я такой же белоручка, как и вы. Признаюсь, противно заниматься всем этим... диверсией, хлебом, войной с дураками, но в открытой штыковой атаке мы большевиков не победим. Их много, их гораздо больше нас, не утешайте себя наивными иллюзиями. Война в тылу — это война в тылу. Без хлеба большевики воевать не смогут.

— И мы не сможем, — заметил Патин. — Для себя хлеб уже запасли, все тот же — отнятый у продотрядов. Остальное?..

Савинков не любил, когда его перебивали, беспокойно переступил с ноги на ногу, но тут капитан Гордий опять вклинился:

— Остальное — в огонь. Дело ясное и простое. Это я беру на себя.

Пришлось Савинкову усмирить свой внутренний гнев, хотя далось это ему нелегко. Он достал из внутрен-

него кармана сигару и закурил, словно дразня: ну-ну, кто еще?

Но говорить-то, собственно, было не о чем. Не на австрийском и не на германском фронте они так долго окапывались — на самом что ни есть волжском берегу. И сами вольно или невольно обращались в волжан... как Стенька Разин, как Емелька Пугачев, что ли?.. Право, и такая брезгливая мысль колыхнулась в мозгу Патина. Он же видел, как нахмурились лица полковников, и особенно молодых, излишне горячих поручиков. Поэтому некую общую обиду пришлось гасить:

— Борис Викторович, господа офицеры к этому еще не привыкли. Я служил в разведке, был в плену, всего насмотрелся. Грязную работу возьму на себя.

— И я возьму, — поддакнул капитан Гордий. — Это дело решенное.

Видно было, как оттаивала закаменелая душа Савинкова. Он с не свойственной ему мягкостью вроде даже как повинился:

— Все мы понемногу в любимейших мужичков обращаемся, что делать. По-мужицки и поступайте — тут я вам не советчик. Но... с радостью дам знать, когда большие дела наступят!

Он явно торопился.

— Мне надо в Ярославль, посмотреть, как они там живут, и снова — в Москву. Честь имею откланяться! Поручик Патин, не провожайте, — кивнул он, заметив готовно вздернутый подбородок и возвращаясь к закрытой портюре.

Вышел через пять минут из тех же дверей совершенно другим человеком: в городском стареньком летнем пальто и кепке, во всем чистеньком, но бедном, отдающем провинциальным земством. Даже клинышек бородки пристал совсем кстати. Даже роговые очешки!

— К сожалению, — уже открыто извинился он, — товарища рабочего из меня не получается. Бывший земский статистик — еще куда ни шло. До встречи, господа, до главной встречи... теперь уж скорой! — приподнял кепчонку и вышел по гулким каменным ступеням на-

верх в сопровождении полковника Бреде, которого тоже трудно было узнать: лесоруб ли, рыбак ли, в длинном, по своему росту, брезентовом балахоне.

Прошел невольный смехок. Офицеры не были приучены к таким переодеваниям. Патин резко остановил шумок:

— Привыкайте, господа!

— Да... — совсем по другому поводу прислушался капитан Гордий. — Здесь ведь, собственно, центр города. Я нарочно водил поручика Патин взад-вперед — пусть извинит. Хоть и подвал, а место людное. О, слышно даже, как матросы свой марш орут! Верховые фрамуги в подвале заколочены, но наши-то голоса не вылетают навстречу матросикам? Надо менять явку. Предложения?

Народ был непривычный к конспирации. Патин недолго раздумывал:

— Доктора знаете? Мужского?

Все оживились, припоминая, а кто и переживая заново свое достославное прошлое. Все-таки хорошо, когда серьезное дело мешалось с прежним бездельем.

— Так вот. Вход к нему от реки, от старых, заброшенных рыбацких складов. Да и потом — профессия! Кто заподозрит мужика в таком, пардон, глупейшем несчастье?

Предложение понравилось, но капитан Гордий некоторое время размышлял, почесывая верхнюю губу, где наверняка были когда-то — теперь сбритые — усы, а может, и кавалерийские усищи.

— В чем сомнение?.. — догадался Патин.

— Доходило до меня в Петрограде дальним слухом... Нет, ничего определенного!

— А все же? — настаивал Патин.

— Видите ли, такие доктора, как ваш Бобровников, всегда были на примете у полиции. Согласитесь, лучшего осведомителя просто невозможно отыскать... Подозрение нелепое, согласен. Но все же, поговаривали, один беглый поручик, в порыве ревности пристреливший своего батальонного подполковника и в Питере пользовавшийся услугами нашего доктора, был выдан полиции и угодил прямо под военный трибунал, на его несчастье со-

зданный Керенским. Случай? Совпадение? Очень может быть... Сомнение я оставляю при себе. Тем более что не обязательно полицию менять на большевистскую Чека. Я соглашаюсь с предложением Патина, если нет других возражений.

Возражений больше не было. И Патин, подавив к недоверчивому капитану минутную злость, рассказал, как проходить путями неисповедимыми.

Прямой договоренности с доктором не было, но тот уже не раз предлагал, если что, не стесняться и пользоваться пристанищем, отданным в полное распоряжение гостя. Вход и выход со стороны реки такой удобный, что грешно было не вспомнить об этом.

Чего же он, подходя к дому, задумался?..

И сам не знал.

V

Сыпной пункт был устроен выше биржи, и даже выше Старого Ерша — так назывался плес в устье Шексны, — уже на волжском, хорошо охраняемом берегу. Там недалеке подходило и устье Мологи, тоже в золотистом окладе наносного песка. Так что с трех рек свозили, сплавливали, стаскивали сюда все нажитое трех сходящихся здесь губерний: Московской, Вологодской и, само собой, Ярославской. Дальше дорога известная: на Петроград, в обход такой же оголодалой, как и он сам, Москвы. Нынешняя, еще не закрепившаяся столица скребла и подметала сусеки южных, еще не занятых белыми губерний. Питерцы ревниво охраняли от нее свои завоеванные припасы.

Сыпной пункт устроили на славу. До революции тут были ремонтные мастерские, сейчас отремонтировать стало нечего, а стены оказались хороши, кирпичные, да и крыша ничего, железная, кое-где лишь пробитая от стрельбы. Известно, жались по своим домам и некоторые мастера-вые люди — их-то и согнали латать крышу; дыры невелики, снаряды тут не порскали, а от пуль какое средство? Паяльник. Патин и нашел-то склады именно по этому на-

меку: ну, с чего, скажите, ползают по крыше с десяток мужиков и грудятся вокруг поднятых туда жаровен? Оловянная посуда, видимо, оставалась еще с прошлых времен, вот и заливали пулевые дыры. «Та-ак, — подумал Патин, — устраивают разбойничье гнездышко...» Одет он был под мастерового, никто не обращал внимания, разве что позже наскочил один в неизменной кожаной куртке и с неизменным маузером на боку, велел:

— Поторопи своих паяльщиков. Вдруг дожди?..

Вышла смешная ошибка, но она была ему на руку: он решительно вошел в ворота мастерских, стараясь держаться в виду кожаной куртки, — на всякий случай, чтоб не так быстро истинного мастера, за которого его принимали, сыскали и погнали наверх. Для остротки, не высывая рожи, покричал:

— Паяйте, паяйте у меня!

Голос ничего, подходящий. Сверху, покапывая горячим оловом, ответили:

— И то паяем, Сил Митрич. Да жаровни-то, жаровни? Не на земле же, плохо калят.

Известно, там не разгонишься, хотя дорогой паровозный уголек шуруют. Ветка тут с близкого главного пути подходила, паровозишко пытел, задом подталкивая несколько вагонов, то ли для разгрузки, то ли для погрузки. Приглядевшись, Патин понял: нет, все-таки грузить собираются. Вагоны крытые, пустые. Их отцепили у ворот мастерских, и паровоз потарахтел уже передним ходом — собирать следующую сцепку. «Ага, жрать хочет Питер!» Бессильная тоска душила его, пока обозревал штабеля заготовленных хлебных мешков. По какой-то причине давно не вывозили, а продотряды, видимо, хорошо шуровали, и по Мологе, и по Шексне, и по ближним волжским берегам, до Костромы, пожалуй, чтоб через Рыбинск, минуя Москву и Тверь, самой северной, спокойной дорогой, и собирались переправить все в Питер. Погрузочная суeta уже начиналась. Не одна кожаная куртка промелькнула; лица озабоченные и радостные, как на пожаре. «Пожар?...» Это слово раскаленным паяльником прожгло ему ошалелую башку.

А сверху кричали:

— Сил Митрич, Сил Митрич! Все, кажись, не светит?..

— Не светит, не светит, слезайте! — в порыве какой-то бесшабашной отчаянности прокричал в ответ Патин, отбегая за грузовик, который привез очередную гору мешков.

И вовремя: заслышав грохот спускающихся по лестнице шагов, из маленькой конторки выскочил очень похожий на Патина, примерно так же и одетый, чистенький мастеровой и заругался на чем свет стоит:

— Вы куда, оглоеды? Да там дыр-то, дыр... что осьпин на Дунькиной морде!..

Патин не стал выяснять, кто такая Дунька и кто этот крикливый человек, — бочком, бочком в ворота, по гравийному спуску к реке, под защиту вытянувшихся по речному урезу ивняков, а там и к себе. Будто подгонял кто — спешил. Видно, чужала нетерпеливая душа — на выходе из дровяника капитан Гордый.

И в мастеровой одежке — все равно капитан. Как его не сцапают на улице за неизгладимую выправку!

— Ну что?..

— До потолков мешками завалено. Пожалуй, ночью, чтоб не так заметно, будут загружать состав...

— Знаю, я тоже оттуда... случайно на склады нарвался!

— Да, но в воротах пулеметы!

— Охрана не очень большая, только на двух торцевых воротах. Но правду ты говоришь: с пулеметами.

— Да-а... Значит, выпустим из Рыбинска с поклонами?

По лицу капитана, ожесточившемуся и напряженному, было видно, что он скорее на рельсы ляжет, а вагоны на главный путь не пустит.

— Велика ли ветка? Я не успел узнать... что-то стали ко мне приглядываться...

Патин понимающе кивнул: больше щелкай каблуками да выше голову дери, капитан!

— Метров чetyреста, я всю ее вместе с путевыми обходчиками пробузовал.

— Стрелка есть?

— Одна. На выходе к главному пути. Там тоже парные часовые.

— Что ж они, ожидают чего?..

— Да нет, дело обычное: все стрелки под охраной.

— Значит, четыреста метриков — и пошел крестьянский хлебушек на Питер?!

Патин разделял бессильный гнев Гордия. Но он, пожалуй, лучше его понимал: дело ясное... что дело по ночному времени темное! Потому и сказал:

— Мне выспаться надо. Но ты без меня не начинай. Уж больно ты приметный, капитан!

Гордий смерил его прямо-таки зверским взглядом, но смолчал, отворачивая от дровяника к лодкам: он обосновался на той стороне, в Заволжье.

Что-то они между собой делили, но разбираться некогда: Патин с ног валился. В поисках чего-то несуществующего, в скитаниях по ночному Рыбинску и его окрестностям он две ночи подряд не спал — свалился как шальной очередью подкошенный.

Но спал ли? И сколько?..

Растолкал его незабвенный доктор:

— Ну, батенька! Вас пушками не разбудишь. Слышите?..

— Никакие это не пушки, — и со сна понял Патин. — Пулеметы.

— Да? — в восторженном упоении потер руки Кир Кириллович. — У меня тут один красный командир лежал... пардон, без штанцев... так, верите ли, так и сошел с лежака. Из окна зарево видно...

— Особенно из моего! — ошалелыми глазами покрутил Патин по глухим, безмолвным стенам, выбегая в потайную дверь.

— Патрули везде на улицах, извольте знать! — прокричал вслед неугомонный доктор.

Об этом и без него можно было догадаться, стоило взглянуть из глухих закоулков. Зарево разливалось по всей верхней окраине, захватывая и другую сторону Волги. Патин несся на его свет прямо по прибрежному песку. Маузер, который он на бегу выхватил из тайника,

был заряжен, но запасные патроны позабыл прихватить. Да и что делать с маузерами! Пулеметы из пламени палили. Вначале-то казалось — прямо из огня, но чем ближе, тем очевиднее: не склад горел — чадно пофукивали, будто облитые керосином, днем еще доставленные сюда вагоны, всякие там подсобные бытушки-сарайки. А склад черным-черно торчал на фоне разлившегося пламени и огрызнулся из ворот пулеметами. Патин так было и вылетел на убийственный свет.

— Куда-а?!

Его прямо за шиворот свалили под какую-то вагонетку, которую сейчас же и осыпало хлестким градом.

Он еще боролся с остановившим его человеком, но уже понял: свой.

— Гордий...

— Не ори ты... Со всего города красные сбегаются-съезжаются. Слышь?

Совсем близко от них, сшибая какие-то бочки, протарахтел грузовик, во все стороны оцетинившийся штыками.

— Самое время в кусты приволжские забиться...

— А хлеб?

— Этой ночью уж не увезут, да не увезут и следующей, кажется... Смотри!

Из паровоза, ярко освещенного подступавшим пламенем — горели уже и передние вагоны — вывалились захучанные машинисты, а следом, не успели они откатиться в канаву, грохнул такой взрыв, что и паровоз, и все в округе встало на дыбы.

— Теперь-то уж подавно... Бежим!

В их сторону, постреливая в темноту, шло человек двадцать, не менее.

Они метнулись к Волге, под защиту береговых кустов, здесь только слегка прижаренных пламенем. Глядь, еще кто-то копошится, в промасленной черной робе...

— Машинист? — подхватил его Гордий, видя, что у него что-то с ногой.

— Помощник. Машинист... царство ему небесное.

— Понятно. Вы поджигали вагоны?

— Нет, какие-то другие. Наверно, ремонтники. Они целый вечер с тыльной стороны таскали свою ремонтную коляску, я еще пошутил: мол, вы что, целиком колеса заменяете?.. Шуточка-то каким огнищем взялась!

— А паровоз?

— Он под парами стоял. Машинистам да не знать, как взорвать котел!

— Жалко?

— Как не жалеть... Хлеба сколько уволокли бы! В двенадцати-то вагонах!

— Не успели загрузить?

— До загрузки полыхнуло. Из задних вагонов, а потом и пошло перекидываться... Вагоны-то все залитыми оказались. Что нам было делать? Мы с переду маленько помогли. Да надолго ли?..

Эта мысль не оставляла ни Гордия, ни Патина. Но они до времени бежали от нее волжским берегом. Вслепую, но, верно, и красноармейцы старались отсечь всякого бегущего от спасительной Волги, где на каждом метре торчали лодки. Ночная заволошная облава впереди их обтекала, и паровозник, которого поддерживали с двух сторон, решительно остановился:

— Нет, ребята, попадемся. Надо хорониться до затишья. Эк паровозов-то!..

Они выскочили на какую-то новую ветку, сплошь запруженную паровозами и разбитыми вагонами. Отсветы огня сюда почти не доставали.

— Кладбище наше железнодорожное, царствие им тоже небесное... — как живых людей помянул паровозник. — Лезем в топку, уж там-то самая надега.

Он поднялся по ступенькам и первым нырнул в глухое, но привычное для него жерло.

— Давайте и вы. Тесновато для троих-то, но ничего. Если по другим паровозам разбегаться, так сами-то вы и не сообразите...

Облава, успев обежать рекой, теперь с двух сторон к ним подвигалась. На умную голову, так и нечего было вслепую стрелять, но они от страха, видно, палили, — так и молотило градом по звонкому железу!

— Ничего, котелки наши крепенькие, — не видимый в темноте, похихикивал паровозник. — Стреляйте-постреливайте!

Протопало, прогремело обочь, процокало по железным бокам паровозов, а потом стало затихать. Да и пламя унималось, уже не освещая и ближние подступы к мастерским.

Они вылезли из топки в паровозную кабину, но на землю пока не спускались. По дорогам, ведущим к центру города, все еще погудывали машины, да и постреливали по разным глухим закоулкам.

Утреннего света нечего было ждать. Решили раскопаться. Патин мучительно размышлял — не было возможности с Гордием переговорить, — как бы этого машиниста к себе залучить. Не вести же на докторскую квартиру, а тем более, не объясняться же в любви. Они вывели хромоногу обратно к лодкам, а дальше?.. Слава богу, сам догадался и под плеск засмурневших волн смущенно назвал:

— Егорий я, живу на Слипе, в собственном домишке. На той стороне, знаете? — Понял и в темноте, что кивают утвердительно. — Ежели что — не сомневайтесь. Глухо, говорю, у нас на Слипе. Катера, баржи да пароходики ремонтируют, грязь, ошмотье всякое, глинистые берега, слизко... Слип, одним словом. Беглые каторжане, и те у нас иногда перебивались. Егорий я, в случае чего спросите.

В своей черной, ночного цвета, робе он по-ночному же и исчез. Тихо и незаметно отплыл в маленькой лодочке.

— И я домой, — решил Гордий, отстегивая следующую, конечно, чужую лодку. — Мне-то вверх подниматься, похуже. Но до света успею проскочить.

Патин пожал ему руку, сказал очевидное:

— Завтра, как почистимся да поосмотримся, и будем дальше думать...

Когда он невидимым тайным ходом вернулся к себе да зажег заботливо кем-то — кем же, Авдюшей, — поставленную свечу, запоздалый нервный смех разобрал. Он был не чище паровозника! Но усталость валила с ног,

и все свое мазутно-угольное одеяние он просто сбросил перед потайными дверями, даже не раздумывая, во что будет утром одеваться.

С этой никчемной вроде бы, хотя насущной, заботушкой и проснулся — уже при высоко заливанном солнце, как выглянул через дровяник наружу. Надо было что-то делать с одежкой — что постирать, а что, вконец испорченное, может, и заменить.

Но каково же было его удивление, когда всю свою одежду он нашел хорошо выстиранной и развешанной в солнечной загороде. Даже уже не парила, просохла.

Покачав головой, он с благодарностью хотел все натянуть на себя — постепенно само собой и отгладится, но заметил крупно нацарапанную, вздетую на сучок записку: «Маленько погодите, я поглажу».

Он не знал, что эта вечно таящаяся Авдюша умеет писать. Хотя чего такого? Дочь русского железнодорожного служащего, в полных годах, — чего доброго, и в гимназии училась.

Река была рядом, за изворотами заброшенных сараюшек, порушенных амбаров и догнивающих на берегу барок и паромов, — когда-то здесь существовала, видимо, паромная переправа. Зная, как и сам он весь прокоптел, обернулся в серое больничное одеяло, которым была застлана его койка, и побежал на реку. До голого человека — кому какое дело? Белый ли, красный ли, какой ли другой плывет. Военные все еще шастали по берегу, другой народ мало-помалу вылезал из ночных нор. Патин, припрятав одеяло под одной из запрокинутых лодок, прямо нагишом пустился в Волгу, а там и в Шексну: дело-то происходило как раз напротив Старого Ерша. Песчаная стрелка на той стороне, когда вылезал из воды, уже успела прогнуться, но от барского огромного дома, где обрелись до революции какие-то страшно богатые и страшно развеселые Крандиевские — все разбежались теперь по столицам и заграницам, — от дома, занятого беспризорной колонией, строим по направлению к берегу вышагивала голоштанная, замурзанная колон-

на. Несли несколько шаек и огромный плакат на двух палках: **ВОШЬ — НАДЕЖДА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. ДОЛОЙ ВОШЬ!**

Видно, новеньких пригнали. Ведут мыться-умываться. Пожалуй, и с мылом. Для чего ж иного шайки?

Патин пустился от устья Шексны обратно на противоположный волжский берег. Но там, как раз на выходе, раздевался для той же антившивой цели красноармейский взвод. Без плакатов, зато с винтовками, которые деловито составляли в козлы. Вроде бы и нечего мужику бояться таких же голых, теперь уже без всяких звезд, мужиков, но он саженками пошел вверх и добрый час пережидал, пока они отмоют боевую гарь. Может, как раз ночные герои, чего им мешать. Полеживал под кустом, каждый раз вжимаясь в песок, когда проходили люди. Ведь и женщины случались, и совсем девочки; одной такой угораздило бросить под куст мячик, лезть на четвереньках за ним, а когда Патин стрелой выскочил навстречу, еще и в ладоши захлопать:

— Ма-а, живой!..

Куст ли, человек ли — пойди разбери. Но мать-то, видимо, разобралась — бегом прочь от куста, из которого выпрыгивают в воду голые мужики!

Патин как опалелый вниз по течению бузовал. Видел еще издали, что красноармейцы натерлись досыта свежим песочком, в колонну по два — и шагом марш в уличное нагорье. Знай спеши и сам одеваться. Мало ли опять кого принесет. Одеяльце-то где? Под лодкой. Было бы смешно, если бы и лодка вдобавок уплыла или убежала — хоть за красноармейцами, хоть за визжащими на другом берегу беспризорниками.

Но лодка, спасибо ей, оставалась на своем законном месте — утлой мордой на горячем, уже сильно прогревшемся песочке. Патин завернулся в одеяло и рысцой, подметая свои же следы и озираясь, пустился восвояси.

Вся его одежда была выглажена и вдобавок разложена на стуле.

В этот же день с почты, которая, оказывается, работала, на имя доктора Бобровникова принесли условленную телеграмму: АНДРЮША ЕДУТ ЛЮБИМЫЕ ГОСТИ. Капа, дочь земляка Тишуни?..

Доктора не было, телеграмму подала Авдюша. Он благодарно за все покивал ей враз занывшей головой и побежал берегом к Гордию.

Там он застал... опять Савинкова! И не то чтобы обиделся, что его не известили, — просто напомнил:

— Если не ошибаюсь, меня оставили здесь доверенным лицом?

Савинков понял.

— Бросьте, Андрей. Мне показалось — за мной следили. А сюда ближе... да и главную квартиру не засвечиваем. Вечером все равно вас известили бы. Что случилось?

Патин подал телеграмму и объяснил, что за всем этим кроется.

— Что делать?

— Как что? — вроде даже повеселел Савинков. — Встречать дорогих гостей.

— А здесь?..

— Капитан Гордий останется. — Он взглядом отсекает всякое возражение. — Сам же мне сказал: пути так разворотило, что за неделю не соберут. Сколько верст?

— Пароходом, так сутки по Шексне кружить...

— А пехоходом?

— Тоже не поспеть на встречу. Верст тридцать по прямой.

— Лошадей?..

Гордий со своей обидой — его-то не берут — зыркнул на Патина:

— А машинист Егорий? На Слипе живут паровозники, лодочники. И разные другие мастеровые, но в общем-то это крестьянская слобода. Лошади у них наверняка имеются.

Они даже не заворачивали к доктору — по пути оттапали ножом веревку первой попавшейся лодки и пере-

правились на другой берег, чуть пониже барского дома Крандиевских. Дальше была слобода, носившая непонятное название — Слип. Вроде судостроительного завода что-то намечалось, док небольшой начали строить да эти самые слипы — дощатые спуски с берега к воде. Теперь все частью разобрали, частью пожгли на кострах, но название осталось. Слип, надо же!

Дом Егория они нашли без труда, а лошадей и того быстрее. Ни о чем не спрашивая, Егорий просто пробежался по окрестным закоулкам и вернулся с мерином и кобылой.

— Можно было и покрепче жеребца заполучить, но ведь ржет, проклятый, особенно в ночи-то! — начал еще извиняться он. — Зачем вам ржанье?..

— Незачем, друг расхороший, — приобнял его Патин. — Но как же за лошадей расплачиваться?

— Пригоните, ежели...

— А как нет?

— На нет и суда нет. С Богом, — перекрестил он и опять стал извиняться: — Вот худо, что седел не сыскалось второпях, подушки разве...

Соломенные подушки притянули-затянули седельными ремнями — чем не седла? Наказав Гордию сейчас же возвращаться на ту сторону, пустились еще засветло. Остерегаться уже было некогда. Но Савинкову вздумалось свернуть к дому Крандиевских.

— С пустыми руками в гости не ездят.

Вот и весь сказ. Он один скорым шагом пустился в ворота барской усадьбы, про которую и Патин в гимназические годы был немало наслышан. Здесь жили художники, писатели, какие-то взбалмошные интеллигенты, чуть ли не революционеры, — без полиции не обходилось. Да и сейчас как в содоме: вопли, смех, детская несуразная матерщина, окрики воспитателей-надзирателей...

Савинков пропадавал с полчаса, которые Патину в полдня показались. Зато и вернулся как верблюд — с двумя туго затянутыми мешковинами.

— Вот теперь можно и в гости! — весело сказал он, прикручивая к своей подушке один мешок и бросая Патину другой. — Кажется, ничего. Погостюем!

Тридцать ли, больше ли верст проскакали до Заломы — поди посчитай; кружить приходилось в виду каких-то непонятных кавалерийских разъездов на этой, левой, стороне Шексны, а как с глаз долой переправились по броду на правый бережок да как, сокращая путь, врезались по ночи в глухомань Забережья, так и поплутать пришлось. Попали, оказывается, на болотистые отвержья Железного Поля, к самым балаганам тайного лагеря. Но сейчас им делать там было нечего. Патин повел по знакомым, казалось бы, тропам в сторону Избишина. Чуть не утонули с лошадьми на выходе с Гиблой Гати и вылезли в избишинские луга уже при ясной утренней заре не чище прежних рудокопов. Мыться-умываться в ручейке пришлось, да и лошадей покормить: пар от них, как в зимнее время, валил. Трава еще не кошенная, долго ли нажраться лошадям. Из-за них самих задержка: не было мыла, речным песком, как те красные армейцы, оттирались. Особенно Савинков. Луговой ручей, впадавший в Залому выше Избишина, был холодноват, и Патин на прavaх здешнего жителя посмеивался:

— Почти как у Троцких! Или у них на дачах ванны потеплее?..

Но смеяться пришлось недолго: с верховой окраины Избишина вдруг четко и ясно, как на «Зингере», в утренней тиши прострочил пулемет. Они переглянулись, но не поверили. Может, швейная машинка у кого такая шумная завелась, может, на ней, такой по-утреннему раскатистой, кожи или железо теперь спшивают?

Не успели сесть на лошадей, как крепкая строчка повторилась, теперь с одиночной, ближней отдачей. Уже ничего не говоря, Патин бросил свою кобылу галопом и, конечно, без седла, чуть не свалился на излете через канаву; только прежний фронтовой опыт — даже пехотному офицеру не возбранялась верховая лошадь — выручил из беды и помог удержаться на еще не просохшей спине. Савинков, не в пример ему, держался лучше. Он не рвал меринка, а ободряюще присвистывал, одновременно разматывая рогожу мешка. Теперь, в виду цели, он даже шел передом, как хорошо пущенная стрела; ру-

чей вилял по луговине, мелкий и звонкий, можно было резать через него по прямой. Уже через минуту-другую, придерживая меринка, и крикнул Савинков:

— Держи... драгун!

Патин подхватил на лету снаряженную трехлинейку. А Савинков, видно было, пытается на ходу оснастить немецкий пулеметишко. Это потрудней, чем винтовку. Патин обогнал его. От деревни, со стороны горемычного кладбища, где был брод через Залому, чаще и чаще бухали одиночные выстрелы, даже рассыпчатые охотничьи. Ор уже доносился и какой-то жуткий вой, наверно, бабий. Хорошо, что заслоняли кладбищенские липы. Рассекая своей лошадкой этот вой, он так и врезался в кресты, в бузинник. Тут уже с лошади долой, проснулся в нем пехотный поручик. Хотя по крестам лупили, он истинно фронтовыми перебежками перебежал и бухнулся в притворе гулко постреливающей часовенки.

— Ты, озверелая?!

— А ты чего звереешь, Андрюша?..

— Да как не звереть? Еще от Липового ручья вас услышали.

Капа не отвечала, выцеливаясь в сторону Заломы. Не до разговоров стало и ему, просунулся стволом в соседнее оконце. Где-то совсем близко голосила баба, он только не мог понять — чья; все, наверно, так голосят, поволчьи. Пулемет-то туда и бил, крепко и неотвратно, максим — уж в этом можно было не сомневаться. В камни надгробные попадало, и тогда цокало особенно звонко и хлестко. С максимумом и на немца можно было идти, не только на Избишино...

Капа торопливо, пока перезаряжала обойму, с радостной ноткой — вот, мол, мы какие! — похвалялась:

— Они думали нас, как курей сонных, прихватить, да мы-то уже ученые ребяташки — и дневали и ночевали по теплomu времени за Заломой. Тоже игра: на десять верст вперед посты расставили! Как чуялось! Еще были далеко, как мы вечер телеграмму вам дали... Ой, Андрюша! — при очередной осыпи вжалась она в утоптанную, пахучую копенину. — Хорошо, что ты поспел, Ваня-то

уже не успеет, куда ему... Ой, окаянные! С этим криком и ребятишки вчера прибежали, один радостнее другого. Как же, своих упреждают! А какая радость? Сколько мужиков-то осталось? Трофим да Ефим, Тишуня да Мишуня, да я вот такая... Мы еще вчера все сюда, на брод, сбежались. Но они не дураки, чтоб на ночь глядя в незнакомую деревню лезть. Позыркали на том бережку да и отошли в ельник. Видно было, кострищи всю ночь жгли... Оюшки! Как по окошкам-то метет! Всю подстилку запорошит...

— Нашла о чем беспокоиться.

— Видишь, и ночевали все здесь, без костров, конечно. Кошенины понатащили да кожухов, это мне сейчас жарко-то стало, — одернула она платишко. — Мужики есть мужики — хорошо устроились. Но Тишуня-хитруня, как забрезжило, говорит: давайте расползаться по-за камням, пусть думают, что много нас... Да много ли, Андрюша? Кабы еще Ваня-Ундер... убитый-то?

Больше ей посмеяться не пришлось: в приречных кустах, уже на этом берегу, зашевелилось. Бросив Капу про себя остальное досказывать, Патин прынул к другому оконцу. Винтовка сама собой просунулась в утреннюю росу, смертным ладаном оросившую подоконник. И не отдавая себе отчета, а так, по привычке, Патин ловил звуки исходящих очередей и вот выманил, перенес на себя — каменным крошечком ожгло лицо.

— Ложись... дура!..

Капа все еще враскоряку торчала у своего оконца, и Патин дернул ее за подол, надорвал хлипкий ситчик. Капа ойкнула.

— Ну вот, сам-то не дурной ли...

— Дурной... что позабыл запасные обоймы! Есть что у тебя?

— Есть маленько, вот, — сунула она знакомый кисет.

— И в самом деле маленько... Где же генерал?!

— Ты с генералом, ой, мамочка!

Некогда ей было рассказывать про генералов. Из кустов береговых подползали сразу несколько человек. На спинах топорщились гимнастерки, а не рубахи и пиджаки.

«Та-ак, — подумал Патин, — это, пожалуй, не заводская голь...»

Там понимали, в чем дело, и заходили с двух боков, а пулемет попеременно отрясал оконца — не высунешься со своей трехлинейкой. Патин выстрелил несколько раз, да ведь наугад, не поднимая головы. Максим — раскатывался теперь безостановочно от оконца к оконцу. Значит, подползали уже совсем близко. Как бы сказал прежний поручик — заградительный огонь. Но ему-то чем заградиться, чем?!

«Да что же генерал!..»

Даже какое-то подозрение чиркнуло: сбежал, залпнулся, отсиживается где-то в кустах?!

Наказав Капе не высовываться, он вылетел через порог и затаился за углом часовни. Шаги были совсем близко. Зная, что такое внезапность, он в рост выскочил навстречу и начал садить в окружающие часовню гимнастерки. Ему удалось еще раз перескочить на другую сторону и сделать то же самое. По сторонам явно залегли и напозлали с обоих боков, напористо. Из-за камней двое-трое мужиков постреливали, да что толку? Из дробовиков...

— Капа, бросай остатние патроны!

Она перекинула кисет, но там и оставалось-то всего на две обоймы, да и успеешь ли перезарядить?..

Патин почувствовал тот спокойный и жуткий миг, когда уже ничего не страшно... Жаль, что с винтовки Капа, для облегчения, свинтила штык, — но и будь он, что поделаешь? Он прижался спиной к непростреливаемой пока стене и направо-налево водил стволом. Даже не помнил, в какую сторону его чуть качнуло, но успел-таки! Из-за могильных камней поддерживали:

— Так и жги, а мы отсюда!..

Дурной крик. На голос саданул пулемет. Патин, зная, что уже не отбиться, злым шепотом послал Капе:

— Бросай мне свою винтовку... пусть думают, что ты ни при чем!

Но Капа — тоже зло в ответ:

— Не брошу... окаянный!..

Разговоры вести было некогда: Патин метался в одну-другую сторону, на тень штыка. Вот люди: как на нехристей, со штыками прут! Со зла бессильного ему удалось выхватить у какого-то недотепы штык, чувствуя такой же и за своей спиной, но тут-то!..

...по-над самой рекой густым веничком помело от ближнего могильного креста до обнаглевшего максима...

...опять к часовне, по изножию, по каменному цоколю зацокало...

...не задевая сидящих в часовне...

...по запавшим, ткнувшимся в траву...

...с криком уж истинно генеральским:

— Назад в часовню... я кругом обмету!..

...когда Патин обратно перелетел через порог, он уже не услышал раскатистого максима, а по стенам, захватывая вскользь и притвор часовни...

...мело вкруговую, словно не пули — жучки майские, изворотливые...

...видно, жалили немилосердно, уж не жучки, а шершни какие-нибудь, потому что ползали на коленях обезумевшие человеки с поднятыми, как рога, руками...

...ползли в часовню, единственное безопасное место, и Патин

...не посмел щелкать затвором, а кричал им:

— Тряпку давайте какую-нибудь белую, олухи царя небесного... солдатики сраные!..

Не совсем, видно, олухи, потому что кто-то скинул гимнастерку, потом и рубашку — на штык, уже было брошенный опасно!.. Навстречу все еще метущей метелочке Патин сам уже кликнул:

— Кончай, кончай. Генерал!

Крик ли услышал, рубаха ли белую увидал, передышку ли для дозарядки делал, но стихло. Пользуясь этой тишиной, Патин через ползущие гимнастерки выпрыгнул наружу, уже не сгибаясь. Савинков шел навстречу с пулеметом на изготовку:

— Ну как, поручик?

— Сами видите, — не посмел Патин панибратски тыкать, указывая еще настроженной винтовкой на деся-

ток поникших голов; на них не было сейчас ни единого краснозвездного шлема, да и вообще ничего не было, кроме расплывшихся, удивленных рож. Одна, которая посмелее, высказалась:

— Так вас всего трое, считая бабу?!

Патин круто обернулся на голос, а Савинков, замедлив шаг, вновь ощерился пулеметом.

— Да я ничего... да мы вроде как своих узнали?.. — нашелся этот, видно, не из трусливых. — У Корнилова вас встречал Комиссар-ар?..

— Комиссар, да не ваш, — опустил Савинков пулемет.

С колен было поднялся и распростер руки, как бы собираясь обниматься, немолодой усатый солдат, которого и красноармейцем-то называть не хотелось: ясно, что и раньше побегал по окопам.

Но Патин, не в пример Савинкову, не опуская винтовку, предостерег:

— Слишком ты быстр, хоть и постарше меня.

— Какое старшинство. Унтер, окопная вошь...

На эти слова, отряхиваясь, поднялась Капа, вцепившаяся в свою винтовочку.

— Ундер? Так должен знать и моего Ванюшу несчастного?..

Тот ничего не понимал, крутил головой, и уж Патину пришлось объяснять:

— Ее унтера не на румынском и не на германском фронте кокнули — вот здесь, в этой деревне... В этой, суки вы питерские!

Как на призыв, Капа щелкнула затвором и спустила курок... Щелчок и был только, пустой, запоздалый. Патронов-то уже не оставалось! Побледнев, этот, единственный из всех стоящий в полный рост, вдруг другим, извиняющимся тоном попросил:

— Прости меня, женщина. Иваном зовут... Иван — болван несчастный!

— Ванюша? Все ундеры — Ванюши? — только и уразумела Капа, бросая под ноги винтовку и уж без всяких лишних слов обнимая человека, в которого всего не-

сколько минут назад стреляла, могла и убить, останься хоть один патрон в магазине...

Получалось что-то несурзное и дикое. На кладбище еще вой продолжался, выходили из кустов с дробовиками мужики, Савинков сидел теперь на заброшенном могильном камне и как ни в чем не бывало курил сигару, Патин все еще размахивал по сторонам своей винтовочкой, а Капа, как дурочка, обнимала немолодого усатого и явно смущенного продотрядовца, который не хуже других стрелял по мужикам, из-за которого и вой на кладбище, может, не кончался... Все могло быть.

Отходя от недавнего озверения, Патин увидел в живых Тишуню, увидел его кума, мельника, еще нескольких знакомых мужиков и сказал первое и необходимое:

— Соберите оружие.

Винтовки стащили в кучу, насчитав двадцать три штуки, а потом и пулемет к ногам Савинкова подкатили. Как награду. Мужики-то мужики, а понимали, что это-то, с рогастеньким пулеметом и спас их всех.

— Что с ними делать? — отбрасывая и наполовину не докуренную сигару, спросил Савинков. — Расстрелять?

Пленные, и всего-то остатним десятком, под одну масть и побледнели. Только и выделялся своим неизгладимым военным взглядом Иван усатый. Он-то и решил дело:

— Стрелять!.. А что вам остается? Нет у вас ни тюрьмы, ни Чека. Стреляйте, мужики, но... — он обвел взглядом своих сидящих на земле продотрядовцев. — Тогда меня первого. Комиссар убит, а я командир — с кого же и спрос.

Его простой тон поднял на ноги Савинкова.

— В безоружных солдат я никогда не стрелял. Говоришь, у Корнилова видел? Может быть, все может быть... Но в самом-то деле — что же делать?

От мужиков вперед выступил Тишуня:

— А вот что. Первое: похоронить мертвых, ихних и наших, тоже двоих, царство им небесное, Парфену да Николаю... Второе: крепко запереть в амбаре весь оружейный инвентарь, потому как он денег стоит, на первое

время и сторожу поставить, чтоб зря не стреляло. А третье — собча выпить... покрепче, и за поминки, и за победу, как я понимаю. Дальше всякий сам решает. Мы же не будем добивать этих несчастеньких.

Так ясно высказался тихий Тишуня, что нечего было и добавять. Но все-таки взводный, Иван усатый, низко поклонясь, добавил:

— Спаси вас Бог, мужики. Я-то псковской, из деревни Избяны...

— Тоже Избишино?

— Как у нас?..

Мужикам было удивительно слышать такую новость.

— Да мы не знали названия деревни. Нам приказ был по карте: ткнули пальцем — вот здесь раздавить контру!..

Савинков вытащил из внутреннего кармана новую сигару и, помахивая ею, остановил дальнейшие суесловия:

— Приступаем к первому пункту нашего соглашения... чтоб поскорее перейти к третьему! И-и... чтоб без всяких фокусов, — наказал он взводному, поднимавшему с травы своих воспрянувших продотрядовцев.

Тот согласно кивнул головой.

Ах, что за вечеря была!..

Савинков давно отвык от простых человеческих посиделок. Да, собственно, и не знал их: то Парижи, то Петербург, то великосветские салоны, то конспиративный бедлам. Конечно, и он поминал боевых друзей, и немало, но ведь под шампанское, под хрустальные бокалы. Здесь ни того ни другого не было. Да и к чему хрусталь? Тут же на теплом и ввечеру июньском кладбище расставляли столы, кто какой притащил. Повыше, пониже — камушки, пулеметами ощищенные с часовни, приносили и под ножки подсовывали, равняли. Скатерти отыскиали, иные и свадебные, каемчатые. Словно жалеть было уже нечего. На пристань нарочного сгоняли, вина в складчину привезли, да и самогонки кой у кого оказалось, у Ти-

шуну так и предостаточно: говорил, на всякий революционный случай... Началось не с песен — с поминального плача; его по праву многолетней теперь вдовы завела Парфениха, баба еще хоть куда. Бывало, похвалялась своим рыбарем Парфеном: уж дюжину-то, это точно, наласкаем! Слишком рано похвалялась... Теперь вот в изнеможенье припала к плечу этого пулеметчика, Савинкова; еле притащили за стол, ни мертву ни живу. Пленники глаз не могли поднять — ведь они же и убивцы; свои тоже не знали, что делать. Сироты — мал мала меньше — от свежей могилы к столам беспрестанно набегали, хватали что ни попадя.

Деревенская атаманша Капа тоже чудной стала: все про «ундера» да про «ундера». Даже Савинков приглядывался: что за дурь такая? Он знал про увлечение поручика Патина. Да и не очередная любовь, и не дурная бабья кровь — просто сумасшествие. Взводный Иван как мог отбивался, но Капа раз за разом насакивала на него и при всех целовала с жутковатым криком: «У-ундер!..» Может, и зацеловала бы и стыдобушку, не заведи Парфениха, откуда что и взялось, упокойный и успокаивающий плач:

Это чья в поле нива
Стоит без огорожи?
Это чей новый срубец
Стоит без верху строен?
Это чьи новы сени
Стоят без подволоку?
Это чья жарка шуба
Лежит без поволоки?
Это чье злат-колечко
Сыр-слезой орошает?
Это чья бедна вдовка
Молода овдовела?
Это чьи бедны детки
Малы без батюшки остались?..

Даже давно замерзшую душу террориста холод пробрал, когда они в восемь голосишек, по малости без осой и тревоги, закричали:

— А твои, мам, твои!..

Один из пленных вскочил из-за стола:

— Простите, люди добрые, больше не могу!.. — бухнулся ей в ноги и заревел.

Парфениха, как бы очнувшись, сама его усадила обротно, села рядом и подала полный стакан, а потом и себе такой же. Кто-то сказал запоздало:

— Пусть земля им... всем... будет пухом...

И вроде как не делилось на тех, что легли в братской могиле, и на тех двоих, приткнувшихся к семейным огорожам, и даже Ваня-Ундер, оплаканный двумя неделями раньше, тут как тут пребывал, под обезумевшим шепотком Капы:

— Вот так и живем, Ванечка, так и стараемся...

Душный июньский вечер незаметно переходил в короткую, тихую ночь, но благодатной тишины за столами не было. Поплакали да и заговорили, поговорили да и попеть попытались, не то про царя-батюшку, не то про Шексну-матушку. Расходиться не хотелось, хоть и надо было, пора. Никто не поминал о главном: что теперь, после потери и второго продотряда, будет с деревней? Да и куда девать пленников? Савинков и Патин наутро же собирались обратно в Рыбинск, а ведь здесь десятеро оставалось! И хоть взводный Иван сказал: «До могилы вас не выдадим!» — как было верить? Оружие попрятали надежно, но кто поручится, что в черный день черные же руки не найдут?

Чувствуя такое настроение, Иван-взводный предложил:

— Здесь леса и болота необозримые, — свяжите нас, завяжите глаза и отвезите в какой-нибудь дальний угол. В Питер возврата нет, все равно расстреляют... Единственное, оставьте только пилу да несколько топоров и лопат.

Посоветовавшись наедине с Тишуней и другими мужиками, Савинков и Патин согласились: верно говорит Иван. Доверие — не яйцо куриное, в одно утро не снесется. Надо дать пленникам время, а деревне — спокойствие. И чтоб уж наверняка, они с поручиком Патиным сами и отведут их на Гиблую Гать; к ней только один про-

ход, да и то по колено в воде. Нужны две подводки и два обратных возчика, хоть самых несмышленных. С завязанными глазами пешедралом не погонишь.

Когда объявили пленникам это решение, они на удивление легко согласились и попросили только немного муки да картошки, мол, после чем-нибудь рассчитаются.

Но поутру не кто иной, как Тишуня, прибавил охотничье ружье со всем необходимым, а Капа, когда по росному берегу отмахали уже верст пять, сама просительно и навязчиво приладилась. Мол, что ей, бездетной и безмужней, в деревне-то теперь делать? Был Ваня-Ундер — и есть Ваня-Ундер, чего такого. Взводный качал головой, Патин, как последний солдафон, матерился, Савинков понимающе помалкивал. Что оставалось делать? Ясно, любовью ни от нее, ни от него и не пахло. От черной немочи блажит — и пусть себе блажит баба!

В сердцах и ей собственной же косынкой Патин завязал глаза, хлопнул по заду: полезай в телегу к своему лешьему «ундеру»!

У самого унтера ни он, ни Савинков ничего не спросили, поскольку надо было торопиться. Верст двадцать было до Гиблой Гати, не меньше.

Савинков, когда пересели на своих коней и поотстали, предупредил:

— Завтра же и пришли сюда первую партию наших боевиков. Пусть обживаются и за пленниками присматривают.

— Может, их по другим взводам рассовать?

Савинков некоторое время раздумывал.

— Нет, лучше им остаться под началом своего взводного. По крайней мере, он их из рук не выпустит, а если сам что надумает...

Не стоило договаривать. Фронтовой поручик прекрасно понимал, что делают в этих случаях.

— Я подожду поезда в усадьбе Крандиевских, пока барский управляющий и старый приятель, то бишь директор советского детдома, превратит меня в воспитателя красных бесенят и отвезет на вокзал. Нужна бесенят московская помощь? Нужна. Советскому воспитате-

лю — красная улица. Подорожную мне с настоящей печатью сделает.

Патин, привыкший к неожиданностям, согласно кивнул.

— Я уеду в Москву ночным. Вы меня не провожайте. Занимайтесь своими делами. Заодно проверьте, не привязался ли какой провокатор. Что-то мне показалось — был хвост.

И тут нечего было отвечать, все ясно.

— Видимо, это мое последнее возвращение в Москву. Мой штаб теперь будет в Рыбинске. Как вы понимаете, на нашего генерала Рычкова надежды мало. Сами будем генеральствовать — с помощью таких отличных полковников, как Бреде и Перхуров.

Когда прибыли на Гиблую Гать и пленники увидели понастроенные балаганы, взводный унтер не мог скрыть своего удивления:

— Да-а... А мы-то думали, что с одними бабами воюем!

Савинков не стал ему ничего объяснять, просто велел занять один балаган и обжиться. Унтер с пониманием заверил:

— Не сомневайтесь. Без вашего приказа мы отсюда не уйдем.

— Не уйдете, — посмотрел ему прямо в глаза Савинков.

Настроение у него было прекрасное.

Когда уже около полудня распрощались и с пленниками, и с провожатыми и сели окончательно на своих отдохнувших лошадей — до этого большей частью ехали в телегах или брели пешком, — он всю обратную дорогу нет-нет да и вспоминал:

— Ну, поручик Патин! Я бы не додумался так удачно с бабой развязаться.

Патин не сердился. Было ему не то что обидно, а как-то тошно.

Видно, это стало слишком частым явлением, если день спустя, уже в Москве, Савинков говорил:

— Вы слышали? Мальчишку-корнета, и при такой-то младости уже георгиевского кавалера, на глазах всего

Казанского вокзала бросили под поезд только за то, что он отказался снять боевые погоны. В наши планы сейчас не входит мелочными экзами заявлять о себе, но простить нельзя. Главный убийца известен. Кто берет его на себя?

Как в старые времена, руки подняли все присутствующие. Но Савинков остановился глазами на самом молодом подпоручике:

— Вы.

— Благодарю за честь! — вскинул тот кудрявую мальчишескую голову, прикрытую бутафорской пролетарской кепчонкой.

«Еще один», — подумал Савинков, холодно и рассудочно; чутье его не обманывало: мальчику этому обратно не вернуться, потому что варвара-судию искать следовало в Чека...

Он внимательно, хотя и отстраненно, выслушал доклады об отправке своих полков из опасной и уже переполненной офицерами Москвы. После Мирбаха, невольного помогавшего им, надеяться больше нечего — нетерпеливые и тупоголовые спасители России грохнули посла... как когда-то он грохал великих князей... Но — время, господа?! Время совсем другое. В бытность свою парижанином-журналистом, он черной печатной краской мазал ненавистных бошей, в Москве же — не возражал, чтобы везде вхожий латыш-полковник Бреде пил с Мирбахом вино дореволюционных погребов. Во имя... да, во имя великой России! Не смейтесь, господа, над сентиментальностью писателя Ропшина.

Он, оказывается, уже который раз спрашивал одно и то же:

— Ярославль? Ярославль!

Может, и ему не первый раз отвечали:

— ...да, повторяю: шестьсот на месте, пятьдесят на подходе, остальные...

Остальные — это и есть тот самый, потерявшийся в дороге остаток. Чего доброго, славные гвардейские господа офицеры по купеческим запечьям попржились! Он вызвал следующий город:

— Рыбинск!

— Четыреста с лишком...

— Лишку не бывает. Дальше.

— ...четыреста сосредоточены в окрестных пригородах. Принимая во внимание, что город небольшой, всех собрать в центре нельзя, и потому...

По тому или по этому пути — лишь бы «путем», как любит говаривать полугосподский-полукрестьянский поручик Патин. Как-то он там поживает?..

— Муром! Доктор Григорьев?

Да, такие дела: всем муромским офицерским отрядом командует земский доктор. Славный командующий! Он прибыл на совещание, как и положено, с докторским саквояжиком. Отчасти в целях конспирации, отчасти и по надобности: мало ли что на войне случается...

— Немного, — протер он пенсне. — Семь десятков. Но люди надежные и беспрекословно преданные, поскольку им...

Поскольку им — по семнадцать, восемнадцать, как тому лихому корнету, и перед лицом смерти не захотевшему сбросить царские еще погоны?..

— Владимир!

— Тут близко от Москвы, следовательно, все будет по расписанию...

По какому расписанию хочет жить неповоротливый Владимир, знать не хотелось. Чувала уставшая от всех этих конспираций душа, что там не прочухаются до второго пришествия...

— Кострома?

— Кострома — как строма! Туда уже отбыл драгунский полк, один пехотный, половина артиллерийского...

И этот доклад, слишком уж бодренький, не мог ввести в заблуждение. «Полк», а чего доброго и «дивизия»! И докладчик не хуже Савинкова знал, что это всего лишь офицерский состав, в лучшем случае восемьдесят шесть человек, получающих положенное офицерское жалованье и мнящих себя уже во главе полков. Но где взять не только артиллерию для беспушечных артилле-

ристов, не только гвардейцев — обыкновенных волонтеров, каким был он, петербургский дворянин Савинков, во французской строевой форме, еще при первом натиске немцев на злополучной Марне? Савинков сердился уже и на собственные воспоминания. Эх нашел время! Жить приходилось не прошлым — сегодняшним, гнущим, опощенным днем. Пошлость была уже в том, что сидят они, такие распрекрасные гвардейцы и гренадеры, в вонючем подвале близ Таганки, куда в былые, кажущиеся уже фантастическими, дни не всякий карманник и не всякая проститутка решались зайти, «брезговали», честь свою берегли. А им вот, людям голубой крови, брезговать не приходится, они торчат на зашлепанных еще в прошлом веке стульях, вытирают шеи, а кто и лысины, давно не стиранными платками и разглагольствуют, что будет лучше после победы — республика или монархия, а если монархия — так конституционная или самодержавная, а если республика — так президентская или парламентская?.. С ума сойти можно! Савинков смотрел на свое ближайшее, самое светлое, окружение, но чистоты в душе не чувствовал. Была она, как и стулья этого воровского вертепа, зашлепана и загажена всеми прошлыми наслоениями. Генерал! Батюшки... «Генерал террора»!.. Это звание он носил на своих плечах давно, носил вполне гласно и самодовольно... хотя какое к черту довольство? Обманывать себя не приходилось. Уже два десятка лет он скитается по конспиративным квартирам и мается наполеоновской дурью. Но Наполеон потому и стал Наполеоном, что интеллигентской гнилью не был заражен; он просто сказал: «Французский солдат считает за честь умереть во имя меня». А русский?.. Умрет, конечно... как этот мальчишка-подпоручик; умрет в своем пошехонском Рыбинске Патин; умрет, как бокал шампанского выпьет, полулатыш-полурусак Бреде... ну, десятки, даже сотни других, включая и его самого, Савинкова... но много ли их на такую великую Россию? Почему она, позабыв и стыд, и честь, идет за каким-то безродным Бронштейном, за каким-то Ульяновым?!

Едва ли кто догадывался, какой гремучей смесью заряжалась сейчас его грудь. Да едва ли кто и знал об этой смеси.

Он знал. Не одна Дора Бриллиант гремуче жизнь покончила — и Мария Беневская без рук осталась, возясь в гостинице с этой смертельной смесью. Когда на звук взрыва в ее номер прыгнули служащие гостиницы и полицейские, не только стены, но и потолок был в крови. Опшмоться мяса, голая ободранная грудь прекрасной Марии — что может быть хуже? Помнится, он ее, как и Дору, уговаривал: «Маша, ради всего святого — осторожнее. Хотя бы ради меня?..» Беневская, в отличие от Доры, даже застрелиться не могла — пошла на каторгу с культяшками, не в силах собственные трусишки натянуть... Красавица аристократка Татьяна Леонтьева, не успев подорвать себя, во французскую тюрьму, а потом и в дурдом угодила... Вот что такое гремучая смесь! Вот что было сейчас у него в груди. Ничего не выражало бесстрастное лицо, но душа ехидничала: «Браво всеобщей забывчивости — брависсимо! Не изволите ли откусать? Варевое прямо-таки мефистофельское, но с сахарком, что по нынешним временам не так уж и плохо».

Да, прежде чем рванет динамит и разнесет в клочья местечкового выскочку или волжского неудачника-адвокатишку, надо сварганить адский котел из соляной кислоты, бертолетовой соли и сахарку того же, да поосторожнее, поосторожнее, господа, потому что соляная кислота наливается в тонюсенькую стеклянную колбочку, в которую запаивается, кроме того, еще свинцовое грузило, чтоб при ударе уж разбилась наверняка. Вы держали такую семифунтовую бомбочку в руках, положим, упакованную в коробку из-под конфет, с дамской аленькой ленточкой на перевязи? О, подержите, подержите!.. И не забудьте при этом, что вы спешите на свидание... пускай не с Бронштейном, а с великим князем Сергеем... вы лавируете в толпе при полном, безукоризненном фраке и безбрежной милой улыбке встреч каждой даме... но ведь это на людной московской улице, где даже господа, не говоря уже о купчихах, локтями по-

медвежья пыряются, не ведая того, что при малейшей неловкости от этой конфетной коробки половина улицы взлетит на воздух вместе с опшотьями рук и ног?..

Ах, жалко того времени, господа! Какой нынче фрак, какие конфеты... Дни апокалипсические, дни неподвластные человеческому разуму. Разве человек разумный, никогда не носивший даже унтерских погон, возьмет на себя смелость командовать такой армией — армией без солдат, с одними полковниками и генералами, и мальчиками, еще не целовавшими девочек и возмечтавшими в честь победы разбить выпитый бокал шампанского о кирпич благословенной кремлевской стены?!

Ах, господа, господа! Для кого мать родна, а для кого родна игра... Уж он-то, старый террорист-бомбометатель, цену себе знает... в том числе и цену потайную, шулерскую, если хотите, господа. Ну, разве не шулерство — так передергивать, как в пошло-азартной игре, исторические карты России? Передернули адвокатишки-временщики, скинулся и тоже дернул у них же другой, уже волжский адвокатишка, сам-то не выигравший ни одного судебного процесса, а теперь кто прежний бомбометатель, прежний военный министр, без погон и с красной мочалкой на груди... или прежний парижский бонвиан, запросто раздававший пощечины нынешним властителям России?..

Как хотите, господа, но все это шулерская игра. Плохая игра. Опасная. И главное, заранее уже проигранная... Да-да, господа. Не вздумайте обвинять в измене. Савинков — не Азеф; Савинков пойдет до конца, потому что он же и есть первый игрок, банкомет. Помните, как бывало после оперной ложи, где внизу, в полутьме, в немислимом экстазе пел умопомрачительный тенор: «Вся жизнь — игра!» — не так ли пелось и не так ли думалось? А потом начиналась игра и настоящая, без опер и без бутафории, иногда и в русскую рулетку... Да, господа. Кто не ощущал у виска револьверное дуло! Неужели, думаете, сейчас мир стал умнее? Неужели человеческая душа просветлела?!

Мысль раскручивалась, как пружина смертельного браунинга...

— Вы что-то крепко задумались, мой генераль?

Добрый и милый Саша Деренталь. Он потихоньку спровадил всех надравшихся самогонки полковников и нецелованных мальчиков и уж истинно по-французски метнул на стол бутылку шампанского, настоящей шампани, еще той достославной, докеренской и добронштейновской поры...

— Нас ждет, не забывайте, Любовь Ефимовна.

А раз Любовь Ефимовна ждет, так самое время на этом заплеванном столе — без скатерти и без хрусталя, но истинно по-мужски — хлопнуть запыленной пробкой.

Даже из вонючего стакана — хорошо. Вроде как парижский фрак или лондонский смокинг на плечи возвратился, и белые лайковые перчатки взделись на хорошо отмытые, надушенные руки...

За игру, которая зовется жизнью.

За игру, господа!

Но для этого им из прокисшего таганского подвала предстояло перебраться на замоскворецкую, вполне приличную квартиру, которая была не по зубам большевикам, потому что существовала под личной опекой французского консула Гренара. А бывший петербургский студент теперь вполне прилично и открыто, как французский подданный, служил в посольстве, с которым большевикам никак не стоило ссориться, хоть и кричали они об «интервенции» в Архангельске или в той же Одессе. Крики криками, а политика политикой. Игра!

Вот только бы не спали дорóгой отнюдь не французского подданного, а вполне российского террориста!..

Ну, это дело техники, как говорится.

VII

Так уж в эту июньскую неделю складывалось — бывал больше у Деренталей да у Деренталей. Собственно, делать было нечего: все делалось теперь само собой, если, конечно, подпольную глухую возню и подготовку к грядущим битвам считать настоящим делом. Савинков, размышляя об этом, себя не переоценивал. Некоторая

самоирония только прибавляла энергии. Не становиться же теперь, когда и силы еще не собраны по волжским городам, в позу Керенского-Наполеона. Всему свой черед — и московским арестам, и крови по берегам великой реки... и этим вот игриво-салонным разговорам при хорошем самоваре и при хорошем, под чаек, французском коньячке. Франция — далеко, и Франция — близко... Не столько сам Деренталь — Любовь Ефимовна при содействии того же галантного консула Гренара все достает и совсем по-парижски, хоть и петербургская танцовщица, путает хмельное вино с хмельной беседой...

— ...вы слышите меня, Борис Викторович, вы слышите?..

— Я слышу вас, Любовь Ефимовна, я слышу.

— А если слышите, так почему не поцелуете?

— А потому, что уважаю мужскую дружбу Александра Аркадьевича, слишком уважаю...

Деренталь есть Деренталь. Выпивоха, увалень... и полнейшее равнодушие к своей скучающей жене. Все парижское быстро заквасилось у него на русских ленивых дрожжах.

— Не надо церемоний, друзья мои, — весь его сказ. — Не надо, дорогой Борис Викторович. Ради бога, целуйтесь. Мы ж с вами социалисты. Общественная собственность, социальное братство... ведь так?

— Так, Саша, так, — ответила за Савинкова Любовь Ефимовна, ответила, может быть, слишком звучно и открыто, но вполне искренне.

Дуплетом было не менее звучное эхо за окном.

— Опять маузеры?.. — отпрянула в сторону мужа Любовь Ефимовна.

— Винтовка. Хоть и женского рода, а ого-го!..

Деренталь коньячок по-свойски потягивал, ему-то что. Значит, опять в обратную сторону, к Савинкову.

— Женщина от страха... млеет, слышите, мужланы?!

Постреливали где-то за окном, но не очень часто. Видно, у большевиков кончались патроны...

— Как и у нас, дорогая Любовь Ефимовна, как и у нас, — едва ли она заметила улыбку на его губах.

Деренталь по-прежнему коньячком занимался. А Любовь Ефимовна что могла сказать? Только одно:

— Все-таки вы несносный человек, Борис Викторович.

— Вас-то не снести, Любовь Ефимовна? Помилуйте, вполне снесу, на ручках, если хотите.

— Хочу! Хочу!

Она уже сидела у него на коленях, ожидая, когда еще выше поднимут. Она была неподражаема в своей милой искренности, эта полупевица, полутанцовщица, полужена, полуэмансипе.

— Что же вы меня не несете? Неподъемна?

— В полном подъеме. Куда ж изволите?

— В кровати! В теплую кроватьку, разумеется.

Деренталь попивал из каких-то глухих дебрей его же добытый коньяк и, в отличие от гостя и сожителя, посмеивался вполне открыто и благодушно. Все это его не касалось. Жена? Любовница? Какая разница. Ведь жизнь — игра, не так ли, милые-хорошие?

— Не так... — вроде как его мысли читали, но совсем о другом: — Не так вы меня берете!

— А как же, позвольте вас спросить?

— Женщин не спрашивают. Женщин берут и...

— ...и?..

— Люляют!

Деренталю после нескольких отличнейших рюмочек весело:

— Ну и язык у тебя, Любаша!

— А что — язык? Что, Сашенька?..

Она прыгнула с одних коленей и перескочила на другие.

— Разве плох язычок? Разве не вкусен, мой гадкий, совсем не ревнивый Сашенька?..

— Люба-аша! Не кусайся. Хищница!

— Да, хищная... потому что жить мне осталось... — она замаялась. — Всего лет восемьдесят.

— Восемь-десят?.. — уже и Савинкову захотелось улыбнуться, а заодно и размять затекшие было колени. Он встал и походил вокруг кусающейся хищницы.

Она обиделась:

— А что, много? Что, жалко?

— Жалко, Любовь Ефимовна... вашей молодости! За чем вам стареть?

— В самом деле, зачем? — отпрянула она от мужа и с лету, как истинная танцовщица, перекинулась на другие руки, верно и сильно подхватившие ее.

Вечерняя игра, называвшаяся московской конспиративной жизнью, явно затягивалась. Савинкова подмывало позлить ее:

— А не поговорить ли нам... всем троим... с другом морфеем?

Она, видимо, перебирала в своей беспшабашной головке какие-то цветные камушки. Бывала на французских приморских пляжах, как не бывать. Даже в войну мода на пляжи не остывала. Но стоило ли так вот разбрасываться? Что-то застыли в немом раздумье руки...

— прямо так вот... святой троицей?.. А может, вы толкаться будете под бока!

Уже на два голоса мужчины посмеивались. Савинков опустил свою капризную ношу на диван, прямо на недовольно мякнущую сибирскую кошку, и подошел к столу.

— За мужскую дружбу, Александр Аркадьевич.

— За женскую!

Но она и тут подроспела:

— А за женскую?

Выпили и за женскую. А делать было нечего — не говорить же о Рыбинске, куда опять уехал полковник Бреде, или о Ярославле, где снова кружили полковник Перхуров и юнкер Клепиков. Нет, такие серьезности не для Любви Ефимовны, жены социалиста и самой почти что социалистки. Она была необыкновенно хороша в этот вечер — впрочем, помилуй Бог, когда же бывала плоха? Савинков даже одернул себя за такую оговорку. Но что дальше? Как ни усмехайся, а это пресловутый литературный треугольник — он вдруг почувствовал себя прежним Ропшиным, который в роскошном прокуренном салоне своей крестной З. Н. мог вполне серьезно читать стихи — о любви без

дружбы, о дружбе без любви, как и должно быть с составившейся, отдавшей словесам все свои жизненные соки, болезненной женщиной. Но здесь-то не крестная — здесь молодая и взбалмошная танцовщица, полужена-полубаловница этого добрейшего полуфранцуза. Следует добавить: с истинно русской душой. Для друга, для старшего друга, помилуйте, не только рубашку — жену свою ненаглядную отдаст этот славный социалист, не видевший особой разницы между парижским коньячком и кронштадтским морячком. Что тут такого? А ничего, господа, ничего. В Париже, в Москве — не все ли равно? Хоть революция, хоть холера какая — не все едино? Потому что — игра; потому что — жизнь. А жизнь вечна и неизменна. Жизни не изменяют, она не женщина.

Вечер выдался чудный. Можно пить за дружбу, а потом за любовь; можно и наоборот. Только бы не началось, как Савинков ехидно сам себе сказал, несносное стихотечение...

Вот, накаркал.

— Борис Викторович... Ропшин!.. Читайте. Я приказываю.

Он знал, что не отвязаться. Он понимал, что чем скорее, тем лучше.

— Извольте в таком случае, господа! Вот только рюмочку для самочувствия...

Нет родины — и все кругом неверно,

Нет родины — и все кругом ничтожно,

Нет родины — и вера невозможна,

Нет родины — и слово лицемерно,

Нет родины — и радость без улыбки,

Нет родины — и горе без названья,

Нет родины — и жизнь как призрак зыбкий,

Нет родины — и смерть как увяданье...

Нет родины. Замок висит острожный,

И все кругом ненужно или ложно...

— Да, все так!

Савинков не хотел быть Ропшиным; Ропшин не принимал Савинкова. Хмельной Деренталь покачал головой; Любовь Ефимовна истерично вскрикнула:

— Да разве таких стихов ждала женщина?! Да разве вы... за всеми этими... бомбами, революциями, конспирациями!.. позабыли, что нужно женщине?!

— Позабыл, — просто ответил Савинков, даже не улыбнулся, не разжал плотно сжатых губ.

Он ничего больше не добавил, муженек прилег на диване — как можно было в одиночку рыдать? Слезы осушило горячим ветром:

— Танцевать! Я танцевать теперь хочу. Вы слышите, Борис Викторович? Вы слышите?!

— Слышу, — встал он от стола. — Слышу и... уже танцую...

Он все умел... да, кажется, все. Не только же стрелять и кидать бомбы, писать стихи и драть за шиворот Бронштейнов, любить затерявшуюся где-то в Европе первую жену свою — Веру Глебовну, и вторую — Евгению Ивановну, и вот эту, чужую... уж если придется... Под танец, под танец, моя хорошая!

Любо-дорого было посмотреть на это каменно-безулыбчивое лицо, вопреки которому ноги выделявали такие выкрутасы, руки так свободно обвивались вокруг чужой, но покорной талии, что даже задремавший было муженек приподнял голову и не без зависти прошептал:

— Танец маленьких... блядущечек...

Но шепот был услышан, поддержан:

— Маленьких! Совсем малю-юсеньких, люблю-усеньких!..

Высказав свое восхищение, Деренталь уже окончательно посапывал. Савинков предостерег:

— Любовь Ефимовна! Лебедушек, как мне помнится, вчетвером танцуют? Нас же только трое, включая и совсем захмелевшего главного Лебеда.

— Главного? Я главная. Четвертый? Я четвертая!

Может, первая — кто проверял? — возлежала все на том же диване, в ногах у Деренталья. Истинно московская лохматая кошка, прибудница революционная; то ли у графов прежде жила, то ли у каких-то извозчиков. Она быстро, вполне в духе времени, освоилась на новом месте и права свои отстаивала такими когтищами, ка-

кие и Троцкому не снились. Любовь Ефимовна закружилась с ней — или все-таки с ним? — и Савинкову оставалось лишь придерживать их, чтобы не налетели на стол или, чего доброго, на орудий благим матом граммофон. Интересно, не долетало ли и до Кремля это лебединое беснование? Все-таки Гагаринский переулок, где вполне открыто жили Дерентали, — это тебе не Коломенское и не Сокольники; на каменной, вполне приличной лестнице встречались и советские служащие, и командиры доблестной Красной Армии. Добропорядочный почтарь, прижимаясь к стенке, вполне услужливо пропускал их вперед, потому что у них, может быть, и дело было срочное; может, они кого-то ловили, даже ясно однажды послышалось: «Не найдем этого перевертыша — сами в Чека перевернемся вверх тормашками!» Рука чесалась в кармане, но жалко было безусых красных командиров, да и потом — такая прекрасная квартира, такие прекрасные Дерентали, а уж Любовь-то Ефимовна, Любовь!.. Ну, истинно с большой буквы и говорилось, и думалось. Не с котяркой же танцевать! Но когда Савинков попытался отодрать котяру от танцующей, огнем пылавшей груди, когти полоснули его железом по руке...

— Брысь...

Котьяра вместе со всеми своими когтищами плюхнулась обратно на диван, на спящего Деренталья. Ор и переполох! Но до него ли? И пальчиками дрожащими, и платочком, и даже губами — по руке, по следам непотребных, наверно, уж истинно пролетарских когтей, но с парижскими слезами:

— Боренька?.. Больно?

Ну какая там боль. Слезами окропив, обливав эту одной России принадлежавшую кровушку, Любовь Ефимовна опять забылась, забегала, закружилась по комнате, заклопала дверками платяного шкафа, выбрасывая оттуда свое самое сокровенное. Тут и Деренталь с помощью свалившейся на него кошки процарапал маленько глаза — кажется, тоже понял, что добром все это не кончится...

И верно, пяти минут не прошло, как все они вчетвером, включая прощеную Василису, были обряжены в какие-то тряпки, снова заведен граммофон, и... понеслось!..

Четверо так четверо. Василиса, поддерживаемая за переднюю лапу хозяйкой, тоже скакала от стены до стены, может, и в прошлой своей, отнюдь не барской, жизни вот так же плясывала под музыку каких-нибудь подгулявших купчиков...

— Люба?.. — один голос.

— Любовь Ефимовна?.. — другой. — Не уплывайте в небытие!

А как — не уплывать?.. Стены, они ведь тоже шатаются... как от Архангельска до норвежского порта Варде, в пору беспечальной революционной молодости, когда он в первый раз драпал от охранки, еще не знавшей нынешних совдеповских порядков — стрелять без предупреждения... Он, кажется, и тогда был с женщиной, да, по глупости был уже женат, потому что, улизнув от жандармов, дал восторженную телеграмму: «Не Рыжий, не Бледный, а Конь Вороной, победный!» Жаль, в телеграммах не ставили восклицательных знаков.

Старость? О, господа, господа! И сейчас они с тем же Деренталем, как когда-то с Ваней Каляевым, могли бы драпануть от всей этой Совдепии хоть из Вологды, хоть из Москвы, прямо на спасительный порт Варде, первый недосыгаемый для большевиков порт, без билетов и без паспортов, разумеется. Даже без денег... хоть с одними револьверами — главной ценностью в их беспечальной жизни. Но... то было тогда. А сейчас уже не дернуть и не сбежать... От кого? От России? От р-революции... черт бы ее подрал?! Нет, р-революция, как ни нажимаешь на спусковой крючок ее первой буквы, уже никогда не отпустит. Революция — это не шутка! Не шутка, господа.

Пьяная московская ночь, после всех конспиративных полков и дивизий, мысленно отправленных уже в Рыбинск и Ярославль, в Кострому и Владимир, — нет, эта ночь, одна на четверых, включая и Василису, тоже к шуткам не располагала. Но как без них при такой-то

расподобной хозяйшке? Все-таки шутейства ли ради, ради ли взаимной безысходности — все повалились кто куда и кто как есть; оказывается, прямо на ковер, спутанный когтями Василисы и заплетающимися ногами хозяина, захрапавшего на подлете к дивану, и милыми ножками, ручками хозяйшки, с истинно парижской простотой требовавшей:

— Хочу! Хочу! Хочу!

Ну, позлить еще? Позлить он любил.

— Стихов? Иль прозы?

Кажется, злость была неуместна. Да и переходила все возможные пределы. Вон Саша Деренталь — тот на злость себя не растрчивал; Деренталь набирался сил в предвкушении грядущих битв...

— Проза?! Стихи?! Вы, Борис Викторович... кретинчик... Да нет — кретин!

Раз такое дело, следовало бы исправиться, а потом...

— ...спать. Спать! Спать!

День и ночь, лет шесть или семь подряд до самого своего судного часа, когда останется только одно — предстать перед Всевышним за все свои великие и малые грехи...

VIII

После такого взволнованного и такого ничтожного, уж если быть честным до конца, разговорчика с Любовью Ефимовной он хлопнул дверью и ушел в свою комнату. Ждал, конечно: не пойдет ли следом? Это и было самое скверное — ложь. Любовная ложь хуже всего... За окнами промозглая от зарядивших дождей, голодная, затаившаяся от страха Москва, а у них сытно и сухо. При затопленном даже в летнее время камине, возле каминной решетки набирается тепла французский коньяк. У них белый хлеб и ветчина на столе, обложенная тонкими, изящно нарезанными ломтиками сыра. Они беспечны и пьяны, они наговорились до умопомрачения — про любовь, свободную женщину и все такое прочее. Да, но когда дело дошло до того, что надо просто эту женщину

взять на руки и отнести на кровать — не имело разницы, на его или на ее, — он встает и бросает эти пошлые слова: «Мне стыдно перед Деренталем!»

«Да ведь он давно уверовал, что мы с вами живем простой и грешной жизнью».

«И терпит?..»

«Я терплю. А вот зачем — сама не знаю. Не от святости же! Среди танцовщиц святых не бывает».

«Поэтому, вкушая добытый вами белый хлеб, выпивая ваше вино, и оставляет нас одних?»

«Отчасти поэтому, а отчасти и по делу, — думаете, с послами и консулами в полчаса и столкнешься... как вот со мной бы, при желании...»

«Переста-аньте, Любовь Ефимовна! Не обливайте себя незаслуженной грязью, прошу вас. Я не могу жертвовать делом ради любви... даже такой, как ваша... Пойдите! — уже гневно вскричал он, останавливая ее бегство. — Через неделю, а может и завтра, я пошлю вашего мужа, а моего первейшего друга, на смерть... и отниму у него все последнее, земное?! Нет. Нет, Любовь Ефимовна. Савинков много нагрешил в этой жизни, но подкроватный грех не совершит. Может, как-нибудь потом... когда все отстоится и успокоится, и мы, отмыв от крови руки, войдем в свой заслуженный рай...»

«Фразер вы, Борис Викторович, неисправимый фразер... Считаете иначе? Мните себя человеком сухого дела? Бросьте... дорогой мой... Рай! Да вот он, ваш рай, у меня на коленях! — взмахом надушенной руки повелела она. — Идите. Вы заслужили не будущий — нынешний рай. Идите, я приказываю!»

«Приказываете? Савинкову никто не может приказывать», — сказал напоследок он и вот тогда-то хлопнул дверью. Все!

Но ведь не спалось. Сейчас ни Патина, ни даже Клепикова не было рядом — он уехал по тем же делам в Ярославль, — и не с кем было на сон грядущий поговорить... и снова выпить коньячку, чего уж там, если при всей скудости нынешней жизни находился этот благословенный утешитель.

Квартира была на втором этаже, и старый вяз, уцелевший бог знает с каких времен, на фоне луны чертил ветками... нечто вроде тюремной решетки... Ну, каналья! И хоть Савинков на себе лично только дважды и примерял эти решетки — в петербургской студенческой молодости да в Севастополе, перед неизбежным военнопольным расстрелом, — но его неприятно передернуло. Тюрьму он не любил, да и кто ее может любить? Однако она как-то тихо и благостно входила в его ночную, затемненную жизнь. При всей любви к согревающему кровь коньяку, он никогда не упивался, да и сейчас — так разве, для утешения души. Нет, дело не в коньяке. Усталость? Да, он целый день тенью подзаборной, несчастный грим-старик, шатался по Москве, проверяя свои тревожные ощущения. Да, он пару раз чуть не влип, как глупый студент, уж совал, будто кукожась от дождя, руки в прорезные карманы своего истертого почтмейстерского пальто и был как загнанный волк. Знать не знали настигавшие его охотнички, кто он на самом деле, но чуяли крупную добычу. А почему? А потому, что незачем какому-то почтарику несколько дней подряд отираться вблизи Кремля — это место не для почтарей и не для бродяг. Дожди в окрестные подворотни гонят?..

«Дождит, товарищи красноармейцы, прямо спасу нет, аж руки коченеют...»

«Руки? Ну-ко покажи!»

А ведь показать их можно только вместе с рукоятками браунинга да нагана. Ленивые оказались красные армейцы, мокрыми плечами передернули, вспоминая или оправдываясь между собой: «Дожди везде, вот хоть Рыбинск или Ярославль взять, я вчера только оттудова... из сволочных тех мест... кому-то из начальства на Волге вздумалось искать Савинкова...»

За такую подсказку можно и похвалить красных армейцев. Каки-е дожди? Кака-ая для вас Волга? Волга не для вас, молокососы. Для таких, как Савинков, которого вы и днем, при молодых ваших глазах, не рассмотрели. Придет время — увидите! Сейчас все тайно и мрачно, уже без его вмещательства, движется к великой русской реке;

последняя неделя и для него самого — для встреч с кремлевскими бонзами, для сведения последних счетов... Но он знает, что счета эти сейчас не свести; как ни кружил вокруг Кремля бесстрашный Флегонт Клепиков, ничего у него не вышло; как ни подвизается, все через ту же Любовь Ефимовну, хитромудрый Деренталь, послы и консулы не очень-то хотят следить лакированными штиблетами по российской грязи. Напрасно ругался Савинков; напрасно и сам круги сужал вокруг Кремля. Не старые царские времена! В легких каретах и без конвоя кремлевские бонзы не ездят; их не взять пулеметами, не только что браунингами. Видел он один раз выезд Бронштейна — хоть и в машине, но под прикрытием двух броневиков и кавалеристов; видел более скромный кортеж Ульянова; но тоже — застынь в трехстах метрах и не подходи! Разве что на каком-нибудь митинге... Но с такими приметными, даже через грим, физиономиями на митинги не ходят. Уж не довериться ли сумасшедшей Фани Каплан?..

Она несколько раз внезапно наскокивала на него... прежняя эсеровская фурия, не доверявшая никому и ничему, кроме нагана. Но ведь и он, Савинков, никому не доверял. Если глаз не положишь на женщину — как положишься на ее наган? Право, казалось, в своей бешеной ненависти она и его самого может пристрелить. «Нет, Фани, такие бабы не для меня», — чуть не высказал ей открыто, пряча усмешку, как и собственный браунинг, под сукнецо почтмейстерского пальтишка. Подбородок — в захристанный воротник, а руки — в обтрепанные карманы, — извини, Фани, подумать надо.

В этот поздний час совсем ему вздорная мысль пришла: «А если бы на месте Фани оказалась Люба?! Что бы он ей ответил?..»

Другое. Совсем другое.

Но Люба — не Фани, хотя разговор с ней тоже ничемный, странный... с Любовью про любовь... не прибавлял настроения. Все заметнее и жестче царапались ветки в окно; жуткие ветки, сплетающиеся в такой знакомый тюремный квадрат... Господи, но при чем здесь тюрьма?!

Наяву ли, во сне ли — но он уже был в тюрьме, вроде как добровольно туда пришел, и все спрашивал себя: «Так это на самом деле?..»

Кто ему мог ответить?

Разве что он сам. Пусть во сне, пускай и наяву — но сам Борис Савинков, человек все-таки не от мира сего, сколько ни рассказывай о нем, хоть Чека, хоть приятели, самых ужасных и глупых сказок. Все пустое, господда-товарищи. Все это бред ваших собственных, ореволюционившихся мозгов. Разве в грязном, продажном мире возможна такая тюрьма?!

IX

СОН О ВЕЩЕЙ ЛЮБВИ

В самом деле, странная ему приснилась тюрьма!

Стены, конечно, каменные, но камень ощущался не более, чем в любом другом доме; гладкая штукатурка была окрашена нежным салатовым цветом и прокатана самым прекрасодушным маляром — чуть-чуть выделяющимися лавровыми листьями, погуще основного тона и посочнее. Лавр? Он одинаково хорош и в торжественном венке, и в пресловутом борще... Савинков на минуту смутился от этого противопоставления и, не доев, резко отодвинул тарелку. Ничего особенного: какой-то расторопный официант в военной гимнастерке и в белом переднике во всю грудь сейчас же и унес бесшумно тарелку. Савинков закурил сигару — да, у него под рукой оказались и любимые сигары — и, не сходя со стула, прикрыл глаза. Глаза лучше и дальше видят, когда их не слепит свет вечно горящей лампы. Сквозь плотную решетку ресниц сейчас же предстал торжественный венец с праздничной широченной лентой и золотой надписью: «НАШЕМУ УВАЖАЕМОМУ И ВСЕМИ ЛЮБИМОМУ СОВЕТСКОМУ ТЕРРОРИСТУ». Не хватало, правда, в конце восклицательного знака, но, впрочем, и так хорошо. Кто-то ласковый и невидимый, как истинный ангел во плоти, вздел ему на левое плечо давно заслуженный — чего уж там! — венец, а сам скромно уда-

лился, да что там, испарился, исчез в каменной, нежно окрашенной стене. Ангелы, они везде насквозь пройдут. Савинков знал это еще по севастопольской тюрьме; оставалось ему до расстрела — или даже петли? — день другой, не более, потому что военно-полевые суды скоры на руку, но вот явился же ангел в образе Василия Сулятицкого, прямо из каменной стены, для подстраховки сунул в руку револьвер... и повел через все посты и кордоны несокрушимой севастопольской твердыни, одно наказав: «Если остановят, в солдат не стрелять, а в офицеров можно, ну... и в себя, если не выйдем». Но ведь вышли же, вылезли из каменного мешка... в город, на его окраины, к морю, мимо сторожевых кораблей, в Румынию, в прекраснейшую Румынию. Жаль, повесили потом Сулятицкого, а то бы он и сюда пришел, прямо к этой роскошной широченной кровати, истинно ангельским голосом приказал бы: «Встать, генерал! Рыжий Конь не затопчет, Бледный Конь не возьмет — вынесет к победе Конь Вороной!»

Но не он же, конь победный, перенес его от стола к этому умопомрачительному креслу? Ну да, кто в лавровом венце, тому и кресло полагается царское. Савинков покойно и благодушно вытянул ноги.

Лавровые листья щекотали шею, но он не снимал венца — как можно, если к нему с таким уважением! Сидя в покойном и мягком кресле и при таком хорошем венце он осматривал свое новое жилище; да, у Деренталей хорошо, но здесь все-таки лучше. Приемный зал, не иначе. Но ведь он и в самом деле кого-то ожидал. Собственно, для того и стены заново окрашивали, и мебель мягкую приносили, и ковры, и даже кровать двуспальную, широченную... «Получше, чем в спальне у Деренталей», — самодовольно подумалось. Но устроители этой полугостиной-полуспальни знали, с кого брать пример! Деренталей любили поваляться под день грядущий; утром их буди не буди — кулаками стучи в дверь. Он не на шутку сердился, видя такое разгильдяйство, а сейчас про себя отметил: хорошо. Еще бы — плохо. Савинков ни на минуту не забывал, что он в тюрьме, где-то в самом центре

Москвы, но все это разве походило на тюрьму? Большая роскошная комната, застланная специально затребованным сюда ковром, — разве назовешь ее камерой? Камеры — это было в студенческие годы, в Петербурге, еще где-то, последний раз — камера смертника, узкий, затхлый мешок в севастопольской крепости. Нет, толк в камерах он понимает, знает что по чем; чем ценнее ее содержимое, тем меньше, глуше сама она — вот в чем главная суть.

Здесьние хозяева — или личные слуги, может, и адъютанты? — устраивали жизнь всем правилам наперекор. И уж за ценой-то явно не стояли. Такие хорошие адъютанты, в такой хорошей военной форме, маленько, правда, подпорченной ошлепистой красной звездой. Но ведь что ни попроси — исполнят с истинно ангельской быстротой. Живи и наслаждайся, растерявший свою молодость в скитаниях, несокрушимый русский террорист! Вот последний русский император, загнанный куда-то в Сибирь, могли наслаждаться такой, с позволения сказать, камерой? Савинков улыбнулся вдруг помягченными губами: неискоренимый социалист становится монархистом?.. Наверно, тюрьма равняет императора и его бомбометателя... да хоть и самого красного палача Дзержинского с белым палачом Савинковым... Кажется, он уже и с Дзержинским разговаривал, именно на это сравнение и упирал. Чего удивительного: красный палач — поляк, белый палач всю молодость тоже в Варшаве провел, извольте быть земляками. А как же! Истинно по-землячески друг Феликс и приказал своим нукерам: «Соз-дать все условия для друга Бор-риса!»

Вот когда явились эти роскошные апартаменты с коврами, мягкими креслами, письменным столом, а главное, с такой вот восхитительной двуспальной кроватью. Он, сидя в кресле, и не размыкая глаз видел ее. Одно смущало: если кровать двуспальная, так должен быть кто-то и второй? Надел ему венок, а сам — сквозь стену, истинно ангел?..

Он не успел додумать эту мысль, как все разрешилось быстро и просто. Дверь отворилась — не стена, а именно

дверь, — и вошла Любовь Ефимовна в малиновом, увитом розами халатике. Ее почему-то сопровождал очень бравый красноармеец с такой же бравой, сверкающей звездой на фуражке. Савинков не успел и удивиться; красный армеец кивнул ему, улыбнулся широко, поощрительно и тут же ретировался в эту железно... почему-то железно грохнувшую дверь. После того совершенно ненужного грохота и пришло удивление:

— Люба?..

— Да, — сбросила она легкие белые туфельки и села ему на колени. — Ты соскучился?

— Я соскучился. Но, однако ж, как мы здесь оказались? Что, Феликс, друг варшавский, руки нам, как поп, соединил?

— Потом, потом, милый... А сейчас давай кутить! Ты хорошо обследовал свой буфет?

— Да нет, я вот без тебя лавровым венком занимался... куда он только запропал?..

Венка в самом деле не было, словно он на каких-то воздушных сорвался с плеча. Но это не разочаровало сейчас, с приходом такой очаровательной гостьи. Тем более что и она охотно подтвердила:

— Лавровый венок — будет. Ты давно заслужил его, милый.

— Заслужил.

— Вот видишь, сам признаешь. А потому давай-ка жить... пока живется! За все проклятые годы сразу! Хоть у кумы, хоть у тюрьмы... Ну? Не узнаю тебя, Боренька... Шампанского!

Спустив ее с коленей, Савинков радостно побежал к буфету — в самом деле, здесь и буфет оказался, полный вина и закусок. Его особенно умилили бокалы — узкий холодный, как лед, хрусталь, который и царскую душу в далекой Сибири мог бы повеселить... Но, впрочем, чего это цари на уме — царь-государь сидит где-то в сибирской тюрьме, в настоящей тюрьме, и уж ему-то едва ли подадут такие бокалы. Савинков хлопнул пробкой.

— Люба!

— Да, Боря?

— Мы будем пить или не будем?..

Их руки, отяжеленные бокалами, тянулись и тянулись навстречу друг другу — минуту ли, две ли, час ли, день ли... не год ли... не пять, не семь долгих лет?! — и никак не могли соединиться, сделать самое простое и обычное: чокнуться и разменяться бокалами, для вящей дружбы, для истинной любви, бесконечной и вечной...

Но почему — семь? Разве вечность чем-то ограничена, да еще всего семью годами?

Он всем напряжением воли стремился к ней навстречу, в конце концов посаженный парижский шафер, он имеет право, да просто обязан... Что — обязан?..

Любить свою подопечную!

Да-да, любить.

А какая же любовь без шампанского? Раз откупорена бутылка и налиты бокалы — надо пить, пить досуха, досыта...

Но рука, твердо державшая бомбу и браунинг, стала противно-ватной, рука не слушалась, рука не хотела идти навстречу другому бокалу, какому-то слишком знойному, почти кроваво-красному... да что там — чьей-то кровушкой наполненному, горяченькой... Поняв это, он мог бы отворотиться, бросить противное усилие — испить такой бокал, но ничего с собой поделывать не мог. Продолжал смешное, даже пакостное дело — требовать, просить, вымаливать совершенно ему не нужное смертное питье!

Дойдя до такой ясности, мысль его должна была дрогнуть, ужаснуться — но нет, не ужаснулась, продолжала кружить в каком-то гибельном круге. Вокруг двух никак не соединяющихся бокалов, вокруг двоих людей, одним из которых был вроде бы он, а другим... Люба или не Люба? Она руку-то тянула к нему навстречу, а сама отдалялась... на минуту, на две, на год... и неужели на все семь лет?! Он ничего не мог поделывать с этим самоотстранением. Кроваво-красный бокал удалялся; рука, державшая его, истончалась, вытягивалась... в вечность, ограниченную почему-то семью годами...

Но, видимо, такова вечность. Раз нет другой! Чего ты

хочешь, безумец? Знаешь, кто каждому задает Вечность? Вот именно, Бог.

Ты возомнил себя — выше?..

Х

Савинков проснулся в уютной боковой комнате Деренталей и пошевелил губами, высчитывая:

— Семь лет... К восемнадцати прибавить семь — это, кажется, двадцать пять... От двадцати пяти отнять семь — опять же будет восемнадцать?.. Не верю! Я не верю ни в какие сны.

— Даже в мои? — вышла из своей комнаты в легком малиновом, увитом розами халатике воздушная Любовь Ефимовна.

Он смотрел на нее, как бы не узнавая. Халат... но ведь халат был все тот же!

— Какой нынче год?.. Если к восемнадцати прибавить семь... если от двадцати пяти отнять все те же семь?!

Любовь Ефимовна смотрела на него расширившими-ся глазами:

— Борис Викторович! Что с вами?..

Халат своими семилетней будущности розами опаживал ему лицо, халат мог действительно свести его на грань безумия, а он, всякой логике вопреки, стал яснеть головой и, отстраняясь, совсем уж определенно сказал:

— Знаете, Любовь Ефимовна, странный... вещей... сон мне приснился. Я увидел, я совершенно ясно узрел, что будет со мной... да и с вами тоже... через семь, представьте, через семь невообразимых лет! Так где же сон, а где явь?

— Сны проходят, дорогой Борис Викторович, явь остается, — опаживала она ему лицо халатом, сверху жарким и душным, как прогретая московская улица, а внутри чистым и прохладным, и не оставалось ничего другого — просто спрятать голову в его глубокую, щекоющую ноздри тень...

Он посчитал за нужное посмеяться:

— Разве что Саши нам сейчас и не хватает!

— Сапу раным-рано вызвали по телефону в посольство, — прикрыла она этот глупый вопрос своим розовым опаживалом.

Савинков видел, что ночной сон повторяется, и уж теперь-то наяву...

Но дневным снам не суждено было сбыться.

Без звонка, без стука влетел с улицы Деренталь и сдавленным голосом закричал:

— Консул меня по-дружески предупредил: Чека дозналась, что вы у нас квартируете. Не бойтесь! — вскричал он, совершенно не замечая, в каком положении и в каком одеянии находится жена. — В квартиру, арендованную французским посольством, они не ворвутся, но за порогом... за порогом вас сразу же схватят, Борис Викторович. Выход?!

Савинков не замечал, что уже машинально оделся и расковыряет по карманам все свои липовые документы, сует за брючный ремень старый, неизменный браунинг и в прорехи почтмейстерского пальто — по нагану, по хорошему военному нагану. Через пять минут его было уже не узнать: стоял перед растерзанной кроватью старенький почтмейстерик, с седенькой бородкой, в картузике и высоких, стоптанных сапогах, в голенища засовывал целыми пачками патроны и деньги, деньги и опять патроны — все, что нужно дорожному московскому человеку.

Тем временем и Любовь Ефимовна, метнувшаяся было в свою спальню, выскочила обратно уже одетая, с мотком крепкой, не распечатанной еще бечевы:

— Как хорошо, что мы часто переезжаем с места на место! Как без такой бечевки паковать вещи? Сгодится, Борис Викторович?

Он распахнул заднее, выходящее во двор окно — еще раньше все вокруг обследовал, — и уже прицельно прищурил глаз:

— Сгодится, Любовь Ефимовна. Единственное — найдите что-нибудь тяжелое, да хоть маленький утюжок... да, тот самый, которыми кружева гладите.

Все он здесь знал, а Любовь Ефимовна с первого слова его понимала. Утюжок так утюжок.

Он привязал к его ручке конец бечевы, сделал хорошую, узлом затянутую петлю, в левую руку взял порядочный роспуск шнура и с подоконника, широко размахнувшись, метнул утюжок за каменный оголовок соседнего балкона.

— Привяжите за радиатор, а как пройду — отвяжите. И — прощайте, друзья. Кому следует — передайте: еду в Рыбинск. Адью!

Любовь Ефимовна покачала головой: ах, баловник, он еще может в такое время шутить!..

Но Савинков уже был на соседнем балконе и выбирал оставленный конец бечевы. Снова привязал. Снова проделал такой же бросок, к следующему балкону... еще и еще, не имея возможности отвязывать задний конец, попросту обрезал его, пока бечева, на пятом броске, совсем не кончилась. Но это было уже почти на другом конце дома. С пятого балкона Савинков по водосточной трубе спустился в безопасный угол двора и успел еще помахать рукой двум зависшим в дальнем теперь уже окне головам, прежде чем увидел: с того конца из-за дома бегут кожаные, репительные распахнутые тужурки, чтобы закрыть черный выход...

— Опоздали, друзья, — без всякой злости сказал Савинков, пряча поглубже за ремень вытащенный было браунинг.

Теперь оставалось простое дело: найти своих железнодорожников и, скинув уже примелькавшуюся почтарскую одежду, переодеться во все железнодорожное.

Прощай — Москва.

Здравствуй — Рыбинск!

За Ярославль он не беспокоился: там полковник Перхуров, там все основные силы; Рыбинск приходилось брать силами малыми, внезапно и оглушительно. Чего особенного — где свалены целые горы снарядов, там можно ожидать любого бикфордова дымка, а дыма без огня не бывает, а огня без порохового грохота — и подавно.

Не так ли, заскучавшие, поди, без дела господ офицеры?



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ К ОРУЖИЮ, ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ!

I



о приезде в Рыбинск их ждал связной. Личность серенькая, неприметная и ничего о себе не помышляющая. Для связного, пожалуй, удачная. Он и заявился-то как с Волги ветер, вскоре после переправы, а переправлялись они с Гордием, чтобы не утруждать заречного Егория, прямым путем, наперерез от Слипа. Егорий, не ставя лодку на причал, сейчас же развернулся в обратную сторону, а они поднялись в гору, к редким здесь, на окраине, домишкам Рыбной слободки. Нищета да розвалье, не только кур — собак-то не виднелось. Кой-где копались по огородам бабы да бродил по пыли какой-то чумной дедок, выспрашивая: «Будут Волгу поджигать, ти нет?..» Вот как от дедка отвязались, связной пристал к ним — вначале случайной тенью, а потом и говорящей, мол, не спешите, дело есть. Когда приостановились, короткой пробежкой подбежал этаким затрапезный мастеровой и подал помятую, но все же чистую четвертушку старой почтовой бумаги; там было написано: «Этот человек проводит вас в Ярославль. Готовьте и ярославские берега. Блед Конь».

В почерке нельзя было ошибиться, почерк Патин хорошо знал, но Гордий, которому, собственно, и про-

тянул записку незнакомец, как-то равнодушно позевал:

— А-а, ладно. Подумаем. Торговые дела мои неважные... Знаешь что, друг любезный? — круто обернулся к нему, наступив Патину на сапог. — Через пару часов? На этом самом месте? Пожрать бы надо, до кумы тут сбегает...

Дело было на Низовой улице, уже на выезде к Ярославлю; место открытое, для разговоров неподручное, это верно. Истинно, зачуханная, опустелая по нынешним временам слободка — в отличие от главной Рыбной слободы, из которой в достославные екатерининские времена и вырос город. Мало Гордий, так и Патин, по привыкнув к нынешнему Рыбинску, предпочитал более людные улицы — там пестрая толчея, там работный и всякий другой люд, — а здесь человек в паровозном или речном картузе, как на них-то было, что спиш на голом месте. Он взглянул на Гордия. Тот повелительно кивнул и, не оглядываясь, кавалерийской иноходью поспешил к центру города, все время меняя направление. Патин вначале с непониманием, потом и с удивлением дернул за рукав:

— Опаска нужна, но все-таки?..

— Не опаска — уже наживка. Ключем ли?

По пути к центру нельзя было миновать Черёму — речку в глухом, поросшем черемухой овраге. Как раз крутой поворот, мосток. Гордий туда, под него, и по оврагу, по оврагу к тому месту, откуда и заходили. А кто миновал мосток, тот уже попадал на настоящие городские улицы. Считаю, терялся.

— Не стоило бы тебе говорить... сам знаешь, больше трех нас не должно собираться в одном месте, — поспешно извинился он, пристраиваясь на склоне оврага, откуда все было видно. — Значит, пойдим мы в Ярославль, нас уже как минимум четверо будет, с ярославскими-то еще связными. Да и в записке не все ладно. Не заметил? Плохо. В подписи должно быть: «Блед К.». И — только. Никаких «коней»! Значит, понаслышке или по какому-то перехвату.

— А почерк?

— Фи-и! На Сухаревке любой почерк, если по хорошему образцу, тебе сварганят. Да и бумага слишком назойлива, хоть и нарочито помята. Не такой дурак Савинков, чтобы выводить свою каллиграфию на прежней царской бумаге... Гляди!

Через мост торопливо, настороженно поспешали трое, в одном из которых без труда узнавался и тихий московский вестник.

— Да, но чего нас сразу не загребли?

— Пожалуй, следок им нужен. Ярославский!

— Так что будем делать?

— Разделимся надвое. Как я думаю, тебя-то они и не ждали, и знать не знают, уж так вышло, а я, как окунишко, на подсечке. Значит, ты сейчас же и валяй в Ярославль. Я помотаю их здесь — и тоже за тобой. Видимо, на пару с этим тихим приятелем...

— Схватят тебя!

— Не схватят до Ярославля. Говорю же — им нужен след... Да и потом, чего хорошего, если вместо одного — сразу двоих? Не упрямясь, Патин. С Богом.

Он перекрестил его и по склону оврага выбрался на улицу. Быстрехонько за теми троими, которые не могли же за пару минут далеко уйти...

Патин сумрачно покачал головой, но тоже решил: Ярославль так Ярославль. Все житейское было при нем: документы, разумеется, поддельные, деньги, разумеется, ходовые, царские, а славные такие австрийские сапоги с тайниками он и снимал-то только на ночь, да и то не всегда. Сапожки нарочно были подзамурзаны всякой дрянью, не позаришься. Значит, вперед, сапожки!

Оставалось кружным путем добраться до большой ярославской дороги и там нанять какого-нибудь попутного извозчика. Хоть до Створа — очень узкой и бурной теснины, хоть до Романова — с его известными на всю Россию романовскими полшубками. Дальше можно пароходом, поездом или чем попало. Недалеко оставалось.

В Ярославле все было спокойно.

Адрес поручика Ягужина знал. В Москве еще условились. Из одной и той же повязанной тройки. Да и однополчане. Да и тезки. Да и земляки почти что — Ягужин был родом из-под Романова. Собственно, Савинков управлял их в один и тот же день с одним и тем же напутствием: «Никому не доверять, но друг другу — как мне». Само собой разумелось, что им и надлежит установить прямую связь между Рыбинском и Ярославлем. Поэтому Ягужин встретил по-приятельски, с недоумением:

— Ты по невестам шатался, что ли, Патин? Где был?

Патин рассказал, что было за эту неделю, и не скрыл своей тревоги по поводу встречи со вчерашним посланцем. Упомянул, не называя фамилии, и про своего напарника-капитана.

— А не слишком ли вы пугливы, господа офицеры?

— Возможно, но мой кавалерийский капитан...

— ...Гордый.

— Ты знаешь его?.. — задела Патина излишняя осведомленность.

Ягужин подвинул плотнее свой стакан, положил руку на плечо:

— Не обижайся, Патин. Взамен я познакомлю тебя с не менее достойным ярославским аборигеном. Чела-век! — крикнул он забытым фатовским тоном.

Дело происходило уже на пристани, в буфете, — дома у Ягужина поесть ничего не нашлось.

Из-за ширмы, отделявшей столики от скрытой где-то в глубине кухни, заявился все тот же единственный официант, на которого по первому поспешному взгляду Патин и внимания не обратил. А сейчас вздрогнул от какого-то хорошего ощущения при виде этого усатого, подтянутого и опрятного официанта. Тот вышел, утирая руки висящим на поясе полотенцем, уважительно и профессионально выгибаясь в их сторону:

— Чего-с изволите, товарищи?

— Третий стакан, нет, бокал... и-и... настоящего

шампанского вместо этой дряни! — демонстративно оттолкнул Ягужин доморощенный ярославский портвейн.

Уже чувствуя, чем все это обернется. Патин с интересом наблюдал за официантом. Признать он его никак не мог, но выходило — свой человек.

Официант пропадавал за ширмой недолго — вышел с завернутой в газету бутылкой и с тремя бокалами. Тот же поклон:

— Товарищи пролетарии изволят «Дюрсо»?

Ягужин, вставая, приобнял его:

— К черту маскарады! Тут нет никого, Борис Викторович.

— Как нет, а мы? — расхохотался Патин.

Они пожали друг другу руки, поглядели глаза в глаза, и новоявленный официант заторопился:

— Патин, сейчас придет рабочий люд, после поговорим. — Он хлопнул пробкой. — У меня настоящие пролетарии обедают... у-у, какие большие начальники! Ладно. В Волгу их. За братство фронтовое!

— ...за Россию!..

— ...и Свободу!..

Бокалы сдвинули стоя, словно чувствовали, что повторить не придется. Верно, на дощатых сходнях, ведущих к дебаркадеру, загрохали уверенные кованые каблучки.

Официант схватил бокалы и недопитую бутылку:

— Нельзя, чтоб товарищи-пролетарии пили «Дюрсо». Пролетарии должны пить доморощенный портвейн, а того лучше — ерофеевку.

За то время, пока грохали по сходням кованые каблучки, он успел и с шампанским убраться, и с новым подносом явиться, на котором позвякивали граненые стаканы и сиротливо жалась на обшарпанной тарелке обсыпанная лучком селедка.

— Кушайте, товарищи слесаря, — вместе со скрипом двери напутствовал он своих друзей. — Сейчас будет готов и борщ флотский, по кронштадтскому рецепту... Вот и сами кронштадтцы! — поставив поднос, поспешил он навстречу новым посетителям.

Их было четверо, все, как на подбор, матросики, с тяжеленными маузерами и лихо заломленными бескозырками. Можно сказать — молодцы, если бы не выговор, явно не русский... то ли немецкий, то ли балтийский! Уже зная, что к чему в нынешней России, и это смекнул Патин.

Матросы уверенно, не снимая бескозырок, уселись за столик у окна, которое предупредительно распахнул на Волгу Савинков, снова ставший услужливым и тихим официантом. Заговорили матросы почти сразу в четыре голоса:

— Как всегда... Да, борщ по-флотски. Да, с буксиром. Да, с селедочкой... как у товарищей рабочих.

И так дружески, приятельски оглядели соседний столик, что Ягужин, как только там явилось все, что нужно, — а явилось в мгновение ока, — сейчас же привстал и косноязычно провозгласил:

— Пролетарии трудящиеся, можно сказать, по обеденному времени отдыхая, под флотский доблестный борщ... для поднятия сил трудовых... за боевые заслуги балтийских пролетариев, можно сказать, с самой «Авроры»!..

Тут не вставали — просто руки от столика к столику протянули, захлеб сразу же пошло, под крепкое мужское чавканье, под хохоток. Веселые матросики попались, не стеснялись в выражениях.

— Под Питергоф... да, под Питергоф... мы взяли штурмом, как это... бардачок!.. — начинал один, не заканчивая, зная, что его поймут с полуслова.

— Что Питергоф — в самом Питере! — весело работая крепкими челюстями, перебивал другой. — Дамский батальон, доннер веттер... дрюттер-муттер!

— Не стреляйте... пока не стреляйте... для себя поберегите! — кричит командир Петерс. — С живота допрос снимайте... общепролетарский!..

— Что Питер! — не терпелось и третьему. — Здесь не дрюттер-муттер — здесь дочка губернаторская... Маман, говорит, не нужен мне твой плюгавый адъютант, лучше братья-товарищи... Для обновления гнилой дворянской крови, маман!

Патин непроизвольно полез правой рукой в сапог; Ягужин под пиджаком схватился за сердце. Матросики заметили это и сочувственно спросили:

— Что, товарищ, утомился на трудящемся фронте?

— Утомился, — с болью в лице снял руку Ягужин. — Две смены подряд, ремонтируем буржуйские паровозы...

— Э, товарищ! — назидательно заметили. — Теперь они наши.

— Наши, — согласился Ягужин. — Значит, продолжаем смену. Честь героям!

— Честь труду! — уважительно, уже подвыпивши, напутствовали их, так и не дождавшихся борщика.

Официант предупредительно вышел из-за ширмы, правую руку держа под фартуком. Бог знает, чем это все могло кончиться.

Поговорить так и не удалось — рабочий и матросский люд все подходил и подходил. Они просто похвалили, кивнув официанту:

— Хорош борщик!

— Можно сказать, питательный.

Уже на улице, далеко от пристани, Патин признался:

— Я бы на месте Савинкова дня не проработал. Укокал бы!

— Потому ты, дорогой поручик Патин, и не на его месте, а на своем, — назидательно и больше для себя заметил Ягужин. — Не надо слишком поспешно опускать руку в сапог...

— ...и хвататься за сердце... Оно еще послужит России.

Посмеялись, но невесело. Ясно, что выдержки не хватало.

Договорились разойтись в разные стороны вдоль Волги, а вечером встретиться на пристани. Авось и Савинков освободится — поговорить-то о многом надо. Лучше — с ночевкой...

Ягужину досталась нижняя Волга, Патину верхняя. Подумав, даже обменялись фуражками: Патин отдал свою речную, а нахлобучил деповскую, с явными мазут-

ными пятнами и прожогами. Так лучше получалось: не шла к его круглой простецкой физиономии хоть и старенькая, но боцманская или шкиперская фуражка.

В раздражении он отмахал вверх по Волге чуть ли не обратно до Романова. Потом уже сообразил: а что видел, что слышал? Да ничего. Бессильный гнев заливал глаза и уши. Так, мельтешение народа, пароходов, барж, каких-то переселенцев или беженцев, немисливо грязных цыган, неизвестно куда бредущих красноармейских отрядов...

Опять баржи, беженцы, торгующие зеленью бабы, поля уже за последними слободками. Бесстрашно гуляющие на опушке леса коровки, бессмысленная и никого вроде бы не убивающая стрельба за рощицей...

Он тут лишь и очнулся: стреляют... в кого стреляют?

Солдатский дух и погнался навстречу. С полверсты не пробежал, как увидел: пяток красноармейцев из-за трех возов отбиваются от подступавших с топорами крестьян. Стреляли пока поверх голов, а мужиков было много, слишком много, чтобы всерьез отстреливаться даже от безоружных, если не считать вил и топоров в руках. Патин как раз и налетел в тот момент, когда уже метнули в засевших за возами солдатиков одни и другие вилы. Никто не пострадал, но мешки в нескольких местах пропорол, оттуда брызнули белые фонтанчики, все выше и отчетливее. Мука! Мука, по которой плачут только что встретившиеся беженцы...

— Стойте! — промежвил и винтовок вбился Патин. — Я с паровозного депо. Чего муку рассыпаете? Голодных, что ли, мало?

— Да много, много, — закричали из толпы. — Да нам всех не накормить! С мельницы едем, а они вот наскочили да все наше и... конфе...

— Сковали! — поправили слишком уж мудреное слово.

К Патину с доверием, как к своему, и охранники повернулись:

— Товарищ, мы выполняем приказ председателя губисполкома товарища Нахимсона. Пролетарии Ярославля голодают, а на мельнице скопились большие запасы...

— Большие! — закричали из толпы. — По пудуку на семью!

— Свое-то!

— Кровное!..

Выхватив из сапога наган, Патин остановил бесполезный ор:

— Мол-чать! Я тоже уполномоченный по заготовкам. Как держишь винтовку, растяпа? — в сердцах выхватил он ее у одного из стражников, привычным щелчком и вроде как ненароком выбрасывая из ствола патрон. — Ты что, никогда винтовку в руках не держал?

— Никогда, — признался тот. — Я огородник из Романова, меня мобилизовали в Красную Армию три дня назад...

— Мол-чать! — повторил Патин, и со вторым стражником проделывая то же самое. — Опять из царского села Романова? Из Данилова? Неделю уже, говоришь? Пора бы и научиться!

Так он и с третьим, и с четвертым проделал, но пятый, видимо старший, уже сам клацнул затвором:

— Ты чего нас разоружаешь?!

— А того! — рукояткой нагана отшиб его в сторону. — Бросай винтовки, с которыми и обращаться-то не умеете!

Но позади уже опомнились, что-то сообразили — раз за разом щелкнули затворы.

— Не берут меня ваши пули, а? — ногой отшвырнул он выброшенные на землю патроны и вскочил на передний воз. — Слу-ушать мою команду! Все винтовки под ноги... под ноги, говорю! — верным выстрелом сбил он с головы фуражку упрямца. — Со мной шутить не стоит. Следующий выстрел пойдет чуть пониже... Собрать оружие! — кивнул он приглянувшемуся мужику. — Та-ак... Теперь... возы развернуть — и обратно на мельницу!..

— А дальше что? — тот же мужик, что собирал винтовки, и усомнился.

— Если не знаете, что делать со своим хлебом, — тогда отдайте. Отдавайте литовским оглоедам. И вашему Нахимсону. Валяйте!

Из толпы зашумели:

- Ну уж шиш!
- Да еще литовцам!
- Да каким-то Нахимсонам!
- От голодных детишек!..

Возы как ветром сдуло — только грохот колесный пошел. Патин сунул наган обратно в сапог, взял на изготовку одну из винтовок, загоня патрон в патронник, а остальные повесил, вытряхнув магазины, на одного из стражников — старшего, как бы в назидание. Тот поворчал, но повиновался, куда денешься.

— Теперь — стройся по два.

— Так пятеро нас, — старший не прочь был поиздеваться.

— Я шестым, — нашелся Патин. — Шагом ма-арш! За-апевай!

Потопали, куда указал, в сторону нагорного леса, подалее от Волги, следовательно, и от дорог, но с песней никак не ладилось.

— И куда смотрит комиссар!

— Комиссара убили, — сумрачно объяснил старший.

— При таком же грабеже?

— Не при грабеже, а при конфискации излишнего продовольствия в пользу нуждающихся трудящихся.

— Вижу, ты гра-амотный! — начал нервничать Патин. — Остальных я, может, и отпущу, а тебя, может, и шлепну.

— Самого шлепнут. Смотри! — указал старший на отряд красноармейцев, который с извилины дороги как раз выходил на их бугор.

Патин отступил на несколько шагов и уже беспрекословным тоном, щелкнув затвором, приказал:

— За-апевай! Пока меня шлепнут, я всех вас... суки поганые... постреляю. Песню!

И сам, не дожидаясь, грянул:

Смело-о мы в бой поиде-ем

За вла-ась Совето-ов!..

Поравнявшийся с ними отряд тоже подхватил:

И как оди-ин умре-ем

В борьбе-е за э-это!..

Патин отдал честь шагавшему рядом командиру:

— Комиссар Патлов. Выполняем спецзадание председателя губисполкома товарища Нахимсона. А вы куда, товарищи?

— Под Романов ходили, — охотно сквозь песенный рев своего отряда ответил командир. — Контра там продотряд разгромила.

— Ну и как, нашли?

— Нашли... ветра в поле! Видишь — с пустыми руками. Как отчитываться? Ох, не поглядят меня по голове!.. У вас порядок?

— Полный порядок! Передайте товарищу Нахимсону, что мы к вечеру вернемся и доложим об исполнении приказа.

— Помощь не нужна? — уже издали, удаляясь со своим усталым отрядом, обернулся командир.

— Нет, сами справимся, — заверил его Патин, хотя до последней минуты не был в том уверен, потому и клацал затвором, видя, что старший, как бы спотыкаясь, пытается отстать и может броситься под ноги, может вырвать винтовку и крикнуть своим...

Когда опасность миновала, он с одобрением заметил:

— А ты из старых солдат! Неужели рискнул бы?

— Рискнул... кабы ты был из молодых, вроде моих зайчат.

— Вот то-то. Чтоб больше не рисковать — шагом марш через дорогу. Во-он к тому дубку, — указал на одиночное дерево, вокруг которого было пустынно и тихо.

Спорить не стали, зашагали, куда было приказано.

Место оказалось не самое лучшее — слишком уж открытое. Патин боялся, что в лесу преждевременно разбегутся, но и здесь — чистая плешь. Дуб когда-то спалило молнией, место суглинистое, выжженное солнцем и поросшее колючкой. Да и с дороги видна такая орава людей. Он посидел под дубом в сторонке минут пять, покурил, приказав остальным лежать. А дальше что?..

— Пока я не дойду до опушки леса плюс еще десять минут — чтоб лежали тише мышей. Из винтовки я вас и

в полуверсте подшибу. Имейте в виду, — наказал он и, не оглядываясь, хоть холодок пробирал спину, — а вдруг у кого-нибудь пистолет сокрытый есть, — зашагал в сторону леса, нарочно вдаль от Ярославля.

На опушке оглянулся и погрозил винтовкой. Сидели пока. Но знал: как только скроется в кустах, так и побегут. Весь вопрос: в какую сторону?

Он юркнул в кусты, затаился и снова выглянул: так и есть, бегут... за ним следом! «Ну, старшой...» Понял он, что без выстрела не обойтись, присел за пеньком и старательно выцелил. В ногу, как и хотел! Старшой споткнулся и пополз на карачках, что-то крича, может, понукая своих. Но никто больше не тронулся с места. Глухо и покорно залегли в траву. Патин еще раз выстрелил, поверх голов; вот теперь уж долго никто не высунет носа. Обойдя краем опушку леса, он негромко, но так, чтоб слышали настоящие слова, запел:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую!

Старый кадетский гимн, который большевики, как и все остальное, реквизировали для своих нужд и лишь немного переиначили слова, жег душу. Что наделал? Зачем ввязался?.. Во след ему непокорно, хрипло возразили:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!..

Он припустил к старой рыбинской дороге и, не доходя ее, в приметном месте, у большого валуна на краю свалки, закопал винтовки и все припасы к ним. Хорошо, что на свалке тряпье кой-какое оказалось: обернул на всякий случай. Хоть безотказная трехлинейка и не боялась ни дождя, ни грязи, но все же...

III

Вечером Ягужин нетерпеливо переминался возле дебаркадера, а на самом дебаркадере, не подавая виду, торчал и Савинков-рыбак. Сколько ни приучал себя Патин к

таким превращениям, не переставал удивляться умению маскировки. Признай в нем сейчас «Генерала террора»! Да хоть и официанта! Даже голос совершенно другой:

— Опять у невесты пропадал?

— У невесты, — ответил Патин устало. — Привередливая! Пришлось переодеваться... как и вам, я вижу.

— Э, клюет, — только и ответил Савинков, выхватывая рыбеху.

Рыбак что надо, в полном виде. Настоящие рыбацкие штаны, такая же брезентовая куртка, валяный капелюх, закрывавший половину измазанного лица... Тоже помахивая подsunутой ему удочкой, Патин рассказал, что провозился целый день с продотрядовцами и ограбленными мужиками — больше ничего разведать не успел. Савинков недовольно покачал головой:

— Плохо, поручик. Лицо приметили?

— Вероятно, да. Но камуфляж? Я был вполне свойский пролетарий, а сейчас ведь тоже рыбак, — потряс и своей затрапезной брезентухой.

Больше на эту тему не говорили. У Ягужина были главные вести.

— Думаете, чем занимаются балтийские матросики? — не без удовольствия, что вот такую весть принес, поправил он подаренную Патиным шкиперскую фуражку, на которой за этот день и краб большущий вызверился. — Артиллерию в Рыбинск переправляют! — И, переждав удивление Патина, — для Савинкова это не было новостью, — продолжал уже спокойнее: — Этот Нахимсон, именем которого отбивался Патин, неслучайно переброшен в Ярославль. Он был комиссаром 12-й армии, штаб ее сейчас с севера тоже переведен сюда, в Рыбинск. Теперь он сразу два города в руках держит. В Ярославле — губернская власть, в Рыбинске — военная. Все — под Нахимсоном. Здесь он только второй день, но уже распоряжается как красивый губернатор.

— Ключе-ет! — дал ему немного передохнуть Савинков, отчасти и потому, что проходили мимо какие-то незнакомые люди.

Переждали, и Ягужин дальше продолжил:

— К одному из доков подходит железнодорожная ветка. Там разгружаются все приплывающие снизу баржи. Разгрузка идет ночью, только ночью. Полевые пушки. Гаубицы, даже осадная артиллерия. Везут с Урала, с Нижнего, в Ярославле кое-что клепают — не суть важно. Другое! Почему в Рыбинск и почему именно артиллерию?..

Под взмах удочки Савинков ответил:

— Рыбинск близко, под боком у Москвы и Питера, и в то же время вроде как в стороне. Малоприметен. А в Ярославле хорошие подъездные пути ко всем городам. Большевики за Вологду и за Архангельск боятся. А что в Архангельске?

Ягужин еще не остыл от своей же собственной вести:

— Союзнички наши сонные... дай им Бог проснуться поскорее!

Савинков опять перебил его:

— Англичане, кажется, понимают нас. На Двине, как на Темзе, обживают. Для чего? Чтоб к Москве идти. Большевики не могут доверять таким проходным городам, как Вологда и Ярославль. А между тем ни одна уральская пушка не минует этих городов. Значит, вплавь по Каме, может, и по Белой, и по Вятке — сюда. Есть у пархатого Бронштейна голова на плечах? Есть, господа, отдайте ему должное.

От освещенного дебаркадера они уже порядочно отошли вниз по Волге, но Савинков привычно огляделся вокруг. И только после того кивнул Ягужину: продолжай.

— Да, цель у Бронштейна, а следовательно, и у брошенного на усиление губернии Нахимсона очевидная: создать в Рыбинске арсенал. Пока запасают артиллерию, но верные люди говорят: в самое ближайшее время пойдут и винтовки, и пулеметы, и прочее. Чуют прохвосты: нажму-ут союзнички с севера, нажму-ут! А мы что? Отсиживаться будем?

Ответ был настолько очевиден, что Савинков, расположившийся на удобном рыбацком ящичке-стульчаке, привстал с него и фатовским шепотом, как раньше Ягужин, позвал:

— Чела-век!.. Шампанского.

Он открыл крышку и достал все, что нужно: обернутую бумагой бутылку и три хрустальных — и на ощупь нельзя было ошибиться! — высоких бокала, которые благородным холодком обожгли пальцы.

— Если б вы знали, господа, как и в три дня осточертело быть официантом... но — надо. Где столько наслаждаешься от любимых матросиков? — привычно хлопнул он пробкой. — Так что потерпим еще пару деньков. За боевое братство...

— ...за Россию...

— ...и Свободу!..

Тут им, в отличие от буфета, никто не мешал. Они долго и не торопясь, сидя в покачивающейся лодке, распивали бутылку, почти ни о чем больше не говоря. К чему слова? Перед ними несла свои ночные воды великая русская река, призывая к суровому, сдержанному молчанию, какой была и сама в это время. Собиралась, кажется, гроза, зависали тяжелые тучи, но еще проблескивала сквозь них луна и освещала все настороженным, зловещим светом: и небо, и воды, и пустынный берег рано затаившегося города. Когда это бывало, чтоб разгульный Ярославль укладывался на боковую раньше полуночи? А вот улегся же еще загодя и чего-то ждал. Верно, поглядывая на родимую Волгу, как вот и они, трое русских офицеров, одетых черт знает во что, с надеждой и крепнущей злостью глядели — и не могли наглядеться. Погромыхивало в небе. Проходили какие-то затемненные суда, без всяких, что называется, правил навигации. Подумаешь, если чокнутся носами! Целые народы, государства, города сшибаются в дикой и несуразной неразберихе — кто будет разбираться с какой-то шаландой... В крошечной тьме пыхтели пароходы, и только при особо яркой вспышке молнии вдруг выверилось на рыбаков жерло ничем не прикрытой пушки. Подтверждение слов Ягужина или обычная предосторожность? Самые мирные грузы, даже мука, идут в сопровождении пушек и пулеметов, что ж тут удивительного. Да и пропала, мелькнув на фоне освинцовевшей реки, плавучая пушка. Вновь тишина, ни скрипа, ни грома. Сиди, человек, смотри в гла-

за надвигающейся грозой — и шевели своими мозгами, как вот и река пошевеливает волнами. Немая, бессловесная? Но ведь сам-то человек словесен — о чем он думает, глядя на Волгу? Вот каждый из троих? Если Ягужин из своего Романова с детства видел Волгу, если Патин и с Шексны ее обнимал взглядом, так что же Савинков?.. Родился в Харькове, детство провел в Варшаве, по Волге только бегал от шпииков и жандармов. Но вот поди ж ты: болезненнее других воспринимал все здесь происходящее. Ничего, конечно, не было сказано — не хватало еще огаревских клятв! — но Патин и сквозь прохладный бокал, когда они чокались, слышал неукротимый ток крови этого человека. Что-то роковое писала природа и в темноте на неподвижном лице Савинкова. Патин не спрашивал, но догадывался: крепко, смертно задумывается он над всем происходящим в Рыбинске и Ярославле! Неужели тревога?.. Неужели неуверенность?!

Словно подслушав его тайные мысли, Савинков аккуратно составил бокалы обратно в рыбацкий ранец, пустую бутылку так же аккуратно, чтоб не гремела в качающейся лодке, отбросил в песок и сам решительно прыгнул туда же.

— Господа, прошу не обижаться. Сейчас мы поднимемся в город и пройдем мимо одного освещенного окна... Есть возражения?

Патин и Ягужин без всякого ответа последовали за ним. Песок скрипел под ногами все тише и тише — от пещаного размыва они поднялись по травянистому откосу и оказались на улице, небольшой, но хорошо застроенной и чистой. Судя по всему, купеческая улица средней руки. То молния проблескивала, то луна, вырываясь из туч, подсвечивала; чувствовалось, что здесь живут — и еще не вымерли — люди. А кроме небесной подсветки — нигде ни единого огонька. Все затаилось, большинство окон и ставнями закрыто. Спутники Савинкова — он и в темноте это ощущал — переглянулись.

— Не спешите, господа, — попросил.

И верно, вдруг справа совершенно неожиданно вспыхнуло широкое окно, чуть-чуть пристукнула ка-

митка, и к ним вплотную, как бы приплюсываясь, подошел укутанный в брезентовый балахон сторож-дворник. В таком же, как у Савинкова, валяном капелюхе и с тяжелой метлой, черенок которой вполне мог сойти за приличную дубинку. Патину даже показалось: кованый приклад мелькнул под прутьями метлы...

— Граждане-товарищи не дадут закурить? Комитет бедноты наказал сторожить улицу, а ночь-то хоть и летняя, а длинную-ющая!

Курил в это время один Патин — он и вытащил из портсигара папиросу и, когда дворник пригнулся, дал прикурить.

Интересно, передался ли его толчок этому дворнику... с позволения сказать?.. Тот прикурил, несколько раз с удовольствием затянулся, говоря больше для Савинкова, а поглядывая на Патина:

— Благодарствую, граждане-товарищи. Вот пролетарии... а при хорошем барском портсигаре и при хороших московских папиросах... Чего ж, бывает, конфе...скация!.. Никак не привыкну. — Лукавый, быстрый взгляд то на одного, то на другого спутника Савинкова. — Портсигар, он уважение создает. Служил раньше у богатых купцов, знаю. — Кажется, для подсветки так раздувал папиросу. — Ну, бывайте здоровы. Да смотрите, не шалите у меня! — погрозил своей тяжелой метлой и, кажется, рассмеялся.

— Неужели полковник Перхуров в таком камуфляже? — искренне подивился Патин. — Ни в жизнь не догадаешься.

Савинков был доволен.

— Не сам Перхуров — его заместитель. Полковник Гоппер. Тоже латыш, как и Бреде. Вы должны хорошо запомнить этого дворника. Здесь — штаб. Его местопребывание знаем только мы трое. Показал — на всякий случай. Без особой нужды сюда не следите. Перхуров и Гоппер оповещены, где найти Ягужина. Да и я еще пару деньков поработаю официантом... думаете, кто заведует советским буфетом? — Савинков похмыкал. — Вот то-то. Перхуров! Через два дня Ягужин... утопит меня.

Савинков оставался Савинковым — не стал ничего дальше объяснять.

— Утопите, господин поручик?

— В самом лучшем виде, Борис Викторович!

Видимо, об этом еще раньше был разговор.

— Просто уйти с такой работы — нельзя. Заподозрят.

Да и место терять не хочется. Самое лучшее пристанище Перхурову. Наш офицер уопленника заменит. Только погорюйте по-настоящему!

— Даже по граненому стакану с матросиками ослезим! — заверил Ягужин. — Ведь кто-то же нащупывает наши следы? История с рыбинским связным, как мы поняли...

— История скверная. Ко мне подбираются. Я не советую пока убивать связного. Надо узнать, кто стоит за ним.

— Боюсь, что капитан Гордий живым его сюда не довезет, — высказал свои сомнения Патин.

— И я боюсь... уже за самого капитана. Слишком горяч. Но как будет — так будет. Вы, Патин, на каком-нибудь грузовом поезде этой же ночью отправляйтесь обратно в Рыбинск. На помощь капитану. А мы с Ягужиным еще покормим матросиков.

Они попетляли по тихим улочкам, прежде чем подняться еще выше, к железной дороге. И тут ночную тишь разорвал рев неожиданно заработавшего мотора — и выстрелы. Выстрелы, крики, кажется, женские...

— Истинно святая Русь! — пнул Ягужин подвернувшийся камень, тот грохнул в ворота одного из домов, и там ошарашенно взлаяла собака.

— Пору-учик! Это ж не кремль ярославский. Чего так бомбардировать? Бежим!

Под затихающие женские крики автомобиль вырвался на их улочку.

Они едва успели заскочить на какой-то пустырь. Пронесся грузовик с красноармейцами; там явно кого-то били, потому что и сквозь взвоя заходившегося на подъеме мотора слышалось надрывное, тягучее мычание — словно тестюшко поутру похмельно зятюшку уговаривал...

— По колесам, что ли, пострелять?.. — взъярился Ягужин.

— Гранату бы... — поправил Патин.

Савинков отмолчался.

Все понимали, что ради великого дела в уличную перестрелку не вяжутся.

Под эти мысли вдруг так громыкнуло, что лица всех троих фосфорически заблестели. Едва успели заскочить под навес какого-то заброшенного дома, как прынул истинно летний бешеный ливень. Рушились небеса, не иначе.

Дождь перестал так же внезапно, как и начался. Отчетливо высветилось зарево по-над рекой. Что-то горело на заречной стороне.

— Все обговорили? Гордия мы сами встретим. Не держивайтесь, Патин. Дня через три я тоже буду в Рыбинске.

Савинков и Ягужин бесследно исчезли в ночи. Патин выждал минуту-другую и стал выбираться на железнодорожные пути. Не на курьерском же ему было ехать в Рыбинск, стало быть, вокзал ни к чему. Здесь начинался крутой подъем, самое место — дожидаться какого-нибудь попутного грузовоза.

IV

Едва вернувшись из Ярославля, Савинков вызвал Патина к себе на Черёму — через одного нового, неотступно следовавшего за ним корнета. Записка была честь честью: «Блед К.». Но корнета Патин не знал, а потому поостерегся — сказал, что у него срочная встреча, прибудет через час. Корнет хотел возразить, но Патин без долгих слов выпроводил его. Причина горькая... Вчера под мостом у Черёмы был найден капитан Гордий, застреленный одним выстрелом, в упор. Значит, засада. Значит, кто-то что-то про них знает. Много ли, мало ли — не имело значения.

Спровадив корнета, он долго кружил по городу, отводя на всякий случай непрошеного гостя от главной явки.

Зато и Савинков хорош — открывать двери послал все того же корнета! Правда, тот извинился:

— Борис Викторович подвернул ногу, меня попросил сходить к вам.

Савинков лежал на диване и курил сигару.

— Я понимаю, Патин. Мне тоже жаль капитана Гордия. Кто-то выдает. Кто — пока не знаем.

— Трудно поверить, но капитан называл нашего любимого доктора...

— Кира Кирилловича?! Не может быть.

— Я тоже так считаю, но на всякий случай подстраховываюсь. Если иду куда-то к шести, так говорю, что к семи. Наказываю разбудить в пять утра, а сам сплю в тайнике между поленницами — раздвинул маленько дровишки, тюфяк затащил, шикарное ложе устроил. Да и замок на своей двери сменил. Кажется, доктор моих ухищрений не замечает. Что касается вас, Борис Викторович, так я между делом поругиваю: послал, мол, меня в Рыбинск неизвестно зачем, а сам в Москве у своих мадам отсиживается...

— Так и поверю — у мадам! Бьюсь об заклад, вы говорили — у блядей?

— Случалось, Борис Викторович... Не будем этому придавать значения.

— Пока — не будем. Некогда. Дело очень серьезное. Слушайте...

Дело предстояло действительно нешуточное и очень опасное. Вологда! Она у всех была на устах. С некоторых пор тихий заволжский город, где когда-то Савинков вместе с Луначарским отбывал студенческую ссылку, стал такой же точкой на мировой политической карте, как Лондон, Париж или Берлин. С бегством из Петрограда большевистского правительства побежали и посольства... только не в Москву, а в Вологду. Именно там, при попечительстве американского посла Дэвида Фрэнсиса, и собралась вся посольская община: китайская, японская, итальянская и даже французская, которая долго колебалась между Москвой и Вологдой. Осели они весело, прочно и независимо; само собой, центром общения

был старинный деревянный особняк, занятый американцами. Ну, просто особое государство среди развороченной и голодной России. От такой вольной жизни Дэвид Фрэнсис чуть заново не женился — в свои-то шестьдесят восемь! На семнадцатилетней дочери царского генерала! Привольно и независимо жили в Вологде; всему городу известный особняк стал центром поважнее областной Совдепии. Как ни грозил из Москвы Чичерин, послов не смели все-таки тронуть, а ехать в Москву они не желали. В роли же красного посла, от Чичерина и Дзержинского одновременно, пришлось пробираться в Вологду через беспокойное Поволжье самому «товарищу Радеку». На меньший чин нельзя было положиться в разговорах с такой оравой неподвластных послов. Тем более французский посол Жозеф Муланс, «милый Жозе», как сказала бы мадам Деренталь, вообще не отличался почтением к большевикам; в Москве оставил консула Гренара, а сам здесь витийствовал. В местной газете напечатал интервью, где нынешнее правительство издевательски назвал «временно-большевистским» и открыто призвал к его свержению. Ай да посол! Не под влиянием ли бесподобной Любы?! Но сплетничать и злорадоваться было некогда: Савинков в Ярославле, будучи расторопным официантом, узнал от матросов о своеобразном поединке Фрэнсиса и Радека. Тот, разумеется, появился в кожаной комиссарской тужурке и с тяжеленным маузером на боку. Не добившись никакого толку от насмешливого и нахального француза, уже на последнем взводе, со своей матросской пушкой подступил к американцу. Но тот, не вставая из-за стола, щелкнул кнопкой потайного ящичка и положил перед собой добрый американский кольт. С усмешечкой и словами: «Слышал, вы назвали меня ватной накрахмаленной куклой?.. Что ж, попробуем, чья пуля быстрее». Маузер был в руке, а кольт лежал еще на столе, но не стоило обольщаться, какая доля секунды вскинет этот кольт... И Радек бросил свой маузер в скрипучую деревянную кобуру. Утешил лишь обещанием: «Не моя, так другая пуля... все равно достанет тебя, контра!»

— Вот так, мои молодые господа, — уже при корнете закончил Савинков свой краткий рассказ. — Радека нам сейчас не взять, этот палач и трус отпетый, проскользнул где-то мимо Ярославля или Рыбинска и сейчас злорадствует в Кремле. Взамен его едет в Вологду «чрезвычайная тройка». Она не обязана вести дипломатические разговоры, ее задача — «раздать по пуле американцу, французу, а при удаче — и всем остальным». Но мы как никак союзники. Мы чтим государственные договоры. Международное право, которое не позволяет так разговаривать с послами. С юга от генерала Деникина пришла срочная секретная депеша: «Борис Викторович, любимыми путями оградите послов. Иначе нам ни на грош веры». Что должен сделать Савинков?

— Заступить дорогу, — без раздумий ответил Патин.

— Но моя нога? Разучилась прыгать с поездов, особенно ярославских. А пришлось, друг мой Патин... Но — не будем о ноге. Думаю, приезд «тройки» как-то связан и со смертью капитана Гордия. Рыбинск наводнен большевистскими филерами. Ах, нога, проклятье!.. — слишком резко вскочил Савинков.

— Ваша нога пусть остается в Рыбинске. Мои ноги, слава богу, целы.

— Я тоже так думаю... несчастный калека! — улыбнулся озабоченный Савинков. — Но — моя нога все-таки подождет. — Он решительно встал с дивана и притопнул. — Одних я вас пустить не могу, даже на пару с корнетом, — кивнул вытянувшемуся юнцу. — Я раненый комиссар, хромаю, чего же лучше. Беда только в том, что мы не знаем ни фамилий, ни лиц красных убийц. Одно достоверно: едут сегодня, и не московским, а петроградским поездом. Видимо, чтоб оградить себя от всяких подозрений. Тоже конспирация! Но Рыбинска им не миновать, а дальше Ярославля пускать нельзя. Там они сумеют затеряться и легко пересядут на другой поезд. Сколько пути от Рыбинска до Ярославля?

— Полтора-два часа, — покачал головой Патин.

Савинков сделал вид, что не заметил его колебаний.

— Большой оравой нельзя идти по вагонам. Значит,

тройка на тройку? Уже заготовлены удостоверения московских ревизоров. Мои железнодорожники — молодцы! Форма и вся соответствующая экипировка. До подхода петроградского поезда остается уже час с небольшим, — вынул из брючного кармашка тяжелый серебряный брегет. — За дело, господа. И вот еще что, поручик Патин... — ласково, но твердо положил руку на плечо: — Верьте корнету Заборовскому, как мне самому. Это сын моего ближайшего друга, месяц назад растерзанного в Чека... никого из нас не захотел выдать... Есть вопросы?

— Нет, — виновато склонил голову Патин, так и не спросив, почему же Савинкову пришлось прыгать с поезда.

— Благодарю за честь! — не сдержался в юношеском порыве корнет.

Савинков знаком указал на дверь в соседнюю комнату. Там на стульях была разложена отличная железнодорожная форма. На столе — документы, нарукавные красные повязки, и особо — два револьвера, два военного образца нагана и два коротких армейских тесака, какими в недавнюю войну пользовались фронтовые разведчики. Очень удобно для голенищ. Оружие у Патина было свое, пристрелянное, но тесак он взял с удовольствием. Показалось, что он снова в пятнадцатом году на близком от русских окопов австрийском фронте, и надо только дождаться темноты и единым махом перемахнуть ничейную полосу...

— Вы не смотрите на мою молодость, я хороший боксер... и гимнаст, уважающий Поддубного... — покраснел корнет, торопливо влезая в летнее форменное пальто, которое никак не могло скрыть его мускулистую грудь.

Патин на правах старшего положил ему руку на плечо. Да, чувствовалась сила.

V

Разумеется, старшим был Савинков. Его одеяние походило и на железнодорожное, и на комиссарское одновременно. Фуражка — настоящего железнодорожного служащего, погоны — не менее как железнодорожного

майора, но вздеты на черную кожаную куртку. Полевая сумка на одном боку, маузер на другом, открыто. При широком армейском ремне. Усы за час выросли, старый шрам на левой щеке. Ну, и палка, само собой, на которую он с удовольствием опирался.

В сантименты вдаваться некогда, до вокзала еще идти да идти. Едва поспели, уже при звонко гудящих рельсах.

Поезд, конечно, в сопровождении охраны. Савинков с молчаливо следовавшими за ним спутниками зашел со стороны паровоза и, протягивая торчавшему на ступеньке конвоиру свое удостоверение, потребовал:

— Мне нужен начальник конвоя.

Резкий тон незнакомого железнодорожного комиссара не вызвал сомнения — так и только так говорили сейчас московские комиссары.

— Товарищ Лаптев здесь.

Савинков вместе со своими спутниками поднялся в тамбур паровоза. Пользуясь остановкой, за столиком машиниста сидел парень лет двадцати, но, в отличие от солдата, в отличной кожаной куртке, почти такой же, как у Савинкова, и пил чай с пышущими жаром белыми блинами. «Вот те и голодный Питер!» — подумал Савинков, но сказал совсем другое:

— У конвоиров — свое дело, у Чека — тоже свое, а нам поручено разобраться, сколько пассажиров — реально! — повысил он голос, — реально едут с билетами и сколько так... с тещиными блинами вместо билетов! Впрочем, мы тоже не прочь, — добавил он, одной рукой доставая удостоверение, а другой блин. — Ах, как хорошо, давно не едал! В Москве и товарищ Ленин не часто блинцами балуется.

Какое-то время длилась пауза, во время которой Заборовский подался немного вперед, отсекая конвойного начальника от машиниста. Патин отметил его предусмотрительность, сам отступая назад, к вылезшему в тамбур конвоиру.

У Савинкова не дрогнул ни один мускул на каменном лице.

— Да вы продолжайте, товарищи, — кивнул он на

сковородку, во время такого вторжения брошенную на табуретку вместе с сырым тестом. — Стоянка невелика, в пути будет не до блинов.

Занимавшийся этим делом кочегар просиял, а начальник конвоя, оторвавшись наконец от удостоверения — да умеет ли он читать? — виновато вздохнул:

— В Питере мы тоже блины не часто видим. Мешочников пошерстили. От них не убудет, а трудящимся паровозникам на сытое брюхо веселее вести паровоз в светлое будущее! Не так ли, товарищи ревизоры? — спустил с лица суровый начальнический вид и оказался совсем молодым слесарем или литейщиком.

— Так, товарищ Лаптев, — взял Савинков с газетного листа и второй блин, кивком головы подзывая своих спутников. — Также недавние трудящиеся. Один токарь, другой слесарь. Ешьте, товарищи паровозники нас угощают. Не мешает набраться силы. Надо покрепче мешочников трясти, как товарищ Лаптев говорит. А то привыкли на дармовщинку!

Патин не стал ждать дальнейшего приглашения, сам за блины взялся. И корнет подавил свою брезгливость — с грязного листа ухватил! Пяти минут не прошло, как уже выпили по стакану чая и съели по паре блинов. Поднимаясь, Савинков тоном старшего наказал начальнику караула:

— Товарищ Лаптев, мы постараемся тихо, без помощников, ну, а если уж придется туго — не откажите в помощи... Кстати, конвоиры в каждом вагоне?

— Где наберешься! — махнул рукой начальник конвоя. — И через одного-то едва наскребли. Сами знаете, все на фронте.

— Знаем, — дружески кивнул Савинков, вздевая повязку на рукав. — Поправьте, хорошо ли?

Начальник конвоя и одному, и другому, и третьему самолично opravил повязки и проследил глазами, как контролеры, разрезая плечами безбилетную толпу, всходили на подножку первого вагона.

Савинков еще раньше для себя отметил: раз в составе семь вагонов, то нужных людей следует искать в сред-

них четырех. Глупо серьезным людям садиться в первые, купейные вагоны; глупо и в задние, общие. Самые удобные — плацкартные; и народу порядочно, не так бросаешься в глаза, и видимость, в отличие от купейных, хорошая. В случае чего, не окажешься в мышеловке. Надо полагать, не дураки же были собраны в эту «тройку», может, тем же Радеком, а может, и самим товарищем Дзержинским. Дело-то ведь у них действительно ответственное, с плеча не рубанешь, да и неизвестно еще, кому эти приволжские края принадлежат — белым, красным... или черт знает каким!.. Могли бы, так давно бронепоездами раздавили, а не посылали бы смертников-головорезов. В напутствие им наверняка была прочитана лекция о том, что весь путь от Бологого до Ярославля, а уж дальше и подавно, наводнен «шпионами империализма», с которыми «ухо надо держать остро»! Что ж, недалеко от истины... Вокруг засевших в Вологде послов крутились все, кому не лень, может, и японские самураи! При этой мысли у Савинкова на японский лад растянуло губы, но чего не бывает?

Они только для близиру прошли два первых вагона, даже не заходя в купе, а лишь беседуя с проводниками. Те были рады стараться перед таким высоким московским начальством, выкладывали все как на духу и сами продали одного не очень расторопного барышника и двух товарищей-господ неясного происхождения. Савинков не стал очень донимать, только наказал:

— В Романове проверим.

Когда переходили из вагона в вагон, Заборовский да же хмыкнул за спиной:

— Спасая свои шкуры, проводники еще до подхода к Романову сбросят их под откос!

— Это уже не наше дело. Наше — я смотрю налево, вы — направо. Патин страхует. Возраст — от двадцати пяти до сорока.

Самый подходящий возраст для серьезных людей. Нет, люди наверняка бывалые, но не очень и старые.

Третий вагон проходили в напряженной, обступившей их тишине. Наверно, такие важные контролеры казались

мечами карающими. Форма железнодорожная — как лихая; даже по летнему времени — в полушинелях с погончиками. А уж куртка-то комиссарская!.. Власть! Движения вежливые, но взгляды каменные и бесстрастные. Не подкупишь, не уговоришь. Наглостью тоже не удивишь — ягоняло в пот это уверенное, жестокое молчание.

Савинков еще издали, сквозь просветы спин и настожившихся лиц, заметил необычную тройцу; возраст подходящий и какая-то показная «затюханность». У одного по летнему времени вислоухая шапка, у другого донельзя затасканная пехотная фуражка, у третьего и вообще вязаная женская шапчонка. Ну, скажите, по теплему времени чего парить голову? Да и ноги? Опять немислимый разнбой: тяжелые стоптанные сапоги, лапти... и валенки, да, обрезанные серые коты! Мало того, солдатская шинель, охотничий брезентовый балахон и старый пальтук, коротко обрубленный «под куртку». Что за охота у них все обрубать да обрезать? При всей бедности, народ хотел хоть как-то поприличнее прикрыть свою голоту, хоть рубашечкой постиранной, хоть довоенным пиджачишком, хоть какой-нибудь гимназической тужуркой, а женщины — так и шарфиком или косыночкой выделиться, худенькими, но аккуратными чулочками, даже сережкой дешевенькой, на которую в дороге никто не позарится, а заметить хозяйку сережки — заметит, может, и самым добрым взглядом. Сколько ни проходил Савинков по вагонам, валенок не видел, да и лапти, если встречались, были со своей ноги, аккуратные. У того же, крайнего из всей тройцы, топорщились и загибались носами, будучи явно не по ноге, да и намотаны были распущенные на полосы байковые солдатские портянки. Ну, опять же скажите на милость: какой крестьянин или посадский человек будет портить хорошую байку, когда из нее можно выкроить приличную рубашонку, если не для себя, так для сынишки?..

Савинков толкнул незаметно локтем Заборовского, но проверять билеты не стал, лишь спросил, ни к кому в отдельности не обращаясь:

— Тут все с документами проездными?

В отсеке этого плацкарта собралось человек пятнадцать на всех трех этажах; некоторые смущенно повесили головы, некоторые начали рыться в карманах. А один из святой троицы, именно лаптежник, слишком даже поспешно вытащил из внутреннего кармана билет и какие-то еще бумаги в подтверждение своей пролетарской сущности.

— Верим, верим, — сказал Савинков, проверяя документы лишь у тех, кто не очень опускал глаза долу; возиться с оравой безбилетников было не с руки.

Так, используя остановку в Романове, прошли еще два плацкартных вагона, торопясь и требуя проездные документы явно у тех, у кого они были. Нескольким попавшим в сети безбилетникам наказали оставаться на своих местах и ждать дальнейших распоряжений. Нечего и говорить, что, когда возвращались, никого уже не было.

— Неужели попрыгали?.. — с некоторым недоумением сокрушался Заборовский.

— Будешь прыгать... от таких, как мы, красных контролеров! Главное, чтоб те трое...

Троица в их отсутствие не дрогнула, лишь маленько перегруппировалась: охотничий, самый широкий балахон переместился к окну и был неприметно расстегнут. Это окончательно укрепило в мысли: они!

Оставив Заборовского позади, на самом-то деле в прикрытии, Савинков перегнулся через двоих крайних, через валенки и лапти, и шепнул тому охотничку, явно настожившемуся при повторном появлении контролеров:

— Мы знаем, кто вы... товарищ Лаптев просит срочно пройти поближе, в первый вагон... здесь едут подозрительные личности...

Не давая времени одуматься, Савинков двинулся по проходу к дверям, а Патин отступил в сторону, пропуская вперед и не мешая шептаться.

Впрочем, они только переглянулись. Первым встал охотничек; за ним — валенки и последними — лапти.

Патин отстал от Савинкова, а Заборовский не спешил уходить от них, пробираясь в тесноте вагона к переднему выходу, и все трое скоро догнали главного контролера.

Патин вяло на некотором отдалении толкался сзади. Он помнил, что на этой площадке должен быть конвоир, и не ошибся. Савинков взял стражу под свою опеку.

— Товарищ... — выйдя в тамбур, склонился к самому его уху, — на задней площадке два подозрительных типа... Мы не решились... вы сами проверьте. А мы передадим товарищу Лаптеву, чтоб прислал подмогу.

Как ни тихо это говорилось, троица слышала и работу ревизоров явно оценила. У старшего возникло, видимо, желание закурить — но только ли закурить? — и он полез в карман своего балахона. Патин понял: нельзя дальше искушать судьбу! Почти не оборачиваясь, он повернул за конвоиром заранее зажатый в кулаке ключ и следующим прыжком попытался сделать то же самое и с противоположной дверью... но его тут же ожгло гулко разорвавшимся выстрелом. Припадая плечом к незапертой еще двери, он успел-таки выхватить из-за голенища тесак...

...мягко вошло в подбрюшье через брезент и какое-то тряпье армейское послушное железо...

...и на Патина завалилось тяжелое тело...

...он думал, целую вечность выбирался из-под этой туши, потому что за спиной хрипло возился Заборовский...

...а когда вывернулся, Заборовский был уже наверху, сразу над лаптями и валенками...

...Савинков выворачивал карманы, засовывая себе все, какие были, бумаги. Заборовский доканчивал свое дело, когда из вагона, через запертую дверь, грохнул уже винтовочный выстрел...

Видно, охранник успел убедиться, что его обманули, и сейчас, не имея ключа, прикладом вышибал дверь. Для железной двери это не опасно, но ведь наверняка подбежит кондуктор с ключом...

— Выбрасываем! — открыл Савинков наружную, гулко свистнувшую дверь.

Распластавшись по полу, чтоб обезопаситься от выстрела, они подтащили к подножке три пары еще дрыгавших ног и почти общим скопом столкнули вниз.

— Сами! Заборовский, — велел Савинков, — затем — Патин. По ветру, по ветру! Постарайтесь оторваться от вагона...

— Но ведь у вас — нога?..

— Прыгайте... вам говорят! — подтолкнул к гулко хлопавшей двери. — Я привычный.

Убедившись, что корнета, который наверняка впервые прыгал с поезда, под колеса не затянуло, что Патин, хоть и раненый, спланировал удачно, Савинков и сам раскинул руки, сильно отталкиваясь ногами от подножки.

И как раз вовремя: вагонную дверь или вышибли, или открыли ключом — вслед понеслись выстрелы, вдобавок и с других тамбуров, но была туманная ночь, поезд под уклон набирал скорость и уносил все это в сторону уже недалекого Ярославля...

При всем своем опыте Савинков все-таки ушибся и, конечно же, больной ногой. Навстречу из тумана ковылял Заборовский. Патин был ближе, но очень бледен. Обнялись, ничего не говоря, и тут только вспомнили:

— Перевязать надо поручика!

Потащились в сторонку под куст. Патин, раздевшись, сам мог осмотреть рану: чуть повыше локтя.

— Не качайте головой, корнет. Кость, кажется, не задело. Жаль, что правая...

Перевязывая рану оторванным подолом рубахи, Заборовский не унимался:

— Да как же вы смогли его раненой рукой?..

— Я это только сейчас почувствовал. Видимо, привычка. Если меня совсем раздеть, еще две-три дырки същутся... Не будем об этом.

— Пока — не будем, — согласился Савинков. — Что нам надо? Первое. Документы я кой-какие похватал, но следует еще пошарить... должна быть и записка... Второе. Срочно переодеться. Железнодорожных контролеров видело слишком много людей. Мы вот что: в лапти и валенки не будем переобуваться, а рвань наших добрых упокойников вполне сойдет. Выбирайте!

Заборовский безглаголиво сморщил открытое безусое лицо, но Савинков на правах старшего прикрикнул:

— Не чистоплюйствуйте, корнет.

Один прихрамывая, другой придерживая вдруг отяжелевшую руку возвратились к куче шмотья, которое уже, к счастью, не дрыгало ногами.

— Извольте выбирать, корнет, — еще хватило сил для шуток. — Шинель или охотничий балахон?

Заборовский выбрал шинельку, Савинков взял себе брезентуху, ну, а Патину достался обрезанный пальтох. Прежде чем одеть, еще раз осмотрели, но ничего нового не находилось. Ну, проездные билеты от Бологого до Ярославля. Ну, удостоверения — одно на имя слесаря, другое на имя портного, а третье было выдано «служащему советских общественных бань». Можно бы и пошутиться, но что-то не давало покоя. Ведь этим упокойникам, будь они живы, пришлось бы, чтоб самим под Чека не попасть, представляться еще остающимся на местах советским властям. Не бумажками же общественных бань трясти!

И тут Савинкова осенило:

— Лапти, господин корнет...

Не сами лапти — в портянках, намотанных вокруг правой ноги, оказался плотно заклеенный в клеенку пакетик, не больше кисета. Когда разрежали — три настоящих удостоверения, подписанных самим товарищем Держинским...

Одно — на имя «товарища Блюмкина, командира особой «тройки», которой поручается ответственное правительственное задание, в связи с чем...»

— Погодите!.. — наморщил лоб слишком уж грамотный корнет. — Не тот ли Блюмкин, что убил германского посла графа Мирбаха и по газетным сообщениям был расстрелян?..

Савинков поморщился:

— Корне-ет! Чека не стреляет своих агентов... Пошли!

Больше тут делать было нечего. Требовалось срочно добираться до Романова, а там и до Рыбинска. Дело шло к утру.

VI

Рука у Патина еще не зажила, а тут новая напасть: гости с Гиблой Гати.

Первой, разведчицей, заявила, конечно, Капа — дочка неугомонного Тишуни.

— Андрюша, я привела три десятка воителей. Там еще беглых солдатиков набралось, — заявила она без обиняков, не обращая внимания на перевязь его руки.

— Воители? — не без ехидства переспросил Патин: понахлынувших в Рыбинск офицеров девать было некуда, а всех на Гиблую Гать не спровадишь: надо, чтоб под рукой были.

— Ой, горе с ними! — не понимала Капа его состояния. — Все с настоящими теперь штыками!

— Настоящими? Наточенными?

— Точили, а как же. Штыки те германские, как ножищи. Хошь рыбу режь, хошь хлеб, а хошь и человека. У-у, Ваня-Ундер ржавых штыков не терпит!..

Оказалось, вся его команда уже под городом, слава богу, пока что на левом берегу Волги, на островке среди разливанных болот Слипа, — не только же ради ремонтных стапелей называлась так местность, липко и даже как-то погано было. Болотистое, хлипкое побережье. Как ни ехидничай, а устроились ловко: час, ну, от силы два до центра города, а сами в полной безопасности. Вот игра природы! При слиянии Шексны и Волги левые берега гористые, но эта видимость обманчива; сотня-другая метров суходола, а дальше, на крепчайшем нагорном суглинке, в десяток километров расцвели болота. За грядой холмов некуда воде стекать, вглубь глина не пускает. Вода да ряска, куга да лозняк. Лишь островками поднимались еловые и сосновые рощицы — прибежище лисиц, волков и даже медведей. Там находила приют, среди дикого зверья, вся окрестная разбойная шантрапа. Да и северным беглым каторжанам места эти были известны. В зеленой студенческой молодости Патин хаживал туда — со взрослыми, конечно, — на медведей; любили они зимовать на сухих, окруженных гиблыми

болотинами горушках. Теперь по тем же берлогам и воители?..

Патин сердился на несвоевременность этих помощников, а сам уже собирался в дорогу.

Наказав Капе сидеть на берегу, он кружным путем сбежал к Савинкову. Тот рассудил без паники:

— Унтер? Видимо, он маху не даст. Пусть ждут команды.

Патин полетел обратно и ткнул придремавшую Капу в бок веслом:

— Греби. Я забегался.

— Так ты-то мужик, скидывай повязку. Неча при мне придуриваться.

— Не придуриваюсь, Капа, — взял левое весло, а правой ногой сунул ей.

— Неуж взаправду?.. — покосилась она на грязно-серую перевязь. — Где ж тебя угораздило?

— Греби! — уже не в шутку прикрикнул он.

По берегу проходил какой-то красноармейский взвод; может, мыться-стираться, а может, и по делам, потому что с винтовками.

На пару они быстро перемахнули Волгу. А там Патин уже всерьез принялся командовать: и так его обними, и этак любовь изображай!.. Не правилось, что и здесь попадались неурочные красноармейские отряды. По всем сведениям, под Рыбинском, в отличие от Ярославля, не было серьезных воинских частей, только охрана складов, пристаней да железной дороги. Откуда заносит этих уверенно топающих красных солдатиков?.. Свои опасения он Капе не высказывал, а только при каждой нечаянной встрече прижимался плотнее к ней и уж совсем не в шутку любовь изображал. Она даже расплакалась:

— Андрюша, я уж теперь не знаю, как и быть... я от Вани-Ундера чижолая...

Он невольно рассмеялся:

— Ну, так еще одним воителем прибудет!

Таиться уже не имело смысла. Они пересекли гряду нагорных холмов, кое-где застроенных довоенными разрушенными дачами, и шли теперь по узкой тропке гусь-

ком. Капа, разумеется, впереди. Тропка становилась все уже, а скоро и вода под ногами захлюпала. Ну, Капе недолго: обувку свою скинула, подол чуть не до брюха задрала — и готова! Патину похуже пришлось: снимай сапоги да и штанины закатывай. С одной-то рукой?.. Но тут уж было не до просьб: Капа самолично его разула, сапоги связала за ушки и через свое плечо перекинула. Встали — побежали!

Многое он признавал за Капой, но не думал, что она еще и свистать по-разбойничьи умеет. Но ведь резанула сквозь засунутые в рот пальцы так, что дальняя болотина откликнулась. На этот отклик и пошли со всей возможной осторожностью. Над тропой давно сомкнулась куга, и даже ряска запроблескивала, — путь по утопшей лежневке указывал лишь зыбкий проброд. Раза два даже сама Капа оступилась... ну, по самое это!.. Патин похмыкивал, пока она замывала-затирала свои рыже-торфянистые голяши. Но дальше стало посуше, начался подъем, а вскоре и сухоходльная тропка обозначилась. Вот там-то, за развесистой елью, и мелькнул хорошо знакомый Патину плоскостный штык.

— Коль позвали, встречайте гостей, — сам поторопился.

Но штык вылез навстречу не раньше, чем напоролся на Капу.

— Полегче шпыняй! — безбоязненно прикрикнула она. — Веди к Ване-Ундеру.

Этому дозорному сходить с места, видимо, было нельзя — дождались из глубины лесного островка другого, уже знакомого Патину по прежним делам. И обрадовалось, и удивило: старый знакомец по всем правилам отдал честь. После сказал:

— Идемте к командирскому балагану.

К шалашу то есть, большому и крытому на два ската еловым корьем. Оттуда уже выходил сам унтер. Тоже честь отдал, прежде чем протянуть руку.

— Господин поручик, принимайте отряд, — с достоинством и нескрываемым удовольствием сказал он. — Было нас десятеро — теперь три десятка. В округе бег-

лых подобрали. — И открыто скомандовал: — Стройтесь!..

Право, трех минут не прошло, как из упрятанных под деревья балаганов повыскакивало и в самом деле не меньше трех десятков хорошо одетых солдат и на маленьком утоптанном плацу пристукнуло прикладами.

Патин смущенно потупился:

— Хорош командир!.. даже без сапог!..

Но та же Капа и помогла — не садясь на землю, а только опираясь на ее плечо, обулся. Все-таки была на нем кой-какая гимнастерка, одернулся, провел левой рукой по несуществующему ремню и вспомнил старое, армейское:

— Здоровы будем, братцы!

В ответ давно забытое, трогательное:

— Здрав-ж-жаем-господи-ручик!

Вот тебе и тайны, и секреты... Поручик!

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — понял взводный унтер его озабоченность. — Без дисциплины в нашем деле нельзя. А народ проверенный... до последней уж косточки...

— Ну, раз нельзя... тогда благодарю за службу! Дайте в таком случае и посмотреть вас... Соскучился, — улыбнулся искренне.

Обходя этот вполне приличный армейский строй, он узнавал старых знакомцев, каждому подавал руку и внутренне удивлялся происшедшей с ними перемене: не было робости, не было пленной униженности. Да и физиономии округлились, выглядели вполне сыто.

— Я вижу, у вас хороший начальник снабжения.

— Снабжают нас начальники ротодетрядов, они и личный состав подбрасывают, — сразу ответил на все его вопросы взводный. — Кое-что возвращаем законным владельцам, остальное на свое довольствие идет. В том числе и обмундирование, уж не обессудьте, господин поручик. Дырки штопаем, а Капа стирает. На войне как на войне.

Кивнув в знак согласия, Патин негромко скомандовал:

— Вольно, братцы-сослуживцы.

Строй в мгновение ока рассыпался, разбежался по

своим балаганам. Обрато повиылезали уже без винтовок, веселые. Но Патин вдруг вспомнил:

— Да, взвод у вас хорошо укомплектованный, но я не вижу одного знакомого? Рыже-кучерявый такой?

— Мы еще на прежней стоянке его раскусили, — не стал скрывать взводный. — Партийцем он оказался. Сбежал и пытался запродавать весь наш лагерь. Недалеко от Рыбинска настигли и...

— ...не договаривайте. Все ясно и справедливо. Но вот что: я не могу быть здесь больше часа. Прошу не обижаться. Позволю себе только короткий разговор с вашим командиром.

Они прошли в штабной балаган, побольше и поуютнее других, сели на земляной, покрытый лапьем и шинелью топчан. Патин посчитал за нужное высказаться в открытую:

— Думаю, пройдет мало... очень мало!.. времени — и ваши штыки потребуются на том берегу. А пока оставайтесь в этом лагере и возьмите под контроль левобережье Шексны и Волги. Что-то мне не нравится здесь... Вроде как происходит скрытое наращивание красных сил. Пока шел сюда, встретились три группы красноармейцев, правда, без оружия. Но ведь оружие можно на любой сенной телеге подвезти, не говоря уже о машинах и речных катерах. Вы случайно не наследили?

— Нет, — без раздумий ответил взводный. — Пробирались сюда глухими лесами и только в ночное время. Здесь на берег никто, кроме Капы, не выходит, а уж она...

— ...она вне подозрений, — согласился Патин. — Наследить могли и на нашем берегу, и, что хуже всего, никто не застрахован от предательства...

Что-то беспокоило и взводного, может, поэтому он и решил сменить разговор:

— Ладно, часок-то мы себе позволим?.. Довольствие у нас, сами изволили заметить, вполне приличное.

Под земляным топчаном находился вроде как штабной сундучок, и взводный ловко выхватил оттуда запечатанную сосновой смолой бутылку:

— Не обессудьте, самогонка.

— Ну, какие сейчас суды-пересуды.

Выпили и хорошо закусили шекснинской стерлядкой. Но как ни сладка она была, Патин не удержался от вопроса:

— Ведь за ней к реке надо идти?..

— Тоже не сомневайтесь. Рыболовы уходят вверх по Шексне, под самое Пошехонье иногда, и, само собой, без гимнастеров.

Час — невелико время. Патин обговорил все, что нужно, и уже хотел уходить, но взводный решил высказать последнее сомнение:

— Мы должны быть готовы в любой день и час — правильно? Но как нам этот час угадать? По какому сигналу?

Патин колебался. И не только потому, что окончательный день и час назначит сам Савинков, — при всем доверии, и риск немалый. Об этом знали только Савинков, полковник Бреде, полковник Перхуров да он, Патин. Остальным оставалось догадываться да помалкивать. Но ведь и обида, выкажи он это недоверие немолодым уже служакам, променявшим красную звезду на белого орла, — обида немалая, забудется ли?..

— Точный час, поверьте, я не могу назвать. Давайте договоримся так: нужен связной. Кто лучше Капы выполнит это поручение?

Выходило, что лучше никого не сыскать. Женщина довольно разбитная и решительная, с Рыбинском знакомая, бывшая уже на одной из потайных явок. Жалко?.. Да, жалко. Но что делать?

— Согласен, — мучительно свел складки на лбу Ваня Унтер. — А запасной... в случае провала... последний сигнал?

Патин оценил его жертвенность и доверительно положил руку на плечо:

— Думаю, запасной вариант не потребует. Но для вашего спокойствия: две ракеты, красная и зеленая, со стороны биржи — каменное, самое приметное здание на берегу. Сами понимаете, это уже в последний момент, когда таиться не будет смысла... Обнимемся — и с Богом!

Они посмотрели напоследок друг другу в глаза,

и Патин в сопровождении все той же Капы знакомым ходом направился в сторону берега.

Было еще светло. На выходе из болот обмылись, оглядели себя и опять в обнимку, забирая от тропы в сторону барского дома Крандиевских, неспешно поплелись к оставленной лодке.

Показалось или интуиция сработала?..

Явно не старый, но уросший бородой мужичонка еще на выходе из суходола собирал на дрова сушняк, а потом, будто ветром перенесло, и дальше промелькнул на их пути, за деревьями. Он, ошибки быть не могло. Не зря же Патин служил в разведке.

— Капа, — насторожил ее, — переложил нож в левый сапог, там тоже есть кармашек.

Для этого пришлось залечь в траву и снова обниматься. Ему даже показалось, что Капа волынит минутное дело, и он предупредил:

— Не надо... чижолая ты наша... Смотри!

Пока они валялись в траве, бородатый мужичонка заметно приблизился к ним и засел за соседним кустом.

— Если я с левши не управлюсь, ты помоги мне, — шепнул.

А дальше уж, конечно, совсем в обнимку, пьяно пошатываясь и правя на злосчастный куст. Патин успел только нахально посмеяться:

— Вот тут разве тебя и завалить, голуба?..

В следующее мгновение скорее почувствовал, чем увидел, — ноги подшибает увесистая дубинка, ловко пущенная по земле. Он сумел над ней подпрыгнуть, падая.

На нем сидел этот бородатый мужичонка, а он никак не мог выхватить из-за голенища нож, потому что единственную руку в запястье перехватили. Без обиняков спрашивали:

— Так куда ходил-то, болезный?..

Видимо, тоже увлекся, потому что не заметил, как дубина вернулась обратно и суковатым комлем рухнула на голову хозяина. Но и такой удар не свалил мужичонку, а только заставил в последнем усилии свести руки на горле...

Вот тут-то Патин и сумел выхватить спасительный тесак! Жив?.. Ведь и этот отчаянный замах не решил дела: мужичонка-то, как в потасовке свалилась борода, оказался молодым и мордастым парнем. Капе пришлось дополнительно молотить его, а Патин, хоть и с левой руки, повторно всадил ему тесак под ребра... Уж тут не промазал.

Был у соглядатая и наган, но ведь не стрелял, хотя чего бы лучше — в таком болотистом лесу, из засады?.. Стало ясно: пришел-то он вслед за ними с правого берега, и не за трупом, а, говоря по-военному, за языком... Патину стало смутно от этих догадок. Подозревают? Выслеживают? Что-то знают... но хотят знать еще больше?

Капе, лежавшей ничком в траве и слезно сморкавшейся, он своих тревожных мыслей не выдал. Минут пять посидел, тоже отдыхая и укачивая потревоженную руку, а потом решил:

— Его будут искать, надо прятать.

А что лучше болотины, которую они недавно минули?

Пришлось возвращаться и в три руки тащить упокойника до первой болотной промоины. Только когда сомкнулась ряска над несчастным, Патин и похвалил свою спасительницу:

— Ну, Капа!..

— Капа, — смеясь уже, согласилась она.

— Я по течению потихоньку и сам переберусь через реку, а ты возвращайся к Ивану и скажи: пусть усилит посты, пусть устроит засаду прямо на суходоле. Видишь, что-то большевички все-таки знают... Иди, Капа. Встретимся, если что, на берегу, у наших старых складов. В дом ко мне не заворачивай... Иди же! — прихлопнул даже ее по платицу.

— Пойду, пойду... только ты поцелуй, Андрюша, мало ли чего...

— Типун тебе на язык! — осердился он, но поцеловал искренне и благодарно.

Всхлипнув, Капа унеслась по болотистой тропе, а он поспешил к берегу. Времени и так было много потеряно.

Теми же кружными путями возвратился к Савинкову и рассказал, как было дело.

— Значит, Чека пронюхала. К Рыбинску подтягиваются совершенно не нужные здесь воинские силы. Кто выдает?.. В предательство нашего доктора я по-прежнему не верю, но вы на всякий случай смените квартиру.

— Связная другой не знает.

— Капа?

— Она. Заходить на квартиру ей не велено, но место встречи — на наших прибрежных задворках.

— Думайте, Патин, думайте.

— Уже придумал. Днем, если что, никто меня брать не будет, значит, ночью. Перенесу свой тюфяк из дровяника еще подальше. Есть на берегу догнивающие баржи и катера.

Савинкова это удовлетворило. Спросил о другом:

— Доктор интересовался о причине ранения?

— Интересовался. Я сказал — камуфляж. А что выпиваю левой рукой — для тренировки. Сразу ведь не получится, правда?

Савинков задумался.

— Поправляться надо. Дня три — и чтоб правая рука если не винтовку, так хотя бы наган держала!

— Удержит, — вздрогнул Патин от предчувствия скорого дела. — Но я и левой бью неплохо. Еще в разведке натренировался.

— Сейчас проверим... — по своему обыкновению сухо улыбнулся Савинков. — Не револьвер, не доставайте. Александр Аркадьевич!..

Дернталь во всей своей красе, с подносом. Патин первым взял рюмку и задиристо прикрикнул:

— Выше локоть, господа офицеры!

А выше уже и некуда. Подзасиделись.

VII

Полковник Бреде доказывал:

— Послушайте, Борис Викторович. То, что я говорю, не пустые измышления — это плод долгих и тягостных наблюдений. К Рыбинску скрытно подтягиваются красные. Откуда? С севера, из Петрограда до Череповца, а от-

туда берегом Шексны, через Мякеу и Пошехонье. Всего два пеших перехода. Рекой — за одну ночь. Красные замечены уже не только на левом берегу Шексны, но и на левобережье Волги. Скажите, пожалуйста, чего им там делать? Далее. Я получил достоверные сведения, что в сторону Рыбинска отправляется бронепоезд — «Ленин», разумеется. Ждут отправки два латышских полка... Да, мои милые латыши под командой земляка Геккера, тоже полковника, решили послужить мировой революции... Известно, что и личная охрана Ленина набрана из моих земляков. Ян Петерс! Истый палач! Сейчас он грядет в гости к нам, Борис Викторович. Одно утешает: мой латышский полк разбежался еще раньше: Петерсу не удалось натравить его на своего командира полка. Но зато: 6-й Тукумский и 8-й Вольмарский! Они уже грузятся в вагоны в пригороде Петрограда. И знаете, кто ими командует? Опять же Геккер. Вы должны знать фанатизм этого выроodka: еще в вашу бытность комиссаром Временного правительства солдатня избрала его начальником штаба 8-й армии. Он же, в противовес Корнилову и Деникину, создал 4-ю Донецкую армию. В связи с угрозой высадки союзников на севере — ох, запаздывает эта угроза! — его назначают комиссаром Беломорского военного округа... — Полковник Бреде от волнения закурил. — Извините.

Савинков молчал. Он знал все это.

— Но если такого незаменимого карателя срочно отзывают под Рыбинск и Ярославль — что это значит? Одно: большевики догадываются о нашем восстании. Уж не обессудьте, еще добавлю: срочно готовится команда летчиков, военно-санитарный поезд и...

— ...и прекрасно! — разжал Савинков губы, которые только подчеркивали невозмутимую бледность его каменного лица. — Прекрасно, я говорю. Значит, понимают, с кем имеют дело.

— Но откуда им известно о наших планах?!

Савинков ждал этого вопроса.

— А вот об этом у начальника разведки надо спросить. У вас, — не повышая голоса, повторил он.

— Недоверие?!

Наблюдавшего за всем этим Патина передернуло от какого-то внутреннего озноба. Чем тише говорил Савинков, тем яростнее кипела его внешне невозмутимая душа. В какой-то момент даже показалось: сейчас потребу-ет арестовать Бреде, как-никак, тоже латыша. Но нет. Как бы смягчая удар, коротко все отmel:

— Вера! Вера в наше правое дело. Что вы предлагаете, полковник?

Полковник Бреде был прямодушен:

— Надо хотя бы на пару дней отложить наше всеобщее выступление. Пользуясь передышкой, на подходы к Рыбинску, особенно к мосту через Волгу, направить несколько диверсионных групп — в случае необходимости они отрежут продвижение петроградских поездов и даже взорвут единственный мост. Далее. На левый берег Шексны, откуда вместе с Геккером ожидается северное подкрепление, послать конный отряд. В окрестностях Рыбинска, в Переборах, нам удалось сформировать кавалерийскую роту — под началом поручика Ягужина. Бросим ее в Заречье? При такой сухости Шексны и даже Волгу кавалерия перейдет вброд. Им поможет взвод Вани Унтера, ждущий нашего сигнала на том берегу...

— Ваня? Унтер? Вы верите в партизанские доблести, полковник?

Бреде не дрогнул под этим тихо-язвительным обстрелом.

— А вы, Борис Викторович, верите поручику Патину?..

Патин, без нужды не совавшийся со своими советами, вскочил и выжидательно смотрел на своего вождя, кумира... и дьявола, что ли! Уже давно под впечатлением общих скитаний и опасностей, у него сложилось мнение: «На лице у него рок пишет смертные письма!» При своем невысоком росте Савинков в критические минуты явно вырастал в глазах противостоящего ему человека. И эти серо-зеленые глаза, ярко выделяющиеся на смертельно-бледном лице, вдобавок изрезанном ранними морщинами, как могильными бороздами... Если уж зажигался казавшийся непроницаемым взгляд, то стано-

вился испепеляюще зловецим при тихом, почти неслышно шелестящем голосе:

— Патин! Ваше слово.

Нет, не робость сдерживала ответ — ощущение какой-то непоправимой беды, которую они сами же и накликают.

— Вы спрашиваете моего мнения, Борис Викторович?.. — тянул он время, приходя в себя. — Я воздержусь от категорических суждений... потому что нет и у меня полной уверенности... Но вот несколько настоящих фактов. Первый. Засылка в наши тылы убийц-диверсантов. Трех мы с вами обезвредили — но всех ли? Второй. Слежка уже явно за нами. Одного я убрал — но последнего ли?.. Третий. О партизанских доблестях, как выразились вы... Связная на конспиративную встречу не вышла...

— Баба?

— Женщина. Вы ее знаете — Капа.

— Все равно, Патин. Разве можно в таком деле доверять женщине?

— Можно! Ибо живая она смолчит... а мертвая ничего не скажет!

Полковник Бреде об этом знал и уже хотел остановить излишнюю горячность поручика, но тот наступал:

— Борис Викторович! Вы верили Марии Беневской, искалечившей себя при взрыве вашей бомбы и потом погибшей на каторге? Евгении Зильберберг, которая, после того как повесили ее мужа, безоговорочно доверилась вам?.. Доре Бриллиант, тоже погибшей рядом с вами? Аристократке Татьяне Леонтьевой? Зинаиде Гиппиус, к счастью еще живой?! Им-то вы верили?

Полковник Бреде, опарашенный этой невозможной горячностью поручика, тащил его прочь за рукав засаленной армейской гимнастерки, но Савинков, не дрогнув ни единым мускулом и не повышая голоса, ответил:

— Нет. Нет, уважаемый поручик Патин.

После такой неводержанной горячности и такой ледяной откровенности всем стало неловко. Даже у Савинкова чуток дрогнула негнуцающаяся нижняя губа. И как

возвращение к жизни, как призыв ко всеобщему примирению — от самовара бесшабашный и беспечный голос Флегонта Клепикова:

— А не закусить ли нам, господа?

В первую минуту все они непонимающе смотрели на юнкера, который возился у кухонного стола, полуразутый, при одном сапоге, — вторым трубу накачивал, торопя слишком большой и до жару не охочий самовар.

— Не те сапоги пошли! Жесткие, — смеялся бывший юнкер Павловского Императорского училища, который и в зеленые-то годы был при денщике и едва ли снисходил до закопченных самоваров.

Но этот беспечальный смех пришелся как нельзя кстати. Полковник Бреде первым шагнул к столу и первым поднял граненую стопку:

— Латыш говорит: за Россию!

— За великую Россию!

— За победу, господа!..

И последним поднял налитую стопку уже сам Савинков:

— Я говорю: к оружию, господа офицеры!

Его тихий голос вызвал настоящую дрожь во всем теле — не ту, трусливую, что и сильного валит наземь, а ту, что и трусливого, зараженного общим порывом, бросает в штыковую атаку.

— Перечисляя все невзгоды, вы забыли еще одно: как раз накануне пропал кадет Заборовский...

— Пре-едал?! — на этот раз не выдержал юнкер и, разливая чай, обжег себе руку. — О, черт!..

Савинков бросил взгляд:

— Заборовский не мог предать.

— Странно, — заволновался Патин, — я потерял его из виду...

— Очень плохо, что потеряли. Но! Не будем перед последним обедом портить себе аппетит. Поговорим лучше о женщинах. Прошу к столу.

Ранний обед пошел дальше в мирной и, казалось, невозмутимой беседе о том о сем, а больше действительно о женщинах, — о чем же и поговорить, коль их-то как раз

и не было? И когда поверилось, что вот так они и разойдутся, оставив роковое решение по крайней мере на завтра, Савинков встал, оглядел всех присутствующих вдруг потеплевшим взглядом и высказал уже сложившееся в его голове решение:

— Я выслушал вас, господа. Единственное, в чем вы меня убедили: промедление в нашем деле смерти подобно. Да! Я тоже думал еще пару дней дать на подготовку. Вижу — нельзя. Надо выступать. Пока, — кивнул он полковнику Бреде, — не подошли ваши любимые латыши. Пока кочегарят на сырых дровах бронепоезда. Пока красные военлеты ищут керосин для своих этажерок. Пока ваши красные пошехонцы, — Патину, — не собрались все на вашей любимой Шексне. И пока вслед за вашей связной... — новый кивок Патину, — не начали хватать и всех остальных. В единственном согласен: что-то не нравится и мне Рыбинск... Где наш любимый доктор? Почему и он не вышел на связь? Вы видели его, Патин?

— Видел вчера вечером и, ничего конкретного не говоря, просил быть утром наготове. Но проснувшись, даже очень рано, на своей барже, уже не застал его дома. Несчастливая Авдюша не могла ничего вразумительного объяснить. Лишь одно: вместе с ним исчез и дорожный саквояж, где петербургский доктор держал все свои ценности и деньги...

— Да, странно, — не скрыл своего удивления разучившийся удивляться Савинков. — Но! — чуть возвысил он голос. — Доктора — найти. Хотя бы для нашей кровушки... Не морщитесь, господа. Вы хотели бы без крови захватить такой город, как Рыбинск? Со всеми его пристанями? Хлебными и армейскими складами? А главное — складами артиллерийскими? Нет, господа, так не бывает.

Он опять сел за стол в полнейшем общем молчании и закончил совсем кратко:

— Общее военное командование принимает на себя, конечно, полковник Бреде. Но я — принимаю решение. Сегодняшней ночью. Ровно в два часа. По плану, который еще раньше представлен полковником Бреде. Тут ничего

не могу добавить, полностью доверяю военным. Я только смею сроки. Счет не на дни — на часы. — Он щелкнул крышкой своего старинного брегета. — Значит?.. Конного нарочного — на Гиблую Гать. Пешим переходом они едва успеют к утру, а с пароходами возиться некогда. Поручик Патин и юнкер Клепиков! Вам — оновестить и отдать мой приказ всем допущенным до этого секрета командирам. Как вы знаете, их четверо — на левом и на правом фланге Рыбинска. Особо — поручику Ягужину: не позднее двенадцати воль-ноль пусть прибьет сюда.

Он оглядел вытянувшихся, застывших своих помощников.

— Есть вопросы? Нет вопросов, — сам себе и ответил. — Остальные детали согласуйте с полковником Бреде. А мне позвольте несколько часиков поспать. Ночь будет трудная... Трудная. Все! С Богом, господа.

Квартира была в глухой мещанской улочке, ниже пристаней и дальше от соглядатаев; давно приготовленная, просторная и удобная — с дворовым выходом в глубокий овраг Черёмы.

Кивнув всем на прощание, Савинков ушел в задние комнаты. Патин и Клепиков, поговорив с полковником Бреде не больше пятнадцати минут, отправились к командирам четырех основных отрядов. Патин взял на себя низовье Волги, Клепиков — верховье. К Ване-Унтеру сейчас было рискованно пробираться, а поручик Ягужин сам должен был прийти. Его небольшой кавалерийский эскадрон уже скрытно, лесами, выходил к пригородам Рыбинска со стороны Мологи.

«Что же с Капой? — солдатиком бегая с поручением Савинкова, неотступно, тревожно думал Патин. — Выстрелов на той стороне Волги не слышалось, сдать без боя Ваня-Унтер не мог, значит... Значит, дело дрянь. Где-то вляпалась глупая Капа...»



ЧАСТЬ ПЯТАЯ ВОЛГА В ОГНЕ

I



Полковник Бреде должен был взять артиллерийские склады и с пушками продвигаться к центру города, Савинков, удерживая до его прихода город, — двигаться навстречу. Рыбинск вытянулся вдоль Волги; штаб 12-й Красной Армии во главе с Геккером оказывался между двух огней. При этом существовала жесткая договоренность: город начнет свое открытое выступление после первых орудийных залпов. Раньше — нельзя. Основные офицерские формирования, успевшие подойти с Гиблой Гати и окрестных лесов, были отданы полковнику Бреде для первого решающего удара. В городе невозможно сосредоточить крупные силы — только малые группы, до поры до времени затаившиеся под развалами догнивающих барж, разбитых купеческих лабазов, под кручами оврагов, ниспадающих к реке Черёме. Они томились на сухом пайке уже вторые сутки. Да еще вопрос: не обнаружены ли? Выступать должны все в полном офицерском или солдатском обмундировании, со знаменами штурмовых отрядов — красный огонь на черном поле; в подсветке — белый орел на скрещенных мечах. Нервная дрожь пробирала при виде такого знамени. Савинков

знал это еще в бытность своего недолгого комиссарства. Именно тогда с согласия генерала Корнилова он организовал штурмовые батальоны под таким знаменем и первый из них вел в атаку под Тарнополем...

Здесь — Рыбинск. Город северный, волжский. Но, в сущности, что менялось? Старые знамена не тускнели.

— Проследите, — наказал и Клепикову, и Патину, — чтоб все были в полном параде. Мы — не красная рвань. Мы — офицерская Россия.

Разумеется, переодеваться не разрешалось до самого последнего часа. Но кто знал этот час? Только командиры батальонов, если можно назвать батальонами сводные отряды в сотню штыков. Да и штыки были не у многих: полагались на захват оружейных складов. А пока — наганы, браунинги, маузеры. Даже будь в достатке винтовок — как их провезешь в Рыбинск, заранее не обнаружив себя? Несколько немецких ручных пулеметов и гранаты были отданы в распоряжение полковника Бреде.

Савинков, переодетый в полувоенный френч времен Корнилова, довольствовался старым браунингом и военным наганом. У Патина — то же самое, да еще винтовочка со срезанным стволом. Как ни облагораживай название, а все равно — разбойничий обрез. При виде Патина, явившегося из задней комнаты в форме пехотного поручика и при таком куцем винтаре, Савинков сдержанно похмыкал:

— Хорош поручик!

— Уж какой есть, — обиделся Патин.

Но времени для обид не было: со стороны артиллерийских складов вдруг резанула крупная пулеметная очередь. Явно с максима. В ответ зацокали винтовки. Савинков переглянулся с Патиным и несколькими окружавшими его юнкерами:

— Почему так рано?..

Отвечать было нечего: до условленного срока, двух часов ночи, оставался целый час. В это время полковник Бреде еще только скрытно выдвигается к складам... Знает, пулеметы ударили с упреждением?

Подтверждая эту мысль, тоненько затюкали в ответ и немецкие ручные пулеметики. Опасение Савинков до последней минуты держал при себе, но чутье старого подпольщика несколько дней зудело: происходит, а может, уже и произошло самое обыкновенное предательство... Красные армейцы, беспечно выходявшие из штаба 12-й армии — от набережной, из бывшего реального училища, — вдруг как сквозь землю провалились. Даже за жратвой, на свой грабеж, не выходили. Ни единой звезды не замечалось. Появились наспех отпечатанные объявления: «ВСЕ — НА ЗАЩИТУ МОСКВЫ!» С чего бы это? Москву есть кому защищать; Рыбинск с Ярославлем — не ближние ли подступы к большевистской столице? Если знают о присутствии здесь главного российского террориста, не усыпляют ли его ложным разоружением? Не одни же дураки в стане красных. Вон сколько царских полковников и генералов переметнулось! Не говоря о латыше Геккере, даже Брусиллов, краса и гордость русской армии, посчитал, что, помогая большевикам своим авторитетом, спасает Россию от иноземного нашествия... Значит, полковник Бреде, воевавший под началом Брусиллова, — против него? Значит, Савинков, комиссарствовавший при его премирнике Корнилове — тоже ПРОТИВНИК?!

В голове это не укладывалось. Да и некогда было. В первоначальный переклест пулеметов ввязалась густая винтовочная пальба. Что ж, у полковника Бреде до сотни настоящих винтовок, и, судя по всему, они вынужденно, но всерьез заговорили. Время пик?

— Юнкер Клепиков, — позвал он, отстраняясь от всякого дружества. — Скажите к полковнику Бреде. Узнайте — что там?

— Слушаюсь... господин генерал! — с некоторой запинкой, но без всяких шуток козырнул адъютант, выбегающий во двор.

В каретном сарае еще с вечера было припасено несколько оседланных коней, украденных кавалеристом Ягужиным у красных растяп.

На окрик выскочил из задних комнат всклокоченный и совсем не военный Деренталь:

— Борис, что мне прикажешь делать?..

Не хватало, чтоб следом за ним явилась, подметая своим малиновым пеньюаром затоптанный пол, и бесподобная Любовь Ефимовна. Он вызвал Деренталья для связи с вологодскими послами. Но как же Люба-Любушка останется одна в Москве? Первые дни Савинкову по-мужски льстило ее присутствие, но сейчас было не до того.

— Вы — к поручику Ягужину. Немедленно — конная атака!

Непроставшаяся, неопохмеленная физиономия друга сморщилась, но он смолчал. Несмотря на весь свой расплещистый гражданский вид, к седлу был привычен. Правда, выучна только Булонского леса...

— Я скрытно с десятком юнкеров атакую биржу, — уже сам выступил Патин. — У них там тоже оружейный склад.

— Но ведь рука?..

— Руке некогда болеть, — сдернул Патин перевязь.

— Без винтовок нам нельзя.

— Нельзя.

Козырнув, Патин скомандовал:

— Десять — за мной!

В этой обшарпанной, внешне нежилой и заколоченной усадьбе полк можно было спрятать, а уж полсотни юнкеров и подавно. Все были наготове, в форме. Патин прихватил первый набежавший десяток и бесшумно, иноходью опытного разведчика скрылся в темноте. Юнкера подняли совсем не нужный топот. По затихшим вдруг шагам Савинков понял: поручик внушает — не на императорском плацу. Потом потише стало, растаяло в темноте.

И только Савинков закурил свою спасительную сигару, как из задней комнаты вывалилась, вытряхнулась — иначе нельзя было сказать — бесподобно утренняя Любовь Ефимовна.

— Чего меня все покинули, Боренька?..

— Я не Боренька! — ткнул он сигарой в ее малиновый пеньюар. — Оденьтесь. Быстро. И возьмите... на всякий пожарный случай!.. хотя бы дамский браунинг.

— Браунинг... браво! — потянулась она к Савинкову, но он перевел взгляд в дальний угол.

— Фу... какой гадкий!.. — Она выбрала, все так же сонно потягиваясь, из кучи сваленного в углу оружия именно то, что никому не было нужно.

Откуда тут на самом деле взялся дамский браунинг, думать не хотелось. Пока Любовь Ефимовна почему-то прятала его под пеньюар, Савинков отшвырнул сигару:

— Выберите себе, мадам, юнкера в провожатые!

Она — в рев:

— Да как это можно так обращаться со мной... со мной...

Савинков не слушал.

— Следующие десять человек — к моему плечу! Остальным — ждать здесь дальнейшей команды.

Со стороны биржи, куда исчез Патин, не слышалось ни звука. Савинков с запозданием понял: десять первых юнкеров — это десять смертников. Пусть в таком случае будет двадцать!

Зная, что Патин постарается обойти каменную неприступную биржу с тыла и как-нибудь вломиться в задние двери, он повел своих тихими перебежками к гостиному двору — там уже недалеко было до биржи.

Боже правый! Под всеми арками гостиного двора грудились красноармейцы. Засада! Сомнения в предательстве уже не было. Большевики знали не только день — даже час выступления. Ждали открытого огня, чтоб всех разом прихлопнуть, как мух. Не требовалось большого ума догадаться о плохой вооруженности восставших. Не с пушками же в город заявились.

Со стороны артиллерийских складов несло уже звуки настоящего жестокого боя; зарево разливалось, рвались задетые в переполохе складские снаряды. Даже клик конницы доносился — значит, тюфяк Деренталь поспел, и Ягужин уже в седле.

А здесь — безмолвие. Здесь ждали безоружных.

Савинков боком, боком, вдоль затененных стен друтих домов повел свою небольшую револьверную команду на выручку Патина. По первым ударам в задние двери

догадался: пытаются взломать. По двум открыто пущеным ракетам, красной и зеленой, — вызывают на подмогу заречный отряд Вани-Унтера. Правильно!

Пришло единственное решение:

— Стреляйте по парадным окнам. Шумите. Отвлекайте оборону от Патина...

Он еще не успел закончить, как тишину прилегающей площади разорвало молодецкое:

— Ур-р-а-а!..

Под эту внезапную, отвлекающую атаку Патин, слышно было, вломился внутрь биржи, потому что там, за метровыми каменными стенами, уже стоял человеческий яростный ор.

Нечего было и думать взять парадные двери, тем более что от гостиного двора, уже не таясь, стреляя на ходу, подбегали на помощь своим отряды красноармейцев. Хорошо, что хоть немного отвлекли их от смертников Патина. Савинков знал расположение биржи еще с прежних славных времен, когда через Рыбинск убегал от жандармов и прятался там с сыном одного купца в лабиринте подвалов. Патин штурмовал самые нижние боковые, прямо от воды идущие двери — он повел своих на бывшую танцевальную площадку, вторым этажом высоко поднимавшуюся над водой. Выходившие на танцплощадку сразу несколько дверей были не столь прочны; в прошлые времена вход туда еще прикрывала литая чугунная ограда, сейчас, конечно, поваленная. Те двери были филенчатые, и юнкера, похватав прутья порушенной ограды, без труда разломали несколько филенок, прежде чем охрана биржи из нижнего этажа поднялась сюда. Их уже встречали прицельными выстрелами. В руках юнкеров оказались винтовки, даже со штыками. Ах, молодцы! Все-таки учили их не только танцевать на балах — лихо и штыками работали!

Савинков к штыку был непривычен — стрелял с обеих рук. Там, куда они ворвались, были небольшие пилястры. Еще до того, как набежала охрана, он успел спрятаться за одну из них. Юнкера не могли все затаиться — кто-то уже стонал на полу под мятущимися ногами. Он

помогал им из засады. Красные армейцы пёрли по узкой лестнице, до времени не понимая, откуда их косит; когда догадались — пули стали щепать и кирпич пилястры. Савинков не мог уже прицельно стрелять, выжидал. И... дождался!.. С криком: «Ой, мама!» — упал охранявший взломанные двери юнкер. В переполохе забыли про набегавших с площади красноармейцев — мальчишка в одиночку отбивался...

Не оставалось ничего другого, как крикнуть своим:

— Вниз! В штыки!

Сам он первым бросился на лестницу, но молодые, здоровые юнкера опередили — буквально прорубили выход в нижний этаж. Савинкову оставалось прикрывать их ничем не защищенный тыл. Спасало до поры, что напавшие с тыла красные армейцы сами пока не стреляли, в такой свалке не разобравшись, где свои, где чужие. Юнкера Савинкова успели захлопнуть тяжелую подвальную дверь. И к ней — все, что под руку попадалось: ящики с патронами, мешки с мукой, тюки одежды, какие-то шкафы, столы и скамейки. Даже неизвестно как сюда попавшие пудовые якоря... Все! Сверху уже не вломиться.

Но дальше-то — что?..

Внизу в некоторых плохо освещенных углах еще постреливали. Многие электрические лампочки были сбиты то ли самими защитниками, то ли юнкерами Патина...

Их и всего-то двое навстречу приковыляло, раненых. Они опирались на захваченные винтовки и дышали как загнанные.

— Где поручик Патин?

Один из юнкеров, придерживая распоротый штыком живот, кивнул на освещенную лампочку.

Под ней с торчавшим в груди штыком лежал Патин.

Савинков выдернул штык, граненый, русский, и зачем-то ошметком валявшейся ветоши заткнул страшно развороченную рану.

— Нижние двери! — думая об этой последней в судьбе поручика ране, не позабыл напомнить.

Но юнкера и без его подсказки баррикадировали пролом, сделанный Патиным. На той стороне уже стучали приклады и грохали выстрелы. Дубовую дверь прошить, конечно, не могли, а пролом был хорошо завален. И все же...

— Вломятся! — запаниковал зажимавший живот юнкер.

Савинков хотел сказать, что ему-то уж теперь все равно — с распоротым животом да без всякой медицины долго не живут, — но пожалел мальчишку:

— Прежде чем вломятся, мы успеем уйти. Берите каждый по две винтовки и патроны — за мной!

— А раненые?.. — уже из своих юнкеров не выдержал кто-то, не решившись сказать: убитые.

— Вас сколько, мои молодцы?

— Шестеро... — был несмелый ответ.

— А раненых, — он выдержал все-таки это ненужное слово, — двенадцать. Тринадцатым — поручик. Вам восьмерым, а среди вас есть... слабые, — деликатно напомнил он, — тринадцать мужиков не унести. Выбирайте: или так нужные нам винтовки — или ваши товарищи?

Мертвыми он опять назвать их не решился. Ведь перед ним были, в сущности, мальчишки. Они молчали, борясь с долгом и дружбой.

— За мной! — освобождая их от муки, подхватил Савинков в одну руку две винтовки, а в другую ящик с патронами.

Юнкера последовали его примеру, не зная, куда он их ведет. А он-то знал — знанием более чем десятилетней давности... В 1906 году было — во-он когда! После неудачного покушения на нижегородского губернатора. Теперь-то он знал, что выдал их всех с потрохами Евно Азеф, — после общего бегства рассыпались по разным путям; он выбрал Рыбинск. Мысль простая: пробраться по Волге до Морозова, только что на волне революции вышедшего из Шлиссельбурга. Но ему на целую неделю пришлось спрятаться в Рыбинске, именно в подвалах этой каменно затаившейся биржи; спасибо, сын купечий, наперекор папаше пошедший в террористы, вывел

потайным ходом. Он, как крот подземный, вылез тогда в недалеко отстоящий главный здесь собор, где шла воскресная служба... Неужели и сейчас?

Пути Господни и сроки Господни неисповедимы! Служил все тот же батюшка, казалось, и не состарившийся, — куда ему дальше стареть, — служил, в отличие от прошлых лет, почти при пустом храме. Он даже не удивился, когда Савинков, пока один и без винтовок, вылезал из подполя в боковом приделе. Только спросил:

— Опять, сын мой?..

— Грешен, отче, опять, — припал к старческой руке. — Хуже того, со мной еще восемь — уж истинно сынков. Мы уйдем не задерживаясь.

Следом через откинутый замшелый люк вылезали раненые, некоторые просто выползали на свет Божьих лампад.

Батюшка, прервав службу, захлопнул дверь бокового придела.

— Здесь молится честной народ, но вы, православные страдальцы, выйдите все-таки другой дверью, — не по годам шустро повел он, крестясь, к заднему выходу. — Помилуй вас Бог... А этого, — указал глазами на умиравшего юнкера, — оставьте на Божье попечение. — Шепнул лишь: — Я схороню.

Юнкера, который уже ничего не мог говорить, с рук опустили на какой-то подрясник, а сами, гремя винтовками, высыпали при полном уже утреннем свете под липы в соборной ограде.

Пока дверь не закрылась, еще слышалось: «Господи, помилуй их, грешных, Господи, помилуй...»

А потом — только стрельба, недалекий уже стрекот пулеметов, звуки наплывавшей на город кавалерийской атаки.

— Винтовку — через плечо, винтовку — на руку, за мной! — скомандовал Савинков, устремляясь через Никольскую улицу на Черёму.

Красные армейцы, видно, частью застряли возле биржи, все еще возясь там с дверями, частью ушли на подмогу своим. Юнкера всего двоих-троих подстрелили по

пути. Город как вымер. Уцелевшие ставни закрыты, ворота заперты, собаки даже не лают: или постреляны, или во внутренние комнаты от греха подальше уведены. Но ведь все равно — видел же кто-то: с примкнутыми штыками, строем маршируют юнкера во главе с кем-то, увешанным оружием, не то переодетым генералом, не то уличным башибузуком. Савинкову некогда было смотреть на себя. Их слишком мало, чтоб удержаться в городе. И даже когда на подходе к Черёме набежали заждавшиеся там юнкера — все равно сколько же?.. Передние расхватили винтовки, строй увеличился... намного ли?.. Слабое утешение. Вдобавок ко всему выбежала все в том же утреннем пеньюаре безумно красивая Любовь Ефимовна. Со словами:

— А мне-то куда, Боренька?..

— Я не Боренька, — повторил он ночное предупреждение, и уже ближайшему юнкеру: — Под личную ответственность! Выведите ее из города.

— Куда?.. — хватая безумную женщину за руку, пытался доспроситься юнкер.

Если бы Савинков знал! Пока — навстречу стрельбе. Чувствовалось, что красные армейцы отступают к центру города. Клики отчаянной кавалерийской атаки слышались уже совсем близко.

— Винтовку на руку! — снова скомандовал Савинков. — Вперед! Громче, громче ура!..

Никольскую улицу, куда они опять высыпали, боевым кликом на две стороны раздвинуло, развалило вместе с купеческими лабазами и особняками. Красные армейцы шарахнулись в подворотни, но все ворота были заперты. Справа и слева сплошные посадки домов. Разъяренные юнкера работали больше штыками и прикладами, лишь в малое затишье стреляя по лезущим на ворота красноармейцам. Но какое там затишье! Навстречу выносился эскадрон Ягужина. Сам поручик мало что и видел перед глазами, взмахивая окровавленной саблей направо и налево. На неширокой все-таки городской улице его обляпанный пеной чалый конь оторвался от своих, несся уже без шенкелей. Почти от стен до стен хо-

дила сабля. Савинков и сам еле успел заслониться винтовкой:

— Ягужин!

— От... дьявольщина!.. — ошарашенно взмыла сверху рука. — Вы, генерал?!

— Ранены?..

— Не знаю, чужая, наверно, кровь. Я пройду, пока страх у них не угас, до центра... я уж им дам капустку!..

— А полковник, полковник?! — пропуская остервенелый эскадрон, прокричал вослед Савинков.

Чалый, бледный, как сама смерть, крутился под всадником, уже, вероятно, от ярости, как и всадник, ничего перед собой не видя. В сознании Савинкова возник вдруг Ропшин, совершенно сейчас не нужный Ропшин; он издевательски прочитал свои пророчества: «Его затопчет Бледный Конь!» И уже не Ропшин, а Савинков предсказал: «Живым ему из этой мясорубки не выйти...»

— Полковник?!

Ягужин не слышал, уносясь на своем бледно сиявшем, обляпанном пеной коне все дальше и дальше к центру. Кто-то из последних крикнул:

— Полковник взял склады, но сам в окружении!

Пока разорванным стреляющим строем, — здесь уже много за углами встречалось красных армейцев, — неслись навстречу все разгоравшемуся сражению, выметнулся обратным ходом эскадрон Ягужина. Кони устали; видимо, устали и руки человеческие. Сабли в ножнах, винтовки над каждой гривой. На этот раз Ягужин заметил Савинкова:

— Центр нам не взять, там сплошняком пулеметы устанавливают. Метут, стервы, свинцовой метлой! Надо выручать полковника... может, вас на седло?..

— Нет, со мной юнкера. Не задерживайтесь! Мы следом. Слышите, из-за реки?..

Кажется, подходили отряды с Гиблой Гати. Кажется, выше биржи на зов пущенных еще Патиным ракет выскаживался взвод Вани-Унтера. Разгорячившимся в сумасшедшем беге юнкерам, да и самому Савинкову уже казалось: сопротивление красных сломлено, победа!..

Но тут от недалекой железнодорожной ветки, подкравшей к складам, в бликах утреннего солнца, железно, скрипуче, громоздко, надвинулось совсем неожиданное... и грохнул с налету артиллерийский выстрел... Бронепоезд!

Не его одного ожгла эта догадка. Бег невольно замедлился — наперерез черно-юнкерской лавине просвистел другой снаряд, пока бесприцельный и все же зловещий. Савинков вспомнил предостережение полковника Бреде: мост! Волжский мост, связывавший Рыбинск с дорогой на Питер, за всей этой спешкой взорвать не успели.

«Все-таки я не военный человек», — мысленно повинился Савинков, а вслух подбодрил своих уставших юнкеров:

— Ну, молодцы! Из-за Волги подмога идет.

Подмога с Гиблой Гати была уже на этой стороне, — Волга в такую суть обмелела, вплавь и вброд буровили воду, вытрясаясь на песок. Но и бронепоезд притащил за собой, конечно, еще пехоту. Гремело, рвалось уже рядом.

Савинков нашел полковника Бреде в пригороде Рыбинска поблизости от артскладов. Полковник во весь свой долговязый рост торчал в окне примыкавшей к складам конторы.

— Склады — наши?

— Пока наши, да пушки не удастся развернуть, — ответил Бреде, прицеливаясь биноклем навстречу и без того близкому бронепоезду. — Замки сняты и хранятся где-то отдельно. Надо отдать должное моему земляку — такой предусмотрительности мы не ожидали.

— Да... Ваша правда была: мост!

— Не будем считаться правдами. Не все потеряно! Отряды с Гиблой Гати я приказал повернуть в тыл бронепоезду и взорвать...

— Кулаками? Прикладами?

— Мы нашли немного взрывчатки. По крайней мере — паровоз! Чтобы они дальше, к Ярославлю, не прошли.

— Думаете, Рыбинск не удержат?

— Что делать, думаю... Давайте вместе думать. Командуйте, Борис Викторович!

— Я всего лишь — Борис Викторович. Командуйте вы, полковник! С меня хватит юнкеров. С ними я вспомню и свою молодость... Может, нам удастся какая диверсия?..

Но особой уверенности в его голосе не было.

Бронепоезд — это не карета губернатора. Да и не было сейчас при нем даже самой паршивой бомбы...

II

Полковник Бреде мог бы отговорить волонтеров Гиблой Гати — гиблой?! — от безумной затеи — штурмом взять блиндированный, ощерившийся пушками и пулеметами поезд... как еще недавно и Савинков — Патина. Но ни тот ни другой не вольны были в своих желаниях. Бой продолжался со все нарастающей силой. Гиблая Гать выслала на помощь Рыбинску всех до единого. Сзади приклепали на подводах даже больные; их сопровождал старый Тишуня, о котором Патин... неужели покойный?.. рассказывал не иначе как со смешком: воитель русско-японской!.. Но три подводы, которые он на маленьком паромчике пригнал в город, оказались как нельзя кстати. Раненые! У них не было ни лазарета, ни доктора... даже хоть и венерического! Обожаемого Кира Кирилловича и след простыл... Азеф, опять новоявленный Евно Азеф?!

Сейчас было не до воспоминаний. Наступавшим волонтерам требовался хотя бы примитивный лазарет. Мало Савинков, Бреде, военный, организованный человек, не мог без раздражения смотреть на собственную бесхозяйственность. Намеревались единым махом взять Рыбинск! Не вышло... И сейчас шло, как само собой разумелось. Поредевшие цепи, еще не просохшие от волжской воды, то наступали, то отступали — когда давал залпы недостижимый для винтовок бронепоезд. Судя по всему, туда перебрался и штаб земляка Геккера; с тыльной, непростреливаемой стороны то и дело уносились верхами связные. У Бреде связных не было; посылать через заградительный огонь мальчишек-юнкеров —

это — верная смерть. А его любимые, огрузшие от прожитых лет полковники и майоры могли лишь полеживать за камушками да сквозь кашель и одышку щелкать по наступавшим от центра города красным. Но и щелкать было нечем: патроны кончались. На артиллерийских складах винтовочных не было, а те, что Савинков со своими юнкерами вынес с биржи, сами же на подходе и расстреляли.

Полковник Бреде травил свою душу: где же они опростоволосились?! По всем предположениям, здесь должны быть и ружейные отсеки... да в той же сутолоке не смогли отыскать! Еще в предутренней заматне, не достигнув и ограды складов, нарвались на пулеметную засаду, брать склады пришлось, что называется, в штыки. Расположения арсеналов не знали, слишком долго провозились с пушками, так и не найдя вывезенных куда-то в другое место замков. По собственной ли их оплошности, под залпами ли с бронепоезда — ружейные отсеки начали рваться; когда разобрались, где патроны, туда было не подойти. Проклятый землячок! Надо отдать ему должное — перехитрил. Штабеля гаубичных снарядов ни к наганам, ни к винтовкам, конечно, не подходили; сами гаубицы насмешливо и пусто глазели бесполезными стволами. Пока сообразили заняться более простым оружием, хотя бы пулеметами, пришлось залечь под огнем очнувшихся красных. Чувствовалось, не голь перекатная противостоит — те же солдаты мировой войны, поверившие не белым, а красным. Полковник Бреде мог сколько угодно проклинать полковника Геккера, но отказать ему в воинском умении не мог.

Носившийся с фланга на фланг эскадрон поручика Ягужина таял на глазах. Он еще мог наводить панику, пока не было бронепоезда; сейчас же, стоило конникам выскочить из-под защиты пригородных домишек, они сразу же попадали в перекрестия орудийных прицелов. Били осколочные; была секущая шрапнель. По нагорному полю, отделявшему склады от железнодорожной ветки, носились опалелые, частью тоже раненые лошади; раненые люди, кто мог, ползли под укрытие длинной ка-

менной конторы. Старик, назвавшийся Тишуней, грузил их навалом в телеги и гнал к реке. Там, сказали полковнику, наладилась переправа на безопасный берег; там бегал по прибрежному песку в одних сандалиях и коломянковом пиджаке высокий, совершенно наивный барин и взмахом игривой тросточки всех направлял уже к своим, высланным навстречу подводам. Полковник Бреде хотя с ним и не встречался, но секрета не было: шлиссельбуржец Морозов! Прослышав это, раненые ковыляли прямо туда, к паромной переправе. Подумать было страшно, во что втянули не погибшего и в Шлиссельбурге царевыйцу!..

Тут еще один наивный крутился, Деренталь. Этого полковник Бреде знал хорошо и потому отмахивался матросским маузером:

— Александр Аркадьевич, сгиньте... или поищите патронов!..

И кто бы мог предположить, что он их найдет на пристрелянных с бронепоезда складах, одну телегу старика Тишуня завернет и загрузит ящиками и винтовками. Патроны — прекрасно, но винтовки, еще и раньше захваченные на складах, уже некому было держать...

В последний раз промелькнул вдрызг распущенный эскадрон Ягужина — десяток загнанных лошадей и сплошь раненных конников; больше о них ни слуху ни духу... Только прибавилось на дымном нагорье обезумевших лошадей. Ярко выделялся чалый окровавленный жеребец самого Ягужина — призывно, душераздирающе ржал... Лошади были более живучи, чем люди: если не подшибало снарядом, и с пулями в крупе бегали. Собственно, и последнюю пользу приносили: мешали наступать из города красным, то и дело врываясь в их боевые порядки. Пулеметы сейчас били уже прямо по лошадям. Красные расчищали путь для атаки.

Она внезапно захлебнулась от совершенно неожиданной подмоги: в тыл ударил заречный отряд Вани-Унтера. Напрасно вчера смеялся Бреде над продотрядовцами-перевалчиками: они сумели захватить где-то пулемет и сейчас с тыла подметали ряды наступающих.

— В атаку! — подал свою команду полковник, выбрасываясь с маузером из окна конторы навстречу прижатым к земле красным.

С двух сторон их удалось выместить из городского предместья, но полковник Бреде видел: за ним пошло в атаку не больше сотни... У встреченного за пулеметом Вани-Унтера и десятка не набиралось... Полковник молча пожал ему дрожавшее за щитком плечо, разворачивая своих в сторону города. Оттуда, уже не боясь задеть собственные скопленные цепи, опять наступали красные. По редевшие ряды защитников бесполезного арсенала насквозь прожигало...

— Отходим, — увлек он за собой спасителя-пулеметчика.

Опять стены арсенальской конторы. Наспех укрепленные амбразуры. По ним уже пристрелянно бил бронепоезд — даже метровый кирпич прошибало... Сколько тут можно было держаться? В разгар заслонивших всю видимость разрывов из пыльного марева вынырнул с десятком конкеров Савинков:

— Нашего милого шлиссельбуржца еще пришлось спасать. В своем белом пиджачке — прекрасная мишень! С бронепоезда засекли и ударили по переправе. Они бьют, а шлиссельбуржец стоит, тросточкой гневно грозит. Мои приказы, посылаемые с этого берега кулаком, игнорирует. Что делать, вместе с ранеными отправился к старику. Я его гоню, а он совершенно наивно вопрошает: «Револьвер мне дадите? Я еще не научился стрелять». Видите... револьверы против бронепоездов! Хорошо, прибежала бесподобная Ксана, жена его, пальчиком повелела бесстрашного шлиссельбуржца грузить в телегу. Меня — ослушался, ее — не мог. Хоть это с плеч долой.

Савинков как ни в чем не бывало достал из внутреннего кармана френча неизменную сигару и закурил. Странно, но френч у него был чистый — неужели так ни разу и не залег на земле?..

— К бронепоезду сейчас не подступиться. Наших полегло — страшно подумать. Поистине, Гиблая Гать! Тишуне всех на тот берег не перевезти... Выпить есть?

Бреде от усталости и сам только за счет фляжки держался — протянул Савинкову, удивляясь: тому и в дымном аду удалось сохранить спокойный, а главное, чистый вид. Не хватало только белого платочка в кармане френча! Из горлышка фляжки, как привык полковник, он пить не стал — налил в крохотный колпачок, несколько раз махнул в бледно-зажатый рот и аккуратно завинтил.

— Еще поьем... попилим, я хочу сказать, полковник?

— Чего-чего, а пыли, Борис Викторович, хватает.

— За пылью мы и проскользнем обратно в город, — покурив, не стал по обычаю выбрасывать сигару, притушил о приклад винтовки и спрятал в карман.

— Самое лучшее — берегом. Там много догнивающих барж, барок и катеров — как-никак укрытие. У нас единственное спасение — брать и держать город. Здесь нас всех перецелкают. А там — дома, защита. Бронепоезд дальше вокзала не пройдет, а вокзал на окраине. Как, господин унтер? — напрямую спросил своего курившего за щитком пулемета недавнего пленника.

— Само собой, город, — ответил Ваня-Унтер, тоже пряча недокурево.

— И ты, Деренталь, с нами, — кивнул Савинков своему метавшемуся из комнаты в комнату беспечному очкарику. — Кленикова не видел?

Тому нечего было отвечать, пожал плечами.

— Значит, за мной. Обнимаем, полковник, — сказал никогда не опускавшийся до сантиментов Савинков, распахивая руки.

Полковнику Бреде тоже был непривычен этот жест. Да и стрелять после малой передышки начали, снаряд разорвался буквально за стеной. Даже в обложенную кирпичом амбразуру бросило вихрь щебенки. Бреде поторопил:

— Если так — побыстрее. Постарайтесь в городе вызвать панику...

— Единственное, что мы можем... Но! — подстегнул себя Савинков. — Сказано — мы еще попилим!

Савинков со своей небольшой командой исчез в дыму, а Бреде подумал: «Нет, мой землячок не отдаст Рыбинск. Не дурак ведь. Иначе — самому в Чека».

— Слу-ушать мою команду! — привычно прокричал он припавшим к амбразурам последним защитникам арсенала.

Но что — командовать?

Какой смысл — командовать?

С нагорья от бронепоезда в подкрепление рыбинским красным армейцам спускались цепи питерских матросов...

III

Но Савинков этого уже не видел.

Всего с несколькими юнкерами добежав до утлой паромной переправы, он крикнул слишком долго копавшемуся Тишуну:

— Забирай всех последних раненых! На тот берег! Немедленно!

Здесь уже рвались снаряды. Вода в реке бурлила. На берегу тучи поднятого взрывами песка, слава богу, закрывали видимость. Бронепоезд бил по первым прицелам, а ветер сносил песок немного в сторону. Старый солдат Тишуня догадался — напроць отвязал от канатов паром и пустил его самотеком, подгребая веслами. У Волги здесь был заворот, должно прибить к противоположному плесу. Вовремя убрался с пристрелянной переправы: очередной снаряд бухнул как раз на прежнее место, паром тряхнуло набежавшей волной, но он устоял.

К Савинкову еще подбегали юнкера, но будь их хоть и батальон — чем они могли помочь? Тишуня с последними ранеными, лошадью и телегой, вместе с сыновьями подгребал помаленьку к левому берегу.

— Отгони старика прочь!

Но куда там... Николай Александрович Морозов, вырвавшись из-под опеки плачущей Ксаны, опять командовал на том берегу — ну, прямо превосходная чесучово-белая мишень!

Савинков велел двум юнкерам прыгать за ним в лодку, а остальным — укрепляться на берегу за старыми баржами.

Волга здесь в сушь неширока. На двух парах весел в несколько минут перемахнули. Николай Александрович принялся было радостно размахивать руками:

— Вот хорошо-то. Вот молодцы.

А что — хорошо, кто — молодцы, едва ли понимал. Объяснять и нежничать было некогда. Савинков просто схватил наивного шлиссельбуржца в охапку, один из юнкеров подхватил длинные ноги, и они скорой пробежкой унесли его под дубки, куда впереди бежала Ксана. Там пряталась телега. Без всякой вежливости шлиссельбуржца швырнули в тележное корыто, и Савинков уже зло наказал самой Ксане:

— Гоните отсюда! Будет выскакивать — примотайте вожжами.

Стрелки с бронепоезда, видя незащищенность смешной переправы, начали садить снаряды уже и на их берег. Хорошо, что лошадь испугалась — вскачь понеслась к лесу, так что чесучовый пиджак дальше облучка телеги не мог выметнуться.

Обратным ходом они нарочно прошли мимо парома, который все еще барахтался на стремнине.

— Держитесь пыли! Сокройтесь! — прокричал Савинков, но, конечно, напрасно.

На пароме гребли кто чем мог, даже лопатами, даже руками раненые помогали.

Его юнкера тоже выдохлись, заменил на веслах одного из них, проскочили очередной шумный фонтан. Оглядываться было некогда — юнкера уже отстреливались от спускавшихся с нагорья матросов.

Савинков махнул рукой:

— За мной!

Он повел юнкеров в сторону города, зная, что тут недалеко до дома сволочного запропавшего доктора.

Оглянувшись в последний раз на всплеск очередного жуткого фонтана, он увидел вместо парома зависшие над рекой черно-дымные обломки...

Но сетовать на судьбу несчастных не приходилось: матросы бежали по пятам. Хорошо, что на этом берегу черт ногу ломал — гниющие на песке баржи, лодки, небурные штабеля леса, какие-то будки, сторожки, заросли разного лозняка. Под таким прикрытием вырвались в пригород, уже под защиту настоящих домов.

По рассказам Патина выходило — здесь где-то задворками и выпирала усадьба доктора. Приметно описанный дровяник, проход между старых теплиц и поленниц — вполне понятный черный ход. Савинков первым ринулся туда. Двери везде распахнуты настежь. Ни души, кричи не кричи. В одной из первых же комнатенок он признал вещи Патина, прежде всего его приметные австрийские сапоги и рабочую робу — в последний свой путь поручик вышел в полной воинской амуниции. Только глянув на все это — дальше, дальше! Не дом, а какой-то лабиринт запутанных комнат и комнатенок.

В зале, на окровавленном полу...

Да, он признал ее, докторскую прислужницу. Она была пристрелена, как негодная уже хозяину собачонка, но, видимо, второпях, — какое-то время еще жила, потому что блокнот, который по немости всегда таскала с собой, был смертно распахнут на крупных, едва разборчивых словах:

«Андрюша, не приходи сюда больше... Кир всех вас предал... с ним комиссары... а я тебя и мертвая любить буду...»

Савинков закрыл ей глаза и, сдернув со стола загремевшую посудой скатерть, набросил на несчастную прислужницу.

Ему опять почудился лик толстого Евно Азефа.

Рыбинский Азеф?!

При каждом несчастье — Азеф?..

— К парадным дверям! — отгоняя наваждение, приказал он своим выбившимся из сил юнкерам.

На берег возвращаться не имело смысла: там пастабли, ища потерянный след, преследователи-матросики.

В той стороне, где остался полковник Бреде, еще стреляли, упорно и кучно. Савинков понимал, что это — круговая оборона. Круговая, последняя...

Но стреляли и где-то здесь, ближе к бирже. Тоже кто-то из своих отбивался. Он велел одному из юнкеров переодеться во что-нибудь докторское и, бросив винтовку, разве что с револьвером пробираться к полковнику Бреде с приказом: отступить вниз по Волге, прихватывая по пути всех отставших... В приказ мало верил, но это был последний долг перед защитниками Рыбинска.

Когда он остальным крикнул привычное: «За мной!» — он еще не знал, что биржу во второй раз удержать им уже не удастся и что отставших наберется немного, — совсем немного доберется до Ярославля... Это будет уже на третий день бесперывных боев.

Такие выходили дела... будь он проклят! злосчастный рыбинский Азеф!

IV

У полковника Перхурова дела шли лучше.

Савинков добрался до Ярославля с одним нашедшимся по пути Деренталем — тот ковылял, опираясь на винтовку. Ничего страшного, ногу подвернул. Савинков уже распустил свой потрепанный отряд, велел разрозненными парами выходить из окружения. Пробиваться дальше более или менее крупными группами стало невозможно. Все выходы на ярославскую дорогу были заблокированы. Красный полковник Геккер знал свое ремесло.

Разбитые, рассеянные по лесам волонтеры Рыбинска все еще представляли грозную силу, сдаваться на милость виселицы не хотели. Они могли умереть, как умер в подвалах биржи поручик Патин; они и вздернутые на штыки, как другой поручик, Ягужин, рубивший саблей эти штыки, за здорово живешь головы свои не склоняли. Савинков редко опускался до объятий — обнял-таки Ваню-Унтера, когда тот вынес из подвалов биржи изуродованное тело корнета Заборовского. У него были отрублены кисти рук, выколоты глаза; видимо, добивались от корнета — где, сука, штаб Савинкова?! При первом штурме Заборовского второпях не нашли, а сейчас, и всего-то на полчаса заняв биржу, наткнулись вот в глу-

хом боковом подвале; что-то вроде застенка было, потому что и другие трупы валялись. Ах, корнет, корнет!..

Несмотря на предательство любимого доктора Кира Кирилловича, — а это уже не вызывало сомнения, — Рыбинская Чека знала далеко не все. Только день и час выступления, но понятия не имела о резерве Гиблой Гаги; догадывалась, но тоже толком не ведала, о смертниках Вани-Унтера. Рыбинск им дался большой ценой. Бронепоезд мог разметать боевые порядки полковника Бреде — не мог уничтожить всю силу, разбившуюся на отдельные группы. Именно так, партизанским наплывом, и заняли вторично Рыбинск. Здесь, за домами, снаряды бронепоезда были уже не страшны, а храбрые матросики, постреляв на открытом месте, в город вступать не решались. За каждым углом их ждала засада. У матросов нашлись более интересные дела: женский ор даже в центр города заносило. Наберись-ка на каждого сине-полосатого рыбинских баб! С трудом, да и то под прикрытием конвойных латышей, удалось красному полковнику Геккеру поднять их из лежачего положения в строй. Все это время Савинков, потеряв в дыму полковника Бреде, держал Рыбинск и даже вторично побывал в подвалах биржи, где вначале наткнулись на истерзанное тело Капы-связной, а потом и корнета Заборовского. Проходили гуськом через тот же подземный ход, через собор; старый батюшка даже не удивился очередному мирскому вторжению, благословил: «Вопию к небесам! Господи, проводи путями неисповедимыми мучеников!..» Господь услышал и заступился за рабов Божьих, которые давно не бывали у святого причастия; они прошли, вторично во- рвались в биржу... но что с того?..

Невелика удача — вновь перебитая охрана. Изуродованный труп корнета Заборовского, закопанный штыками в волжском песке. Вынесенный на берег и упокоившийся вместе с Капой в том же песке поручик Патин. Капу долго насильничали, прежде чем штыками расправили живот. И Заборовский, и Капа попали в подвалы еще до роковой ночи. Господи, даже баба смерть позорную приняла, а не выдала. На руках, на руках ее, голую

и растерзанную, вынес Ваня-Унтер и не случайно же захоронил рядом с Патиным. Смерть все уравнила.

— Так, Капа. Твоя кровушка им отольется!

Но лилась пока их, волонтерская кровь. Оставаться в мышеловке подвалов было бессмысленно. Не зная о судьбе полковника Бреде, Савинков своей властью приказал:

— Все — на левый берег. Лодки, плоты, вплавь — как угодно. Рассыпаться там попарно и пробираться к Ярославлю.

Как ни умен был полковник Геккер, он не учел такой возможности. Уцелевшие защитники Рыбинска успели перебраться к Слипу. Сам Савинков — к усадьбе Крандиевских. Ближе тут было, слышал, видел с бережка бывший управляющий — заранее вынес крестьянскую одежду. Вполне для эсера, жизнь сломавшего за крестьян! Но Савинков, еще не снимая боевого френча, успел попрощаться:

— Обнимаю живых... и особенно павших! Немедленно — уходить. Видите?..

Через реку уже шпарила целая флотилия, посланная вдогонку.

Двое суток они с Сашей Деренталем добирались до Ярославля, потому что Геккер, поняв свой промах, переправил конные разезды и на левый берег. Нечего и думать было спуститься в лодке до Ярославля. Пешком по лесным тропам, как в достославные времена первой революции... Только не вверх, а вниз по течению.

Теперь под гром пушечной канонады Савинков отлеживался в бывшем губернаторском дворце. В соседней комнате у полевых телефонов бессонно торчал полковник Перхуров. Первое, что услышал проснувшийся Савинков, было:

— Не изволите кофе, Борис Викторович?

— Если — с коньяком, — оценил Савинков выдержку боевого полковника.

В городе было пока сравнительно тихо. Бронепоезд, несущий на переднем щите красное имя: «Ленин», был остановлен еще на створе города Романова. Разобрали

пути с добрую версту. Несколько суток пройдет, пока под дулами пушек восстановят. Переправившиеся на левый берег из Рыбинска и Романова красные армейцы пока только накапливали силы. Главная московская дорога чуть ли не до Ростова Великого была заблокирована диверсионными группами. Озабоченность — только со стороны Вологды. Иностранные послы могли сидеть там сколько угодно, но воинские эшелоны вкруговую, через Тихвин и Череповец, следовали без особых остановок. Сбить их ход не хватало сил. Нельзя было расплытаться. Пока — Ярославль. Только сам город, перерезавший все пути по Волге и по железной дороге. Следовательно, оружейный Урал ничем не мог помочь большевикам.

— Но — Казань? — выпив кофе и выкурив неизменную сигару, спросил неизбежное Савинков.

— Казань — нож нам в спину, — согласился полковник Перхуров. — Через нее можно везти с Урала все, что угодно. Южной округой. Тем более что Кострома, Владимир, Муром не оправдали наших надежд.

— Принимаю упрек — с единственной поправкой. Муром наши офицеры взяли. Знаете, кто ими руководит? Доктор Григорьев. Обычный земский доктор... не чета предателю Киру!..

— Да, знаю. Но разочарую. Сегодня получено сообщение: Муром удержать не удалось. Отряды доктора Григорьева отходят к Казани...

— Намек на то, что военным делом руководят дилетанты... вроде меня?

— Ну какой вы дилетант, Борис Викторович. Побойтесь Бога! И потом, рядом с вами был полковник Бреде.

— Простить себе не могу — не знаю, не ведаю, что с ним!

— Зато я знаю: он уже в московской Чека. Все-таки из Ярославля прямая связь с Москвой, получаем известия. Да, Борис Викторович: его, оглушенного взрывом, сумели захватить матросики с бронепоезда. Само собой, он умрет, но наших планов не выдаст.

— Сколько крови на мне...

— А на мне?.. Одевайтесь, сейчас будут вешать красного градоначальника Ярославля. Самого Нахимсона! Чрезвычайного правителя всего этого края. Он, правда, властвовал всего четыре дня, пока его не выбили из губернаторского дворца, в котором изволите почивать вы, Борис Викторович.

— Я уже встаю. Я уже встал! Может, правитель спал на той же кровати, что и я?

— Бори-ис Викторович! Неужели вы не оценили, после рыбинской грязи, чистоту ваших простыней?

— Простите, я, кажется, стал нервничать.

— Немудрено. Столько пережить! Но я — артиллерийский офицер, мне нервничать не положено, иначе снаряды лягут не в тот квадрат...

— Да, снаряды. Они остались в Рыбинске... вместе с пушками. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Сколько у вас?

— Всего пяток орудий разного калибра. В губернском городе больше не нашлось. Могут они выдержать натиск бронепоезда?

— Не могут.

— Ошибаетесь, Борис Викторович. Двое-трое суток его задержат наши диверсионные отряды. Дальше — мои милые пушечки. Они вкопаны в землю на подходах к Ярославлю. Худо-бедно, снарядов к ним насобирали. Будут бить в боковые блинды. Когда настанет срок, я сам возьму прицел в руки. А пока... Не закусить ли, прежде чем мы повесим красного губернатора?

Савинков не уставал восхищаться артиллерийской выдержкой полковника Перхурова. Если генерал-лейтенант Рычков еще до начала всех этих событий наклеил в штаны и благоразумно отбыл в тыловую Казань — спасибо, что хоть не запродавал никого, — если могли пойти в безумную атаку поручики Патин и Ягужин... царствие им небесное!.. если полковник Бреде платит своей жизнью за воинское упрямство, то у артиллериста Перхурова и упрямства вроде бы не было. Воинская работа. Ее исполнял он, как всякую другую, без спешки и самонадеянности. Закусив вместе с умывшимся, побрившимся

и накурившимся Савинковым, он спокойно, как через артиллерийский дальномер, посчитал:

— Две недели я могу продержаться в Ярославле.

— Две недели?.. Это много или мало?

— Много — по моим возможностям. Мало — по нашим имперским планам.

— Ну какая империя! Я всю жизнь гонялся за царем-батюшкой.

— А я, как вы изволите знать, монархист. И что из этого следует?

— Только то, что вы до конца выполните свой воинский долг.

— Благодарю за доверие. Но не пора ли посмотреть, как болтаются на веревках красные губернаторы?

— Но он за четыре дня не успел и обжечь губернаторский дворец.

— Ошибаетесь, Борис Викторович, ошибаетесь. И за четыре дня больше трех десятков наших офицеров расстреляно и повешено. Сейчас, вероятно, гадает, что лучше... Допрашивать его нечего, силы большевиков мы знаем, убеждать — слишком много чести, а стрелять — у нас мало патронов. И потом, с воспитательной точки зрения виселица полезнее. Пусть ярославский люд посмотрит, пусть народ прочувствует.

— Меня в Севастополе тоже ждала виселица...

— Извините, не знал, Борис Викторович...

— Чего там, идемте.

Они встали из-за стола и в сопровождении Деренталя вышли на губернскую площадь.

Виселица соорудилась основательно, в расчете и на приспешников красного губернатора. Сам он стоял сейчас на помосте, закиданный крапивой и лебедой. Рыдали женщины — вдовы расстрелянных ярославских офицеров. Кто-то в толпе яростно матерился. Дай волю — разорвут на части еще до виселицы.

Маленький, черно-кудрявенький, местечково-плюгавенький, Семен Нахимсон предрекал древнему городу Ярославлю:

— Стреляйте! Вы убьете меня, комиссара и председа-

теля губисполкома, но революцию вам не убить. Вы все погибнете под развалинами вашего Ярославля. Да сгинет этот паршивый город! За мою красную кровь!

Табурет из-под его ног не спешили выбивать. Так решились помощники полковника Перхурова, склонные больше к политике, чем к военному делу. Но он вполне разделял их мысли. Верно, пусть послушают православные горожане, что несет этот уроженец местечковых Житковичей! Неужели русский офицер, вставший под красной виселицей в Москве ли, в Смоленске ли, в далеком ли отсюда, причем под немецкой пятой, Минске, — неужели он мог в последнюю свою минуту кричать: «Да сгинет Минск... Смоленск, Москва, наконец?» А этот, в окружении ждущих той же участи приспешников — мадьяр, литовцев, чехов, немцев, — витийствовал:

— Проклятая Россия! Проклятый город! Проклятый народ!..

Он до последней минуты надеялся, что его хоть с честью расстреляют, — перед помостом стоял взвод с винтовками на изготовку. Да и полковник Перхуров терпеть не мог показательных казней. Другой полковник, Гоппер, убедил: что толку — дать ему пулю в подвале? Лучше — на площади, публично. Он же офицеров, попавших в застенки, самолично вешал, предварительно еще поиздевавшись. Значит, собаке — собачья смерть!

Савинков молча слушал споры двух полковников. Было ведь ясно, что Гоппер, тоже земляк и сослуживец полковника Бреде, прав. Война — грязное дело, а уж Гражданская война и подавно.

Савинков был сейчас в военном френче, в фуражке со знаком Добровольческой армии — он считал себя прежним военным министром времен бесстрашного Корнилова. Он мог единолично вершить суд. Политика политической, а оратор уроженцу каких-то Житковичей на площади Ярославля непозволительно. Савинков закурил свою любимую сигару. Он был сейчас, после Рыбинска, при перчатках и белом платке в нагрудном кармане френча; брезгливо, не глядя, вышиб носком начищенного сапога табурет из-под ног кричащего горла и сказал Перхурову:

— Нас ждут, полковник, более важные дела. Обсудим.

Пострекивали пулеметы на мосту через Волгу. Повжикивали залетающие сюда винтовочные дальнотбойные пули. Но Перхуров не обращал на это внимания. Пока что ничего не решающая пограничная перестрелка. Какому-то подвернувшемуся адъютанту он даже сказал:

— Прикажи экономить боеприпасы. Пусть окапываются у моста и ставят заграждения. Стрелять попусту нечего.

В губернаторском дворце, уже без посторонних, высказался более определенно:

— Мы должны с вами, Борис Викторович, понять: больше двух недель здесь тоже не продержаться. В конце концов красные бронепоезда прорвутся к Ярославлю. Не со стороны Рыбинска, так со стороны Вологды. Мои диверсанты, залегшие на откосах главного пути, сметают восстанавливающих дорогу рабочих, но... — Он тягостно помолчал. — Но бронепоезд сам их метет головными пулеметами и помаленьку отжимает назад, даже не пуская в дело пушки. Сколько мои смертники могут продержаться? Я отвожу три дня. Конечно, на окраине уже самого Ярославля разбираются пути и валится на рельсы все, что угодно, в том числе и целые вагоны. Но мы же должны понимать: тут, на подходе к Ярославлю, Геккер не ограничится пулеметами. В дело пойдут орудия, защищенные непроницаемой для наших винтовок броней. Пять моих пушечек навстречу?.. Они погибнут, сдерживая бронепоезд, еще под Романовом...

— Да, не могу себе простить, что не сумел привезти из Рыбинска артиллерию...

— Не казните себя, Борис Викторович. Вы сделали что смогли. И я сделаю что смогу. Но — в пределах двух недель. Дальше?..

Савинков знал, что делать дальше. Но это походило на дезертирство. Полковник Перхуров, видя его колебания, сам высказал очевидную мысль:

— Вам, Борис Викторович, надо отправляться в Кострому... в Нижний... в Казань... Самару... Может, даже в

Уфу. Там создается какая-то Директория — что мы о ней знаем? Там все наши политиканы — они будут без нас решать судьбу России? Группируются в некий правительственный орган члены разогнанного Учредительного собрания. Ваш друг Чернов, ваш министр Авксентьев не наломают, по обычаю, дровишек? Что думают делать ваши любимые эсеры?..

— Вы разве забыли, полковник, что еще в августе семнадцатого года ЦК партии социалистов-революционеров исключил меня из своих рядов... вернее, я на их приглашение не откликнулся?..

— А, оставим эти партийные штучки-дрючки! Я военный человек. Меня интересует только одно: кто окажет нам реальную помощь? Нам — следовательно, и России. Ваш громадный авторитет... не морщитесь, Борис Викторович... подтолкнет беспечных краснобаев хоть к каким-то военным действиям. Вы — председатель «Союза защиты Родины и Свободы»?

— Да, я. Как-никак социалист. Монархист Рычков позорно бросил нас...

— Приказывайте мне, полковнику, тоже монархисту... коль наш Главнокомандующий генерал Рычков не соизволит... Прикажите именем «Союза» держаться в Ярославле до последнего, а сами... сами готовьте запасные позиции. Резервы. Власть! Безвластие погубит Россию. Вы мне доверяете?

— Доверяю, полковник... и приказываю: держитесь! Вы правы: я сегодня же ночью отправляюсь вниз по Волге. Сами понимаете, через красные города, включая и Кострому. Также не удержались там наши.

Время шло уже к вечеру. Он велел Деренталю срочно собираться. Других адъютантов у него сейчас не было. Патин спит в прибрежном песке у рыбинской биржи, а Клепиков...

От юнкера не было никаких известий.

Как, впрочем, и от Любови Ефимовны...

— Вы не проклинаете меня за пропавшую жену?

— Люба? Она из любой передраги сухой выберется, — беспечно отмахнулся Деренталь, наливая себе на до-

рожку. — Бьюсь об заклад: она из Рыбинска ринулась охмурять послов, в Вологду. Что ей оставалось? Даже под охраной вашего юнкера в Москву не пробраться. Вологда, только Вологда.

— А нам?.. Нам, милый Саша, Казань... Нет! — радостно воскликнул он. — В Казань отправится наш воскresший юнкер.

В самом деле, в гостиную губернаторского дома, где они сидели, входил юнкер Клепиков. В своей бесподобной форме Императорского Павловского училища. Высокый, стройный, смеющийся. Он как ни в чем не бывало отдал честь Савинкову и бывшему при погонах полковнику Перхурову, а Деренталю протянул руку:

— С прибытием всех вас в Ярославль!

— И вас, милый Флегонт, — обнял Савинков единственного, после смерти Патина, своего адъютанта.

— Вы как с плац-парада, юнкер, — полковник Перхуров пожал ему руку. — Как это вам удается?

— В вашей приемной переоделся, господин полковник. Не идти же представляться в рыбацком рванье!

— Правильно, — согласился и Савинков. — Выпейте с дорожки, — подал он хрустальный, возможно, еще губернаторский бокал. — Выпейте — и покрасуйтесь перед нами... ну, скажем, пятнадцать минут. Потом мы все разбегаемся по своим делам. Наш дипломат Александр Аркадьевич отправляется в Москву, чтобы от моего имени пошевелить оставшихся там членов «Союза», поразведать настроения бездельничающих дипломатов, а заодно и пропавшую жену поискать...

— Жена не пропадет, — снова легкомысленно заметил Деренталь.

— Не перебивайте, Александр Аркадьевич, — недовольно остановил его Савинков. — Значит, Деренталь — в Москву, Клепиков — в Казань...

— Каза-ань?.. В разгар сражения?! — невольно вырвалось у юнкера.

— Я же сказал — не перебивать! Да, Казань. Предупредите наших, что я туда же отправляюсь. Вы — галопом, я — шагком. Вниз по течению. Маленько задер-

жусь в попутных городах — надо, надо поругаться! Вам — без ругани, быстро и скрытно. Так что через пятнадцать... уже через десять минут, — вытащил он свой серебряный брегет, — вам придется снова вздеть на себя пролетарское рванье. Такие дела, юнкер. Вопросы есть?

— Нет, — потушился Клепиков.

— Нет, — повторил беспечальный Деренталь, снова наливая себе на дорожку.

Разогнав в разные стороны своих ближайших друзей и помощников, Савинков и сам с вечерними сумерками сел в лодку, с двумя данными Перхуровым провожатыми, и оттолкнулся веслами от ярославского берега. Рыбак. Просто потертый жизнью рыбарь, исповедующий заткнутую паклей самогонку. Даже брезентуху свою маленько облил. Чтобы на случай проверки хорошо пахло. Не сигарами же! Да и проверяющих иногда не мешает угостить. Сам он, не опускаясь до вонючей самогонки, ограничился прощальным бокалом шампанского... и хлопнул хрусталь о пол.

Полковник Перхуров с пониманием воспринял его прощальный жест. Дорога предстояла дальняя и опасная.

В этот прощальный час было тихо. Странно, даже на волжском мосту не стреляли.

V

Проводив Савинкова в Казань, Перхуров вызвал своего заместителя, полковника Гоппера. Спросил без обиняков:

— Как вы думаете, сколько продержимся?

Гоппера не удивило, что Перхуров, по существу, и не планирует бесконечно удерживать Ярославль. Было очевидно — его придется сдавать; весь вопрос — сколько они дадут времени собиравшейся в Казани новой белой армии, а может, и союзничкам, которые никак не раскачаются. Чего бы стоило, поднявшись вверх по Двине, перерезать дорогу на Петроград! Северное направление оставалось самым тяжелым; оттуда, через Тихвин и Вологду,

напирали большевики. Бронепоезд, застрявший на разобранных путях под Рыбинском, мало успокаивал; со стороны Вологды шел более тяжелый и грозный блиндир, на котором красные начертали имя своего вождя: «Ленин». Никакие диверсионные группы к нему подступиться не могли. Его окружали сплошным конвоем, справа и слева, латышские полки: 6-й Тукумский и 8-й Вольмарский. Вместе с Вольмарским полком во главе Сводной роты латышских стрелков шел заместитель Дзержинского — Ян Петерс. Этот выжигал и вырубал все на своем пути.

Командующему всей северной армадой Геккеру были приданы и рабочие отряды — Вологодский, Галичский, Буйский, Любимовский; целая команда военлетов и военно-санитарный поезд. Приходилось отдавать должное Геккеру: победа под Рыбинском не вскружила ему голову. Он переметнулся со своим штабом севернее Ярославля; оттуда нажимал. Понимал, что полковники Перхуров и земляк Гоппер будут держать Ярославль до последнего — в надежде на архангельский десант и помощь с низовой Волги. Разведка красных тоже работала: не от трусости же Савинков оставил Ярославль на руках своих полковников, а сам пустился собирать новые силы. Геккер торопился:

— Ярославль должен быть взят в три дня!

Но прошла неделя, пошла вторая — город держался. Без бронепоездов и, по сути, без артиллерии. Красные войска, наступавшие с другой, московской стороны, ничего не могли поделать. Застряли еще в дремучих, непроходимых пригородах; каждый дом там становился крепостью. Перхуров держал круговую оборону. Прорвать ее могли только с Волги, по железнодорожному пути. Медленно, скрипуче, под гром всех своих блиндируемых башен, но все-таки продвигался к Волге, напирал самый опасный таран — «Ленин».

Гоппер убеждал:

— В Заволжье нам не удержаться. Силы растянуты, нас обтекают со всех сторон. Надо переносить оборону на этот берег.

Перхуров долго молчал, взвешивая на утлых весах очевидное.

— Переносите, — наконец согласился он. — По всем военным понятиям мост надо бы взорвать, чтобы предотвратить прорыв бронепоезда...

— Я не могу отдать такой приказ. Я латыш. Мои земляки и без того наследили на российской земле... Латыш Геккер, латыш Петерс! Целые латышские полки!

— Я русский, но я тоже не отдам варварский приказ. Такой мост! Это ж не в Галиции, не в Австрии мы воюем — мост связывает с Москвой весь север России. Давно ли с таким восторгом открывали железнодорожное сообщение с Архангельском! Это уже на моей памяти — памяти восторженного юнкера...

— И на моей...

— Значит, будем держать мост... на одних пулеметах, без артиллерии?

— На штыках, если потребуется!

— По-олноте, дорогой Карл Иванович. Сами знаете, штыками мост не удержать. Сколько можете сосредоточить пулеметов?

— Не больше пяти.

— Ну, это уже кое-что. Надо выдвинуть их на парапеты, за фермы моста. Прямая цель, да и укрытие за мощными балками.

Полковник Гоппер ушел к своим частям, закаменело вцепившимся в заволжский берег. Его земляк Геккер не прекращал атаки ни днем, ни ночью. Под прикрытием бронепоезда изматывал не только воинские, но и физические силы защитников. Стояла жара, хорошей воды не было; стекавшие в Волгу ключевые ключи и колодцы уже были под огнем, а каждый поход к реке, по открытому побережью, оборачивался неизбежными потерями. Гоппер запретил днем ходить к реке — только ночью.

Нынешней ночи он ожидал нетерпеливо и по другой причине. Переходить на городской берег? Как ни называй и ни оправдывай — это отступление. Потерь при отступлении бывает даже больше, чем при наступлении. Он велел своему адъютанту:

— Господин Ключников, устно, через вестовых, разошлите приказы всем командирам: на час ночи отход через мост. Скрытно! Порядок отхода я сейчас рассчитаю...

Он погрузился в невеселые расчеты. Адъютант Ключников ожидал. У него не было ни воинского звания, ни воинского образования — просто профессор Демидовского лица. К нему могли и так обратиться: «Господин профессор!..» Но он это в ярости воспретил. Теперь для него «господин Ключников» — было нечто вроде «поручика». Он добросовестно исполнял поручения; и на том спасибо, что признавали. Но за две эти недели, что они валялись под снарядами на волжском берегу, «господин Ключников» тоже кое-чему научился. Спросил, как поднаторевший в воинском искусстве служака:

— Но, господин полковник? Кто будет прикрывать отход? Арьергард?..

— Я — арьергард. Распорядитесь, как стемнеет, два пулемета под мое начало, остальные сразу же расположить на выходе с моста. И еще вот что: командиры дело свое, конечно, знают, но все-таки напомните от моего имени: чтоб отходили ниже травы, тише воды...

Он знал, насколько это опасно: отход всеми колоннами по единому узкому мосту...

Но, кажется, гроза собиралась? Тучи закрывали пыльный, сожженный, прокаленный берег. Дай-то Бог!..

Красные очухались под утро, когда выплывшее из рваных туч солнце высветило совершенно пустынный берег... и баррикады, завалы на середине моста. Они попробовали с наскоку, при полном большевистском энтузиазме, взять ненавистный мост, искренне недоумевая:

— Чего же эти олухи не взорвали его?!

Полковник Перхуров мог поручиться, что именно так они и думали.

Бронепоезд теперь подошел вплотную к мосту и сыпал снарядами без всякого разбора, лишь бы пыль выше поднималась. Снаряды у красных были в избытке.

Но мало этого поперед бронепоезда с последней перед мостом стрелки, выдвинули обычный паровоз, с двумя груженными булыгой платформами. Едва пыхтел от науги паровоз. Тяжеленные платформы! Сомнения не оставалось: будут таранить. Ведь орудия с берега почти не отвечали. Единственное, секли пулеметы. За самым ближним, на зависшем над рекой парапете сидел Ваня-Унтер. Широкие крылины ферм до поры до времени прикрывали его. Переплетаясь внизу крепезными клепаными раскосинами, они образовали непробиваемый щит. Для пуль, конечно, а не для осколочных снарядов. Но и наступавшие по настилу моста не били — снаряды клали выше, на городских улицах. Не падали ни кремника, ни монастырей. Полыхал открытым огнем на Ильинской улице собственный штаб, который они оставили еще семнадцать дней назад. Дымились оружейные склады на Духовской, хотя едва ли там оставалось какое оружие. Ваня-Унтер спиной чувствовал жар на волжской, такой красивой прежде набережной; там торчали с довоенных времен разные увеселительные заведения, палатки, лавчонки — все покорное огню. Но его не радовал даже охлаждающий, опять собравшийся дождь; он ведь хорош не только для защитников, но и для нападающих. Портить снарядами железнодорожный путь они не хотели — тогда и самим с бронепоездом не пройти на городской берег, — они готовились к решительной атаке.

Под прикрытием широких ферм моста к засевающим пулеметчикам несколько раз перебежали подноски патронов, приносили воды, а напоследок даже фляжки, сказав:

— Полковник Перхуров на вас надеется.

— Как не надеяться, — согласился Ваня-Унтер. — Для того и сидим здесь.

Фляжку они с помощником только маленько отпили, потому что под дождь быстро темнело и зафукал парами паровоз. Еще раз пробрался к ним нарочный с приказом:

— Полковник Перхуров велел ближе к берегу перебраться.

— Ага, — ответил Ваня-Унтер. — Переберемся, Бог даст.

Паровоз-то уже рядом пыхтел, с натугой подпирая нагруженные булыгой платформы. А пригляделся Ваня-Унтер — за камнями на платформах и стрелки незаметно залегли.

— Ну, милой, — обнял он своего напарника, — теперь можно и побольше хлебнуть, чего ее оставлять...

Напарник еще заканчивал свой черед, а пулемет уже вовсю разогревался: платформы надвигались прямо на них. Путь железнодорожный лежал всего в двух метрах от ферм, штыком достанешь.

В краткий какой-то миг Ваня-Унтер глянул под настил моста на родимую Волгу, и без обиды и страха подумал: «Ну да, выпить... как не выпить... до воды-то вон как далеко!..»

Он не слышал приказов, несущихся со своего берега: — Все, все отходят!

Он не знал и того, что полковник Перхуров не мог снять с насиженных мест и других пулеметчиков, прикрывавших мост. Вся воля немолодого уже полковника была направлена теперь на то, чтобы собрать остатки разметенных ближней артиллерией отрядов и вывести их из города. Вниз по береговой кромке Волги, к спасительным лесам...

VI

Умельцы «Союза защиты Родины и Свободы» изготовили для Савинкова фальшивый большевистский мандат. Сейчас не было возможности ездить с паспортами богатых англичан или китайских мандаринов. Не царские времена. В Москве шли аресты. Деренталю и это с трудом удалось сделать — хоть немного обезопасить спускавшегося по Волге «Генерала террора». Эсеровского генерала! Нынешние кремлевские бонзы знать не знали, что ЦК партии социалистов-революционеров еще прошлым летом исключил Савинкова за связь с Корниловым. Стало быть, непримиримые эсеровские боевики не

подчинялись Савинкову. Формально хотя бы... Но каждый выстрел в комиссара все равно падал тенью на «Генерала». Что в этой несчастной стране могло происходить без его ведома? Чека — не царская охранка; уповать на Петропавловку, Шлиссельбург и даже на севастопольскую военную тюрьму не приходилось. Здесь на выстрел отвечали сотнями выстрелов. Показателен был не только разгром восстания в Рыбинске, Ярославле, Костроме, Владимире — и в самой Москве. Муром с его большевистской восточной ставкой, и тот, взятый штурмом, пришлось оставить. Правда, доктор Григорьев, руководивший там всеми делами «Союза», в полном боевом порядке вывел своих волонтеров из города и походным маршем направил их к Казани. Большевики не могли воспрепятствовать этому: слишком большой пожар возгорался на Волге. Мало Казань — Самара пала. Победа, одержанная над Перхуровым в Ярославле — силами литовцев, мадьяр, немцев, разного другого интернационального сброда, — не могла внушить большевикам уверенности. Иностранцы все равно сидели в Вологде. Англичане, французы, американцы хотя и не оказывали реальной помощи восставшему Поволжью — грозить с севера грозили.

Савинков пробирался в Казань с вполне определенной надеждой: восстановить и накопить силы «Союза». Одет он был самым заправским большевиком: рубаха-косоворотка, пояс, высокие смазные сапоги, фуражка со снятой кокардой. Да и паспорт, пускай и липовый, был за подписью наркома Луначарского. Мог быть и за любой другой подписью... но все-таки старые друзья. Чтобы запутать окончательно будущих патрулей, Савинков ехал от имени Северной Коммуны, из Петрограда. Паспорт говорил, что «Иван Васильевич Слесарев — делегат Комиссариата народного просвещения; направлен в Вятскую губернию по делам колонии пролетарских детей». Не шуточки! Когда в Нижнем Новгороде красный патруль остановил и потребовал разрешение на въезд во фронтную губернию, имя друга-Луначарского оказалось магическим. Савинков в качестве официального ох-

ранника держал при себе и очередного подобранного в дороге поручика. Нельзя такому ответственному комиссару без охраны! Патруль беспрекословно пропустил их на пароходную пристань.

Пароход должен был идти до Казани, но Казань тем временем, не дожидаясь эсеровского вторжения, заняли чехословаки. Бои шли уже выше Казани, под Свияжском. Пароход дальше Васильсурска не пошел. До Казани оставалось четыреста верст, и не было здесь железных дорог.

К Савинкову и его спутнику присоединились еще двое офицеров, тоже членов «Союза». Наняли лошадей и уже вчетвером двинулись на северо-восток, в город Ядринск.

Там были немедленно арестованы. Красные армейцы не церемонились:

— Кто такие? Откеля?

— Не видите? Свои.

— Может, буржуи?

— Сам ты буржуй! Мы — товарищи.

Обиделись. Такое бесперомонное обращение с властью не понравилось. Старший приказал:

— Ведите в участок! Р-разберемся!

Там было два десятка красноармейцев. Савинков снова вынул свой магический паспорт. Но ни один из двадцати не умел читать. Привели какого-то служившего красным гимназиста. Тот начал громогласно:

— По постановлению Совета рабочих и солдатских депутатов Северной Коммуны Слесарев Иван Васильевич... делегат Комиссариата народного просвещения... направляется в Вятскую губернию... для организации помощи пролетарским детям...

— Дети? Какие дети?.. — посыпались новые вопросы.

— Так тут написано, — обиделся за свою грамотность гимназист. — Пролетарские!

— А подпись? Подписано?

— Самым лучшим образом, — витиевато изъяснился грамотный гимназист. — Луначарский!

— Это нарком, что ль?

— Слышал, паря?

— А ты слышал?..

Взаимным вопросам не было конца Переглядывались, курили, щупали скрепленный красной печатью мандат.

— Дела-а!..

— Ты не буржуй, что ль?

— Говорю вам — товарищ. Еду по личному заданию товарища Луначарского. А это, — указал глазами на своих спутников, — мои проводители-подчиненные. Иначе нельзя в такое время. Задание важное, сами видите.

— Ви-идим!.. Важное!

— А я уж и затвором щелкнул... гы-гы-гы!..

От таких шуток становилось не по себе. Но — терпение, терпение...

— Не обижайтесь, он у нас такой, — ткнули в бок щелкателя затвором. — Третьего дня пымали двух, из Ярославля недобитки пробирались... У кого слаба рука, у кого глаз плох, а тезка твой, — поощрительно поторкали плечами возгордившегося щелкателя, — единолично на новое местожительство определил... гы-гы-гы!..

Не исключено, что Савинков лично знал этих несчастных беглецов, но приходилось играть роль несгибаемого «товарища комиссара».

— Туда им и дорога... контра!..

— Контра, уж как есть!

— Костюра белая, кровища доподлинно красная... гы-ы!.. Помянем контру?

Кружки железные появились, бутыль чуть ли не вердерная, сивуха разлитая. Не морщись, не морщись, пока жив!

Ночевали в избе вместе с красными армейцами. До трех часов ночи пришлось рассказывать о положении дел в Петрограде:

— Голодают пролетарии... дети, сироты...

— Ну а нарком... он образует положение, Луначарский-то?..

Позабыли, а может, и не знали, что правительство давно в Москве. Хорошо, еще про товарища Ленина и товарища Дзержинского не спросили. Про старого друга Толю Луначарского проще простого отвечать и врать не надо:

— О, какой нарком!.. Мы с ним еще в девятьсот третьем году в одной ссылке были. В Вологде-городке...

— Мать честная! — восхищенно перебили. — Так и я же вологодский!

А если уж и сам командир вологодский — так пей до дна. «Иван Васильевич Слесарев» надрался с красными армейцами истинно вусмерть. Иначе нельзя, не поверили бы в слесарскую сущность.

Зато уж утром начальник гарнизона города Ядринска, бежавший с германского фронта унтер-офицер, прицелкнул каблуками:

— Чем мы можем помочь вам, товарищ Слесарев?

Товарищ Слесарев знал, что отвечать:

— У меня паспорт, выданный Северной Коммуной. Теперь я нахожусь в пределах Нижегородской Советской Республики. Вы будете очень любезны, если выдадите от себя соответствующее удостоверение.

Товарищу Слесареву было выдано настоящее удостоверение, за настоящими подписями и печатями. В нем снова, и уже местным языком, излагалось, что он в сопровождении охраны «едит, значить дело, по делам дитей-пролетариев в Вятскую губернь...». То ли гимназист был неграмотный, то ли другой какой писарь писал. Ладно. Все прекрасно. Пусть здравствуют пролетарские дети!

В тот же день «товарищ Слесарев» при содействии начальника гарнизона купил довольно крепкий тарантас. Пару лошадей расторопный унтер-офицер тут же реквизировал у какого-то попа. Прости, батюшка!

Сели — поехали с ветерком.

Но до Казани было еще далеко. На всех дорогах пылили красноармейские разъезды. Под сеном в тарантасе оружие, не только наганы — винтовки. Революционный бедлам в Ядринске помог обзавестись даже гранатами. Однако рассчитывать на победу при встрече с целым конным разъездом не приходилось: там меньше десяти сабель не бывало. Не все ж такие, как в городе Ядринске, покладистые. Начали присматриваться к «товарищу Слесареву»:

— Пролетарии, говорите? Что-то уж морды больно откормленные!

— Какие есть, товарищи. Наша власть — наше и пропитание.

— Ага, питание... Вперед по дороге, не оглядываться! А чего оглядываться. Вдарили по лошадям, когда маленько оторвались, руки под сено — и в гранаты! На этот раз обошлось. А дальше?..

Решили переправиться на левый берег Волги. Там леса дремучие, скрываться и обороняться гораздо удобнее. Да вот беда: никто никому не верит. Красный ли, белый ли — с крестьянина дерут последнюю шерсть. Вопросы — как литые пули:

— Откелева? Большевики?

Стало заметно, что больше боятся большевиков. В этом глухом углу Казанской губернии и железная-то дорога за сотню лесных верст. Малограмотные черемисы, татары, русские старообрядцы. Таиться среди них не имело смысла. Новую власть они ненавидели истинно звериной ненавистью.

— Мы не большевики, — сказал Савинков очередному провожатому. — Мы офицеры. Едем сражаться против красных. Что, новые власти лютуют?

— Ой как!.. Истинно звери. Влась, одним словом. Церкви грабют, у татар мечети взрывают. Попов так просто стреляют... Этих, в чалмах... так и пожалеть некому... Что татарин, что русский — одинакова смерть. Зима скоро, а хлеб поотбирали. Как зимовать?

— Защищайтесь. Есть у вас мужики?

— Были, да сплыли. Калеки непотребные...

— А ты вот, парень? Не мужик?

— Я-то?..

Вопрос задел за живое. Проводник на этот раз был не старше тридцати. Явно бывалый.

— Воевал?

— На германском.

— Так вдарьте по грабителям! Собери отряд, других таких же... Чем не командир?

Провожатый признался, что винтовки кое у кого есть — с фронта притащены, без дела под застрехами пылятся. Даже пулеметы припрятаны.

— Артиллерии бы нам... Артиллерист я, не пехота ржавая. У гвардии полковника Перхурова служил. Случаем не встречали?

— Не встречал, — Савинков доверчиво, как этот парень, улыбнулся. — Но... полковник Перхуров и сам скоро сюда прибудет. Служи!

— Рад стараться, ваше благородие! — в тряском тарантасе вытянулся парень, чуть не свалившись за облучок.

Так и пятый с ними оказался. Тоже унтер-офицер — надо же, везде унтера! Степаном Посохиным назвался. В полчаса дорожными друзьями оказались.

На целую неделю до зубов вооруженный тарантас потонул в заволжских лесах. От жары и безделья перед глазами опять то и дело возникал бедняга Ропшин. А ему и в нынешних днях прошлое мерещилось. Истинно, земля Мельникова-Печерского — читывал Ропшин, размышлял даже над загадкой русской души. Особенно староверской. Здесь если и попадались деревни, так старой веры. Совсем уже не таились перед ними. Да и Степан Посохин места эти знал — сплавщиком перед армейской службой работал, по Каме и Вятке. Были, оказывается, по левобережью хорошо накатанные, но недоступные для большевиков дороги. Впрочем, как и для царских жандармов. Не рисковали сюда соваться ни старые, ни новые власти. Дороги только для своих, для посвященных.

Лето стояло прекрасное. Дни безоблачные, жаркие. Но под шатрами елей, сосен и дубов не пекло. Иногда попадались настоящие дремучие места, где и нога человеческая едва ли ступала. Все шире, привольнее дубравы широколиственные распахивались. И — ни единой вроде бы деревни. Чудеса!

— Деревни в двух-трех верстах от Волги ставились, — объяснил разговорчивый провожатый. — Подальше от глаз всякой власти. На малых протоках живут люди. Оно хорошо было, чтоб и от волжских разбойников прятаться. Нынешние красные разбойники не лучше, но не суются в левобережье. Здесь закон — родимый лес. Кого надо — похоронит, а кого и на крыльях вынесет. Нас, например. Но-о!..

Дороженька вроде бы одна и та же — вилась и вилась меж дубов и сосен накатанной, безлюдной колеёй. Мостки через ручьи налажены. Недавние, аккуратно затушенные кострища на местах ночных стоянок. Даже столбики и ковпачки берестяные у прохладных родничков... Рай земной! Неужели где-то война, кровь?..

Савинков отдыхал душой и телом.

Но как вынырнули из лесных урочищ, блеснула куполами и мечетями Казань. Там шли бои. Предстояло пересечь линию большевистских войск.

Сразу вопрос:

— Что будем делать?

— Бросить лошадей и тарантас...

— ...скрытно по одному...

— ...гранаты, пулемет! У нас же тачанка?!

Савинков выслушал всех, но решение принял свое:

— Лучше — развязать колокольчики. Не таиться.

Поедем открыто. Подгулявшие обыватели. Песню!

Ванька-крю-ючник, злой разлу-учник,

А-ах, разлучил к-нязя-я с жано-ой!..

Под разухабистую песню, крупной рысью, с оглушительными колокольцами — проскочили боевые порядки красных войск. Между двумя ощерившимися батареями!

Уже совсем рядом — купола казанских церквей. В прокаленное небо вонзился шпиль башни Сююмбеки — несчастной татарской царицы, не пожелавшей милости Ивана Грозного и бросившейся оттуда на прибрежные камни.

Перед въездом в город — новый караул. Непривычная форма. Непривычный говор. Чехословаки!

VII

В Казани Савинкова встретил Флегонт Клепиков. Юнкер прибыл раньше, как и договаривались. Он уже успел познать все местные новости.

— Грызня! — без обиняков доложил. — Монархисты, республиканцы, наш «Союз». Все — на всех! Против красных воевать некогда, сами с собой воюют.

Запальчивость юнкера была искренняя.

— Уже поругался?

— И вы, Борис Викторович, поругаетесь. Авксентьев, Философов, Чернов... Один Чернов чего стоит!

— Рыжая, растрепанная борода — зарыжелая потрепанная душа? Один глаз на вас, другой — в Арзамас? У Керенского словоблудил, Троцкому дифирамбы пел. Двоедушник! Из-за него я в свое время Азефа упустил... Опять?

— Делят шкуру неубитого медведя. Власть!

Прозрел, прозрел за полгода юнкер Клепиков...

Еще в июне этого года, когда чехословаки взяли Самару, образовался «Комитет членов Учредительного собрания». Как же без Чернова! Очередное правительство. Сейчас даже адъютант Перхурова, профессор Демидовского лицея Ключников, от пушек и пулеметов в словесный бой пустился!

Быстро узнал Савинков все домашние новости. Новое правительство приступило к формированию Народной армии. Как и положено эсерам, из поволжских крестьян. Офицеров-волонтеров, отступивших сюда из-под Рыбинска и Ярославля, было мало. Офицерам крестьяне не доверяли. Троцкий раздувал слухи о «буржуисте офицеров» — вполне в духе времени. Мобилизованные крестьяне разбежались по своим родимым местам. Красным они не сочувствовали, но и воевать не хотели. «Хватит, навоевались!» — был главный пароль. Офицеры ничего не могли поделать с этой необузданной стихийной массой. Эсеровские вожаки во главе с Виктором Черновым бездумно витийствовали, вместо того чтобы вести любимых крестьян в бой.

— Правительство! — чертыхался Савинков. — Ничем и никем оно не управляет. Повторяет ошибки Керенского. С ума сойти! Офицерам так и не возвратили дисциплинарную власть. Полковник... какой вы полковник без власти?!

Перхуров только что выбрался из поверженного Ярославля. Уроки безвластия для него были очевидны. Рычков, еще на тайных московских собраниях назначенный

Верховным главнокомандующим, пьянствовал с казанскими проститутками. Флегонт Клепиков за эти последние дни успел стать его адъютантом, извинялся перед Савинковым:

— Я думал, для пользы дела. Вы не обижаетесь, Борис Викторович?

— Какая обида, Флегонт! Дела нет.

— Боюсь, и не будет. Я лучше опять к вам...

— А кто я здесь?

— Борис Викторович! Вы председатель «Союза защиты...».

— Ах, оставьте, Флегонт! Как говорит незабвенная Зинаида Гиппиус, «слова — как пена...». И знаете? Она рифмуется со словом «измена». Не слишком сильно?

— Похоже, Борис Викторович, похоже... Разве бездействие — не измена нашему делу?

— Вот и я, как сюда прибыл, вижу: никто никого не слушает. Дай, думаю, на себя возьму командование, а генерала... сделаю своим адъютантом!

Полковник Перхуров от души смеялся над горячностью юнкера, Савинков тоже:

— Правильно, милый Флегонт. Если прапорщик Крыленко у красных стал военным министром, почему бы юнкеру славного Павловского училища не командовать... ну, хотя бы одним городом? Скажем, Казанью?

Савинков шутил, но тут же, пинком сапога открыв дверь к генералу Рычкову, высказал без обиняков:

— Шли бы вы к такой другой... бляди, наш ни к чему не способный генерал. Даже и к этой-то драной кошке!

Он схватил за отворот фривольно-прозрачного платья рассеявшуюся на диване девицу и пустил ее носом к двери.

Рычков пытался застегнуть свой распахнутый генеральский китель:

— Да вы знаете... да я вас арестую, бузотер несчастный!

— Арестовать? Савинкова? Попробуйте.

Генерал Рычков кое-как совладал с кителем, но слов от бешенства не находил.

— Ну, прикажите... хотя бы своему адъютанту! — Савинков весело глянул в глаза подбежавшего юнкера.

Юнкер Клепиков без всякой субординации расхохотался:

— Да ну вас, господа генералы!..

Савинков меж тем уселся в кресло и закурил неизменную сигару.

Рычков звонил куда-то, кого-то приглашал, вызывал, требовал, но заглядывавшие к нему офицеры прыскали в рукава и под любым предлогом спешили убежать. Все они были членами «Союза». Как, впрочем, и генерал-лейтенант Рычков...

Флегонт Клепиков, погасив свой неслужебный смех, стоял между двумя генералами — истинно слуга двух господ! — и не успевал поворачивать голову на гневные голоса. Один кричал:

— Это черт знает что! Какой-то штатский бомбист будет мне указывать!..

Другой спокойно, сквозь дымок сигары:

— Не указывать — приказывать. Не забывайте: я — председатель «Союза защиты Родины и Свободы».

— Так почему же не защитите ее, Родину-то?!

— В отличие от вас, я защищал до последней возможности. Вместе с полковником Бреде. Вместе с полковником Перхуровым.

— Так почему же сдали Рыбинск? Ярославль?

— Да потому, что у меня такие генералы... бляди их уличные побери!..

— Вы забываетесь... совсем забываетесь!.. — дрожащей рукой даже за кобуру схватился Рычков.

— Забываетесь вы, генерал. Я стреляю лучше вас и еще ни разу в своей жизни не промахнулся. — Савинков даже не встал с кресла. — Спрячьте свой наган. Исключая вас из членов «Союза». За бездарность, заметьте.

— Да пошел он... знаете куда ваш «Союз»!..

— Знаю, генерал. Все это время думаю...

— Думаете... когда переодеваетесь под пролетаришку!

— Я прошел такую школу подпольщика, что прошу меня не учить. Сейчас я вынесу очень важное решение...

Но прежде прикажите подать вина и чистых бокалов, — небрежной рукой отодвинул он измазанный помадой бокалешко. — Есть тут у вас кто-нибудь, кто может исполнить приказ?

Этот приказ толпившиеся в коридоре офицеры услышали и с удовольствием исполнили. Думали, примирение. Думали, очередная посиделовка. К этому здесь уже привыкли. Чехословаки постреляют в красных — и вино пить пойдут; не дураки, чтоб за пьянствующих русских головы на чужой земле класть. Русские офицеры с удовольствием сходят в штыковую атаку против согнанных Троцким поволжских крестьян — и к чехословакам присоединятся. Крестьяне пощелкают из окопов в своих радетелей, просто ради забавы, в голубое небушко, не вставая, — и тоже закусывать усядутся под сальце-смальце. У них земля не пахана, сенокос давно перестоял — чего торчать под Казанью? Басурманская Казань им до солнышка не нужна!

Офицеры закусывали, слушали рассуждения «Генерала террора». Приказ другого, золотопогонного генерала: «Арестовать!» — всерьез не воспринимали. Золотопогонный тоже закусывал, не зная, как выкрутиться из своих бессмысленных угроз.

Выход нашел сам Савинков.

— Здесь много нас, членов «Союза защиты Родины и Свободы». Мы вполне можем принять решение... о роспуске «Союза». Да-да, — остановил он всякое возражение. — Это не минутный гнев, это закономерный исход. Не вспышка безумной обиды — я по дороге сюда обдумал. Тайное общество может существовать только в той части России, которая занята большевиками. Здесь земля свободная. Пока — по крайней мере. Эту землю надо защищать, а не опутывать словесами. Да-да, Виктор Михайлович, — кивнул он откуда-то взявшемуся Чернову. — Все вояжируете? Из Москвы в Самару, из Самары — в Казань, в Уфу... А дальше?

Чернов, обиженно хлопнув дверью, затопал по коридору. Савинков продолжал в примолкшем кругу офицеров:

— Дальше — надо воевать. Я сегодня подготовлю об-

ращение к членам «Союза». Надеюсь, меня поймут. Не зачем играть в конспирацию на свободной земле. Честь имею, господа офицеры! Завтра я уезжаю на фронт.

Удивление было всеобщее:

— Ну, Борис Викторович!..

— На фронт?

— Куда?..

Савинков допил бокал, притушил в пепельнице недокуренную сигару и ответил:

— К полковнику Каппелю. Рядовым волонтером. Еще раз — честь имею, господа.

Следом за ним встал и юнкер Клепиков. Вытянулся перед генералом Рычковым:

— Я тоже — честь имею! На фронт. За своим генералом-волонтером.

На улице ему Савинков попенял:

— Ах, Флегонт, Флегонт!..

Но попенял добродушно. Да чего там, с радостью.

VIII

Полковник Каппель носил в своих генах дальнюю немецкую кровь. Но он верой и правдой служил российскому Отечеству. Слова такого громкого, конечно, не произносил. Просто был верен воинской присяге, изменить не мог. Кого угодно могла ввести в заблуждение его пронемецкая педантичность. Но только не Савинкова. Во-первых, он в семнадцатом году встречал на фронте полковника Каппеля; во-вторых, в Казани наслушался эсеровских говорунов, рад был подружиться с боевым офицером. Его не удивило, когда он в сопровождении Флегонта Клепикова, опять переодевшегося в форму Павловского училища, с императорскими вензелями на погонах, без предупреждения и без доклада попал, что называется, на расстрел.

— Вы заслужили, подпоручик, десять винтовок. Вы их получите. Глаза завязать?

— Не... надо... не надо! — вытянулся перед строем бледный как полотно, еще безусый мальчишка.

— Последняя просьба? — поднял руку в белой перчатке Каппель.

— Только одна, господин полковник, — мальчишка обрел твердый мужской голос, — моему отцу-подполковнику сообщите, что пал смертью храбрых... за Россию!

— Будет исполнено, господин подпоручик, — рука в белой перчатке резко пошла вниз.

Она еще не успела коснуться бедра, как грохнул залп. Подпоручик упал на колени, потом, как бы поднимаясь, ткнулся мальчишеским вихром — фуражка слетела — в пыльную, прокаленную землю. Савинкову вдруг вспомнились давние, когда он еще был комиссаром Временного правительства, слова покойного Лавра Георгиевича Корнилова; как раз вводилась, не без нажима и его, Савинкова, смертная казнь на фронте. Во время первого, показательного, расстрела Корнилов вот так же стоял перед строем и говорил: «Один вовремя расстрелянный трус спасет сотню солдатских жизней». Тут — не Корнилов, тут полковник немецкой крови... и не боится публично лить русскую кровь...

Каппель повернулся и мерным шагом пошел вдоль полкового строя, по команде «Смирно!» наблюдавшего экзекуцию. Савинкову пришлось догонять. Но полковник еще успел подать следующую команду:

— Вольно. Почиститься, проверить оружие. Пообедавать. Через два часа выступаем.

Стоявший в четыре шеренги строй рассыпался и разбежался за своими ротными и взводными. Каппель, взглянув на ручные часы, тоже собрался уходить.

Савинкову не оставалось ничего иного, как напомнить о себе. Он приложил руку к фуражке:

— Волонтер Савинков прибыл в ваше распоряжение.

Следом его спутник:

— Юнкер Клепиков!..

Полковник Каппель остановился:

— Борис Викторович, я не удивлюсь, если вы завтра объявите себя волонтером... скажем, всего земного шара. Были вы французским волонтером, были военным мини-

стром, были петроградским генерал-губернатором, были, как слышал я, отменным террористом, в Ярославле и Рыбинске чуть не создали новую российскую республику, — теперь ко мне? Не обессудьте, я знал о вашем прибытии. В Казани у меня свои люди, что надо, докладывают. Лишний штук не помешает. Но вы видели, какие у меня, в отличие от казанских болтунов, жестокие порядки?

— Видел... и как ни прискорбно — одобряю. Мне вот, пока вы справляли войсковой долг, вспомнились слова генерала Корнилова...

— Обязан буду, напомните.

— Один расстрелянный трус спасет сотню солдатских жизней.

— Верно говорил Лавр Георгиевич. Но ведь и ему не удалось претворить эти слова в воинский долг?

— Не успел генерал...

— ...светлой памяти, да. Но чего ж мы на ходу? — Он впервые улыбнулся сухим вышколенным лицом. — Хоть вы сейчас и рядовой, но честь имею пообедать с вами. Не откажите в любезности.

— С одним условием: и юнкер Клепиков. Он мой адъютант еще с первых дней Добровольческой армии.

— Вот дожили: у рядовых волонтеров — адъютанты! Савинков не обиделся.

— Между прочим, до того, как стать адъютантом, он служил в разведке у Корнилова.

— Разведчики... террористы... — Полковник Капель крикнул пробежавшему мимо поручику: — Найди-те капитана Вендславского. Ко мне.

Не успели зайти в крайнюю избу и сесть за накрытый денщиком стол, как с порога кавалерийским рыком грянуло:

— Капитан Вендславский по вашему приказанию!..

Капель жестом пригласил за стол:

— Вначале пообедаем.

Пока денщик наливал по предобеденной рюмке, ухнул близкий разрыв.

— Неужели у большевиков шестидюймовки?.. — безошибочно определил Савинков.

— Есть и трех... и шести... всего достаточно. Из Рыбинска по Волге сюда сплавляют.

Савинков хмуро опрокинул свою рюмку и замолчал.

— Не обижайтесь, Борис Викторович, — извинился полковник. — Я это только к слову. Такие города, как Рыбинск и Ярославль, — нож в сердце большевикам. Их берут крупными войсковыми силами. А вы были брошены... преданы нашими политиками!

— Да, предан.

— Один Чернов сколько наговорит! Да и Рычков — краснобай отменный. Славно вы его прочили!

Савинков поднял от тарелки вопросительные глаза.

— Говорю же — у меня свои люди в Казани. С казанской шельмой иначе нельзя. Надоело словоблудство.

— Надоело. Надо дело делать.

— Вот сейчас покончим с обедом и о деле поговорим.

Походный обед не долгов. Щи из молодой капусты с бараниной, каша гречневая с той же бараниной, и на закуску — осетрина с лучком и огурцами. В полчаса со всем управились.

— Теперь — пора, — полковник сверил время. — Час остается. Слушайте. Отряд мой хоть и сводный, что-то вроде корпуса, но пехотный. Следовательно, маломаневренный. У большевиков же есть конница, есть автомобильная колонна... наконец, бронепоезда и даже аэропланы. Что из этого следует? Мы вслепую деремся. Храбро — но на авось. Этот несчастный подпоручик побежал потому, что со своим десятком солдат напоролся сразу на два броневика, которых винтовочные пули не брали. Матодонты в их глазах! Что прикажете мне делать?

— Приказать не могу, полковник, а посоветовать — извольте. Нужно заслать в красные тылы хороший диверсионный отряд. Навести там такой шорох... извините, жаргон старого экса. Страх! Страх Божий. Чтoб чертам было тошно!

— Вы что, Борис Викторович, мысли мои читаете?

— Читаю.

— А раз прочитали, поступайте в распоряжение драгунского капитана Вендславского, — кивнул сухо. —

Сотня сабель, два легких орудия, пулеметы, гранаты, взрывчатка, даже пилы и топоры — все, что я могу выдать. Остальное берите с бою. — Опять глянул на часы. — Капитан Вендславский, когда думаете выступить?

— После полуночи, — потрянул шевелюрой капитан. — Чтоб без потерь прорубиться сквозь большевистские порядки и уйти в их тылы.

— Резонно, — согласился Каппель.

— Разумно, господин капитан, — с подчеркнутым подчинением заметил и Савинков. — Мы по пути сюда выбрали хорошего артиллерийского унтера. Позвать?

— Зовите, если ручаетесь за него.

Савинков кивнул Клепикову:

— Срочно разыщите унтер-офицера Посохина. — И уже капитану, тоном беспрекословно подчиненного: — Что сейчас прикажете делать?

— До десяти — отдыхать. Дальше два часа для знакомства с лошадью и со всем прочим снаряжением.

Савинков отдал честь капитану и пошел отыскивать для себя подходящий тенистый куст.

Седло поскрипывало в первых утренних лучах. Позвякивала сабля на боку.

Висевшая за спиной винтовка приятно холодила разгоряченную спину.

Савинков не выбирал коня, чалого ему по какому-то наитию дали. В первое мгновение он вздрогнул, но тут же протянул заранее припасенную подсоленную горбушку:

— Ешь... мой Конь Блед!

Едва ли кто понял эти слова — слова никому не нужного здесь Ропшина. Но сейчас в седле сидел Савинков, а головой от безделья управлял все тот же Ропшин; он не без удовольствия декламировал послушному чалому:

...Убийца в Божий Град ни ввидет,

Его затопчет Бледный Конь...

— Или подождет топтать?.. А, мой друг? — потрепал

он по гриве, которая была намного светлее крупа, почти совсем белая, истинно — бледная!

— Что вы сказали, Борис Викторович? Простите, не расслышал.

— Вот и прекрасно. Мы ничего не забыли?

— Все, что нужно, взяли.

Клепиков на полкорпуса отставал. Он вел в поводу еще и вьючную лошадь. В тороках было немного овса, немного еды для себя, патроны, гранаты, а главное, взрывчатка.

Капитан Вендславский разрешил взять про запас всего нескольких вьючных лошадей — отряд должен быть легким и стремительным, без всякой поклажи. Разве что для пулеметов, двух разобранных полевых пушек, ну, и для этой вот взрывчатки. Ровно в полночь, изговясь в поход, он весело пошутил:

— В лошадях недостатка не будет! После первого же боя...

Но пока обошлось без боев. Все-таки была проведена кой-какая разведка, нащупаны прорехи в боевых порядках красных. Выступали попарно, след в след, шажком. Приказано было, чтоб ничего не звенело и не гремело. Лично проверял каждое седло — хорошо ли приторочена винтовка, не станет ли занудливым колокольчиком питьевая фляга. Савинкову сделал замечание:

— Почему винтовка за спиной, не в тороках?

— Я неважный рубака, господин капитан. Больше надеюсь на пулю. Прикажете оставить винтовку? Как видите, она даже притянута к спине дополнительным ремнем.

Капитан Вендславский еще не выработал для себя форму обращения с этим не совсем понятным рядовым, а потому отделался смешком:

— Ну-ну, верхом на пуле!

Больше у них разговора не было. Капитан ехал впереди змеей вытянувшейся колонны, Савинков с Клепиковым волей случая оказались в середине. Далекое для шуток.

Большевистские дозоры прошли благополучно, без единого выстрела, и только версты через три дали шен-

келя. К восходу солнца были уже далеко. От лошадей, как и от густых нескошенных трав, валил пар. Лошади отдыхали в спокойном и мерном шаге, седоки, намолчавшись за ночь, переговаривались:

- Ну что, порезвимся, Иван?
- Не у девок, гляди, Степан!
- Да ведь и девки, поди, будут...
- ...если красненькие!
- У них что... все перекрашено?

Савинкова, слава богу, не стеснялись. Да тут и мало кто кого знал: поручики, юнкера, есаулы, рядовые, был даже какой-то мрачно настроенный подполковник; по случайной оговорке Савинков понял, что у него под Казанью в родовом имении вместе с домом выжгли всю семью. «От этого пощады не жди», — еще тогда, в отсветах вечерней зари, подумал Савинков; не прочь был продолжить эту мысль и сейчас, но от головы колонны прискакал адъютант:

— Капитан спрашивает: можно взять вашего юнкера в разведку?

— Капитаны не спрашивают — капитаны приказывают, — поправил Савинков, досадуя на свое не совсем понятное для окружающих положение.

Флегонт Клепиков понял его настроение, кивнул и без лишних слов ускакал вслед за капитанским порученцем, как выяснилось, реже исполнявшим и вторую роль — разведчика. Мрачный подполковник сам пустился следом. Можно было предположить, что он хорошо знал эти места.

Хотя сборный диверсионный отряд формировался в спешке и без всякого, казалось бы, четкого плана, но одна выючная лошадь везла пилы, топоры и ножницы, какими на фронте пользовались для резки проволочных заграждений. Нетрудно было предположить — для чего. Когда вырвались на простор полей, перелесков, оврагов, еще не порушенных деревень, хуторов и пристанционных поселков пехотной цепью выстроились на горизонте телеграфные столбы. Сразу сыскалось несколько хозяйственных мужичков, которые повели деловой разговор:

- Хорошо ли ты пилы поточил, Демьяша?
- Да уж не хуже, чем ты топоры: поглядывай!

— Вот и я про то же: повжикивай!

— Красные, поди, не дадут нам спокойе поработать?..

Было любо-дорого смотреть, как валились в этой крестьянской сече говорящие столбы. Нашлись и люди, привычные к металлу: начали кромсать ниспадавшую вслед за столбами проволоку. Так и слышались на другом конце проводов вопли начальников станций, а может, и гарнизонных красных командиров:

«Кой черт, я не могу без связи пускать поезда! Кто балуется?»

«Какое баловство — похоже, диверсия...»

«Так стреляйте диверсантов!»

«И будем стрелять. Вот только сыскать надо...»

Савинков по опыту знал — сыщут. И в прежние годы его помощников и помощниц даже через полгода находили, а теперь наука сыска ушла далеко вперед. Он подскочил к начальнику отряда:

— Капитан, потом будет хуже. Сейчас, пока за нами нет погони, первый взрыв можно сделать и днем. Коль забрали моего юнкера, дайте двоих помощников...

— ...и по паре человек на обе стороны речонки. С пулеметом.

— Да откуда вы знаете, капитан, что я намерен рвать у речки?

— Оттуда, с фронта. Где еще такое удобное место?

— Но ведь вы драгун? Не разведчик, тем более не бомбист?

— Всем приходилось заниматься... Вестовой! — позвал он и, когда тот прибежал, с улыбочкой: — Подберите в распоряжение... поручика Савинкова...

Савинков одобрил улыбку: «Хорошо, хоть не в унтеры возвели!»

— Подберите для него двоих минеров, четырех ружейников и пулемет.

Савинкову нравилась эта деловитость.

— Разрешите выполнять, капитан?

— Выполняйте, поручик... мое поручение! — уже без смущения повторил. — Выше своего звание, разумеется, дать не могу.

— Благодарю и за эту честь, капитан, — расстегивая седельные сумки вьючной лошади, занялся Савинков проводами и упакованной в картонные пакеты взрывчаткой.

Подоспевшие помощники оказались неплохими минерами. Все необходимое для первого раза быстренько отобрали и сложили в солдатский вещмешок. Видя это, Савинков берегом речки ушел вперед. Береговой, седенький от жары тростник располагал к скрытности. Почти вплотную подобрался, не зная — может, и охрана где есть. Но, кажется, красным было не до этого. Да раньше их никто не беспокоил. В полном спокойствии Савинков осматривался. Мосток под рельсами был так себе, легонький, но все-таки на каменных столбах и с железными балками. Низовым слабым взрывом не сокрушить, значит, надо рвать верхнюю часть, шпалы, настил и если не разметать, так покорежить рельсы. И удивляло, и радовало пока: без охраны! Но не стоило утешаться легкостью победы: после двух-трех диверсий на других мостах, даже небольших, красные обязательно выставят охрану. Приходилось торопиться хоть с первым зачином. Вдруг удастся вместе с поездом?..

Нежданная напасть!

Пока осматривался вокруг, пока сам мосток изучал, из противоположных тростников пришарашился какой-то дедок, чуть ли не чеховский злоумышленник, и закинул удочку как раз под створ столбов.

— Давай, дедуля, в другое место! — замахал руками Савинков.

— В другом-те месте не клюёт, барин, — был исчерпывающий ответ.

Вот так: три революции прошли, а все баре да господа! Савинкова мрачная ирония разбирала. Но вести дискуссию с дедком было некогда: минеры подходили.

— Валяй, рыбачок, вниз! — пришлось прикрикнуть.

Но ответ опять был вразумительный:

— Внизу коряжины, только леску зазря порвешь. А под мостом — чистый камешник, журчит, всякая мошкара в тень прячется. Милое дело для гольцов!

Минеры, видно, были из деревенских. Слушать рассуждения насчет гольцов не стали, а просто самого огольца взяли за руки, за ноги — и вместе с удочкой, ведерком и — надо же! — с початой полубутылкой оттащили на полсотни сажен. Бросили, видно, в приречный крапивник, потому что вопль поднялся:

— Штаны-те худые, ж-жопу ведь ж-жёт!

Деловой народ — минеры. Савинков помогал, налаживая детонатор, но они в один голос:

— Нет уж, мы лучше сами.

— В нашем деле все нужно своими руками проверить.

Возражать было нечего. Савинков благодушно кивнул, на досуге закуривая спрятанную за пазухой сигару. Дымок и минеров на мысль навел:

— Мы тоже заранее под камушком огонек зажжем.

— Коротковат бикфорд, да отбегать по кустам — запнуться можно.

— Как пить дать! Загодя надо пламешочек... Вдруг пофартит с поездом?

Значит, и они под паровоз метят?

Огонек был такой малый, да по дневному времени сухой и бесцветный, что и вблизи не видать. Тем более с паровоза. Один из минеров, замерив шагами бикфорд, сторожить остался, другой у крайней, еще доступной с берега сваи пристроился. Он-то, приложившись ухом к рельсу, и подал голос:

— Гудет!

Савинков с оставшимся минером уже подожгли бикфорд... но паровоз вылетел из-за поворота с целым хвостом пассажирских вагонов!

По военному времени едва ли там были обычные пассажиры. Но минер решительно наступил сапогом на провод, шепча:

— Люди же, люди!..

Что было делать? Минуты ведь исходили, секунды! Кстати ли, некстати ли — вдруг всплыло лицо Вани Каляева, его нервный шепоток: «Боря, нет, ты скажи: можно убивать безвинных?!» Савинков, уже готовый отшвырнуть глупый сапог, не сделал этого!..

Паровоз с десятком вагонов прогремел колесами, раскрытыми окнами, отбившими все уши революционными песнопеньями:

Смело мы в бой поведем
За власть Советов!..

Торчали в провалах окон такие ярые матросские физиономии, что Савинков сказанул свое любимое:

— Ах, черт дерит!..

Скатившийся с насыпи минер, зверски глянув на своих двоих ротозеев, сам уже с близкого расстояния, хоть и с запозданием, снова запалил бикфорд. Но когда-то огонь подползет к детонатору? Даже и на двух последних метрах?!

— Каляев, помнится, мне сказал: «Жалко безвинных, но карателей...»

— Каляев? Какой Каляев?! Иванов — его фамилия!..

На помощь главному минеру бежал и этот, что своим неурочным сапогом испортил все дело. Савинков уже опережал его, открыто перед окнами гремевшего поезда, как вдруг с той стороны опять вылез злосчастный дедок со словами:

— Нет, тамо не клюётъ...

Первый минер в одиночку потащил его в кусты, матерясь на чем свет стоит... и в это время грохнул взрыв, накрыл их обоих обломками шпал и камешником...

Матросский поезд успел проскочить, погромыхивал на подъеме от моста, а эти двое лежали в нескольких саженьях, которые оказались роковыми...

На звук взрыва прискакал, не таясь, сам капитан:

— Что случилось? Почему опоздали?

Оставшийся в живых минер, не глядя на Савинкова, начал оправдываться:

— По первому разу, не рассчитав, задлинили шнур... спохватились, обрезали... неудачно...

— Капитан, я во всем виноват, — не мог вынести Савинков этой спасительной лжи.

Но капитан уже метнулся в седло:

— Отходите! Видите?..

Как не видеть! Поезд остановился, из заднего вагона

выскакивали матросы и разворачивались в цепь. Прикрывавший незадачливых минеров пулемет встречь рванул несколько раз. Нечего было и думать, чтобы принять открытый бой. Целый эшелон матросни! Уже слышалось, капитан поднимал своих грозной командой:

— К седлам!..

Матросы не успели развернуться. Постреляли лишь.

Отряд на рысях уходил прочь от железной дороги.

У моста остался первый непохороненный волонтер...

IX

Капитан Вендславский был прав: немало лошадей оказались лишними... Дрались ведь все больше в пешем строю. Что могли сделать сто сабель, даже рассыпавшись внезапной орущей лавой? Красных армейцев всегда оказывалось больше. Нет, только засада, только дерзкий налет. От рывка к рывку, от одной бешеной скачки до другой. Как ни скрывались, красные вскоре взяли след отряда. Принимать встречный бой было сущим безумием; удирать от погони по прямой — просто устилать свой путь трупами. Савинков вполне оценил тактику капитана Вендславского. Оказывается, нечто подобное применялось уже в Галиции, при Корнилове. В то время, когда Савинков организовывал там отряды добровольцев, некто из неглупых штабистов вспомнил приснопамятного Дениса Давыдова. Впереди штурмовых батальонов скрытно проникали через боевые порядки летучие конные отряды и сеяли панику в передовых немецких тылах. Вот так и сейчас. Эскадрон Вендславского, состоявший на три четверти из офицеров, уже многие сутки бороздил тылы Троцкого. Да, было известно: сам Троцкий брошен на этот восточный фронт. Но и он мало что мог сделать с неуловимым эскадроном. Незадача у первого моста стала хорошим уроком; теперь таких ошибок не случалось. Каждый день то в одном, то в другом месте взрывали полотно железной дороги, связывавшей фронта с центром России. Валились, как лес-сухой в бурю, крепчайшие телеграфные столбы. Пилы

не зря точили; топоры вострили тоже не зряшно. Большевистских ставленников по деревьям и станционным поселкам расстреливали прилюдно — на войне как на войне. В открытый бой, и то внезапно, вступали только с небольшими гарнизонами. Россыпь пуль, гранат — и аллюр три креста!

Большевики бросили от Казани несколько конных отрядов, шли по пятам, на свет взрывов и пожарищ. Но никак не могли вычислить шахматные ходы Вендславского. Сам капитан заговорил про шахматы. Савинков удивился:

— Странно, в своей прежней конспирации и мы использовали шахматную тактику!

— Чего тут странного? — не принял удивления Вендславский. — Собственно, Денис Давыдов тоже ведь никогда не скакал по прямой. Истинно партизанская уловка. Помню, еще перед первым рейдом в Галиции я долго думал над этим. Как устроена голова военного штабиста? Под циркуль и ровную линейку. Безразлично, у француза, немца, русского. Преследуя нас, большевики не изобрели ничего нового. В штабах у них сидят наши же, офицерские, прихвостни. Они отмеривают средние версты наших суточных переходов и наносят их на карту. А мы ведь можем пройти и пятьдесят верст, а можем лишь пять. Вы хорошо, Борис Викторович, вчера надоумили: основному отряду свернуть немного в сторону и оврагом выйти в тыл нашим преследователям, до времени затаиться. Не знаю, как красного командира, а меня смех разбирает: они гонятся за облаком пыли, которое поднимают десять наших добровольцев...

— Все-таки меня мучает совесть: не настигли бы...

— Я дал им лучших лошадей. Лучшие конники! Двое из местных. Теми же знакомыми оврагами и вернутся обратно.

— Ну-ну...

Эскадрон отдышал, ужинал всухомятку, не разжигая костров.

— Сейчас красные уже верст на тридцать опередили

нас — только зря мылят лошадей. Передохнем — и снова с Богом, Борис Викторович!

— Чтоб запутать их окончательно, я со своими помощниками по ночному времени здесь, вблизи, рвану полотно. Для фейерверка!

— Не надоело, Борис Викторович?

— Такое дело никогда не может надоест. С детства люблю фейерверки.

— Но все-таки не засиживайтесь при своих свечах. Все пишете, даже в таких условиях?

Савинков расположился под сосновой коряжиной. Буря погубила дерево, но дала ночное пристанище Ропшину; свечи нельзя было заметить и в десяти метрах.

— Я вздремну немного, — глубже залез под коряжину Вендславский. — Советую и вам сделать то же самое. Тем более снова собираетесь на линию.

— Это перед рассветом. Мое любимое время.

Вендславский поворочался на мягкой песчаной россыпи, оставленной выворотнем.

— Ума не приложу, как можно совмещать войну и это вот ваше писательство?

— Можно. Вполне. Вы знаете, Лавр Георгиевич ведь тоже пописывал. Есть даже опубликованные рассказы. Не верите?

— Уж истинно — не верю!

— Когда-нибудь на досуге я разыщу журналы с его совсем неплохими описаниями природы, особенно сибирской.

— Но будет ли у нас досуг, Борис Викторович?..

Савинков промолчал, давая понять: нет, капитан, не будет...

Вендславский из-под коряжины отдал распоряжение дозорным и тут же захрапел на шинели. А Савинков, полужелеза, раскрыл походный блокнот. Слова ложились — как дорога под копытом чалого:

«Я снова увидел Гражданскую войну во всей ее жестокости. Гражданская война, конечно, не большая война. Конечно, наши бои на Волге даже отдаленно не напоминали наших боев под Львовом или под Варшавой. Но

не нужно забывать, что в наших боях русские деревни горели, зажженные русскими снарядами, что над нашими головами свистели русские пули, что русские расстреливали русских и что русские рубили саблями русских. Не нужно забывать также, что у нас не было санитарного материала, не было хлеба для нас и овса для лошадей. И не нужно забывать еще, что большевики не брали пленных».

Савинков лукавил: пленных и они не брали... Куда брать, куда вздевать?! Ожесточившийся подполковник самолично расстреливал налево и направо... пока сам вчера не попал под пулю! Теперь его лошадь, уже никому не нужная, понуро плетется позади эскадрона. Пробовали отгонять ее прочь, но через версту-другую она опять приставала к отряду. Конечно, никем не управляемая, она демаскировала, но пристрелить ни у кого не поднималась рука.

Савинков свистнул, и спрятавшаяся было кобыла — по грозному совпадению тоже чалая! — подошла, взяла из рук хлеб, не зная, что это от последней горбушки. Где-то еще удастся разжиться?..

«Во время этого небольшого похода я воочию убедился снова, что крестьяне целиком на нашей стороне. Они встречали нас как избавителей, и они не хотели верить тяжелой действительности, когда нам пришлось отступить. Следом за нами двигались большевики, которые расстреливали всех, уличенных в сочувствии нам. Война, которая три года продолжалась на границах России, перенеслась в ее сердце. Большевики обещали мир и дали самую жестокую из всех известных человечеству войн. Нейтральным оставаться было нельзя. Надо было быть или красным, или белым. Крестьяне понимали это. Но у нас не было оружия, чтобы вооружить их, и в Самаре не было людей, способных построить армию не на речах, а на дисциплине.

Началась осень. Лист пожелтел. И было холодно вечерами. Эскадрон...»

— Эскадрон — к седлам!

Савинков сунул записную книжку в карман своего

френча и привычно проверил подпругу седла. Клепиков уже выжидательно стоял на стременах, пристегивая к седлу повод вьючной лошади. Савинков с досадой за свое промедление вскочил в седло. Придется скакать, уходя от погони. Похоже, нынешний дневной бивак, как они ни тайлись, все же засекли. Преследователи, напрасно отмотав тридцать верст, были решительны. Откуда заметили?..

— С воздуха!

Аэроплан не зря кружил над оврагом. Да, лист пожелтел, кроны деревьев, ободранные ветрами, начали просвечивать. Крылатого соглядатая заметили еще по светлому времени, но думали: пронесет. Кажется, не пронесло! В отблесках угасавшей зари трубила боевая труба; большевики любят красивый шум, на испуг берут. Ясно, что окружают. Овраг невелик, со всех сторон степи — раздолье для конницы. У красных превосходство раз в десять. Отсюда и внезапная команда капитана Вендславского. Седла! Только быстрые ноги уведут их в сторону от опасной встречи. Но лошади измотались. Краткий отдых уже не может восстановить их силы, а длительную стоянку времени нет. В седла!

Два часа непрерывной скачки. Из мешка, устроенного красной конницей, едва вырвались. Спасло, что и у красных кони устали — падали не от выстрелов, от изнеможения. Все! В очередной спасительный овраг свалились почти бездыханно. И люди, и лошади — чуть ли не на карачках...

Вблизи была деревня, через которую позавчера уже проходили. Здешних жителей нечего было опасаться, и капитан Вендславский на эту ночь решил сделать отдых. В полночной темноте пешью отправились за провизией эскадронные снабженцы. Не грабежом заниматься — за все платили с лихвой. Поэтому и была уверенность, что крестьяне не выдадут расположение отряда.

Позже Савинков и Вендславский, оставив лошадей кормиться, перешли в избу к местному мельнику. Мало что человек надежный, так с его ветряка и окрестности было удобно обозревать. С верхотуры железнодорожный путь, в этом месте еще не взорванный, был как на ладо-

ни. За линией железной дороги с первыми лучами холодноватого солнца проступили холмы. А в полдень на горизонте показался и дымок. Значит, паровоз. Да не простой — блиндированный! Остановился напротив деревни. Неужели кто-то продал?

Спустившись с ветряка, Савинков не успел додумать эту мысль: капитан Вендславский за шиворот приволок местного телеграфиста. Гнев наливал и самого Савинкова. Позавчера он с чего-то перед ним разоткровенничался, даже стихи за телеграфным столом читал. Ведь телеграфист, представившись недоучившимся студентом, без обиняков назвал его имя и даже псевдоним: «Борис Викторович? Роншин? Какая честь! Я все ваше читал до корочки. Будь в то время постарше, наверняка бы пошел за вами. Служу. Но железная дорога сегодня принадлежит красным, а завтра?.. Я член «Викжеля», ее боевого крыла. Железнодорожники только ждут сигнала. Приказывайте! Телеграфируйте! Хотя бы и шифром. Красное дурачье ваши загадки не разгадает...»

В дураках-то остался он, Савинков... несчастный конспиратор! Он продиктовал в Москву телеграмму: «СРОЧНО КО МНЕ ЛЮБУ ВЕЩИ ПОГУЛЯЮ ВЕРНУСЬ КАЗАНЬ». Адрес французского консульства... Черт бы побрал собственное головоуятие! Деренталь там как-нибудь вывернется, но как вывернется им?

Телеграфист затравленно молчал. Его уже по дороге сюда потрепали. А капитан Вендславский пинком послал к ногам:

— Знаете, что он передал? «В белом отряде сам Савинков. Ночует у нас в селе».

Савинков не стал спрашивать, как удалось Вендславскому подловить провокатора, но, помня, что время идет на минуты, вынул свой старый браунинг:

— Времени терять нельзя. Разрешите мне, капитан? Вендславский кивнул.

Савинков не глядя вскинул браунинг и зашагал к уже очерчившимся в сторону станции пулеметам.

Без бинокля было видно: блиндированный поезд остановился как раз напротив ветряка. Наводка верная. От-

крытый бой принимать нельзя, потому что из вагонов выгружалось больше пяти сотен пехоты; устанавливали пулеметы и орудия. Наверняка где-то на подходе и конница. А за деревней — голая степь, по ней только и скакать под шрапнелью и пулеметным огнем...

— Здесь принимаем бой, капитан?

— Ничего другого, как круговая оборона. Все-таки огороды, сарай, дома, есть и каменные. Церковь, наконец... Давненько я не был на исповеди!

— Но — жители? От деревни и углей не останется.

— Не знаю, Борис Викторович... Ваше мнение?

— Мнение простое — подождать. Глядите!

Вместо того чтобы сразу развернуться в боевые порядки и атаковать давно преследуемый, запертый в ловушке эскадрон, красные кучей собрались на одном из холмов. Митинг! Нашли время! Один за другим на снарядные ящики вспрыгивали ораторы, воинственно размахивали руками, явно подражая своим вождям. На задворки деревни заносило сочное, дружное «ура». Очевидно, обсуждали, как лучше одним махом прикончить гидру контрреволюции...

К капитану Вендславскому уже совались нетерпеливые головы:

— Вдарим?!

Капитан смотрел на Савинкова. Тот улыбался:

— Еще не дозрели.

Когда под громоподобное «ура» все полезли общей кучей на ораторов, он кивнул.

Капитан разорвал напряженную тишину только единым словом:

— Пулеметы!

Хорошо, дружно заработали замаскированные пулеметы. А по такой кучной цели, да с близкого расстояния — чего же лучше! Ударили и обе пушечки по паровозу. Через несколько минут весь холм был покрыт человеческими телами, а бронепоезд задним ходом начал отступать. Там, видно, и было штабное начальство. Затормозив постыдный бег, по деревне ударили орудия. Но ведь и белые пушечки не молчали; унтер Посохин оказался молодцом: с

нескольких выстрелов зажег первый вагон. По степи дул сильный ветер, пламя сейчас же перебросилось на следующие вагоны. Машинист, видимо, уже никому не подчинялся: дал полный ход. Хоть и железо, но все наспех наклепано, а внутри-то деревянные вагоны царских времен. Как бочки гудели! Рассыпая по всей степи искры, скрипучее страшило уже и не отстреливалось — просто удирало за поворот. Пехота даже не успела попрыгать в вагоны.

— К седлам! — была привычная команда.

Вылетевшая из оврага конница доделала то, что не успели пулеметы.

Вендславский и Савинков тоже поскакали.

Выстрелов почти не было. Эскадронцы рубили побросавшую винтовки, мертвую от паники пехоту...

Но все ли побросали?

И единой пули оказалось достаточно для прошедшего все фронты капитана Вендславского. Он не слетел с седла, в очередной раз заноса окровавленную саблю, — просто ткнулся в гриву своего вороного...

Когда Савинков подскакал, ему осталось только закрыть глаза капитану и после минутного раздумья объявить:

— Теперь — слушать мою команду!

Вдалеке поднималось облако во весь степной оком. Ясно, пылила красная конница. За эти дни Савинков познал: там не такие дураки, как в бронепоезде. Надо было, по возможности скрытно, отходить к Казани. Последнее неизбежное отступление...

От этого ли ощущения, от ветра ли степного Савинков зябко передернул плечами. Свою шинель он где-то потерял. Был в одном привычном френче без погон и без всяких нашивок. Раздевать капитана не решился — кивнул, чтоб его привязали к седлу и лошадь взяли в повод. Сам — в кучу трупов; некоторые еще шевелились. Он не думал добивать, хотя пуля в капитана вылетела из этой свалки. Но пойдя разберись — чья! Не ему судить. Это дело Господа Бога. Нужна шинель. Он выбрал, которая почище — значит, от пули, не от сабли. После сабли шинель стыдно надевать. Встряхнул, застегнулся, глянул

на приближающееся пыльное марево — и повторил команду капитана Вендславского:

— К седлам!

Капитан со своего седла утвердительно кивнул чубатой головой... Фуражка слетела, поднимать было некогда. Дай Бог ноги!

Эскадрон уходил по оврагу, по которому и пришел сюда.

Х

Сдав полковнику Каппелю остатки потрепанного — при отступлении и обратном прорыве на свою сторону, — чего там, жалкие остатки боевого эскадрона, Савинков с одним Флегонтом Клепиковым окольными путями вернулся в Казань.

Там уже был и Деренталь с вездесущей Любовью Ефимовной. Они посмеялись над телеграммой.

— Как мило с вашей стороны, Борис Викторович, — она с выжидательной улыбкой.

— Как кнутом нас подстегнуло, — он более сдержанно.

Они плохо понимали, что происходит в окруженной красными Казани. В переполненной эсеровскими болтунами и одряхлевшими монархистами Самаре. Да и вообще во всей несчастной России...

Любовь Ефимовна посетовала:

— Приличной шляпки в этой татарской Казани не найдешь!

Саша свое:

— Я не могу пить здешнее дрянное вино. Я не могу есть с утра до ночи баранину. В конце концов, у меня печень.

Савинков смерил его убийственным взглядом:

— Не надо баранины. Не надо вина. Сегодня же отправляйтесь дальше, в Уфу.

— А как же я... совсем раздетая?! — ужаснулась Любовь Ефимовна.

— Хороши и так... — нарочно сгрубил Савинков, чтобы поскорее отделаться от дружески-общесемейной на-

пасти. — Я заверну в Самару, если успею туда пробиться, а потом тоже в Уфу. Там образовалась какая-то Директория... черт бы ее побрал!.. Очередное правительство!

Он-то знал: Казань доживает последние дни. Троцкий подтянул к ненавистой, огрызающейся Казани тридцать тысяч красных армейцев при ста пятидесяти орудиях, не нуждающихся в снарядах. Казанский же гарнизон, даже пополненный отступившими сюда защитниками Рыбинска, Ярославля и других приволжских городов, не достигал и пяти тысяч при семидесяти сидящих на голодном пайке орудиях. Красные взяли Верхний Услон — высоту, господствующую над городом. Обстреливали не только предместье, но и центральные улицы. Надежда на поддержку горожан не оправдалась. Татары не хотели втягиваться в русскую усобицу, а русские рабочие попали под влияние красных агитаторов. Чувствовалось, может вот-вот начаться восстание. Чутье Савинкову подсказывало: при всей неприязни к бежавшим в Уфу эсеровским, монархистским и прочим болтунам нельзя оставить Казани. Надо было принимать на себя роль хоть какого-то градоначальника... «или жандармского полковника, черт бы всех побрал!» — подумал невеселую мысль, а Флегонт Клепиков подхватил ее уже вслух:

— Я пойду к рабочим. Я научился с ними разговаривать.

Савинков с сомнением покачал головой, но выбора не было. С тяжелым сердцем, но отпустил прекраснородного юнкера. Наказал, правда, уж истинно по-жандармски, взять с собой надежный конвой.

Кажется, юнкер предусмотрел все это в лучшем виде... Но что мог сделать взвод новоявленных жандармов против оравы рабочих, уже сбившихся в вооруженные отряды? Началось открытое восстание. Бесстрашного юнкера Клепикова, так и не сумевшего выполнить жандармскую роль, принесли на шинели полуживого... с простреленной в нескольких местах грудью.

Поручив его попечению надежных друзей, Савинков поскакал на участок полковника Перхурова. Вот

кто был лишен всякой паники. Он до последнего отстаивал Ярославль, а сейчас со своими офицерами-волонтерами так же спокойно и обдуманно защищал подступы к Казани. Чехословаки оголили фронт, отошли вниз по Волге к Самаре, а Казани было предоставлено право жить или умирать... По собственному усмотрению. Новоявленная Учредилка, возмнившая было себя самарским правительством, бездарно удирала в Уфу, меж тем как большевики город за городом очищали Волгу.

На улицах Казани рвались снаряды. Савинков скакал к Перхурову всего с несколькими, еще знакомыми по Рыбинску и Ярославлю офицерами. Сразу за городом начиналось ровное поле, на котором даже не успели выкопать окопы или хотя бы, на случай атаки, натянуть колючую проволоку. Вот тут под прямым обстрелом, и находился отряд Перхурова. Сам полковник со своим штабом расположился в одиночном домике, видимом как белым, так и красным.

— Как вы можете здесь держаться? — пожав руку, спросил Савинков.

— Да вот держимся до сих пор, — оторвался от бинокля Перхуров.

Очередной снаряд разорвался в нескольких саженьях. Деревянные стены дома ходуном заходили.

— Полковник, неужели можно здесь держать оборону?..

— Конечно, можно.

— Но большевики обстреливают с Верхнего Услона уже и саму Казань.

— Они обстреливали из Заволжья и Ярославль.

У защитников Ярославля была надежда на помощь высадившихся в Архангельске союзников — как выяснилось, наивная надежда... Здесь не было и ее. Самара потонула в говорильне. Симбирск еле держался — точных сведений не было, но на этот час он мог уже и пасть.

— Вы все-таки предусмотрели пути отхода?

— Предусмотрел. Но уйду последним... вот дадут! — рассмеялся полковник под очередным взрывом.

Это было 9 сентября. 10 сентября Казань пала.

И началось то, что всегда бывает при отступлении, — паника и неразбериха. Ночью, уже в густейшей осенней темноте, по лаишевской дороге потянулся нескончаемый поток беженцев. Дорога — единственная, еще не перерезанная большевиками. Вместе с беженцами, которых насчитывалось до семидесяти тысяч, в общий поток влились и уцелевшие войска, — да что там, толпы потерявших всякое управление солдат. Савинков нигде не находил ни Перхурова, ни его ближайших офицеров. Похоже, полковник сдержал слово: последним покидал Казань... Да и покинул ли?

За Казанью, ветрами степными подрубленные, как снопы в общей связке, повалились Симбирск, Самара, Сызрань — вся не собравшая жатвы Волга. Фронт откатился к Уральским горам.

Савинков на лошадях ехал до Бугульмы и дальше, к Уфе. В его маленьком обозе на одной из телег, хоть и набитой сеном, но все равно тряской, тихо, застенчиво постанывал Флегонт Клепиков.

— Не держите в себе боль, юнкер. Кричите! Иначе вам не доехать.

— Слу... шаюсь... мой генерал! — еще нашел в себе силы пошутить юнкер, опять впадая в беспамятство.

Слово чести твердило Савинкову: надо довести до врачей, до лазаретов. Ему было над чем пораздумать в этом очередном отступлении...

«В своих страданиях Россия становится чище и тверже. И я не только верю, но знаю, что, когда минует смутное время, Россия, Великая Федеративная Республика Русская, в которой не будет помещиков и в которой каждый крестьянин будет иметь клочок земли в собственность, будет во много раз сильнее, свободнее и богаче, чем та Россия, которую правили Распутин и царь. Но сколько крови еще прольется...»



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ В ПАРИЖ ЧЕРЕЗ ТОКИО, В МОСКВУ ЧЕРЕЗ ВОЛОГДУ.

I



езд шел на Дальний Восток.

Купе битком набитого, даже лучшего, вагона им удалось занять все-таки на четверых — отчасти по решительности и влиянию Савинкова, ехавшего с командировкой от Уфимской Директории, отчасти по болезному виду Клепикова. При всех докторях и заботах, юнкера лишь чуть-чуть удалось поставить на ноги; к поезду его по настоянию Савинкова доставили на санитарном автомобиле и демонстративно внесли двое санитаров, — чего там, юнкеров, членов им же самим распущенного «Союза». Так и садились: впереди с правительственным мандатом Савинков, за ним зверской выправки санитары, несущие своего забинтованного товарища, а уж сзади чета Деренталей. Ду-ду!

Сразу же возникла проблема: кому и где располагаться?

Само собой разумелось, нижняя полка предназначалась правительственному послу. Само собой, и дама — не лезть же ей наверх. Если не принимать во внимание даже Деренталю, оставался еще и раненый — его-то куда?..

Поднялся вежливейший гвалт, в котором не последнюю роль играл и голосок Любови Ефимовны; она жаждала лично ухаживать за раненым:

— Я — сестра милосердия! Я хочу... буду чаем поить беденького мальчишка!..

И слабый, но все-таки решительный протест благовоспитанного юнкера:

— Лучшее место — для дамы... о чем спор, господа!

И равнодушное хмыканье Александра Аркадьевича:

— А по мне — так и на полу! Главное, едем... едем прочь от России... Да, прощай немытая Россия, страна рабов!..

Савинков недолго слушал эти пререкания, все решил единым махом:

— Моего адъютанта — направо. Сами пока, по ранжиру, налево. Разумеется, Любовь Ефимовна у окна. Где и как спать — решим после. Сейчас — закусить. Саша, разрешает твоя печень?

Деренталь только хмыкнул и протер носовым платком очки. Будто он и сквозь запотевшее стекло не мог разобрататься в чемоданах!

Так — под хороший, еще уральский, балычок и довольно сносное, из уфимских губернаторских подвалов, вино — началось трехнедельное путешествие по Сибири. Само собой, с задержками, остановками и прочими прелестями российской междоусобицы.

Кто они — беженцы или дипломаты?

Савинкову позарез нужна была Европа, поскольку ехал он с официальными поручениями Уфимской Директории — сборища безмозглых говорунов, вроде Чернова, Авксентьева, Философова, — а в Европу сейчас, сколь ни печально, можно было попасть только через Азию. Деренталю как советнику, прикомандированному к послу, нельзя было отрываться от своего шефа. Любови Ефимовне никак не полагалось отставать вообще. А болезный Флегонт Клепиков и сам отстать не мог, ибо попал в это купе через руки дюжих санитаров. Вот и выходило: внушительная российская миссия, со своим послом, со своим иностранным атташе, с личной секретар-

шей и немного приболевшим охранником. Так, с внутренним смешком, раздал всем Савинков роли, да ведь нечто подобное и на самом деле получалось. Еще в первый час, пока закусывали, он сказал:

— Любовь Ефимовна, отныне вы для всех — секретарь посольства. Апломб, солидность, независимость... Да, это наши пропуска. Лицо посольства определяет секретарь. Ему полагается соответствующее досье. Вот оно, — достал из чемодана внушительную кожаную папку. — Пока вместо мандатов — чистые листы. Записывайте.

— Что? — оторвала Любовь Ефимовна от заплывшего снегом окна свой волоокий взгляд.

— Все. Дорожные впечатления. Встречи. Подозрения. Шпионство. Железнодорожное хамство, наконец!

Савинков не преувеличивал. Когда он потребовал чай, чистую скатерть на стол — тряпку сбросил демонстративно на пол, свежие простыни и полотенца тоже сгреб вниз, своим отличным дипломатическим ботинком притоптал, — когда еще брезгливо носовым платком протер окно и платок швырнул в коридор, какая-то служилая рожа подняла было крик на весь вагон:

— Баре какие! Раскидались!

Чтоб покончить с криком, он и саму рожу вместе с засаленной железнодорожной фуражкой выкинул за дверь. Щелк — щеколда! Там, в коридоре, покричали, но недолго. Вагон-то все-таки был лучший, следовательно, и начальник поезда где-то тут обретался. Некоторое время спустя — вежливый стук.

— Откройте, пожалуйста, господа.

Деренталь по взгляду Савинкова отщелкнул обратно щеколду, и в дверях предстал щеголеватый начальственный железнодорожник:

— С кем имею честь?..

Савинков без слов протянул мандат, подписанный всем синклитом Директории — Авксентьевым, Черновым, Философовым, даже бывшим адъютантом Перхурова, а ныне полномочным министром Ключниковым, — всеми лицедеями, как он в гневе называл и профессора за его увлечение бессмысленной политикой. Мандат был

хорошо пропечатан, в золотистый тон, на гербовой царской бумаге. Немудрено: при всей разношерстности уфимской публики тон задавали все-таки монархисты. Поезд еще недалеко ушел от собственников стоявшей на мандате печати; начальник поезда, конечно, знал о всех этих людях, а может, и открыто сочувствовал, потому что, свернув мандат, кивнул торчавшим за его спиной кондукторам:

— Обеспечить всякий возможный в наших условиях комфорт. — И уже самому Савинкову: — Мне, Борис Викторович, конфиденциально сообщили о вас. Честь имею!

Он даже приложил руку к фуражке, и Савинков встал с полупоклоном:

— Очень приятно встретить понимающего человека. Поэтому рискну попросить: если найдется в поезде врач, не посчитайте за труд пригласить к нам. У нас больной.

Раненым назвать юнкера он все-таки не решился. Начальник поезда решил не выспрашивать подробности, доброжелательно согласился:

— Постараюсь.

Теперь у них явилось все, что можно было достать в этом поезде, идущем в никому не известные восточные дали. Кроме вполне приличного белья, самовар у окна. Любовь Ефимовна восторженно ахала:

— Ах, какая прелесть. Фурчит! Дымит!

— Но лучше бы поменьше, — отдернув верхнюю фрамугу, охладил ее пыл Савинков.

На минуту-другую в купе ворвался снежный сибирский ветер. Теперь уже Любовь Ефимовна не заахала — заохала:

— О-ох, Борис Викторович, несносный вы человек! Как же я спать буду в такой холодюге?

— А я согрею вас своим дыханием, теплолюбивая Любовь Ефимовна.

Флегонт Клепиков болезненно улыбнулся, Деренталь по привычке равнодушно похмыкал, но дело-то именно так и обстояло. Спор о верхних-нижних полках разрешился еще в самом начале вместе с пачками ново-

го белья. При виде такой благодати Любовь Ефимовна заявила:

— И не возражайте! Свое место я уступаю нашему геройскому юнкеру.

— А я, как парижский шафер ваш, — счастливейшему жениху, — вовремя вспомнил Савинков. — В старики еще не вышел. Сказано — прыгаю наверх.

— А мне поможете?..

— О чем речь, любезная Любовь Ефимовна. Мои руки на что?

Он без обиняков подхватил ее и под показной, радостный визг вознес на левую полку. Покури в коридоре, и сам на правую сторону вознеся, оговорившись:

— Извините, я привык спать на правом боку.

— А я на левом. Ведь правда, Саша? — свесила она вниз всегда распускавшиеся без шляпки жгучие волосы.

— Правда, Люба... не помню, — похмыкал Деренталь, позвякивая рюмкой. — Я рад, что там у вас так хорошо совпало. И у нас тут совпа...денье, да!

Со стола ничего, конечно, не убирала. Ближко. Удобно. Знай побрякивай-позвякивай.

Но сколько можно?

Свет в вагоне хоть и плохонький с сырого угля, но все-таки был. Накушавшись в охотку, Деренталь отвалился к стенке, прикрылся прихваченным в дорогу французским романом. Юнкер старательно изображал из себя спящего. А что изображать им, святым духом вознесенным на верхние полки?..

Поезд пылил снежком вторую неделю. В этих просторах давно потерялась власть забытой Директории. Возникла было властипшка какого-то байкальского атамана, но и она после незадачливой перестрелки пропала в метельной мгле. Помаячило за окном нечто монгольское, скуластое — заступить дорогу не решилось: пулеметы во всех тамбурах стояли. Потарахтело скучным перепля-

сом полнейшее безвластие; опять какой-то атаман... с китайской плоской рожей!.. Кто там еще? Не чукчи ли?..

Самое время посмеяться — хоть и на русской земле, а уже японские ветры.

От сырого уголька в вагоне и в самом деле было не жарко. Когда разговариваешь — парок из уст в уста. Савинков не унижался до шепота — как всегда, своим тихим шелестящим голосом:

— Вот так, Любовь Ефимовна, — жизнь. Я был шафером на вашей парижской свадьбе. Теперь, если когда-нибудь попадем в Париж, кем стану, позвольте спросить?

— Все тем же — Борисом Викторовичем... не решаюсь называть Борей...

— И — не называйте. Это вульгарно. Мы с вами все-таки светские люди. — Он через пропасть потянулся к ней, чтобы поцеловать ладошку.

Как по приказу и свет погас.

— Мы не опустимся до темноты... наших отношений! Видно, опять уголек сыроват.

Будто услышали его голос, устыдились. Вежливый стук из-за двери:

— Есть свечи, господа. — Сам же начальник поезда и принес. — Не царские, но все же...

— Несчастному царю свечи уже не потребуются. Разве что поминальные...

— Не ожидал от вас, Борис Викторович, такого монархического сочувствия.

— Извините, я и сам не ожидал. Но — не люблю революционной грязи. Вы задели самую больную струну в моей душе.

— Если так, извините и вы. Ненароком.

— Прекрасно, обменялись любезностями! Хотя от бессонницы мне не уйти... Вы догадливы — свечи. — Он взял одну, поставленную в пепельницу, в уголке своей полки прикрыл газетой... и, забыв недавний разговор, отвернулся на левый бок.

Противоположная полка обидчиво и нервно скрипну-

ла. Начальник поезда, прикрывая дверь, стыдливо пробормотал:

— Спокойной ночи...

Савинков его не слышал — читал скупленные на очередной станции газеты. Любовь Ефимовна нарочно ворочалась с боку на бок. Деренталь при свете нижней свечи шуршал французским потрепанным романом, юнкер старательно прихрапывал — все как должно быть. И даже собственные мысли не сегодня же родились. Кондуктор теперь не знал, чем угодить, газеты на всех станциях скупал охапками, даже и многомесячной давности. Савинков читал такие жуткие измышления о рыбинских днях, что впору было схватиться за браунинг. Но было и поновее — о покушении на Ленина, о Директории, о Колчаке... и об убийстве царской семьи... Рука большевистской цензуры сюда не дотягивалась, писали кто во что горазд. А он?

Уставившись в потолок, спрашивал себя об одном и том же: «Что со мной происходит? Любовь к царям?!»

Когда он готовил убийство великого князя Сергея Александровича, в душе не было ни тени жалости. Когда трижды срывалось хорошо, казалось бы, подготовленное покушение на самого Николая, оставалась только досада: опять не вышло! По Божьему промыслу опоздал на благотворительный бал и не попал под кинжал Татьяны Леонтьевой; по трусости матроса избежал на «Рюрик» отравленной револьверной пули; по недогадливости одного растяпы в очередной раз прошел мимо расставленной ловушки... и для чего?!

Чтобы со всей семьей, с дочерьми и малолетним наследником, быть зверски убитым в Ипатьевском доме Екатеринбурга?!

Опять вспомнился бесподобный Ваня Каляев. У него дважды не поднялась рука бросить бомбу в карету князя Сергея, потому что там были дети. И «Генералу террора» не хватило духа обвинить своего варшавского друга в трусости или малодушии. А здесь новые властители с красными звездами на лбах приходят в подвал, куда завели всю семью, и бессловесно расстреливают одного за другим, а после на глазах еще живых — добивают...

Можно что угодно думать о царе Николае, но он и в эту роковую минуту не изменил своему благородству — выступил вперед, чтобы получить первую пулю и хоть на какое-то мгновение продлить жизнь обреченной семьи... Савинков знал, сколько уже к исходу этого года напущено туману на мрачную и позорную для России казнь царской семьи. Это не Франция, где головы королям рубили публично; даже революционные палачи соблюдали этикет и порядок. А что сказать о красных палачах? За всеми мелкими исполнителями, вроде коменданта Ипатьевского дома Юровского, по ремеслу часового мастера, а по душе российского Каина — он ведь и родился в городе Каинске, — за всеми за ними стояли Бронштейн-Троцкий, Ульянов-Ленин, Янкель-Свердлов. Особенно последний. Он понимал, что русская охрана при всей своей революционности по-христиански сочувствует несчастной семье Романовых, и требовал замены всего караула. Как ни безмозгла Уфимская Директория, она и отдаленно не напоминала интерразношерстный народ Уральского Совета. Екатеринбург прикрывал русский дурак Белобородов. Ему приказывали на интерместечковом языке — он исполнял. И раболепно слал телеграммы, вроде этой:

«Москва. Председателю Ц.И.К. Свердлову.

Согласно указанию Центра опасения напрасны точка Авдеев сменен его помощник Мошкин арестован вместо Авдеева Юровский внутренний караул весь сменен заменяется другими точка Белобородов».

Получив очередные указания, часовщик Юровский заменил весь караул и поджидал посланца Свердлова — «человека с черной как смоль бородой», московского инспектора-палача. Но еще не дождавшись его приезда, рапортовал:

«Москва. Кремль. Секретарю Совнаркома Горбунову.

Передайте Свердлову, что вся семья разделила участь главы точка официально семья погибнет во время эвакуации точка Белобородов».

Савинков не знал, какие чаи сейчас попивают уроженец Каинска, каин-часовщик Юровский, и уральский

«президент» Белобородов, но со злой горечью, не отдавая себе отчета, вспомнил предсказания Ропшина:

Убийца в Божий храм не ввидет,

Его затопчет Бледный Конь...

— Что вы сказали, Борис Викторович?!

Он внутренне чертыхнулся: начинает заговариваться! Но ответил вполне спокойно:

— Прочищаю горло, любезная Любовь Ефимовна.

— Вполне разумно, мой генераль, — вместо нее на парижский лад вскинулся с нижней полки Александр Аркадьевич. — Представьте, и у меня горло заложило! Ну что ты с ним будешь делать?

— А печень?

— Печень подождет ради такого случая.

— В таком случае будите юнкера.

Деренталь толкнул Флегонта. Тот еще некоторое время притворялся спящим, прежде чем спросить:

— Раненому не повредит?

— Раненому — первая чарка. — И в свою очередь, приподнимаясь, толкнул жену: — Кушать подано, Любушка.

Она тоже изобразила на своем смугло-лукавом лице сердитое непонимание, но, добрая душа, долго сердиться не могла:

— Опять слезать?

— Слетать, мадам! — подхватил ее на руки Савинков. — Слышали? Кушать подано.

— Так нам и до края земли не доехать. Еды не хватит.

— Хватит, Любовь Ефимовна. А нет, так японца какого-нибудь зажарим. Надо же, опомнилась Россия!

Вроде бы весело говорили, а на душе кошки скребли. В самом деле, дня не пройдет, как придется ехать по русско-японской земле...

II

Японцы заявили, правда, не на второй, а на третий день, но сути это не меняло. Хозяева земли русской, надо же!

Начальник поезда оказался дипломатом — или разведчиком всех дорожных чертей? — но предупредил еще за несколько часов. Все-таки международный телеграф работал. Как иначе ходить поездам, чтобы не расшибить свои лбы?

— Борис Викторович, я представляю вас англичанином, едущим под русской фамилией, не возражаете?

— Ничуть, мой друг. Меня не раз выручали англичане. Называйте — полковник Морган.

— Может, сразу Шерлоком Холмсом?

— Можно и Холмсом. Не думаю, что японцы так начитаны.

— Наверняка среди них есть разведчики...

— В духе Куприна и его штабс-капитана Рыбкина? Не преувеличивайте их достоинства. Не люблю япошек!

— Ваше право. Но как быть с остальными?

— Бегущая из России французская пара. У них и фамилия подходящая — Деренталь.

— Прекрасно. А больной?..

Савинков размышлял недолго:

— Я думаю, японцам можно сказать правду: раненый. Они ведь радуются, что русские убивают русских. Ах, хорошо, думают. Так скоро вся Сибиря, аж до Урала, будет безлюдна и сама попросится под лучи Восходящего Солнца!

Начальник поезда почесал затылок, что означало: так-то оно так, но надо знать японцев...

Что правда, то правда: надо бы. Но в этом смысле у Савинкова оказался явный пробел. Парижские и лондонские японцы, коли встречались на эмигрантском пути, были любезны до приторности и скучны до тошноты. А здесь, поди, настоящие?

Нет, вежливости и на этой семи брошенной дороге им было не занимать. Хотя военные патрули могли быть и построже. Даже Савинков поначалу попался на их улыбки. К раненому отнеслись с пониманием, даже почувствовали на вполне сносном русском языке:

— Что вы за народа? Друг друга стреляете. Японец никогда в японца не стреляет. Так вы вся народа убиваете.

те. Кто будет жить в Сибири? Какой медведя править?

— Японский. С острова Хоккайдо. Сохранились еще у вас?

— Мы храним, мы все храним. Мы хороший народа.

— Не сомневаемся. Вон и французы — хороший народ, — кивнул он на Деренталей, ради такого случая усевшихся на одной полке в обнимку.

— Француза с нами никогда не воюют. Тоже хороший народа, — снисходительно заметил офицер-полковник или ефрейтор, черт их собачьи нашивки разберет! — руку в белой перчатке даже попридержал на оголенном плече Любви Ефимовны.

Она ничего, скосила глазки в его сторону — ну точь-в-точь японка. Щелочки мурзатенькие, а не озера горяче-разливанные. Савинков одобрил ее игру: все-таки артистка, хотя и танцовщица всего лишь. Но радовался преждевременно. Заинтересовал-то японцев именно он сам:

— Откуда господина так хорошо зная русский языка?

— Я долго жил в России. Был даже при английской военной миссии. В России пять лет уже идет война, а мы как-никак союзники. Были. Теперь англичан не любят. Решил бросить все и уехать на родину. Представьте, пришлось стать русским.

— Но почему — русская?

— Да потому, что французов тоже перестали любить. А итальянский язык я плохо знаю, трудно мне быть итальянцем. Кем еще? Поляком? Полякам русские не доверяют! Немцем? Но с немцами они до сих пор воюют. Опасно.

— Опа-асна, опа-асна... — что-то свое соображал ефрейтор-полковник. — Почему не японца?

Савинкову стало не до смеха. Он понял, что его принимают за шпиона — вот только красного, белого или какого-нибудь зеленого? В любом случае приятного мало. Он вроде как нечаянно, поднимаясь с полки, погладил затекшую спину — не забыл ли своего спасителя? И юнкер сквозь щелочки болезных глаз понял его жест; поправляя под сдержанные стоны подушку, тоже неча-

янно руку под нее подsunул. И Саша Деренталь вовсе не случайно одернул заваленную едой настольную скатерку, под которой ведь что-то было, и даже Любови Ефимовне как раз приспичило пудриться, для чего дорожную сумочку пришлось приоткрыть...

— У вас будет время изучай японский языка, — продолжал бесстрастно улыбаться ефрейтор-полковник. — Вы следуй за нам.

Он вышел в коридор и выжидательно остановился обочь дверей. По сторонам еще было двое. Савинков знал, что от этих они отобьются, но сколько всего их в вагоне? В других вагонах? На станциях? На всей этой брошенной на поругание российской окраине?

Однако же делать нечего, почесывая затекшую спину. Спутники тоже инстинктом повторили свои незамысловатые жесты. У кого подушка скомкалась, у кого скатерка смялась, у кого пудра в сумочке не находилась, железно погромыхивала...

Оставалась какая-то малая секунда, чтобы все разрядилось в узком коридоре дымным грохотом. А дальше?..

Нет, начальник поезда не зря облюбовал эту заброшенную дорогу. Он, вроде как непричастно стоявший в сторонке, с полупоклоном приобнял ефрейтора-полковника и зашептал на русско-японском какую-то спасительную ахиною, из которой Савинков уловил только одно слово: контрабанда! Цены здешние знал, заранее приготовил пакетик. Уже больше для Савинкова предупредительно, вслух dokonчил:

— С нами проблем не будет. На обратном пути мы еще встретимся... и передадим приветы от ваших друзей...

Японцы вышли так же вежливо, как и вошли.

— Сколько я вам должен? — положив руку на плечо своего спасителя, спросил Савинков.

— Сколько надо, Борис Викторович. И ровно столько я поставлю на счет нашей любезной Директории... если живым, как говорится, вернусь. — Нервы у него были в порядке, посмеивался. — Вам долго жить за границей, не утруждайте себя мелочами.

— Иначе было нельзя?

— Нельзя. Поезд сопровождают до полусотни человек. Думаете, такими игрушками отобьетесь? — Он дружески похлопал его по спине и даже чуток пониже.

— На вашу помощь надеялись, — Савинков его маленько тем же манером облапил, тоже с истинным дружеством.

— А не закусить ли нам... в честь вступления на землю Страны восходящего солнца?

Поезд как раз остановился. Мелькнула вывеска: «Благовещенск». Пока еще русская. Пока...

— Закусить непременно надо, — глянув в окно, согласился начальник поезда. — Вот только минуем эту опасную станцию. Господи, пронеси нас, грешных!

Он побежал навстречу обступившим поезд японцам.

Через минуту уже с поклоном обнимал очередного ефрейтора-полковника.

Истинно, Господи! Спаси Россию от унижения!

Спаси и помилуй ее, несчастную.

III

Во Владивостоке, дожидаясь попутного парохода, для начала хотя бы до Токио или Шанхая, Савинков получил телеграмму от адмирала Колчака. Предложение по-офицерски короткое и деловое: все полномочия Директории принять на себя — теперь уже от имени его, верховного правителя России.

Скупость телеграммы могла объясняться и мотивами секретности. Вовсе не обязательно каждому встречному-поперечному знать, что замышляет в Омске новоиспеченный российский диктатор и что поделывает на пути в Европу его дражайший посол. Самоирония всегда служила Савинкову добрую службу, а уж сейчас и подавно. Суть происшедшего в Омске уже дошла до Владивостока и была совершенно понятна послу, по дороге теряющему и вновь обретающему своих хозяев, — более конституционных слов он не находил. Монарх? Диктатор? Президент? Правитель?.. Не все ли равно. У России не было ни того ни другого... ни пятого-десятого. Но страна не мог-

да оставаться без власти — захватническую власть большевиков он, разумеется, и на дух не подпускал. Его любимые друзья из Добровольческой армии? Генерал Деникин? Это было серьезно... но это было слишком далеко. Революционно-бродячая судьба шатнула его на восток, и с этим приходилось считаться.

Адмирал Колчак был ближе. Понятнее. Ему хватило ума дать пинка болтунам из Уфимской Директории; в такое время оружие на болтовню не меняют. С Директорией Савинков прощался, как со случайной шлюхой. С верховным правителем мысленно заключил мужской союз. Пускай диктатор, пускай новоиспеченный Наполеон, но человек слова и дела. Пожалуй, только такой человек и спасет Россию... если еще возможно ее спасти!..

Пессимистам он не верил, но здоровый скепсис уважал, а потому недолго раздумывал. Тут же на почте отбил односложную телеграмму: «СОГЛАСЕН САВИНКОВ». Тоже не имело смысла впадать в многословие. Кроме японцев, китайцев, корейцев, монголов, Владивосток был наводнен и разной сволочью, сбежавшейся со всей России, в том числе и с красным душком. Не стоило утешаться, что никто не взял на примету известного в глаза и за глаза бомбометателя. Была бы дичь — охотнички найдутся.

Савинков уже не раз примечал за собой внимательные собачьи глаза; не имело значения — с русским, японским или китайским раскосом. Пули стандартизированы во всем подлунном мире; кинжалы одинаково ядовиты что в Европе, что в Азии. При всем своем многолетнем опыте, он не выходил теперь на улицу в одиночку, как бывало в Париже, в Лондоне, да хоть и в революционной Москве. Там спину стены защищали; здесь могли преспокойно убить и со спины. Азия! Ее близкое потайное и не всегда понятное дыхание. Этим все сказано.

С первого дня, обосновавшись у верного русского полковника, он по его же совету нанял автомобиль. Полковник Сычевский был без ноги — отморозил в Ледовом, корниловском, походе, — но со светлой головой и с чис-

тым, даже в этой грязи незамутненным сердцем. Савинков прежде не знал полковника; тот на своей деревяшке встретил его прямо у вагона, коротко сказал:

— Доверьтесь мне. На площади ждет извозчик.

Излишней доверчивостью Савинков не страдал, но не стал выспрашивать — откуда ему все известно, столь же коротко кивнул:

— Буду обязан. Нас четверо.

— Знаю. Даже по именам... потом объясню. Садитесь. Не стоит мозолить глаза...

Много тут шаталось. Даже опытный глаз не проникал под нахлобученные шапки, шляпы, фуражки...

Была обычная в приморском городе слякотная ростепель. Колымага, называвшаяся пролеткой, гремела расхлябанными колесами. Но им было уютно за спиной безногого полковника — за неимением места он сидел с извозчиком на козлах. Не очень молодой, не очень и старый, в потертой офицерской шинели. Без погон, разумеется. Так пол-России ходило. Это уже дома, в личном особнячке, назвался: полковник Сычевский, рядовым служил у Корнилова. Не стоило объяснять, в какое время полковники стали рядовыми. Да на первых порах и некогда было: их дожидался уже накрытый стол.

Казачий дальневосточный полковник жил на холостяцких правах с несколькими беглыми офицерами; оказалось, с некоторыми из них Савинков встречался то ли в Ярославле, то ли в Казани, то ли в Уфе. Ни лиц, ни фамилий не помнил, но верил на слово. Такие времена — приходилось верить. Документов никто не спрашивал; документы перелицовывали, как старые шинели. Глаза — единственный надежный документ. Он сам удивлялся, как легко стал сходиться с людьми! Эти-то офицеры и оказались его верными стражами. Вовсе не в шутку полковник предупредил:

— Не афишируйте себя, господин военный министр... да-да, не обессудьте за это застольное напоминание. Вся мразь, вся грязь собралась здесь. Умные люди заранее перебираются в Харбин — там уже что-то вроде очеред-

ной российской столицы образовалось, — а разве мы с господами офицерами похожи на умников?

— Истинно — не похожи, — дружески улыбнулся Савинков.

— Вот-вот. Надеюсь, и ваши спутники не похожи.

— Надейтесь, полковник, — за всех залихватски ответила Любовь Ефимовна.

— Тайная вечеря?.. — Савинкову хотелось с первого же застолья все расставить по своим местам.

— Тайная, если хотите. Увы, мы уже не в России...

Офицеры поддержали:

— Пари!!

— Изгой!

— Вышибленные из седла!..

— Ну-ну, господа, — пришлось остановить. — Все принимаю, но с одной поправкой: из седла нас никто не выбьет. Я не кавалерист, хотя и помахивал сабелькой...

— У полковника Каппеля?

Как ни присматривался, признать не мог, но его-то признавали. Он сказал само собой разумеющееся:

— Если эти тайные вечера — ваша традиция, разрешите и нам присутствовать?

В ответ было дружное, под звон бокалов, согласие.

Теперь это стало доброй семейственностью, — а как же иначе можно назвать сообщество; при единой женщине, но с целой оравой мужиков. Их с каждым вечером становилось все больше. Настоящего-то дела ни у кого не было; так, разговоры-переговоры Ивана с Петром, поручика с капитаном, русского с китайцем или монголом. Единственно, японцев все так или иначе сторонились. Улыбаться научились вполне по-японски, но доверять не доверяли. Японцы вешали одинаково и затаившихся большевиков, и слишком кичливых господ офицеров. Мол, понимай: мы здесь хозяева. Дело русских — убивать друг друга; дело наше — править русской Сибирией. Пускай уж за Уралом распоряжается Европа, а здесь распорядится Страна восходящего солнца. Начало всех начал.

Нечто такое, если считать от обратного, высказал и странный завсегдатай китайского ресторанчика. Приезжа-

ли туда без опаски — целой компанией и, конечно, при оружии. Успели присмотреться к посетителям. В большинстве своем — русским, и не трудно догадаться — из великого племени беженцев. Как-то уж так получалось, что этот русский, приходивший всегда в обществе пожилого японца, оказывался за соседним столиком; наметанный глаз мог заметить: присматривается. А когда однажды Савинков остался один, — полковник Сычевский и вся братия вышли покурить, — прямо подошел и без обиняков сказал:

— Борис Викторович, я хотел бы с вами посекретничать. Меры безопасности примите на свое усмотрение.

Не дожидаясь ответа, тотчас же отошел на прежнее место. Последняя фраза, несколько унижительная, сразила Савинкова: он согласился. Но кто этот — не молодой, не старый? Лет тридцати пяти. Офицер? Учитель? Доктор? Интеллигентный медвежатник?.. Все, что угодно, к нему подходило... и ничего ровным счетом не объясняло. Человек себе на уме.

Когда со всем застольем вернулся полковник Сычевский и по обычаю шумно и весело уселся по правую руку, Савинков шепнул ему:

— У меня приватный разговор с одним человеком. Не следите и не опекайте.

Зная настороженную дотошность полковника, не дал ему времени для возражений — тут же встал, подошел к незнакомцу и для пуцей естественности хлопнул по плечу:

— Выйдем?

— Да, лучше без опеки, — слегка скосил глаза незнакомец в сторону готового вскочить полковника.

Савинков еще раз взглядом предупредил: все в порядке, пейте за мое здоровье!

Они вышли в глухой дворик китайского, отгородившегося от улицы ресторанчика. Пристроились, не сговариваясь, в одной из беседок. Здесь обычно курили, занимались любовью и без свидетелей жульничали — для того и устроены были полузакрытые беседки.

— Выкладывайте, — первым присев за столик на широкую, вроде лежака, скамью, не сказал — приказал Савинков.

— Выкладываю. Знаю ваш характер и вашу биографию чуть ли не с гимназических лет.

— Стукач? Филер?

— Ну что вы, Борис Викторович! Я сам всю жизнь от филеров бегаю.

— Ага, большевик?

— Правильно. Не стану скрывать. И хочу поговорить с вами без всякой опаски...

— Полномочия?

— Вы догадливы, потому не буду хитрить: я один из руководителей большевистского подполья... называйте меня Михаилом Ксенофонтьевичем. Хотя имя это, конечно, не подлинное. Всего лишь для документов.

— А не боитесь, Михаил Ксенофонтьевич? Я ведь с вами, как вы сами выразились, в смертельной борьбе!

— Нет, не боюсь.

— С чего такая храбрость?

— Лучше сказать — предусмотрительность. Во-первых, за мной большая организация... не здесь, конечно, здесь я один, не считая друга-японца. А во-вторых, вы просто не позволите себе дешевой мерзости.

— Не позволю. Но — о чем разговор?

— О России, разумеется. Я, как и вы, дворянин, любви своей к России не скрываю. Нас со всех сторон заливают кровью и ехидно похикивают: так, так, русский, убивай русского! И мы... мы убиваем. Знаю, вы ненавидите японцев, но оружие для армии Колчака возьмете. И я, случись такое, возьму. Правда, думаю, что силой. По доброй воле оружия японцы не дадут — ни нам, ни вам. Потому вы и едете в Европу: французы, англичане привычнее для России. У них вы со спокойной совестью возьмете и пушки, и пулеметы. И мы возьмем... найдем, отобьем, наконец. И что — будем стрелять друг в друга?

— Пожалуй, будем. Вы ведь не согласитесь отдать узурпированную вами власть?

— Не согласимся. Хотя мы вовсе не узурпаторы. Власть нам передал народ...

— Ах, оставьте, Михаил Ксенофонтьевич!

— Ладно, оставим разговоры о народе. Действитель-

но, затасканное оправдание. У меня ведь, поймите, очень скромное предложение, даже просьба: не просите у Европы оружия. У Франции, у Англии... хоть у самого Папы Римского! Побойтесь Бога, Борис Викторович.

Савинков искренне, раскатисто, чего за собой раньше не замечал, расхохотался:

— Ну, мой собрат-дворянин! Два безбожника говорят о Боге — это истинно по-русски. Что нас всех губит? Нет-нет, не жестокость — прекрасодушие. Мы очень легко соглашаемся на свои же собственные, маниловские, если хотите, мысли. Восплачу, возрыдаю — и возрыдают другие? С детства корчую в себе этот порок... да, порок... и выкорчевать не могу! Не так ли и вы? Плохо корчуете, любезный Михаил Ксенофонтьевич, плохо... Иначе не стали бы делать мне такое предложение. Уверились в моей добропорядочности — прекрасно. Уверились в покладистости — не очень. Уверились в слезливой раскаянности — плохо, совсем плохо. Говорите, знаете меня? Смею вас уверить: совсем не знаете. Иначе как согласить мои победы с моими же собственными поражениями? Поражается тот, кто поверил в свое поражение. А я — не верю. И никогда не верил. С колен подшибленных — на обе ноги! На обе сразу. Без раздумий, без раскочки. А вы?.. Надо же додуматься: предложить Савинкову капитуляцию!

— Ну, не совсем так, Борис Викторович...

— Так. Именно так. Не будем скрашивать сантиментами наш разговор. Вы искренне предложили — спасибо. Я искренне отвечаю — нет. Что вы на это скажете?..

— Тоже — спасибо. За откровенность. Хотя — жаль. Очень жаль. Ведь нам придется стрелять друг в друга?

— Придется. Но не сегодня и уж тем более не сейчас. Чтоб не оставалось у вас черной думки в душе, я присяду за ваш стол и в обществе вашего японца с удовольствием выпью с вами.

Савинков встал, не дожидаясь своего наивного собеседника. Тот догнал уже на пороге. Савинков пропустил его вперед.

Он кивнул своим настороженным охранителям, прошел

к молчаливо выжидавшему японцу и с легким поклоном сел по правую руку. Михаил Ксенофонтьевич сел по левую. Японец все понял по выражению их лиц и налил рисовой водки. Савинков терпеть ее не мог, но без тени неудовольствия поднял вполне русскую рюмку — русские сбывали здесь за бесценку не только рюмки, а целые сервизы, — поднял, встал с ней, вначале выпил, а уж потом сказал:

— Мне очень хочется, чтоб русские не стреляли в русских... но уж извините, господа! Каждому свое.

Не удостоив японца взглядом, он пожал руку наивнейшему парламентару и вернулся к своим.

В китайском ресторане русский оркестрик на русский манер заиграл расхожее танго. Как в приснопамятном «Славянском базаре». Савинков поднялся, и Любовь Ефимовна не заставила себя ждать, хотя была недовольна его отсутствием.

— Что за секреты? Китайки? Гейши? Что вам предлагали, несносный Борис Викторович?..

— Чисто дворянский маскарад. Не спрашивайте, любезная Любовь Ефимовна. Давайте танцевать. Я слушаю музыку... музыку вашего дивного тела! Почему мы так долго ханжим?

— То же самое я хотела спросить у вас, бесподобный Борис Викторович!

— Придет время — спросите. А сейчас слушайте... я, по крайней мере, слушаю...

Жаль, не удалось докончить танго. В запутанных лабиринтах ресторанчика вдруг поднялась стрельба. Такое случалось и раньше. Но сейчас что-то уж больно близко. Савинков одной рукой оттолкнул обмякшую, такую беззащитную партнершу, а другая уже была во внутреннем кармане... В кого?!

Но дело и без него разрешилось — в считанные секунды. За соседним столиком ткнулась в стол голова Михаила Ксенофонтьевича... и обвис на спинке стула с бесполезным наганом в руке его спутник-японец. Вот тебе и организация.

В распахнутые двери убегали какие-то люди, но никто не поднялся, чтобы их остановить.

«Скверно, если он смерть принял на мой счет», — единственное подумал Савинков.

Русский оркестрик на манер все того же «Славянского базара» заиграл беспшашный фокстрот.

Но фокстротов Савинков не любил. Очнувшаяся Любовь Ефимовна пошла выплясывать с одним из спутников полковника Сычевского.

Саша Деренталь одной рукой флегматично растирал свою злосчастную печень, а другой наливал китайское вино, которое для пущей важности называлось шампанским.

Флегонт Клепиков за это время общими усилиями встал на ноги и уже не отставал от Саши Дерентала — чокались они хлестко, под настроенщице.

Под свой хороший настрой посапывал носом в китайском салате и потерявший всякую бдительность полковник Сычевский. Он даже близких выстрелов не слышал. Что ему револьверы, кольца, наганы и прочие хлопущики, если и пушки шестидюймовые не всегда будили.

«Славная жизнь. Славный у нас народ», — доставая сигару, подумал Савинков.

Чутье ему подсказывало, что теперь парохода ждать недолго.

Прощай навеки, хитромудрый китайский ресторан!

IV

После месячного скитания по морям и океанам, после сомнительной чистоты пароводных кают и азиатских душных ночей, после штормов и пристальных пиратских поглядов оказаться в прохладном, прибранном, даже в такое время не растерявшем ни полицейских, ни консьержек Париже... право, вознесешь молитву Господу!

Савинков ловил себя на мысли, что у него и нет сейчас других желаний, как только часами нежиться в благословенной парижской ванне. Оказывается, его здесь не забыли и знать не знали о превратностях российских скитаний. Был просто приятный господин, тароватый

русский барин, который и в эти гнусные дни не хотел отказываться от милых житейских привычек. Ну, вовремя, со всей парижской вежливостью, получить чашечку немислимо ныне дорогого кофе. Выкурить неизменную сигару. Послать гостиничного гавроша за газетами. В определенное время, а именно перед обедом и перед ужином, во всей строгости костюма совершить моцион по холодным и слякотным улицам. А после в суровой задумчивости часами сидеть у камина — при таких-то дорогих дровах!

Разумеется, ни горничная, ни посыльные, ни рестораторы без зова не входили, но ведь и после телефонного приглашения могли наблюдать эту картину — жизнь загадочного русского эмигранта...

Для всех служащих гостиницы он как был, так и оставался эмигрантом. Да это и недалеко от истины, во всяком случае ближе, чем от Парижа до Москвы. Кто рискнет загадывать час возвращения?

Савинкова ждали дела, срочные дела, но он не мог приступить к ним, не приведя себя в порядок. Встречи со старыми и новыми премьер-министрами, да хоть и просто с министрами, банкирами, светскими дамами, даже с прежними знакомыми, вроде скандального Сиднея Рейли, не могли же проходить при затасканых пиджаках и потертой дорожной морде. Несмотря на срочные грозные телеграммы адмирала Колчака и вежливые извинительные напоминания генерала Деникина, он некоторое время вполне сознательно собирался с духом. Начинать — так начинать без суеты.

Главная цель — Англия. Сэр Уинстон Черчилль. Любитель хорошего коньяка и хороших гаванских сигар. Вот кто истинно ненавидит большевистскую Россию — всей своей жирной душой! Не грешно и позлословить в утреннем раздумье. Без него не получить денег. Не получить оружия. Амуниции. Армия нового правителя России будет в зимней Сибири без сапог и шинелей. На грабеже и реквизициях никакая армия не удержится, неизбежно скатится к губительному, прежде всего для нее самой, мародерству. Савинков подсчитывал суммы, не-

обходимые для того, чтобы одеть и вооружить хотя бы полк, дивизию, — и приходил в тихий ужас. Никто в одночасье таких денег, конечно, не даст. Положим, кое-что изыщут в самой России, кое-что при успешном развитии событий отберут у большевиков, но основное-то все равно придется собирать с миру по нитке. «С миру! Истинно международные попрошайки!» — доводил он свои мысли до логического конца. Как ни лукавь, ведь так оно и было. Савинков запоздало пожалел, что вязался в сомнительные коммерческие дела. Какой он к черту коммерсант! Положим, долговые обязательства подпишут адмирал Колчак и генерал Деникин, — ну, кто там еще из прилипших к ним политиканов? — но ведь и на совести его, Савинкова, останется неизгладимый черный долг. Будущая Россия все оправдает и все спишет? Но все ли?..

Он знал, как относились к нему даже ближайšie сподвижники. Все тайное, личное так или иначе попадало в поле его зрения. Он не шпионил за своими покровителями: их мнение ему передавали с извинительной улыбкой. Вот искренне уважаемый им генерал Деникин — вроде бы о прошлых днях, но ведь и о нынешних:

«Савинков мог идти с Керенским против Корнилова и с Корниловым против Керенского, холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствия их той цели, которую преследовал. Он называл эту цель спасением Родины; другие считали ее личным стремлением к власти. Последнего мнения придерживались и Корнилов, и Керенский...»

Читай, если хочешь:

«Савинков мог идти с Колчаком против Деникина и с Деникиным против Колчака, холодно взвешивая...»

Право, на такую аттестацию можно бы и обидеться.

Но ведь — правда? Он именно взвешивал их нынешний авторитет. На холодных и бесстрастных своих весах. Да, во имя спасения Родины!

А если подумать?..

Ах, не лукавь, не лукавь. Неужели личного-то стремления к власти нет?!

Внутренний смех распирает его. Это мог сказать любимый им генерал Деникин. Мог сказать и адмирал Колчак. Ему, Савинкову, следовало бы смертельно возненавидеть и того и другого. А он... поможет и тому и другому. Пусть думают что хотят. Именно — во имя спасения Родины. Между генералом и адмиралом нет согласованности; каждый рвет власть, как лоскутное одеяло, на себя. Он, Савинков, между ними. Он не даст окончательно порвать и без того изодранное российское одеялице. Оружие? Деньги? Будут и у того и у другого. Официально он — только посол адмирала; неофициально — столь же авторитетный и генерала. И-и... пусть думают о нем что хотят!

От этих мыслей кофе горчило, сигара отдавала плесенью.

— Прежде чем ради генерала и адмирала стучаться в дверь к сэру Уинстону Черчиллю, потрясем наших ближайших соседей, — сказал он заявившемуся с жалобой на свою злосчастную печень Деренталю.

— Масарика? Пилсудского? Гоппера?

— Ну, положим. Карл Гоппер еще мог изображать в Ярославле при Перхурове что-то из себя значащее, но что он изобразит теперь в своей нищей лоскутной Латвии?

— Министра, Борис Викторович, да еще и какого!

— Уму непостижимо, Карлуша — военный министр Латвийского уезда...

— Не преуменьшайте, Борис Викторович. У него под боком Литва и Эстляндия, Швеция и Финляндия. Да и Германия, если сама поумнеет, проберлинским балтийцам поможет. Ох, дьявол ее бери!..

— Германию?

— Печень мою... — схватился Деренталь за живот пухлой рукой.

— Вот-вот, Александр Аркадьевич. Потому и впала великая Россия в нынешний маразм. У кого печень, у кого геморрой, у кого старческие запоры. Как у наших монархистов, например. Вы не согласны, Александр Аркадьевич? Чего морщитесь?

Флегму Деренталья нельзя было сбить даже такими злыми словами. Уселся в кресло и на правах друга дома позвонил вниз:

— Два кофе... и лучше с коньяком.

Савинков посмотрел на него убийственно:

— Когда ты, Са-ша, станешь посерьезнее?

— Никогда... Бо-ря!..

Так все время: то на вы и по имени отчеству, то совсем запанибрата. Сами давно запутались, а другие — и по-давно.

— Нам надо собираться, Александр Аркадьевич. В Прагу, в Варшаву... черт знает куда!

— Не надо нам в Варшаву. Не надо в Прагу. Они сами в Париже да в Лондоне пасутся. Кого, думаешь, я вчера встретил у подъезда Министерства иностранных дел?

— Кого! Одного из милейших собутыльников. Жака? Жозефа? Какого-нибудь Жульена?..

— Ошибаешься, Борис Викторович, ошибаешься. Самого Масарика. С протянутой рукой. Привет и поклон тебе передает.

— Лучше бы передал хоть небольшой чек в парижский или швейцарский банк.

— Отку-уда? Гол как сокол. Хотя изображает из себя не лоскутную Латвию.

— Ладно — Масарик, пройдоха Масарик. Поговорим и здесь. Но в Прагу мне все равно надо. Я давно не видел сестру. Это — все, что осталось от нашей семьи.

— А Виктор?

— Виктор — шалопай. Славный малый, не больше. Видимо, он тоже где-то в Праге или в Варшаве. Надо разузнать. Но пока, Александр Аркадьевич, дай мне покопаться с моим архивом.

— Архивами занимаются, когда готовят себя на тот свет. Но мы-то, Борис Викторович, еще на этом?..

— На этом...

Деренталь столь же спокойно и флегматично вышел, как и вошел. Ничего не сказал, а настроение испортил. И решение поехать в Прагу на встречу с сестрой, мгновенно изменилось. Вместо себя он пока что пошлет пись-

мо — тем более что и пройдоха Масарик больше околачивается в Париже, чем в своих Чехиях и Словакияx. В раздражении он писал о прошлых днях, о нынешних, пожалуй, и о будущих:

«...Ощущение, будто все мы босиком ходили по битому стеклу, уже не чувствуя боли своих окровавленных ног...»

Что делать, он ко всему прочему еще и писатель Ропшин. Он не может без красотостей. Уж извиняй, любимая сестрица.

«Это были дни всеобщего безумия, когда никто не знал, что он скажет через минуту и как он поступит через час. Теперь мне иногда слышится оттуда странная какофония, будто взбесившаяся обезьяна играет на рояле, вырывая клавиши и струны. И страшно потому, что неизвестно, куда бросится обезьяна, покончив с роялем...»

Да — куда?!

Россия теперь может броситься и в ад, и в рай. *«Не я ли был среди тех, кто выпускал на свет эту бешеную обезьяну?!»*

Опять вопрос, опять красивая риторика. С ума сойти! Он — Савинков; но он — еще и Ропшин... с глаз его долой, из сердца вон! Кому отдать предпочтение? Нет времени для раздумий.

Минутное, только минутное колебание. Савинкову! Ропшина надо гнать в шею. Ну тебя, дорогой. Право, не до тебя.

Да о Ропшине, слава богу, мало и писали. Все больше о нем, о «Генерале террора». Тоже не могут без красотостей. Проще говоря, без вранья. Туману житейского он и сам напускал, отчасти по привычке к конспирации, отчасти из природного артистизма. Кто нынче не актерствует? Недавний морфинистский правитель России, его друг Керенский, витийствует на всех европейских подмостках. Оправдывая себя, так говорит и пишет:

«...Трагедия 1917 года не в государственности революции, а в том, что в урагане военного лихолетья в один мутный поток смешались две стихии — стихия

революции, которой мы служили, и стихия разложения и шкурничества, на которой играли большевики вместе с неприятельскими агентами. Величайшее несчастье заключалось в том, что издавна привыкнув с первого взгляда опознавать обычную реакцию в «мундире», генерала на «белом коне», многие вожди революции и сама их армия не смогли вовремя распознать своего самого опасного, упорного и безжалостного врага — контрреволюцию, нарядившуюся в рабочую блузу, в солдатскую шинель, в матросскую куртку. Привыкли ненавидеть представителей «старого мира», но не сумели со всей страстью революционеров вовремя возненавидеть гнуснейших разрушителей государства...»

Ах, запоздалые крокодиловы слезы!

Английский посол Бьюкенен со знанием дела возразил:

— Савинков просил у Керенского разрешения отправиться с парой полков в Таврический дворец и арестовать Совет. Излишне говорить, что такое разрешение не было дано...

Всего-то надо было дать, как просил и требовал тогдашний военный министр, и на четыре дня — петроградский генерал-губернатор Савинков, в его распоряжение пару надежных полков. Он сумел бы без суда и следствия вымести из Смольного весь большевистский мусор — вместе с Троцкими, Дзержинскими и Ульяновыми! Теперь — поздно, господин морфинист. Поздно лить крокодиловы слезы. Если есть у России спасители, так это адмирал, генерал и он... опять, конечно же, он, Савинков!

V

Но в этой жизни ничего, видимо, нельзя принимать всерьез. Вскоре после ухода Дерентала с легким стуком вошла Любовь Ефимовна.

— Борис Викторович, мне скучно.

— Скучайте.

— Мне жить хочется.

— Живите.

— Но как — без любви? Вы меня любите? Хоть чуточку? Хоть с мой малюсенький ноготок?..

Она тоже без всяких церемоний уселась в кресло, еще хранившее, вероятно, тепло жирной задницы ее мужа.

Рука брезгливо легла на бумаги, над которыми мучался Савинков. Острый, отточенный ноготок нервно царапал грозное послание адмирала Колчака. Следовало сказать справедливое: «Во-он!» — но вместо того он отшвырнул послание адмирала и припал губами к ненавистному ноготку. Право, ненавидел ее в эту минуту. О, женщины!.. Ничего-то не понимают. Глушь души. Потемки всякой реальной действительности.

В ответ на его злость — ноготок резанул по губам. Явно проступил привкус крови.

— Что вы делаете?

— В любовь играю... раз нет ее, настоящей!

— Вам мало двоих... глупейших мужиков?

— Мне нужен один... только один. К тому же не самый глупый.

— Благодарю, если я «не самый»...

— Поцелуйте лучше. Чего вам стоит?

Он поцеловал и, вскочив с кресла, к груди ее, как гимназист, прижал... Но стук в дверь. Как раз вовремя — муженек!

— Я не помешал?

— Вы никак не можете помешать, Александр Аркадьевич, — в тихом бешенстве опустился Савинков в надоевшее кресло.

— Вот и прекрасно, Борис Викторович. А то Люба заскучала. Только вы и можете разогнать ее хандру.

— А вы, Александр Аркадьевич?

— Я? Я всего лишь муж. Скучный. К тому же у меня — печень. Напоминаю вполне официально... официант сейчас прикатится. Мой самый лучший лечащий доктор.

Ну как тут можно сердиться? Хоть и предупредительный, но вполне нахальный стук в дверь. До краев загруженная тележка. Улыбающаяся физиономия милого Жака. Красивый разворот роликовых колесиков. Даже извинительный взгляд в сторону Дерентала — ну, что,

мол, с ним поделаешь? Наше дело — исполнять приказания. Иначе не бывать чаевым.

Долгое время общаясь с эмигрантами, Жак даже научился немного говорить по-русски:

— Закуска «а-ля славян-базар».

Савинков согнал хмурь с лица и в знак общего примирения сказал:

— Базар так базар. Опять русский ужин?

— Он сказал, — лукавый кивок в сторону Дерентала, — я исполнил.

— Ты молодец, Жак. Поставь на счет что полагается.

— С некоторой прибавочкой?..

— Разумеется.

Жак вылетел на белых крахмальных крыльях.

После его ухода Савинков посмеялся:

— Добрейший Александр Аркадьевич, не слишком ли круто меняем коньячок на водочку?

— Так ведь «Смирновочка». Ностальгия, — придвинул он свое кресло, как и положено, по левую руку жены.

Савинкову полагалось сидеть справа. Заглянув в судок, где в ожидании третьей рюмки томилось жаркое, для первой он выбрал себе не икру и даже не огурец, — белый, во всей лесной роскоши целиком замаринованный грибок.

— За нее, — коротко подсказал. — Только все не будем поминать это великое имя.

Любовь Ефимовна поджала и без того скучающие губы. Должна бы привыкнуть, что первый молчаливый тост — всегда за нее, за далекую заснеженную Россию. Но нет, не привыкалось. Ей хотелось, чтобы вспомнили и про женщину. Как же, дожدهшься! Муж основательно и убийственно тешил свою печень, Савинков жевал грибок. Он-то понимал тайное желание Любви Ефимовны, но уступить женскому капризу не мог.

— Ностальгия, как утверждает Александр Аркадьевич.

— Невоспитанность, как утверждаю я, — все-таки не сдержалась, сердито покашляла в ладошку.

— Помилуйте, несравненная, — ничуть не обиделся. — Когда было воспитываться? С гимназических лет — в бегах. От жандармов, сыщиков, провокаторов, красных и прочих комиссаров и еще...

— ...от женщин. Да?

— Да, незабвенная Любовь Ефимовна, да, Александр Аркадьевич, — потянулся к Деренталю, — бросьте свою меланхолию. Я все-таки за вашей женой ухаживаю.

— Весьма признателен. Третью рюмку — за нее?

— Так уже пятая, — расхохоталась раскрасневшаяся женошка.

— Разве? Я не привык считать. Считаю только первую.

— А я — и все остальные, — покачал головой Савинков. — Мы не прощем ее — первую-то рюмку?

— Как можно, Борис Викторович. — наворотил Деренталь со знанием дела на икорку еще и сыр в несколько слоев. — Чего они так тонко режут? Терпеть не могу.

— Вижу, что не можешь. В этой парижской лени мы забыли про адмирала. Забыли про генерала.

— Генералов — много. Я — одна, — капризно подала голос Любовь Ефимовна.

— И я — один, — согласился муженек. — Я в полной готовности. Я спать пойду, дорогая. Ты уж не скучай.

— Она не будет скучать, — заверил Савинков.

Когда Деренталь, пошатываясь, вышел — не в свой номер направляясь, конечно, а в ресторан, — Любовь Ефимовна уже с нескрываемым раздражением заметила:

— А я — не уверена. Спорю на что угодно, что вы и сейчас думаете о генералах и адмиралах — не обо мне!

— Верно. Я проиграл. Что потребуете за проигрыш?

— Это. Только это, — потянулась она перетомившимися, как и нетронутое жаркое, сладко пахнущими губами.

Он принял их как истый гурман, но вкуса не почувствовал. Сам себе не без иронии признался: «И чего я всю жизнь изображаю себя Казановой? Бабы мне, в сущности, безразличны. Глупое самолюбие! Потешить разве?..»

Бывшая петербургская танцовщица уродилась неглой. За мужской развязностью и бесцеремонностью почувствовала безысходную скуку этого смертельно уставшего человека.

— Боря... Можно так?

— Можно, Люба, если позволите...

— Позволяю... все позволяю, несносный человек!

— Люба... Странно, я никогда не называл вас простым именем.

— То же самое и я, Борис Викторович. Зачем?

— Не знаю, представьте.

— Это вы-то — незнайка?

— Я знаю вкус ваших губ, запах волос, выжидательную нервность ваших милых пальчиков, трепет ваших бесподобных лодыжек танцовщицы... не скрою, и чуть выше, гораздо выше, не краснейте...

— Неужели я способна краснеть?

— Способны. В этом и вся прелесть.

— Но перед Сашей-то я — всего лишь грешная шлюха!

— Он так не считает.

— Откуда вы знаете?

— Мужчины иногда говорят без обиняков.

— Да, но почему он меня не выгонит?

— Он любит тебя... не надо ханжить!

— Не буду ханжить... милый Боря! Но как же ты терпишь его присутствие?

— Он в не меньшей степени любит и меня. Потом, он просто необходим... мой министр иностранных дел...

Они не слышали, как опять отворилась дверь, — петли здесь хорошо смазывали. Деренталь собственной пьяной сущностью!

— Я не помешал, мои дорогие?

Любовь Ефимовна судорожно оправляла платье. Савинков отошел к окну, чтобы посторонний глаз, даже Деренталья, не видел его растрепанного неглиже.

— Я вас очень люблю... и тебя, Люба, и тебя, Боря... Право, не знаю, кого больше. Надо выпить, чтобы прояснились мысли.

В руке он держал початую бутылку коньяка.

Придя маленько в себя и оправив растрепанные волосы, Любовь Ефимовна бросилась ему на шею:

— Саша! Я ведь уличная танцовщица, правда? Шлюха? Как ты меня терпишь?

— С удовольствием терплю... о чем это она, Борис?..

— Борис Викторович, так лучше. Где пистолеты?

— Всегда при мне, — грохнув бутылку на письменный стол, полез Деренталь за пазуху своего просторного пиджака и вытащил купленный еще в Токио военный наганчик, полез сзади за ремень — наган российский, побольше и покрепче видом.

— Дуэльные... растяпа!

— Дуэль? С кем? Когда... Боря?..

— Я же сказал — Борис Викторович!

— Ага. Борис Викторович. Дуэль, говоришь? С кем все-таки?

— Со мной... рогоносец несчастный!

— Ага. Рога. Но если рогоносец — так и дурак набитый? Вы муху на лету подшибете, не то что такого слона, как я. Нет, выпить надо. Выпить — это по мне.

Савинков расхохотался. Оказывается, и в его руке непроизвольно насторожился старый браунинг. Он кинул его на стол, где на письме-отчете адмиралу Колчаку уже были рассыпаны сигары, широкополая черная шляпка, бутылка коньяку, а теперь вот еще и браунинг. Натюрморт! Прекрасный натюрморт.

Как ни пьян был Саша Деренталь, он оценил этот натюрморт и со своей бесподобной улыбкой присоединил японский наган со словами:

— Все равно из него нельзя стрелять. Косит... как глаз япошки!

Савинков бросился к нему нараспашку:

— Да, вечер мелодраматических сентиментальностей.

Любовь Ефимовна смотрела, смотрела, как истово обнимаются дуэлянты, и топнула крепко затянутой в башмачок ножкой:

— Ну, дожили! Вместо того чтобы обнимать бабу, му-

жики довольствуются собственными объятиями. Слышали, в моду входит новое слово: голубые? Вы поголубели?..

— ...поглупели, — отстранился Савинков от жирной груди своего всепрощающего друга.

— ...постарели, — протер Деренталь вечно запотевающие очки. — А потому надо выпить.

— Надо так надо.

Вечер продолжался. Обычный парижский вечер.

VI

Между бесконечной перепиской с чешским пройдохой Масариком, с польским «пся крев» Пилсудским, с каким-то фюрером-итальяшкой Муссолини, со своим давним другом Сиднеем Рейли и, конечно же, с сэром Уинстоном Черчиллем, — между всеми этими делами он вдруг подружился и с Карлом Гоппером. Тот был теперь военным министром Латвийского уезда, — так Савинков по-великороссийски и в глаза ему говорил, — карманным министром и одновременно парижским карманником. Если он, Савинков, выпрашивая деньги, знал, что за ним стоит великая, хоть и истекающая кровью, Россия, стоит его собственное громкое и для Европы имя, то что стояло за этим: Гоппер? О его ярославском геройстве знал разве что полковник Перхуров, — раненый, он все-таки выбрался тогда из Казани и сейчас разделял участь всего заграничного офицерства. Ну, разве еще сам Савинков. Кто еще?.. К «независимости» Латгаллии даже ярые ненавистники России относились в лучшем случае со скучающим непониманием. Если посол борющейся с большевиками России деньги как-никак получал, если он гнал пароходами через Владивосток, Беломорье и Черноморье пушки, пулеметы и даже неповоротливые танки, если его рукой направляемые поезда с солдатским сукном и сапогами правили путь в Россию через Варшаву и ту же Ригу, — то что мог выпросить несчастный Карл Гоппер? Он прибегал в полной растерянности:

— Мне ничего не дают. Что делать, Борис Викторович?

— Снова проситься в состав России.

— Какой России?

— Нашей, Карл Иванович. Нашенской. Вы не задавали таких вопросов, когда доблестно воевали с большевиками в Ярославле.

— Другое время... Я полковник российского Генерального штаба — я считал своим долгом быть вместе со всем российским офицерством.

— А разве наше офицерство изменилось?

— Изменилось. Многие, даже прославленные, генералы перешли на сторону красных. Тот же Брусилов — он теперь призывает: «Родина в опасности! Все на защиту Москвы и Петрограда!» Он даже возглавляет какой-то большевистский «Союз офицеров». Что, и мне вступить в «Союз»?

— Вступить... только в «Союз» адмирала Колчака или генерала Деникина. Можно — и к генералу Юденичу, он поближе к вам. Хотя там — много шума из ничего. Почему вы, «независимые прибалты», не поможете Юденичу с русским знаменем войти в Петроград?

— В том-то и дело — знамя русское.

— А латышей известный вам по Ярославлю полковник Геккер или ненавистный палач Петерс не пугает?

— У нас такая же Гражданская война, как и у вас.

— У вас, у нас! За то всех и бьют поочередно. Как в той известной опере: умри — «сегодня ты, а завтра я»!

— Какая опера, Борис Викторович? Оперетка.

— В самом деле. Что главное в оперетке?

— Девочки.

— Вот-вот, неисправимый вы ловелас.

— Будешь ловеласом, когда шляешься по Европам беспардонным попрошайкой.

— Ну, на девочек-то все-таки найдется. В одиннадцать ноль-ноль. — Савинков достал свой старый серебряный брегет. — При полном мундире. Парижские девочки любят русских полковников. Надеюсь, вы не будете говорить им о «независимости»?

— Не буду, — посмеялся Карл Гоппер, отходчивая душа.

Себя-то Савинков знал: разговоры о девочках он заводил всего лишь для разрядки слишком натянутых нервов. Девочки ни чести, ни престижа ему не добавляли. Иное дело — аристократка Татьяна Леонтьева, «бомбистка» Дора Бриллиант или вдова его друга Зильберберга, да хоть и нынешняя дружка жена. Нет, и в былые времена он таскал по борделям людей вроде Левы Бронштейна, как и сейчас Карлушу Гоппера... Все равно ведь и один пойдет.

В назначенное время полковник Гоппер, в русском мундире и с солдатским Георгием на груди, прекрасно выбритый, надушенный, уже стоял в зале перед зеркалом.

— Жених во всем великолепии, — одобрил Савинков. — Но здешние девочки, как, впрочем, и петербургские, и рижские, смотрят не на Георгия...

— На что же?

— На это, — в правый карман прекрасно сшитого английского пиджака легло портмоне, а в левый — удобный аккуратный вальтер; браунинг еще раньше сунул сзади за брючной ремень.

Смеясь, военный министр новоиспеченной Латгаллии оцупал свои карманы:

— Ну, правый у меня поскромнее, а левый тоже ничего. Я, как и вы, перешел на немецкие наганы. Короткоствольные, плоские, удобные.

— В таком случае нечего терять время. К мадам Катрин!

Через своего гавроша он вызвал авто. Русского хмурого барина знали — машина не замедлила подрулить вплотную к дверям подъезда. Шофер от усердия отдал ног зазевавшемуся швейцару. Но на такие мелочи здесь не обращали внимания.

Мадам Катрин была Катериной Ивановной. Из бесчисленного рода Голицыных, кажется. Она как-то прогово-

рилась об этом, засмузилась и в своем смущении была просто неотразима. Савинков в расспросы не пускался — зачем? Он жил в Париже уже не первый месяц, он встретил здесь и очередной смутный год, и если чему удивлялся, так это живучести русских княгинь, — если Катерина Ивановна была все же из княжеского рода. Иногда приходилось сомневаться — так расторопно вела свои дела. Всего за несколько месяцев, сняв для начала грязную и запущенную квартиру, прикупив затем еще и соседскую, сумела организовать вполне приличный доходный бордельчик под скромненькой вывеской «Женский клуб». Ну, женский так женский. С полицией у нее были прекрасные отношения, но написать «Женский русский клуб» она все же не решилась. Далеко не все французы понимали и принимали нынешних русских. Отсюда — и «мадам Катрин». В конце концов, не только же русские, выброшенные из России мужики выплакивали на женских грудях свои обиды — бывали и коренные Жаки-Жорезы. А выговор у мадам Катрин был вполне парижский, да и сама она выдалась смугловатой и поджарой. «Один из наших князей побаловался с цыганкой. Похожа?» — вот только в этом и обмолвилась она. Цыганка так цыганка. Княжна так княжна. Все равно баба о сорока неполных лет. Неизвестно, услужала ли она сама в некоторых важных, исключительных случаях, например при визите начальника полиции или даже разгулявшегося министра, но в отношениях с ним, Савинковым, была более чем откровенна. У него ведь тоже был повод изливать молчаливые слезы, — хмурый, сумрачный барин! — на роскошной женской груди, в этом мадам Катрин могла дать сто очков против парижанок.

Все же афишировать свои симпатии перед министром Латвийского уезда Савинков не хотел. Деловито и отчужденно, разумеется на французском, потребовал:

— Двух девочек, мадам. Симпатичных.

Девочки не замедлили явиться на зов хозяйки. Были они само собой русскими; само собой с французскими именами — Жаклин и Луиза.

Савинков жестом завсегдагая выбор предложил сде-

вать другу-министру. Тот хоть и был где-то женатым, но в скитаниях по Европам, видно, проголодался, не стал привередничать, а просто выдернул за руку более упитанную Жаклин и отбыл в ее служебный альков.

Не стоило подводить хозяйку перед ее девочками — все-таки легки на язык, как и на все остальное. Он приобнял доставшуюся ему Луизу, тоже увел следом по коридору. Расположение двух этих совмещенных квартир он знал хорошо. Друзья российские приезжали, варшавские и бог знает еще какие.

Надо отдать должное мадам Катрин — содержала она своих девочек в чистоте и порядке. Кровать с белоснежными простынями, уже предупредительно раскрытая. Цветы на ночном столике. Бутылка вина и печенье на столе обеденном. Розовый халатец на вешалке, в который Луиза без лишних слов и облачилась. Да они и не говорили ничего — слова здесь недорого стоили, за слова посетители не платили. Единственное, что спросил Савинков:

— По-русски?

Луиза утвердительно кивнула.

— Откуда, если не секрет?

— Из Пскова.

— Значит, мы псковские?

Опять только кивок подвитой головки, надо сказать, совсем не дурной. Зря военный министр изголодавшейся Латгаллии поспешил броситься на толстухку.

— Да умеешь ли хоть ты говорить, дорогая?

— Умею. Я на Высших женских курсах училась.

— Бестужевка?

— Лучше сказать — бесстыдница, — впервые улыбнулась она, да так хорошо, что Савинков решил изменить своей приятельнице-хозяйке.

Он выпил вина и стал неторопливо раздеваться. Железо мешало, в эти минуты полузабытое. Браунинг даже брякнулся на пол.

— Я не ограблю вас. Сложите свою артиллерию... сюда хотя бы, — указала она на близкий подоконник.

Савинков поймал себя на мысли, что ему приятно поинноваться.

— Располагайтесь... пока... Я быстренько.

С чего-то поеживаясь, Луиза промела полами халатика до ширмы и скрылась за ней. Оставалось только удивляться: надо же, здесь еще стесняются!

Вернулась враспашку, ко всему открыто готовая. Халатец ничего не скрывал, только подчеркивал алой прозрачностью какую-то скрытую обреченность.

— Мне за ночь полагается обслужить двух клиентов, — объяснила она свою расторопность.

— Полагается так полагается. Вторым тоже буду я.

Савинков никогда не увлекался борделями, имел в виду их про запас разве что для Бронштейнов да министров самостоятельных уездов, но тут было что-то и от увлечения. Он поцеловал, уже в кровати, молчаливо изготавившуюся Луизу и спросил:

— Вы чего-то боитесь?

— Да, — был скорый ответ.

— Я вправе спросить — чего?

— У меня первый рабочий день... ночь, вернее... Не удивляйтесь, в свои двадцать лет я все еще девочка. Мадам Катрин этого не знает. Пожалуй, она и на работу меня не взяла бы. Не выдавайте.

— Я, конечно, не выдам, — поразился Савинков непредвиденному случаю, — но я не хочу приобщать вас к лику падших женщин.

— Не вы, так другой. У меня нет выхода. Отца-подполковника застрелили в нашем имении у меня на глазах, мать изнасиловали, и она тут же повесилась. А я убежала... У меня быстрые ноги.

— Быстрые... о, господи. Значит, я?

— Не вы, так какой-нибудь пьяный русский купчик... прогневший парижский Гобсек.

— Все-то вы знаете!

— Говорю же, я бестужевка. Я много читала и размышляла о своей женской доле... Доля, нечего сказать, — она расплакалась.

Савинков вытер ей глаза подолом своей рубашки и, повеселев, сказал:

— Вы убедили меня. Не будем ханжить.

— Не будем. Делайте свое дело... поосторожнее, пожалуйста.

Савинков знал, что при всей зачерствелости души он будет мучиться угрызениями совести. Но не бежать же от такого сладкого греха?

Почему-то вспомнилась первая любовь, первая жена, Вера Глебовна, — он даже не знал, где она сейчас обретается, — и те давние очень похожие слова: «Не делай мне больно, я боли боюсь».

Боль! Все это пустое. Боль тела проходит — остается только боль души, уже основательно захламленной, и с этим не удастся справиться даже ему, человеку твердокаменному, как утверждают доброхоты...

Утром он одевался не без сожаления. На него смотрели детские, — как он этого раньше не заметил? — но счастливые глаза. Украдкой подсунил под вазу с цветами немного денег. Но взгляд Луизы остановил его руку:

— Мадам Катрин запрещает самим принимать плату.

— Это не плата, Луиза... это черт знает что! — застигнутый на добром жесте, все же не остановился он. — Прощайте — пока. Мы еще свидимся.

Не успел он выйти и осмотреть себя в большое коридорное зеркало, как к нему навстречу выскочила мадам Катрин. Но что с ней стало!

— Надеюсь, сыты-сытнехоньки? — как с горы, осыпала его бешеным камнем.

— Сытнехонек, мадам, — парировал он.

— Я все слышала. Ах, прохвостка! Ах, целочка-пострелочка! Как меня вокруг жопы обвела!.. Поди, еще и во семнадцати-то нет? Отвечай за нее.

— Ну, княжна, ну, соглядательница! Вам бы в полицию работать.

— Работала, пока была полиция. Сейчас устраиваю свою личную жизнь. Вероятно, вы устали, вам не до меня.

— Устал, верно, — взял Савинков в прихожей пальто и шляпу. — Мой друг уже отработался?

— С ним отработали, как надо. Без затей и церемоний.

— Вот и прекрасно. — Он положил плату в приготовленную для того хрустальную вазу. — Надеюсь, вы не станете из ревности отыгрываться на бедной Луизе?

— Не стану. Я просто вышвырну ее на улицу.

— А вот этого не следует делать, — сказал Савинков, плохо веря в действенность своих слов.

Улица встретила его дождем и снегом. Он представил, каково-то будет бестужевке на зимней, слякотной парижской улице, и крепче надвинул шляпу на глаза. Мало холодно, так еще и ветер сумасшедший.

Из снежно-дождевой замяти проглянула полуживая женская тень:

— Мосье, со мной вы будете довольны.

Выговор был ужасный, рязанско-вологодский.

Он сунул ей, что попало под руку, и скорым шагом пошел в гостиницу. На авто сейчас нельзя было рассчитывать.

Начиналось утро. Серое, как сами промокшие дома. Каким-то будет очередной день?..

VII

Все эти зимние месяцы он болтался между Парижем и Лондоном, между Варшавой и Прагой, Римом и Берлином, постоянно возвращаясь все-таки в Париж. Здесь — центр Европы; отсюда близко до любой столицы... исключая, конечно, Петроград и Москву. Но что Москва — каждый российский городишко теперь мог стать столицей; в Омске адмирал Колчак, как-никак верховный правитель России, от имени которого он и мотался по Европам. Но негласно — и от имени генерала Деникина, который своей южной столицей выбирал то Ростов, то Екатеринодар, то Новороссийск, а то и затюханную станцию Тихорецкую. Был где-то со своей чухонской ставкой генерал Юденич. Был еще один адмирал — барон Врангель, пока что отогревался в благословенном Крыму... Был даже какой-то «батя Махно», этот все свои ежедневно меняющиеся столицы возил на пулеметной тачанке!.. Была еще и Одесса; о нее все, кому не лень,

вытирали ноги. Не говоря уже о Варшаве; там-то как раз и собирались прежние други-приятели, болтуны несчастные! Будто не знают: поляки не прочь покричать на своих подбитых голодным ветром площадях, но палец о палец не ударят, чтобы помочь российскому воинству. В Варшаву, чувствуя близость его, Савинкова, перебирались и Чернов, и Авксентьев, и Философов, и, конечно же, братик-нахлебник Виктор. От старшего брата ему перепадало, а чем платить? Скандалами! Да все той же болтовней, под векселя изнемогшего уже от долгов Бориса. Савинков никогда не смешивал свои и заемные деньги, но как не порадеть родному человечку?

Была еще и сестра Вера в Праге. Она тоже помоталась по европейским градам и весям, прежде чем Прага стала ее пристанищем.

Вера — хранительница семейного очага Савинковых. После лондонских унижений самое время зализать раны... хотя какое там — плевки!

Спрашивает осторожно:

— Ну, как там поживает сэр Уинстон Черчилль?

Знает, что брату нечего отвечать, что брат там больше месяца не бывал, — спрашивает ради красного словца. В этой европейской сумятице даже военный министр Англии может подавиться своей сигарой. Савинков настоящему ценил и уважал — да, уважал! — Черчилля, а смог получить от него немного. И это при всем при том, что телеграммы верховного правителя криком кричали: «Пушек! Пулеметов! Сапог! Шинелей!..» Но добропорядочный англичанин и своему министру ни фунта не даст, если не почувствует наварных процентов. Кто может эти проценты гарантировать? Генерал Деникин ближе адмирала, но и его письма криком исходили. Хитроумный Черчилль не зря же в своих разговорах как бы ненароком подсовывал депеши Деникина; русский генерал очень искренне отзывался о начальнике английской военной миссии:

«Генерал Хольман вкладывал все свои силы и душу в дело помощи нам. Он отлично принимал участие с английскими техническими частями на Донецком фронте;

со всей энергией добивался усиления и упорядочения материальной помощи; содействовал организации Феодосийской базы, непосредственно влияя и на французов. Ген. Хольман силой британского авторитета поддерживал южную власть в распре ее с казачеством и делал попытки влиять на поднятие казачьего настроения. Он отождествлял наши интересы со своими, горячо принимал к сердцу наши беды и работал, не теряя надежд и энергии, до последнего дня, представляя резкий контраст со многими русскими деятелями, потерявшими уже сердце.

Трогательное внимание проявлял он и в личных отношениях ко мне...»

Не отвечая сестре, Савинков перебрасывался мыслью из Лондона в Новороссийск — и обратно. Было очевидно, что сэр Уинстон Черчилль готов сделать больше, гораздо больше, но ведь там в непонятных россиянам парламентах бьют и его любимого генерала — Хольмана.

— Его смещение с должности предрешено. Как вам это нравится, господин Савинков?

— Мне это совсем не нравится, сэр.

И после затяжного молчания, нарушаемого выхлопами сигары:

— Еще меньше нравится генералу Деникину.

Тайные депеши поступали и непосредственно к Савинкову. Если генерал Деникин, не отличавшийся лестью, так льстил англичанам, значит, положение критическое. Верховный правитель и правитель Юга разъединены громадными пространствами России. На востоке наивным было полагаться на японцев — на западе не могли положиться и на англичан. Если военный министр не может сладить с парламентскими болтунами, как можно наладить дело с истинно российскими пустобрехами? Генерала Хольмана обвинили в связях с большевиками; генерала Деникина в конце концов принудили сдать командование барону Врангелю, покинуть Россию и возвращенную им Добровольческую армию.

— Это катастрофа, сэр. Верховный правитель адмирал Колчак не сможет прийти на помощь нашему многострадающему Югу.

— Вы правы, господин Савинков. Помогаем все-таки мы, англичане. Вы не знакомы с донесениями генерала Деникина?

Савинков на память знал эти донесения, но промолчал, выторговывая для России что-то неясное ему самому. В голове, как на телеграфной ленте, стучали слова генерала Деникина:

«Узнав о прибытии главнокомандующего на востоке ген. Мильна и английской эскадры адм. Сеймура в Новороссийск, я... заехал в поезд ген. Хольмана, где встретил и обоих английских начальников. Очертив им общую обстановку и указав возможность катастрофического падения обороны Новороссийска, я просил о содействии эвакуации английским флотом. Встретил сочувствие и готовность».

— Разве этого мало, господин Савинков?

— Это много, сэр... так много, что Россия может оказаться на дне Черного моря.

В таком английском духе с Уинстоном Черчиллем иностранные послы никогда не говорили.

Отсюда и характеристика — уже явно в русском духе:

— Он сочетал в себе мудрость государственного деятеля, отвагу героя и стойкость мученика.

Савинков не помнил, чтобы сэр Уинстон Черчилль в глаза говорил ему нечто подобное. Но газеты — писали. Газеты, передавая беседы военного министра с послом «всей Руси», могли врать сколько угодно, однако же знали меру. С Черчиллем шутки плохи. Его можно было и разозлить. Впрочем, и Савинков злился, отбрасывая газету с собственным словесным портретом: «Человек с серо-зелеными глазами, выделяющимися на смертельно бледном лице, с тихим голосом, почти беззвучным. Лицо Савинкова изрезано морщинами, непроницаемый взгляд временами зажигается, но в общем кажется каким-то отчужденным».

Ох уж этот «беззвучный голос»! Слышал бы сэр Уинстон Черчилль, как он кричал когда-то на Керенского... где-то сейчас этот несчастный морфинист, доведший Россию до самоубийства?..

Гораздо ближе к истине: «Странный и зловещий человек!»

Ну как не быть странным? С зубовным скрежетом вспоминается последнее свидание с Черчиллем. В который уже раз — просьба денег, оружия. Кивок головы, сигара; оскорбительно длинная пауза и опять ненавистная сигара. Пожалуй, она и существует для того, чтобы довести собеседника до белого каления. С Савинковым этот номер не проходит; белое на обеленном лице не раскаляется. Черчилль вскакивает с кресла и нависает над картой грозной тушей; показывая расположение войск Деникина и Юденича, с неподражаемым английским снобизмом пыхтит:

— Господин Савинков, вы говорите — ваши армии? Нет, говорю я, — мои.

После этого остается только раскланяться:

— Прощайте, сэр. Простите, что отнял драгоценное время... так необходимое для ваших собственных армий.

Дал слово — больше ни ногой к этому истребителю га-ванских сигар... и все-таки послал по своим следам Деренталья...

Оскорбленное самолюбие мешало обивать пороги великолепной виллы великолепного толстяка... но другого такого человека в Европе не было. Пускай Саша Деренталь расклебывает ненужную горячность своего шефа. Все равно день и ночь стучит в мозгах телеграфная лента: «Пушек! Пулеметов! Сапог!...»

— Вера, ты приехала не для того, чтобы выслушивать мои мысли о Черчилле.

Она замаялась в нерешительности.

— Говори, Вера.

Да, ей надо было говорить.

— Боря, нас стало еще меньше...

— Кто?! Братец-балбес?..

— Надежда...

Вера рассказывала — он почти не слушал. Он знал, как это бывает... как было и в этом случае... Бедная сестрица!

Перебралась через кровавую границу Вера, перебежал-перелетел бодрим петушком младший братик, Виктор; он сам, хоть и через Токио, добрался до Парижа, а баронесса Надежда Викторовна фон Майдель вместе с мужем застряла в Таганроге. Судьба?! Барон фон Майдель был единственным офицером гвардейской части, который отказался выполнить приказ — дать команду стрелять в безоружных рабочих, шедших к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. Да — судьба! Он тогда много потерял в своей офицерской чести; он, как говорится, пострадал от власти предержавших. И вот его самого, захваченного, кстати, без оружия, предержавшая ныне власть без дальних разговоров поставила к стенке. Вместе с женой, ни в чем не повинной...

Савинков молча налил вина, сказал единственное:

— Помянем убиенных.

Вот чего ему не хватало все эти дни: какого-то очередного толчка, — нет, прямого удара в грудь, штыком навывлет...

И мысль, давно обдиравшая его душу, вдруг прояснилась:

— Вера, я еду к Муссолини.

— Фаши-исту?!

Как ни больна была семейная рана, но удивление оказалось сильнее.

— Да, Муссолини. Итальянский дуче. Может, у него то же самое в душе!

— Неужели ты опустишься до этого?..

— Опущусь ли, поднимусь ли — я так решил. России нужен свой дуче. Кто — кроме Савинкова?!

Французы погрязли в болтовне. Англичане — торгаши, и даже сам Черчилль ничего с этим не может поделать. Остальные? Чехи, поляки? Ну, это такая мелочь, что и во внимание принимать не стоит. Немцы? Они наклали в штаны от собственных революций... Японцы? Со всем своим азиатским самурайством не осият просторов России...

— Кто?!

Вера хорошо знала брата: он задает вопросы не ей, а самому себе.

— Я спущусь в ресторан и закажу поминальный пирог. Прослежу, чтобы хорошо испекли.

Савинков кивнул, опять погружаясь в свои мысли. Муссолини?

Именно с этим тревожным вопросом он и послал своего «министра иностранных дел», то есть Сашу Деренталь, в Лондон, в скучный и лживый Лондон. Пусть полнит ожиревшего сэра Уинстона Черчилля. По возможности, и многих других. Вопросы о Муссолини англичанам слушать неприятно. Но что же вы хотите, ожиревшие торгаши? Кроме «фашиста Муссолини», как вы бесцеремонно его зовете, с заразой большевизма бороться некому. Зараза эта поразит и Францию, и Англию, не обольщайтесь.

«Да-да... сэры и сэрихи!» — не удержался он от вульгарного сарказма. Так и было наказано Деренталю — разговаривать без церемоний. Злить! Выбивать из них снобистскую пыль!

Замок повернули собственным ключом, без звонка. Савинков привычным движением сунул руку под газету. В этой проклятой жизни всего можно ожидать. Браунинг, вальтер — что-то же должно быть всегда под рукой.

Но из прихожей послышался охрипший голос Деренталья:

— Борис Викторович, обождите стрелять. Я еще не дал отчета...

Деренталь сбросил промокший плащ, не здороваясь прошел к столу, налил вина. Только выпив, подал руку:

— Извините. Известия скверные.

— Других и не ждал. Рассказывайте.

— Что рассказывать?..

Англия давно уже была поражена политикой. Все, кто мог, пинали Черчилля и иже с ним. Лейбористы рвались к власти, как бешеные псы. Пахло падалью. Там вовсю склоняют фамилию Савинкова. Ка-ак это посмел Черчилль давать деньги такому авантюристу?! Деренталю ни с кем не удалось встретиться. Все заматали следы. Не говоря уже о самом Черчилле, даже Рейли избегал

встреч. Когда Деренталь звонил по знакомым, давно пристрелянным номерам, на других концах проводов отвечали, что никакого Савинкова не знают... кончайте хулиганить, иначе сейчас сообщим в полицию! Ай да англичане, спасители России...

Пока — все спасают сами себя. Даже друг Рейли, страшный Рейли. А это означает — конец консерваторам... и конец всяким сношениям с ними. Баста!

— Англия — потерянная шлюха...

— Как наша любимая княжна?.. — нашел еще в себе силы пошутить Савинков.

— А-а, мадам Катрин все-таки лучше, — понял его Деренталь. — Шлюха, но ведь...

— О каких шлюхах вы говорите? — в сопровождении официанта вошла Вера.

Деренталь поцеловал у нее руку и на правах члена семьи фамильярно спросил:

— По какому случаю празднество?

Савинков переглянулся с сестрой и коротко отрезал:

— Перестаньте, Александр Аркадьевич.

Деренталь хорошо изучил своего шефа — не зря нервничает. Ничего выспрашивать не стал. А парижских официантов не надо было учить молчанию — сделав свое дело, официант проворнее обычного ретировался за дверь.

Только тогда Савинков и сказал:

— Чекистами убита наша старшая сестра. Надежда. Вместе со своим мужем бароном фон Майдедем.

— Где?..

— В Таганроге. Какое это имеет значение!

Тон означал все то же: конец расспросам...

Вера успела даже прихватить где-то поминальные свечи. Толстые, витые черной оплеткой. Свечи горели в этом парижском гостиничном номере, как поминальный огонь по самой России.

Когда вошла в номер Любовь Ефимовна — а что же могло обойтись без нее? — то все поняла без слов и молча присела к столу. Все же какое-то время спустя не утерпела:

— Борис Викторович, я с улицы, там опять эта ваша пассия...

Савинков позвонил привратнику и коротко велел:

— Пропустите женщину по имени Луиза.

Она вошла в сопровождении горничной. С плащика стекала вода, от ботинок по паркету и дальше, по ковру, растекались грязные лужи.

В пику ли Любове Ефимовне, себе ли, российской ли судьбинушке, Савинков встал, поцеловал Луизе закатанную руку и провел к столу.

— Мы поминаем, Луиза, Россию. Садитесь. Не стесняйтесь.

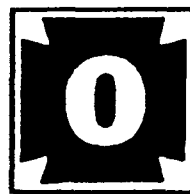
Она едва ли ела в этот день. Дрожащей рукой схватила протянутый бокал, залпом опрокинула и жадно набросилась на еду.

Слезы, которые текли из ее глаз, были слезами самой России.

Так казалось. Да так оно и было.

ЭПИЛОГ НЕПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ, ПРОЛОГ НЕУЗНАННОЙ СМЕРТИ

I



пять этот сон — тюрьма...

Странная тюрьма, если оглядеться вокруг. Кровать просторна и удобна, с нее все видно как на ладони. Мягкий, даже на глаз, ковер — во всю ширь чистой, светлой комнаты; не разберешь, что под ним — паркет, доски, камень?..

Нет, такой шикарный ковер на камни не стелют. От кровати он манит к буфету — опохмелиться, что ли? — от буфета к дивану, поваляться еще в предвкушении завтрака. Но завтракать не хочется — хочется сесть к письменному столу и написать утреннее письмо — кому? Любове Ефимовне, разумеется. Письма любимой женщине как раз и пишутся по утрам. Значит, встать — и к столу; он напротив кровати, у окна, широкого и светлого. Хотя что это там — решетка? Вполне похоже, вполне логично: в тюрьме должны быть решетки. От этой мысли дрожь пробежала по телу. Решетки он не любил. Вздохнулось только тогда, когда решетка обернулась переплетением ветвей старого вяза. Толстых черных ветвей, которые, тем не менее, успели уже выбросить яркие листья. Конец апреля как-никак, пора. Дерево знает свой срок... в отличие от человека, да?.. Что-то нехорошее шевельну-

лось в этом вечном вопросе. А зря. Наша жизнь пишется на небесах. Зеленое на черном; черное на фоне дальнего, глубокого неба. Прелесть!

Самому удивительно: Савинков впадает в сантименты...

Что же он напишет в такое прекрасное весеннее утро?
«Здравствуй, милая, бесценная Люба...»

Фу, как вульгарно! Савинков никогда не опускался до пошлых сантиментов. Женщину надо любить без слов, взглядами и жестами. Недавно он в каком-то журнале прочитал самого безалаберного, наверно, поэта России, тот оригинально признавался: «О любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят».

Висевшее над умывальником зеркало никаких яхонтов не отразило, но думать о вечно пьяном поэте было приятно. Ропшин на кровать присел, в бок лукаво подтолкнул. Ропшин еще худо-бедно терпел поэтов, потому что тем же самым грешил; Савинков в последние годы их на дух не подпускал. Хотя этот пьяница и распутник правильно сказал: не надо слов, не надо.

Да, но письмо?.. Писем без слов не бывает.

«Я никогда вас не любил... Любовь Ефимовна, а жить без вас не могу...»

Вот это уже лучше, хотя и непонятно. Впрочем, кто же и чего же понимает в любви?

Какая любовь — в сути тюрьмы не разобраться!

Пока обличал свое тупоумие, вошел молодцеватый, крепкий армеец, объявил:

— Подъем. Оправиться. Умыться. Привести себя в надлежащий вид. В девять — к товарищу Дзержинскому. Разговор лучше вести позавтракавши.

Он совсем не по-служебному улыбнулся и вышел.

Тогда Савинков от ночных видений и перешел окончательно к дневным заботам. Ведь и в самом деле — тюрьма-матушка!

Все так, как и в частых прежних видениях, и даже лучше. В отличие от завшивевших камер, здесь был железный, эмалированный умывальник. Не хватало толь-

ко горячей воды! Прекрасно освежала и холодная, единственное неудобство — бритье. Но добрые люди толк в тюремной жизни понимали — тот же бравый армеец принес пышущий жаром чайник:

— Для чая, но хватит и для бритья. Я позвал парикмахера.

— Не зарежет?

Ответить армеец не успел — вошел со своим прибором хорошо знакомый уже парикмахер. Тоже кое-что прознал о товарище Дзержинском, потому что пообещал:

— Сегодня я представлю вас в лучшем виде.

И верно, представил. Настенное зеркало отразило хоть и бледное, усталое, но вполне приличное лицо. С таким лицом не стыдно и товарищу Дзержинскому показаться.

Случайно ли, нет ли, и завтрак был отменный. Зеленый лучок под сметанкой, гречневая каша с мясной подливкой, хорошо заваренный чай, ломоть булки с заранее намазанным маслом. Нож давать опасаются — тюрьма все-таки!

Савинков с удовольствием отметил эту предусмотрительность. Порядок он любил.

Курить не воспрещалось; правда, любимых сигар не удавалось выпросить — «гвоздиками» фабрики «Дукат» приходилось довольствоваться. Спасибо и на том. Он покурил и посидел в полном бездумье за письменным столом, прежде чем услужливый армеец объявил:

— На выход.

Повели его другие, незнакомые. Как положено, двое. Не дожидаясь приказа, Савинков привычно скрестил за спиной руки. Слава богу, с гимназических лет известная посадка спины. И в Варшаве, и в Петербурге, и в Вологде, и в Севастополе. Одно и то же: «Руки за спину!»

Идти было недалеко. Не в собственный же кабинет товарища Дзержинского, — видимо, к начальнику тюрьмы или какому-нибудь важному следователю. Обстановка располагала к неторопливой беседе. Принесли даже чай. Дзержинский, отхлебнув из стакана пару раз, пригласил к разговору:

— Начнем, Борис Викторович. Мы ведь с вами, кажется, немного погрешили в Польше?

— Надеюсь, Феликс Эдмундович знает мою биографию лучше меня самого, — внутренне напрягся Савинков, отодвигая свой подстаканник.

Дзержинский кивнул утвердительно:

— Да, это не допрос. Все, что нужно, вы уже сказали. Что не досказали — мы дознались сами. Я хочу понять, насколько вы искренни. Говорят, вы и в тюрьме пишете. Бумага? Чернила?..

— Благодарю, мне ни в чем не отказывают. Я действительно пишу... как бы это сказать — брошюру, что ли. Некая исповедь. Под условным названием: «Почему я признал Советскую власть?» Рад буду подарить... с тюремным автографом!

Дзержинский чуть заметно улыбнулся.

— Одни объясняют мое признание неискренностью, другие — авантюризмом, третьи — желанием спасти свою жизнь. Эти соображения были мне чужды. Когда меня арестовали, я был уверен, что может быть только два исхода. Первый, почти несомненный, — меня поставят к стене. Второй — мне поверят и, поверив, дадут работу. Третий исход, то есть тюремное заключение, казался мне исключенным: преступления, которые я совершил, не могут караться тюрьмой, «исправлять» же меня не нужно — меня исправил жизнь.

— Недостаточно разочароваться в белых или зеленых, надо еще понять и оценить красных.

— Я многое передумал в тюрьме и, мне не стыдно сказать, многому научился. Если вы, гражданин Дзержинский, верите мне, освободите меня и дайте работу, все равно какую, пусть самую подчиненную. Может быть, и я пригожусь. Ведь когда-то я был подпольщиком и боролся за революцию.

— Да. Но непреложность наказания за преступление существует не только у большевиков. В вашей любимой Франции! В Англии!.. Смотрите, что пишут о вас англичане? Хотя бы ваш добрый знакомый Сомерсет Моэм. — Он пошуршал явно застарелой, ломкой газетой. —

«Берегитесь, на вас глядит то, чего опасались древние римляне: на вас глядит рок».

— Согласен с вами, гражданин Дзержинский, — Савинков снова с нажимом сказал два последних слова, чтобы его не заподозрили в фамильярности. — Рок! Судьба, то бишь. А от судьбы, как от тюрьмы, не отказываются. Что делать — посидим! Спешить мне некуда. Но я знаю, что вы-то очень занятой человек...

— К сожалению... и не без вашей помощи, Борис Викторович. — И Дзержинский не случайно же по имени-отчеству обращался. — Я подумаю над вашим предложением — работать вместе с нами. Но — не торопитесь к нашей скромной зарплате. О свободе вы заговорили рано... Есть вопросы?

— Нет больше вопросов, Феликс Эдмундович, — все-таки не устоял Савинков, снова по-человечески обратился к этому железному, неулыбчивому человеку. — Разрешите отбыть... домой?..

Тут без улыбки обойтись было нельзя. Савинкову даже показалось, что «Железный Феликс» сейчас протянет ему руку на прощание... Но тот лишь одобрительно кивнул.

Как из-под земли — те же двое. Да, «домой»...

На письменном столе лежала кипа пропыленной бумаги. Давно не брался за перо. Но обещание, данное Дзержинскому, надо было выполнять. В самом деле, почему он признал Советскую власть?..

«Я боролся с большевиками с октября 1917 г. Мне пришлось быть в первом бою, у Пулкова...»

Да, вместе с генералом Красновым и его отчаянными казаками. Может быть, они и взяли бы тогда Петроград, если бы не путался под ногами Керенский...

«...и в последнем, у Мозыря...»

А это уже в 1920-м, во время польского наступления. Русские офицеры из вновь восстановленного «Союза защиты Родины и Свободы» не могли и на чужбине остаться в стороне. Все, кто уцелел после Рыбинска и Ярославля, Казани и Уфы, встали под его, Савинкова, знамена. Но самое лучшее знамя не заменит пушек и пулеметов...

«...Мне пришлось участвовать в белом движении, а также в зеленом...»

Леса, болота, затерянные в дебрях хутора. Они тогда с полковником Сержем Павловским славно погуляли! Даже околачивавшийся без дела Сидней Рейли за компанию сел в седло. Полесье! Минская губерния! Витебская! Псковская! Вон как их далеко заносило...

«После октябрьского переворота многие думали, что обязанность каждого русского бороться с большевиками. Почему? Потому что большевики разогнали Учредительное собрание, потому что они заключили мир, потому что, свергнув Временное правительство, они расчистили дорогу для монархистов; потому что, расстреливая, убивая и «грабя награбленное», они проявили неслыханную жестокость. На белой стороне честность, верность России, порядок и уважение к закону, на красной — измена, буйство, обман и пренебрежение к элементарным правам человека».

Ему здесь захотелось остановиться. Замереть. Забыть... и не вспоминать! Расстреливали, убивали и грабили не только большевики. Ведь каждому ясно, что и они не были «рыцарями в белых одеждах»...

«Мы верили, что русский народ, рабочие и крестьяне, с нами — с интеллигентской или, как принято говорить, мелкобуржуазною демократией. В этой вере было оправдание нашей борьбы... Что же? Не испугаемся правды. Пора оставить миф о белом яблоке с красною оболочкой. Яблоко красно внутри. Старое умерло. Народилась новая жизнь...»

Семь лет — каких семь лет! Сломлены не только физически — проклятой эмиграцией, но и душевно; нет больше веры в своей правоте. Встает гибельный вопрос: в чем причина?..

«Многое для меня было ясно еще за границей. Но только здесь, в России, убедившись собственными глазами, что нельзя и не надо бороться, я окончательно отрешился от своего заблуждения. И я знаю, что я не один. Не я один, в глубине души, признал Советскую власть. Но я сказал это вслух, а другие молчат...»

Писалось плохо. Любовь Ефимовна мешала — да, она, Люба.

Все повторялось, как в прежней Москве, как всегда с этой бесподобной мужней женщиной. Разве что Саша Деренталя и не хватало; но голос его, пьяненький и добродушно-ленивый, все равно проникал за эти стены. Знал ведь Савинков, что Деренталя давно и как-то странно выпустили из Лубянки на вольные хлеба, а вот поди ж ты, оглядывался:

— Александр Аркадьевич, я с вашей женой любовью занимаюсь. Хоть возмутитесь... хоть на дуэль!..

Ответ совсем простой и ленивый:

— Она сама обратно в тюрьму просилась. К вам, к вам, Борис Викторович.

— Да кто же просится в тюрьму?

— Да вот просятся... жена моя хотя бы! По паспорту — все еще жена. Что я могу поделывать? Выпить разве...

— Выпить — это дело. Большое государственное дело. Как говорил один мой приятель, ротмистр... царство ему небесное: «Мы Россию никому не отдадим — мы Россию сами пропьем... вместе с красными заодно»... Каково?

— То же могут сказать и красные: «Мы Россию сами пропьем... вместе с белыми заодно!» С нами, Борис Викторович, с нами.

— Тогда я чокаюсь с красным армейцем. Знаешь, какие у меня тут молодцы? У-у, не убежишь! Да и зачем мне бежать от твоей милой жены, от такой вальяжной кровати, от коньяка, от таких славных красных армейцев. Чокнемся? За здоровье Саши Деренталя и за твое здоровье, товарищ Иванов!.. Слышу, слышу — мне возражают: «Не Иванов я — Сидоров. Да и пить нам на посту не позволено». Вот так. А мне все позволено. Даже спать на широкой, вальяжной кровати — где они и кровать такую генеральскую взяли? — спать в обнимку с твоей женой. Прекрасна жизнь, Александр Аркадьевич! Прекрасна.

Нет, Савинков никогда не пьянел. Савинков мог пить ночь напролет, а теперь так и особенно. Не все же любовью заниматься. Хотя как в прежней Москве бывало — тот же задорный голосок:

— ...вы слышите меня, Борис Викторович, вы слышите?!

— Я слышу вас, Любовь Ефимовна, я слышу.

— А если слышите, так почему не поцелуете?

— А потому, что уважаю мужскую дружбу Александра Аркадьевича. И потом, у него печень. Печень, Любовь Ефимовна!

Издаലെка сквозь тюремные стены доносится ответ легкомысленно покладистого Саша Деренталя:

— Не надо церемоний, друзья мои. Не надо, Люба. Не надо, дорогой Борис Викторович. Ради бога, целуйтесь. Мы ж с вами социалисты. Общественная собственность, социальное братство... ведь так?

— Так, Саша, так, — ответила за Савинкова Любовь Ефимовна, ответила, может быть, слишком звучно и открыто, — потише бы надо, потише...

На пороге вырос армеец:

— Вам приказано — только ночью.

— А если невтерпеж, дорогой товарищ Сидоров?..

— Не Сидоров я — Иванов.

— Какие вы все похожие! Извини.

Красный армеец скрылся за дверью. А вместо него, как сквозь стену, вошел старый пройдоха Блюмкин. Савинков протер глаза:

— Неужели я пьян? Блюмкин? Я же приказал не пускать тебя!

— Здесь приказывать могу только я... и разрешать вам, уважаемый Борис Викторович, заниматься любовью, пьянством и всяким другим несущественным делом, которое не мешает рабоче-крестьянской власти.

Блюмкин походкой хозяина подошел к буфету, погремел одной бутылкой, другой, коньяк отринул и налил «Смирновки» — две рюмки, конечно.

— За нас. За славных террористов!

Савинков знал, что от него и на этот раз не отвязаться. Он презирал свое нынешнее безволие, но безропотно чокнулся с человеком, которому раньше никогда бы руки не подал.

— Пусть дама погуляет во внутреннем садике...

— ...тюремном?

— Ну, разумеется, Борис Викторович. Разговор у нас недолгий, мужской. А дело идет к вечеру. Не тащиться же ей через весь город опять к вам. Да и часовые могут обидеться — вдруг не пустят?

Савинков удрученно глянул на Любовь Ефимовну, сидевшую на краешке кровати:

— Люба...

Она фыркнула, но тоже безропотно, как и все тут делалось, вышла за дверь. Славная дверь была — открывалась и закрывалась по какой-то внутренней бессловесной команде.

— О чем же со мной на этот раз хочет говорить убийца посла Мирбаха? Насколько я понимаю, никаких официальных постов ты, пройдоха, не занимаешь, и тем не менее чекисты ценят тебя и позволяют делать то, чего не может делать даже товарищ Дзержинский?

Блюмкин выслушал эту гневную тираду с невозмутимым спокойствием:

— Товарищ Дзержинский — большой человек, грязными делами ему не с руки заниматься, а нам с вами...

— Во-он! — грохнул Савинков о стол ненавистной бутылкой.

На грохот просунулась голова армейца, — то ли Сидорова, то ли Иванова, кто их разберет, — помаячила секунд-другую в дверном створе, но ничего существенно в этом грохоте не нашла. Блюмкин заявлялся сюда не впервые, и всегда в присутствии Любви Ефимовны. Цель нехитрая: довести несговорчивого посидельца до белого каления, чтобы легче было с ним разговаривать. И дальняя цель прояснялась: стать то ли начальником, то ли подчиненным — какая разница?

Через пять минут Блюмкин как ни в чем не бывало и вернулся.

— Ну-ну, сбили нервы, и хватит. Чего нам делить, Борис Викторович?

Савинков всегда трезвел в присутствии Блюмкина. Он за свою жизнь знал подсадных уток, знал провокаторов, инспираторов, и прочих, и прочих, но Блюмкин не

походил на них; тот, кто в критические для большевиков дни восемнадцатого года взял на себя ответственность за убийство германского посла графа Мирбаха, на простого исполнителя не походил. Савинков жалел, что тогда, зимой восемнадцатого года, на Мясницкой не побратался со своим браунингом... жалел искренне, профессионально. Разряди он свой браунинг — может, и не пролились бы реки никчемной крови... Чего сейчас хочет этот безродный, воскресший авантюрист?

Живуч, живуч, в этом ему не откажешь.

Когда он с поручиком Патиным и корнетом Заборовским охотился за секретной «тройкой» Чека, готовившей убийство в Вологде иностранных послов, то считал Блюмкина убитым. Прямой выстрел. Швырок под откос поезда. Мандат, наконец. Кровь на рыбацком балахоне... Но ведь как с гуся вода!

— Меня и ранило-то всего ничего. Я в памяти был, я слышал, как вы меня обыскивали. Что, провел вас за нос?..

— Славно провел, пройдох!

— Вот-вот. Цените мою незлобивость.

— Да ведь все равно, поди, пулю отливаете?

— Зачем? Нам вместе жить, вместе работать.

— Яснее! Не понимаю иносказаний.

— Понима-ате, Борис Викторович, понимаете.

— Но толку-то от меня? Хотя бы для Чека?..

— Мы славные ребятки! Мы стрелянные. Вы да я... хоть песенка-то все же моя...

— Мне в детстве слон на уши наступил. Не понимаю! Хитрил «Генерал террора», хитрил.

После смерти Ленина в среде большевиков начиналась смертельная грызня. Савинков прочитал тайные письма даже на бледном лице товарища Дзержинского. Такие люди, как Дзержинский, в грязные дела, разумеется, не полезут, но Блюмкины?..

У большевиков оказывалось слишком много никчемных, ожиревших людишек, вроде приснопамятного московского губернатора князя Сергея... И что из этого следовало?!

«Генерал террора» размышлял. Он даже не прочь набить себе цену. Вам нужен «устранитель» кремлевских царедворцев, новоявленных губернаторов, мордovorотных министров, вышедших из пьяненьких прапорщиков, как Крыленко?.. Наконец, вождей, не желающих подчиняться вождю единому, верховному?!

Беседы с дуче Муссолини не прошли даром. В его развязной итальянской экспансивности была своя правда: да, в стране, где свой своя не узнает, только верховный вождь может примирить и образумить враждующие стороны. В России все воевали против всех; кремлевские бонзы ненавидели друг друга больше, чем красные — белых и белые — красных. Что из этого следовало? Кто не уйдет добром — уйдет под топором...

Савинков мог бы гордиться: даже большевики, посадившие его в мышеловку, по-прежнему признают в нем главного «Генерала террора». Но кто — против кого?..

— Ладно, Блюмкин, я тебя прекрасно понимаю. Передай тем, кто стоит за тобой, передай, наконец, и самому себе: Савинков думает. Я не жулик запечный. За понюшку табаку меня купить нельзя.

— Почему ж за понюшку? — так и просиял пройдоха Блюмкин. — Две? Три? Сколько пожелаете... «Генерал террора»!

— Во-он! Во-он... выблядок большевистский!..

Бутылку он теперь схватил отнюдь не для аффекта. Блюмкин понял это. Выскочившие из-за двери Сидоров и Иванов с удовольствием наблюдали, как этот и для них непонятный тип опять задом, задом пятился под спасительные штыки.

Вот еще странность: всегда при наганах, при одних только наганах, а для Блюмкина точат штыки. Интересно, что можно делать штыками хоть и в просторной, но все же ограниченной стенами комнате?..

После вторичного изгнания Блюмкина к нему заглянуло и высокое, очень высокое, начальство, напрямую вхожее к товарищу Дзержинскому, но при виде сидельца, спокойно попивающего коньяк за своим письменным столом, покачав краснoзвездными головами, в раз-

говору пускаться не стало. Кто руководит такими прохвостами, как Блюмкин?..

Савинкову не хотелось об этом думать. Было некогда думать. Очередной взмах дверей впустил Любовь Ефимовну... Любу, черт возьми!

— Все говорят: вы несносны, Борис Викторович!

— Вас-то не снести, Любовь Ефимовна? Вполне снесу, на ручках, если хотите.

— Хочу! Хочу!

Опять, как в давней революционной Москве; или чудилось, или все повторялось в извечном круговороте?!

Она уже сидела у него на коленях, ожидая, когда еще выше поднимут. Она была неподражаема в своей милой искренности, эта полупевица, полутанцовщица, полужена... и тюремная подсадная утка!

— Что же вы меня не несете? Неподъемна для ваших ослабевших рук?

— В полном подъеме. Куда ж изволите?

— В кровать! В кровать, разумеется.

Интересно, что делал в это время Саша Деренталь, все еще числящийся ее мужем? Наверняка коньяк попивал и поругивал свою печень. Уроков ревности он не проходил; уроки мужского дружества усвоил прекрасно.

Савинков мог бы задать себе вопрос: почему же их, взятых в Минске за одним обеденным столом, так быстро выпустили с Лубянки и предоставили полную свободу жить в свое удовольствие? Неподражаемая Любовь Ефимовна хвасталась: Саше предоставили хорошую работу в Обществе культурных связей с заграницей. Она и сама, не успев с Лубянки до Тверской перебежать, то ли в женских журналах, то ли в чекистских борделях пристроилась. О, времена, о, нравы!..

Он ни в чем своих друзей не обвинял. Игрушки в чьих-то руках?..

Но разве с ним не играют?!

Даже если оставить в стороне товарища Дзержинского — Блюмкины-то под чьим крылом витают?..

Видит православный Бог: он за семь прошедших лет

так и не удосужился узнать имечко нехристя. Что имя? Блюмкин — и все!

— Не так... — вроде как его мысли читали, но совсем о другом: — Не так вы меня берете...

— А как же, извольте вас спросить?

— Женщин не спрашивают. Женщин берут и...

— и?..

— Люляют!

Право, дословно московские тайные вечера повторялись. Разве здесь не было тайн? С ее мужем? С ней самой? С каким-то Блюмкиным?..

— Ну и язык у тебя, Любаша!

— Ага — Любаша! Это уже лучше... мой непримиримый Боренька!

— Но только ли — твой?

— Не придирайся к словам. Неужели ты не скажешь спасибо за эту роскошь, за это житье-бытье?..

— ...тюремное питье? Нет, не скажу, Любовь Ефимовна.

— Неужели мало?

— Мало. Для Савинкова — мало!

Как ни тихо они переговаривались, дверь отворилась; Сидоров — Иванов спросил:

— Если мало чего — говорите. Нам приказано исполнять ваши желания.

— Ага, желания. Первое: тройку до «Яра».

— Оврага, что ль? Не знамо, надо спросить...

— Второе: отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня!

— Так вечер же. Чего из такой славной фатеры куда-то тащиться?

Шутники эти Ивановы — Сидоровы! И то сказать: поживи-ка здесь без шуток...

— Тогда — шампанского. Чела-век!..

Он еще не успел пропеть свой фатовской гимн, как вошел второй из Ивановых — Сидоровых, неся под обоими локтями по пыльной тяжелой бутылке.

— Интересно, милые ребятки, — вы сами-то хоть пробовали?..

— Нам не положено. У нас довольствие казенное.

Савинков ловил себя на мысли, что только здесь, на зловещей Лубянке, он вволю и насмеялся. И то сказать: было время. С августа 1924 года по май года 25-го...

II

Люди, которых Савинков посылал в Россию, исчезали в каких-то бездонных сугробах. Зимой ли, летом ли — одинаково. Двойки, тройки, пятерки пропадали в снежных равнинах... если даже цвела сирень и жарко палило солнце. Не за красивые же глаза англичане, французы и поляки подбрасывали возрожденному «Союзу защиты Родины и Свободы», пускай и с приставкой «Народному», свои фунты, франки и золотые; они хотели знать, что происходит в России. Обычное дело — шпионаж. Разведка. Провокация. Диверсия. Да и просто — новые карты новой России. Будто большевистские тройки и пятерки таким же образом не сновали по Европе, особенно по приграничной Польше! На войне как на войне. Не имело значения, что устанавливались дипломатические отношения и послы раскланивались друг с другом. Мысль-то одна: дай время, глотку перегрызу!..

Поляков можно было понять: они отхватили себе Западный край чуть ли не до Минска и теперь над этим разбойничьим куском дрожали больше русских эмигрантов. Старый друг Пилсудский как-то при свидании спросил:

— Пан Савинков, когда вы станете во главе свободной России, вы ведь выгоните нас... аж за Буг?!

— Выгоним, пан президент, — остановил Савинков свой взгляд на пушистых, холеных усах Пилсудского.

— Тогда чего ж мы вам помогаем?

— Плохо помогаете.

— Пся крев! А кто же хорошо?

— Хорошо — никто, — не стал Савинков таиться. — Но все же нам приходится больше рассчитывать на англичан, французов...

— ...и американцев?

Пилсудский был не столь прост, как о нем говорили большевики. У простаков не бывает таких цепких, умных глаз; ирония, жестокость и шляхетский разгул — все вперемешку. Уж на что крепки нервы у Савинкова — приходилось не по себе. Но ответил он как должно:

— Польская разведка неплохо работает.

— Благодарю, пан Савинков.

— Но тогда вам, пан президент, должны были доложить: не от веселой жизни я иду на контакт с американцами. Это пинок под жирный зад Черчиллю.

— Ай-яй-яй, пан Савинков! Если бы он это слышал...

— Слышал, и не раз. Сидней Рейли — мой друг, а сплетни друзья как раз и разносят. Англия!.. Она не близко. Америка!.. Она совсем далеко...

— ...а Польша, как у вас говорят, под боком? Это хорошо для вашего дела, пан Савинков, но плохо для Польши. Вдруг как русский медведь с боку на бок повернется в своей берлоге? Мы не хотели бы терять дружбы с такими людьми, как вы. Да, большевики принудили выслать вас, со всем вашим штабом, из Варшавы в Париж, но вот прошло время, и я вам даю президентское слово — живите в любом польском городе. Уж поверьте, наши юристы-крючкотворы найдут зацепку, чтобы оправдаться перед большевиками. Мы им говорим: позвольте, пан Савинков родился в Польше! Он поляк. Даже президент не может отказать ему в польском гражданстве.

Савинков благодарно, но суховаато усмехнулся. Эту легенду он сам же и распространял. К тому же в Варшаве до сих пор сохранилась добрая память о судейском чиновнике Викторе Михайловиче Савинкове. Но ведь польская разведка должна знать: родился Борис Викторович все-таки в Харькове, только детские и гимназические годы провел в Варшаве. Но раз уроженца Харькова — отец там тогда служил, — потомственного дворянина Петербургской губернии считают поляком — тем лучше. Иного пути в Россию, как через Польшу, пока не было...

Он догадывался, почему двоедушный «пся крев», стоило Савинкову объявиться в Варшаве, опять прислал своего доверенного полковника. Разумеется, не для то-

го, чтоб арестовать, — хотя Савинкову, как ни смешно, приходилось пользоваться конспирацией. Очень наивной, если уж говорить откровенно. Прибывает под чужой фамилией некий. Ну, какая разница, фамилии он в своей жизни менял, как перчатки. Просто есть правила этой скверной политической игры: Борис Савинков по требованию Москвы выслан из Варшавы — но у Бориса Савинкова остается в Варшаве газета «За свободу», вполне боеспособный филиал «Народного Союза защиты Родины и Свободы»... филиалы в Праге, Риге, Финляндии... Его, Савинкова, нет — и он Савинков есть, везде и повсюду. Советский министр Чичерин не может придраться... ах, какая вышла в Берлине осечка, Чичерина там должны были убить, но струсил последний исполнитель, сблефовал! Бывает. На это надо смотреть философски... как говорит во хмельку редактор газеты Философов. Все знали, что Савинков в Варшаве — и все делали вид, что понятия об этом не имеют. Попробуй докажи! Если, конечно, продажные поляки не продадут и сами себя...

В отель к Савинкову приехал не кто-нибудь, а полковник польского Генштаба Медзинский. Как положено, отдал честь:

— Пше прашу пана Савинкова к пану майору Спыхальскому!

Щелк каблуков, рука к козырьку конфедератки, неподражаемая польская вежливость, которую Савинков по ехидству называл польской фанаберией. Но он пока еще не президент Российских Соединенных Штатов. Кивком головы на кресло:

— Кофе? Коньяк?

— О чем разговор, пан Савинков! Но — в дороге. Майор Спыхальский едет с инспекцией на русскую границу. Пан Савинков не хочет посмотреть на большевиков через бинокль?

— Полчаса на сборы?

— Но не больше. Майор Спыхальский спешит...

Кивнув в знак понимания, Савинков из гостиной перешел в кабинет, а оттуда и в спальню, чтоб привести себя в

порядок. Он не хотел представлять пред майором Спыхальским в неряшливом виде. Майор Спыхальский — это не кто иной, как президент Польши Пилсудский. О, времена, о, нравы!.. Так переписывались, так перезванивались. Майор Спыхальский — Матье Моле; Матье Моле — майору Спыхальскому; и дальше — Рейнар, Планше, Базен... Савинкову льстили бузотеры Дюма, а Пилсудскому — заносчивые шляхтичи Сенкевича. Переписку водил своим пером пересмешиник Ропшин; но было и желание самого пана президента — не засвечиваться перед советской разведкой. Такие уж времена. Президенту в своей стране приходилось опускаться до чина майора.

Ровно через полчаса Савинков вышел в гостиную:

— Честь имею — к майору Спыхальскому!

Смешной детектив... Но смешного ничего не было. Стены имели уши, глаза швейцаров вполне могли быть продажными окулярами, а носильщики и посыльные — заурядными убийцами. Это все-таки не Париж, это приграничная Варшава.

Машина уже стояла у подъезда. Сели, всего лишь при одном адъютанте полковника, поехали. За город.

На выезде немного постояли. Их нагнал черный «роллс-ройс». Как и положено в хорошем детективе, Савинков без лишних слов пересел в президентский лимузин на заднее сиденье. Уже там поздоровались:

— Пше прашу, пан Савинков.

— Благодарю за честь, пан Пилсудский.

Здесь уже незачем было играть в майоров. Надо полагать, президент мог надеяться хотя бы на свою-то машину. Он был в военной форме. По зимнему времени — длинная светло-серая шинель с меховым воротником. Хоть и отапливаемая машина, а продувало. Полковник Медзинский, сидевший на переднем сиденье, зябко поеживался под тонкой строевой шинелью. Раз такое дело, могли бы и пропустить по рюмочке. Но у поляков что-то заханжило, а Савинков не хотел ставить их в неловкое положение.

Разговор так себе, обо всем и ни о чем. Но было заметно: Пилсудский догадывается об истинных намере-

ниях Савинкова — махнуть через границу, домой... Давно уже через польские «окна» взад-вперед мотались посыльные. Не в гости же Савинков собирался, цену своей головы знал. Пусть его верные нукеры поразведают обстановку, наведут мосты. Иногда они возвращались, чаще пропадали бесследно в российских снегах, но истинных намерений своего вождя не знали, так что если и попадали в лапы Чека, ничего существенного сказать не могли. С молодых лет Савинков любил шахматы; теперь «шахматный ход» стал его личным знаком. Нет, продать его не могли. Как он думал, о большем, чем диверсии, Чека не догадывалась. Иное дело — поляки. Переходы через границу — под их контролем; смешно было бы — еще и польскую границу прорывать. Они только носами своими шляхетскими чуяли — Савинков что-то замышляет; и не хотели оставаться в дураках. Савинков на них не сердился; придет время, под коньячок у камина все расскажет. А пока лишь обещания.

— Мои люди с той стороны, — кивнул уже в сторону близкой границы, — приносят верную информацию. Я ее от вас не таю. Но поймите и меня: живу и работаю я все-таки ради России...

— ...как я ради Польши!

— Вполне согласен с вами, пан президент. Поэтому с благодарностью принял ваше сегодняшнее предложение. Право, мне хочется с пограничной вышки взглянуть на свою несчастную Россию...

— Ну-ну, пан Савинков. Сантименты?

— Нет, пан Пилсудский. Как говорят военные, рекогносцировка. Позвольте?

— Как пан Медзинский решит.

— Пан Медзинский уже решил и ждал только вашего подтверждения, пан президент. Единственная просьба: вы сами останьтесь у теплого огонька в пограничной стражнице. Чего вам мерзнуть на вышке?

— Да-да, я тоже присоединяюсь к просьбе пана Медзинского. Знаете, я ведь могу там засмотреться... засидеться... и поставлю вас в неловкое положение. Прошу

вас, пан президент: не утруждайте себя нашей солдатской прихотью.

Пилсудский, конечно, догадывался: на всякий случай предохраняют его от возможной перестрелки. Ну, где это видано, чтоб президенты торчали на пограничных вышках? Он не был, конечно, трусом, но согласился:

— Раз пановные панове так желают...

Савинков заранее пересел в шедшую позади машину Медзинского, а президентский «роллс-ройс» отвернул в сторону, к находившейся в двух километрах пограничной стражнице.

Он, конечно, с превеликим удовольствием отказался бы и от услуг полковника, но кто его одного пустит на вышку?

Савинков на своем веку насмотрелся на пограничные прелести. Везде одно и то же: следовая полоса, колючая проволока, секреты, засады, конные и пешие обходы, ну и, само собой, смотровые вышки. Они выбрали самую высокую, стоящую к тому же на лесистом холме. Брести к ней пришлось по колено в снегу. Зима. Поземка, с запада на восток... Может, припасть к промерзлой земле — пусть несет вместе со злым снегом, уносит на Родину... Право, начинал его подталкивать под бок проклятый Рошпин.

Но уже вслед им бежал начальник стражницы. Он, конечно, знал о приезде высоких гостей, но задержался возле «роллс-ройса» и теперь прямо разрывался на две части:

— Пан полковник, смею доложить!..

Полковник Медзинский в присутствии Савинкова решил выказать свою демократичность — просто пожал готовую вскинуться к козырьку руку и указал глазами на вышку. Начальник стражницы унесся наверх по обледенелым ступеням, а за ним и Савинков; он все еще надеялся, что поотставший полковник не захочет подниматься выше. Но нет, туда же. Под крышей вышки, включая и двоих караульных, собралось пять человек. То-то было зрелище! Напротив ведь, всего лишь через речку, была такая же вышка. Там тоже маячили внача-

ле две фигуры, потом спешно поднялись еще две. Если шинели все-таки скрадывались на хмуроватом зимнем фоне, то черное пальто Савинкова, его новенькая парижская шляпа были хорошей мишенью. Начальник стражницы попросил было странного спутника отступить за их спины, но Савинков с холодным пренебрежением взял из рук полковника бинокль, с некоторым запозданием даже сказав:

— Разрешите?

Полковник Медзинский давно знал Савинкова — ровно столько, сколько и сам Пилсудский, — понимал, что простым запрещением с ним не обойтись. Единственное, кивнул стражникам, те изготовили просунутый меж мешков с песком пулемет, а сами присели возле бойницы.

Поземка мела и мела, но верховой фон не заслоняла. Савинков видел, да чего там — слышал, как на той стороне границы переговаривались:

«А это что еще за хрен собачий?..»

«Буржу-уй! В шляпе, гляди!»

«Можя, пальнем?..»

«Да можно бы, да я, робята, мал начальник. Взгреют! Все-таки граница. Нарушение международное».

«Ну и хрен с ним... нарушение-порушение!..»

«Право дело. Ты, коль старшой, сойди вниз, мы без тебя их маленько и порушим. Глядишь, и в штаны накладывают. Особенно хрен-то собачий!..»

В самом деле, один из пограничников сошел вниз, и вот тогда-то и резануло!.. У них, пожалуй, достославный максимумко был наверх затащен. Голосище — ду-ду-ду! И ведь хорошо, прицельно резанули — по крыше, встречу низовой поземке, промела свинцовая. Конечно, крышу не задев, а только попугав.

Но и этого было довольно, чтобы полковник Медзинский положил на плечо тяжелую руку:

— Пан Савинков!..

Ничего не отвечая, Савинков прынул на колени и оттолкнул одного из стражников. Пулемет пропел ответную песнь. Похуже, послабее, потому что был всего лишь немецким пулеметишкой, но на той стороне запа-

никовали. Начальник вышки снова взбежал наверх и начал размахивать кулаком. Всего скорее, он своим подчиненным грозил всякими карами, но выходило — и сюда проклятья слал. Оторвавшись от пулемета, Савинков поднял свою в кулак сжатую черную перчатку и звучно, хорошо ответил:

— Мать твою за ногу, за лапотную вторую, за красную жопу, за черную душу, за голодное твое брюхо, за кол твой осиновый!..

Слышать там, конечно, ничего не могли, все-таки далековато для голоса, а черный грозящий кулак и без бинокля видели. Плохая дисциплина у красных армейцев была, потому что и старшой не мог сдержать ответа — промело еще ниже, чиркнуло даже по железному скату крыши.

Полковник Медзинский пытался снова удержать, но удержать Савинкова уже было невозможно: его ответ был прицельнее, длиннее, злее. Крыша там оказалась не железная, дощатая, пощепало, как под стругом.

— Слышите, косоглазые воители? Я к вам приду, я научу вас стрелять лучше!

Снова ответ, по боковой стойке задело. Зря обвинял в косоглазии...

Снова привет, над самыми головами, заставляя пригибаться все ниже и ниже, за такие же, как и здесь, мешки с песком...

И стихи, стихи бузотера Ропшина, который и самого Савинкова под микитки оттолкнул:

Нет родины — и все кругом неверно,

Нет родины — и все кругом ничтожно...

Он не обращал внимания, что начальник стражницы, выскочив на открытую площадку, махал белым платком. Штатские могут и пошалить, полковники перед ними могут и смолчать, но что делать сержанту? Просто турнут без всякого пособия с этой худо-бедно кормившей его вышки...

На той стороне, вероятно, думали так же. Вероятно, еще похуже — о Чека и о проклятой стенке думали... То же какая-то белая тряпица затрепыхалась.

Ропшин, вопреки Савинкову, продолжал:

Нет родины — и вера невозможна,
Нет родины — и слово лицемерно,
Нет родины — и радость без улыбки,
Нет родины — и горе без названья,
Нет родины — и жизнь, как призрак зыбкий,
Нет родины — и смерть, как увяданье...
Нет родины. Замок висит острожный,
И все кругом ненужно или ложно...

Полковник Медзинский когда-то, беспшабашным поручиком, служил под знаменем «желтых кирасиров» — личного полка Его Императорского Величества Николая II. Даже в своей шляхетской ненависти к России он, разумеется, не успел, не сумел забыть русский язык — снял перчатки и сдержанно, но от души поаплодировал:

— Bravo, пан Савинков.

— Это написал господин Ропшин.

— Bravo и господину Ропшину, — мало что понял полковник, заторопился на выход.

Савинков немного задержался, каждому из оставшихся пожал руку и попросил:

— Пан полковник, позаботьтесь, чтобы моя шалость не имела последствий для этих честных польских солдат.

Полковник обернулся со смотровой площадки и польски сказал своим:

— Слово офицера! Для вас — никаких последствий. Единственное — угощение.

Звук ли пулеметных очередей, или что другое привлекло — от недалекой машины уже бежал шофер Медзинского. Но на скрещенных руках он нес вовсе не охапку патронных лент и не связку гранат — коробку с бутылками и всем таким прочим.

— Видите, по-польски? — заносчиво просиял Медзинский.

— По-русски, — поправил его Савинков, выбивая о каблук сапога пробку.

Пробка чирканула по щеке полковника.

— Так вы нас всех перестреляете... пан Савинков!

— Господин Савинков, — снова поправил его, почему-то уже сердясь.

Шофер дело свое знал: в коробке были бокалы и вполне сносные бутерброды. Без паюсной икры, конечно, но с ветчиной, нарезанной без скупости.

Они чокнулись, выпили и ящик впечатали в снег, чтоб ненароком не унесло на русскую сторону.

Как же, ищи дураков! И сотни метров не отошли, как ящик уже был в крепких руках начальника стражницы.

Садясь в машину, полковник Медзинский, не замечая настроения Савинкова, в самом хорошем расположении духа велел шоферу:

— Быстрее ветра! Пан президент, наверно, уже нас заждался.

Машина летела по снежной дороге, все больше и больше удаляясь от границы, а Савинков был все ближе и ближе к распроклятой русской стороне.

«Значит, надо идти туда», — подумал со всей решительностью. Сегодняшний день круто, как и всегда бывало, ломал его судьбу.

...Мыслями он уже был в России.

...Он уже правил этой погрязшей в революциях, несчастной страной.

Уроки дуче Муссолини? Не самые плохие уроки. Последний раз кого же он там встретил? Известнейшего писателя Александра Амфитеатрова, сын которого, Данила, служил в личной охране итальянского самодержца. К дуче теперь невозможно подступиться; голосом — громче трубы иерихонской, славой — выше самого Цезаря, хотя росточком так себе, в кресле на специальной подушке сидит, чтоб свысока взирать на собеседника. А ведь силен бродяга! Савинков и сам не заметил, как подпал под его влияние. Вот кто нужен России — вождь. Кого она изберет душой своей окаянной?..

Собираясь в неведомую, тайную дорогу, он в приливе последнего откровения писал другому другу-прорицателю, Михаилу Петровичу Арцыбашеву:

«Не знаю, как Вам, но фашизм мне близок и психологически, и идейно.»

Психологически — ибо он за действие и волевое напряжение в противоположность безволию и прекраснодушию парламентской демократии, идейно — ибо он стоит на национальной платформе и в то же время глубоко демократичен, ибо опирается на крестьянство. Во всяком случае, Муссолини для меня гораздо ближе Керенского или Авксентьева.

Я знаю, что многие говорят: «Где же С.?» И я так же, как вы, глубоко тягочусь бездействием и словесной поведью борьбы. Но для того чтобы бороться, надо иметь в руках оружие. Старое у нас выбили из рук. Надо иметь мужество это признать. Новое только куется. Когда оно будет выковано, настанут «сроки»... Иногда надо уметь ждать, как это ни тяжело. Я повторяю это себе ежедневно, а пока готовлюсь, готовлюсь, готовлюсь».

Савинков был так занят, что не смог даже съездить на похороны своего беззаветного адъютанта: Флегонт Клепиков долго болел и умер на даче в Ницце. Он не жалел ни денег, ни докторов, чтоб продлить дни юнкера, но раны, полученные в Казани, свели его к чахотке. Письмо, только письмо матери, с последним утешением...

Не многовато ли слез? Дуче не плачет — хнычет никому теперь не нужный Керенский... Себя собрать в кулак — других зажать в единой горсти. Россия любит силу!

Так, военная сила?

Так, программа вождя?

Так, правительство?..

В шутку ли, всерьез ли, он писал сестре Вере в Прагу:

«...Тебя я назначу министром совести. России такое министерство необходимо не менее, чем — просвещения и наук. И в кабинете у тебя будут висеть два портрета: нашей мамы и Вани Каляева. Кстати, ты все же зря коришь меня за него. Я вообще заметил, что очень часто люди понимают мои книги совсем не так, как я хотел бы. Недавно даже Серж (!) Павловский (!!!) прочитал (!!!!) моего «Вороного» и предъявил мне свои обиды. Да что вы, в самом деле, сговорились, что ли, не понимать того, что я пишу? И не я ли все же лучше вас

знаю, каков он в конечном счете был, мой юный и святой друг Ваня Каляев?..

Но все это — и смерть Флегонта, и обиды Сержа, и твои укоры — анекдотическая мелочь рядом с тем, к чему сейчас подвела нас судьба. Право же, шутка о твоём будущем министерстве совести имеет больше жизненных оснований, чем передовые статьи всех сегодняшних газет Европы. Ты понимаешь, о чем я говорю?

И тогда я сделаю несколько символических жестов, ну, во-первых, министерство совести. А затем памятник Ване Каляеву и другим принявшим смерть за свой слепой террор. Я такой, Вера, поставлю им в Питере памятник, что его будут видеть из Финляндии, а любоваться им и думать у его подножия будут ездить люди со всего света.

Но все это завтра, завтра. А сегодня мне как воздух необходимы спокойствие и трезвость — и в мыслях, и в чувствах...»

Она знала о его планах, догадывалась, но не думала, что время это настанет так скоро. Примчалась из Праги быстрее курьерского.

— Боря? — по-матерински взяла его руку обеими руками. — Ты все хорошо обдумал?

Он колебался с ответом всего лишь какую-то долю секунды:

— Все, Вера. Еду... иду, летней поземкой стелюсь... Судьба!

Она слишком хорошо знала брата. Искра неуверенности, пускай и самая малая, передалась и ей.

— Вот видишь? У тебя сомнения.

Но он уже взял себя в руки:

— Как же без сомнений, Вера. Сомневайся... доверяй и проверяй!..

— Ты все проверил? Ты хорошо проверил? Не ловушка — Москва?

Чем больше ему возражали, тем сильнее крепла его уверенность. Так было всегда. Так стало и сейчас.

— Москва ждет меня. Москва подпольная, тайная, но все равно — Москва. Не Париж бордельный, не слово-

блудная Варшава. Москве нужен вождь, ей нужен, если хочешь знать, верховный правитель!..

— Ты не забыл, что стало с сибирским верховным правителем? Твоим любимым Колчаком?

Никто другой не смог бы так жестоко упрекать в крахе всего, что было связано с адмиралом, пославшим его в эту растреклятую Европу. Никто! Сестра — могла. Она рубила последние засеки на его дороге домой; она валила вековой лес на тайных, единственно еще возможных тропах:

— Остановись. Подожди. Оглянись! Я понимаю, Серж Павловский зовет тебя в Москву. Зовут другие соратники, посланные впереди тебя. Но зовет ли наш варшавский друг — «Железный Феликс»? С таким жестоким отчеством — Эдмундович!

Как ни умна была, отговаривая брата от этой поездки, но ведь только разжигала упрямство. На помощь пришел друг душевный, друг первородный — Рошпин. Он уже вопрошал:

— Ну, хорошо, Серж Павловский не понимает, моего «Вороного» принимает за «Бледного» — видите ли, не столь героично я его изобразил! Но ты? Ты, Вера? Сейчас такой миг, что во мне нет никакого геройства. Просто хочу домой. В Россию. Разве Рошпин может в этом отказать Савинкову?

Вера колебалась, прежде чем опустила по-бабьи руки:

— Не может... В таком случае я еду с тобой до Варшавы.

— Вот это дело! — совсем повеселел Савинков и сгреб сестрицу в охапку. — Собираемся, билеты уже заказаны.

Гибельный круг сужался, потому что все больше и больше людей вовлекалось в круговорот между Парижем, Москвой и Варшавой. Эмиссары сновали взад и вперед, готовя для своего вождя «окно» на границе. Не диверсант же, не дрожащий от страха лазутчик, не сума переметная — сам Борис Савинков изволит прибыть в Россию. Са-ам!..

Он забыл свое собственное старое правило: «Не доверяй!» Никому не верь. Ни врагам, ни друзьям. Особенно — друзьям...

Правда, в Варшаве, которая была перевалочным пунктом, еще оставались здоровые люди. На донесении своей разведки о тайном намерении Бориса Савинкова перейти границу хитромудрый «пся крев» Пилсудский написал: «Не верю».

Ошибся, ошибся...

В Варшаву, как шляхом сквозным, несло великолепную русскую четверку. Ибо как же без Саши Деренталя? Как без Любви Ефимовны?.. Она расплакалась, заламывала свои прелестные руки:

— Вы, вы... бездушный человек, Борис Викторович! Вы едете в Москву... и хотите меня бросить в этом вонючем Париже?!

Разве можно спорить с женщиной после таких слов?..

Своей милой ручкой, но его горькой мыслью она воспроизведет весь этот тайный переход границы. Господи! В ней, под дамской кокетливой шляпкой тоже кроется свой Рошпин... Интересно, какой ей дать псевдоним? Женщины любят мужские псевдонимы. Жорж Занд. Антон Крайний... хотя всего лишь Зинаида Гиппиус, несчастная З. Н. Антон! Крайний! В таком случае почему бы Любви Ефимовне не быть... Последней?! Да, Гаврош Последний! Вот так — хорошо.

Рука Гавроша Последнего чертила роковые письма: «15 августа 1924 г.

На крестьянской телеге сложены чемоданы. Мы идем за ней следом. Ноги вымочены росой. Александр Аркадьевич двигается с трудом — он болен. Сияет луна. Она сияет так ярко, что можно подумать, что это день, а не ночь, если бы не полная тишина. Только скрипят колеса. Больше ни звука, хотя деревня недалеко.

Холодно. Мы жадно пьем свежий воздух — воздух России. Россия в нескольких шагах от нас, впереди.

— Не разговаривайте и не курите...

На опушке нас окликают:

— Стой!

Польский дозор. Он отказывается нас пропустить. Мы настаиваем. Люди в черных шинелях начинают, видимо, колебаться. Борис Викторович почти приказывает, и мы проходим.

Фомичев вынимает часы. Без пяти минут полночь. Чемоданы сняты с телеги. Возница, русский, плохо соображает, в чем дело. Но он взволнован и желает нам счастья. Теперь мы в мокрых кустах. Перед нами залитая лунным светом поляна. Фомичев говорит:

— Сначала я перейду один. Андрей Павлович ждет меня на той стороне.

Он уходит. Четко вырисовывается на белой поляне. Вот он ее пересек и скрылся. Через минуту вырастают две тени. Они идут прямо на нас.

— Андрей Павлович?.. — спрашивает Борис Викторович, близоруко вглядываясь вперед.

Двенадцать часов назад Андрей Павлович в Вильно расстался с нами. Он поехал проверить связь с Иваном Петровичем, красным командиром и членом нашей организации.

Мы берем в руки по чемодану и гуськом отправляемся в путь. Из лесу выходит человек. Это Иван Петрович. Звенят шпоры, он отдает по-военному честь. Сзади кланяется кто-то еще.

— Друг Сергея, Новицкий, — представляет Андрей Павлович. — Он проводит нас до Москвы.

Мы выехали в Россию по настоянию Сергея Павловского. Он должен был приехать за нами в Париж. Но он был ранен при нападении на большевистский поезд и вместо себя прислал Андрея Павловича и Фомичева.

Фомичев — член ПСП и связан с Борисом Викторовичем с 1917 г.

Я смотрю на Новицкого. Он похож на офицера. На молодом, почти безусом лице длинная, клинышком, борода.

Мы идем быстро, в полном молчании. За каждым кустом, может быть, прячется пограничник, из-за каждого дерева может щелкнуть винтовка. Вот налево за-

шевелилось что-то. Потом направо. И вдруг всюду — спереди, сзади и наверху — шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев. Звери и птицы...

Пролетела сова. Это третий предостерегающий знак: утром разбилось зеркало и сегодня пятница — дурной день.

Мы идем уже больше часа, но усталости нет. Мы идем то полями, то лесом. Граница вьется, и мы мало удаляемся от нее. Но вот в перелеске тарантас и подвода. Лошади крупные — «казенные», говорит Иван Петрович. Андрей Павлович и Новицкий достают шинели и полотняные шлемы. Шлемы по форме напоминают германские каски. Борис Викторович, Александр Аркадьевич и Андрей Павлович переодеваются. Их сразу становится трудно узнать.

Я шучу:

— Борис Викторович, вы похожи на Вильгельма Второго.

Александр Аркадьевич лежит на подводе. Рядом с ним на своих вещах Фомичев в дождевике и нашлепке. Он говорит, не умолкая ни на минуту. Он типичный пропагандист. Иван Петрович с револьвером на поясе садится на козлы.

Борис Викторович, Новицкий и я размещаемся в тарантасе. Андрей Павлович правит. Маленького роста, широкоплечий и плотный, с круглым, заросшим щетиной лицом, в слишком длинной шинели, он имеет вид заправского кучера. Я смотрю на него и смеюсь.

До Минска нам предстоит сделать 35 верст.

Деревня. Лают собаки. Потом поля, перелески, опять поля, снова деревня. И опьяняющий воздух. А в голове одна мысль: поля — Россия, леса — Россия, деревни — тоже Россия. Мы счастливы — мы у себя.

Высоко над соснами вспыхнул красноватый огонь. Что это? Сигнал? Нет, это Марс. Но он сверкает, как никогда.

Дорога скверная, в ямах. На одном из поворотов тарантас опрокидывается. Мы падаем. Андрей Павлович по поговорке — «на все руки мастер». Он починает сло-

манную оглоблю, и мы снова едем. Так, не останавливаясь, мы едем всю ночь.

16 августа.

На заре мы сделали привал в поле. В небе гаснут последние звезды. Фомичев объявляет со смехом:

— Буфет открыт, господа!

Он предлагает водки и колбасы. Мы бранили его за то, что он забыл купить хлеба.

Лошади трогаются. Вот, наконец, и дома. Приехали. Минск. Борис Викторович и Александр Аркадьевич снимают шинели и шлемы. Иван Петрович въездет в город с подводой и тарантасом. Остальные войдут пешком. Мы идем, разбившись на группы. Фомичев озабоченно снуют между нами. Пригородные улицы пусты. Редкие прохожие оборачиваются на нас, хотя в Вильно мы оделись по-русски: мужчины в нашлепках, а я в шерстяных чулках и т.д. Мы идем, и кажется, что пригороду не будет конца: бессонная ночь внезапно дает себя знать.

Новицкий служит проводником. Но он Минска не знает, и мы долго блуждаем в предместьях. Навстречу попадают верховые — красноармейцы знаменитой дивизии Гая.

Я устала. Заметив это, Новицкий нанимает извозчика. На извозчике он говорит:

— На нас обращают внимание. Это из-за моей бороды.

Мы останавливаемся у одного из домов на Советской. Здесь мы отдохнем и вечером уедем в Москву.

Поднимаясь по лестнице, я говорю:

— В этой квартире живет кто-нибудь из членов нашей организации?

— Да, конечно, — отвечает кто-то.

Мы звоним. Нам открывает высокий молодой человек в белой рубашке. Молодой человек не в духе. Вероятно, он недоволен, что его разбудили так рано. Он идет доложить о нашем приходе. Кто он? Вестовой? Из передней мы проходим в столовую, большую комнату с выцветшими обоями. На столе остатки вчерашнего ужина. Мои товарищи направляются в кухню, чтобы помыться и помыться.

Я чувствую смутное беспокойство. Я присаживаюсь к столу. Неожиданно открывается дверь. На пороге стоит человек огромного роста, почти великан. Он в военной форме, с приятным лицом. Он удивлен. Это, наконец, хозяин. Я встаю и подаю ему руку.

Приносят завтрак. Александр Аркадьевич не ест ничего. Он ложится в этой же комнате на диван. Я несколько раз прошу хозяина сесть вместе с нами за стол. Он отказывается. Он говорит:

— Визита дамы не ожидал. Позвольте, я сам буду прислуживать вам.

Я спрашиваю Андрея Павловича, почему с нами нет Фомичева.

— Он в гостинице с Шешеней. Он вечером придет на вокзал. Бывший адъютант Бориса Викторовича Шешеня служит теперь в Красной Армии. Он приехал в Минск из Москвы встретить нас. Он уже взял билеты на поезд. Андрей Павлович показывает мне их. Потом он поднимает рюмку и говорит:

— За ваше здоровье... Мне нужно быть в городе. До свидания.

За столом остаемся мы трое: Борис Викторович, Новицкий и я. «Вестовой» приносит яичницу. Вдруг с силой распахивается двойная дверь из передней:

— Ни с места! Вы арестованы!

Входят несколько человек. Они направляют револьверы и карабины на нас. Впереди военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках. Тут же в комнате «вестовой». Это он предал нас, мелькает у меня в голове, но в то же мгновение я в толпе узнаю Ивана Петровича. Новицкий сидит с невозмутимым лицом. Со стороны кухни тоже появляются люди. Обе группы так неподвижны, что кажется, что они восковые.

Первые слова произносит Борис Викторович:

— Чисто сделано... Разрешите продолжать завтрак?

Красноармейцы с красными звездами на рукавах выстраиваются вдоль стены. Несколько человек садятся за стол. Один небольшого роста, с русою бородой, в шле-

ме, располагается на диване рядом с Александром Аркадьевичем.

— Да, чисто сделано... — повторяет он. — Не удивительно: работали над этим полтора года...

— Как жалко, что я не успел побриться, — говорит Борис Викторович.

— Ничего. Вы побреетесь в Москве, Борис Викторович... — замечает человек в черной рубашке и с круглым спокойным лицом. У него уверенный голос и мягкие жесты.

— Вы знаете мое имя и отчество? — удивляется Борис Викторович.

— Помилуйте, кто же не знает их! — любезно отвечает он и предлагает нам пива.

Человек с русою бородою переходит с дивана за стол. Он садится от меня справа. У него умное и подвижное лицо.

Я говорю:

— Нас было пятеро. Теперь нас трое. Нет Андрея Павловича и Фомичева.

— Понятно, — говорит Борис Викторович.

— Значит... все предали нас?

— Конечно.

— Не может этого быть...

Но я должна верить Пиляру. Он один из начальников ГПУ. Все... Андрей Павлович... Фомичев... Шешеня. А Сергей? Сергей, наверное, уже расстрелян...

— Им много заплатят? — вежливо осведомляется Александр Аркадьевич.

— Андрей Павлович никогда не работал против нас. Он убежденный коммунист. А другие... У других есть грехи...

Входит Новицкий и снова садится за стол.

— Вот один из ваших «товарищей»... — иронически замечает Пиляр, обращаясь ко мне.

— Да... И он даже обещал мне сбрить свою бороду...

— Он не сбрит ее, — говорит Пиляр. «Друг Сергея»

— Новицкий не кто иной, как Пузицкий, его ближайший помощник.

— Кажется, вы недавно написали повесть «Конь Во-

роной»? А раньше «Конь Бледный»? — спрашивает Бориса Викторовича Пиляр.

— Целая конюшня. Не так ли?

— А теперь, — смеется Пиляр, — вы напишете еще одну повесть — «Конь последний».

— Лично мне все равно. Но мне жалко их...

Александр Аркадьевич протестует. Пиляр опускает глаза и говорит почти мягко:

— Не будем говорить об этом...

Я прошу разрешения взять из сумочки носовой платок. Мне отказывают. Но молодой военный приносит мне один платок. Констатирую, что его только что надушили. Александр Аркадьевич говорит:

— Почему вы тотчас же арестовали нас, не дав нам возможности предварительно увидеть Москву? Мы были в ваших руках.

— Вы слишком опасные люди.

Нас обыскивают.

В отношении меня эту операцию проделывает совсем молодая женщина. Она очень смущена. Чтобы рассеять ее смущение, я рассказываю ей о том, что делается в Париже.

Она вскоре возвратилась с моими вещами и даже с 12 долларами, которые нашли у меня зашитыми в складке моего платья.

Возвращаюсь в столовую.

Отъезд в Москву...»

Теперь, когда прошло уже восемь месяцев, Савинков имел полное право посмеяться над самим собой:

«Кретин! За двадцать пять конспиративных лет ты так уверовал в свою конспиративную непогрешимость, что спектакль, разыгранный ГПУ, принял за самую настоящую действительность...»

Он встал, подошел к буфету, прекрасно понимая, что делать это надо пореже. Ну в самом деле, есть ли где в мире такая тюрьма?..

«Полтора года меня водили за нос, заманивая в ловушку! Как же я об этом раньше не догадался?!»

Камера внутренней лубянской тюрьмы, превращенная в золоченую клетку для главного пойманного террориста, насмешливо молчала.

Письменный стол — стол несчастного Ропшина — просто ехидничал. Он был завален газетами — в этом ему не отказывали; более того, без всякой просьбы таскали. Конечно, «Известия». Конечно, «Правда». Но вся ли правда-то?..

Да, черным по грязно-белому газетному листу — бедные большевики, на хорошую бумагу и денег-то нет! — по захватанному руками чекистов газетному полю:

«Принимая во внимание успешное завершение, упорную работу и проявление полной преданности к делу, в связи с исполнением трудных и сложных заданий ОГПУ, возложенных на тт. МЕНЖИНСКОГО В.Р., ФЕДОРОВА А. Л., СЫРОЕЖКИНА Г.С., ДЕМИДЕНКО Н.И., ПУЗИЦКОГО С.В., АРТУЗОВА А.Х., ПИЛЯРА Р.А., ГЕНДИНА С.Г., КРИКМАНА Я.П., СОСНОВСКОГО И.И.

Президиум ЦИК Союза ССР постановляет:

Наградить орденом Красного Знамени...

...объявить благодарность рабоче-крестьянского правительства Союза ССР за их работу...»

Снова фамилии, фамилии!

Что скажешь? Орден — это прекрасно. Благодарность — это великолепно. Благо-дарение! Считай, дар Божий.

Но что подарят его собственным отступникам-предателям — начальнику Виленского Бюро с таким трудом восстановленного «Союза защиты Родины и Свободы» Фомичеву? Посланному вперед для организации достойной встречи адъютанту Шешене?! Миску тюремной баланды... или пулю, как несчастному Сержу Павловскому?.. Пулю он тоже заслужил — бесстрашный Серж; во все не случайно подсунули на письменный стол панегирик другу-полковнику:

«1920—1922 годы. Участие в бандитском походе из Польши в Западный край с армией Булак-Балаховича.

Создание С.Э. Павловским собственной банды из савинковцев, руководство ею во время рейдов по Белоруссии и Западному краю, соответственно — полная ответственность за все тяжчайшие преступления названной банды. Ниже приводятся наиболее значительные, среди тяжчайших, преступления:

а) банда С.Э. Павловского, ворвавшись в город Холм, пыталась его захватить, но встретила стойкое сопротивление местного гарнизона, на что ответила чудовищными зверствами над населением захваченных бандами кварталов. Общее число убитых примерно 250, раненых — 310.

Отступая от города Холма в направлении Старой Руссы, банда Павловского захватила город Демянск, где учинила изуверскую расправу над коммунистами, активистами Советской власти и комсомола, а также беспартийным населением. Общее число убитых — 192.

Отступая к польской границе, банда С.Э. Павловского остановилась в районе корчмы, принадлежащей гр-ну Натансону Б.Д. Здесь Павловским была изнасилована 15-летняя дочь гр-на Натансона — Сима;

б) второй рейд банды Павловского. Захват и зверское убийство молодежного отряда ЧОН в районе города Пинска. 14 чоновцев сами рыли себе могилы под собственное исполнение пролетарского гимна, после чего сам Павловский разрядил в чоновцев пять обойм маузера.

Между Велижем и Поречьем, в селе Карякино, по приказу Павловского был изувечен и повешен продработник, член РКП т. Силин. На груди у него была вырезана звезда.

Ограбление банков в уездных центрах Духовщина, Белый, Поречье и Рудня;

в) третий рейд банды Павловского. Налет на пограничный пост у знака 114/7, зверское убийство на заставе спавших после дежурства красноармейцев в числе 9 человек, повешение жены коменданта заставы, находившейся в состоянии беременности на восьмом месяце. При отходе за границу угон скота, принадлежавшего местному населению.

Ограбление банка в г. Велиже. Попытка ограбления банка в г. Опочке, сожжение живьем директора банка т. Хаймовича Г.И.;

г) во время нахождения на территории Польши подготовка отдельных диверсантов и террористов, а также банд и засылка таковых через границу на советскую территорию;

д) разделение ответственности за все тяжкие преступления, совершенные против Советской власти и советского народа антисоветским НСЗРиС, возглавляемым Б. Савинковым...»

Если отбросить ханжество чекистов — на войне как на войне, сами-то что вытворяли?! — так оно и было. Чтоб Серж Павловский — да девку смазливую пропустил!

Не это раздражало — как могли из Сержа выколотить трусливые признания, гнусные письма-зазывалки? Пожалуй, последней гирей на чаше весов ехать: — не ехать?! — как раз и стали его письма... написанные под диктовку чекистов! Они с удовольствием эти письма показывали; копии валялись на столе вместе с газетами. Читай и перечитай, никому и никогда не доверявший «Генерал террора»!

«Дорогой наш отец! Здравствуйте нам на радость и на надежду!

Прямо не знаю, с чего начать, да и не мастер я на письменность, как вы знаете... Наверно, адъютант шлет вам обо всем подробные письма».

О да! Рукой адъютанта Шешени, посланного в Москву еще раньше Павловского, водила та же чекистская рука!..

«За меня не волнуйтесь, меня сам Бог бережет — вы это знаете и не раз уже проверили в деле».

О да! Из рокового похода на Пинск и Мозырь полковник Павловский вынес его на собственном окржавленном седле...

«Смею обнять вас и прижать к своему верному сердцу».

Нечего сказать, верность! Приманка, брошенная из

Лубянки... Чтобы он, двадцать пять лет собственной судьбой творивший и утверждавший строжайшую конспирацию, попался, как заяц на морковке!..

«Здесь, в России, нужен мудрый руководитель, т.е. Вы.

Все уж привыкли к этой мысли, и для дела Ваш приезд необходим. Я, конечно, не говорил бы этого, не отдавая себе полного отчета в своих словах».

— О да, несчастный Серж! Отчет ты отдавал — страх, животный страх за свою полковничью шкуру...

Савинков опохмелился еще раз — что делать, пристрастился от безделья — и продолжал свою тюремную исповедь:

«...Я не то чтобы поверил Павловскому, я не верил, что его смогут не расстрелять, что ему могут оставить жизнь. Вот в это я не верил. А в том, что его не расстреляли, — гениальность ГПУ. В сущности, Павловский мне внушал мало доверия. Помню обед с ним в начале 23-го года с глазу на глаз в маленьком кабаке на рю де Мартин. У меня было как бы предчувствие будущего, я спросил его: «А могут быть такие обстоятельства, при которых вы предадите лично меня?» Он опустил глаза и ответил: «Поживем — увидим». Я тогда же рассказал об этом Любове Ефимовне. Я не мог думать, что ему дадут возможность меня предать. Чекисты поступили правильно и, повторяю, по-своему гениально. Их можно за это только уважать. Но Павловский! Ведь я с ним делился, как с братом, делился не богатством, а нищетой. Ведь он плакал у меня в кабинете. Вероятно, страх смерти? Очень жестокие лица иногда бывают трусливы, но ведь не трусил же он сотни раз? Но если не страх смерти, то что? Он говорил чекистам, что я не поеду, что я такой же эмигрантский генерал, как другие. Но ведь он же знал, что это неправда, он-то знал, что я не генерал и поеду. Зачем же он еще лгал? Чтобы, предав, утешить себя? Это еще большее малодушие. Я не имею на него злобы. Так вышло; лучше, честнее сидеть в тюрьме, чем околачиваться за границей...»

Дальнейшие размышления прервал уже традиционный вопрос от порога:

— Что, Борис Викторович, опохмелимся?

Блюмкин! Всегда и везде Блюмкин...

— Да я уже опохмелился... к сожалению.

— Ну-у, Борис Викторович! О таком хорошем деле нельзя сожалеть.

Останавливать Блюмкина было бесполезно. В камере он распоряжался как истый друг-надзиратель. Выпили, разумеется.

— Ведь ты когда-нибудь меня задушишь... или из окна выкинешь? — смерил глазом Савинков, вставая, соту с пятого, очень высокого этажа.

— Прикажут — выкину. Но — не раньше того. Заметьте это, милейший Борис Викторович.

— Заметил уже, Блюмкин, давно заметил.

— Вот-вот! Даже именем моим брезгуете?

Савинков не ответил, решив побыстрее надраться. Только так и можно было отвязаться от собутыльника-стукача. Вот тут он чекистов не понимал: зачем ему подсадная утка, да еще совершенно открытая?

Но ведь и то сказать: компания. Заботятся о нем други-чекисты. Психическое здоровье террориста Савинкова — вещь великая! Спасибо им... и дай Бог побыстрее надраться!..

Не так-то просто, однако. Опять тот же назойливый, как бьющая в макушку с потолка капля воды, вопрос:

— Так мы будем работать с вами в паре? Два прекрасных террориста? У одного на совести — министры и великие князья, у другого — вшивые послы, заметьте, тоже графы? Всем уже надоело ждать. Газеты-то читаете? — кивнул он на заваленный бумажной пылью письменный стол. — Внимательнее читайте. Даже между строк. В стране-то вон что делается!..

— Да-а, рановато почил в бозе Владимир Ильич...

— Ба! Вы сожалеете о вожде, которого сами же и собирались кончить?..

— Блюмкин, ну не столь же цинично?..

— Извините-с, в потомственных дворянах не состоял.

— Оно и видно, Блюмкин. Чего ты хочешь — скажи прямо?

— Ой, мама!.. Сколько ж можно? Ну ладно, в последний раз. Первое: чтоб вы, дворянин нерезанный, хоть раз назвали меня по имени. Второе: чтоб не позднее завтрашнего дня сказали: согласны ли работать со мной в паре. И третье: бабой-то со мной поделитесь, ведь как-никак, не без моего же ходатайства она тут вместе с вами постель уминает...

Блюмкин чувствовал, что горло ему железной хваткой сжимают беспощадные руки, но свои-то ручищи никак не могли выхватить из-за пазухи пропотевший наган... Да и что бы он делал с наганом — без приказа-то?!

— Во-он!..

Право, Блюмкин даже обрадовался, что его отшвырнули к порогу. Там уже охрана на шум подспела, утащила за железную дверь.

Армейцы-охранники посмеивались: не впервой им такое наблюдать. Тоже люди приказа: ни возбранять, ни воспрепятствовать не смели. Может, и нравилось, как стукача выпроваживали. Полчаса не прошло — новый приятный смешок:

— К вам жена, Борис Викторович.

Хорошие красные ребята... и жена хорошая, чего уж там!..

Опять этот пьяный сон... или пьяная явь?!

Тюрьма-а?..

Каменный мешок-ок?..

Опять как семь лет назад — сон в сон, слово в слово...

Стены, конечно, каменные, но камень ощущался не более, чем в любом другом доме; и без того гладкая штукатурка была окрашена нежной салатовой краской и прокатана самым прекрасодушным маляром — чуть-чуть выделявшимися лавровыми листьями, погуще основного тона и посочнее. Лавр?.. Он одинаково хорош и в торжественном венке, и в пресловутом борще... Савин-

ков на минуту смутился от такого противопоставления и, не доев, резко отодвинул тарелку. Ничего и тут особенного: какой-то расторопный официант в военной гимнастерке и белом переднике во всю грудь сейчас же унес бесшумно тарелку. Савинков закурил сигару — у него под рукой теперь оказались любимые сигары, — и, не сходя со стула, прикрыл глаза. Они лучше и дальше видят, когда их не слепит свет вечно горящей лампы. Сквозь плотную решетку ресниц сейчас же предстал, как и семь лет назад, торжественный венец с золотой надписью: «НАШЕМУ УВАЖАЕМОМУ И ВСЕМИ ЛЮБИМОМУ СОВЕТСКОМУ ТЕРРОРИСТУ». Не хватало, правда, в конце торжественного восклицательного знака, но, впрочем, и так хорошо. Кто-то ласковый и невидимый, как истинный ангел во плоти, вздел ему на левое плечо давно заслуженный — чего уж там, еще семь лет назад! — тяжеленный венец, а сам скромно удалился. Да что там, испарился, исчез в каменной, нежно окрашенной стене. Ангелы, они везде насквозь проходят. Савинков знал это еще по севастопольской тюрьме; оставалось ему до расстрела — или петли? — день-другой, не больше, военно-полевые суды скоры на руку, но вот явился же ангел в образе Василия Сулятицкого, прямо из каменной стены, для подстраховки сунул в руку револьвер... и повел! Через все посты и кордоны несокрушимой твердыни. В город, на его окраины, к морю, мимо сторожевых кораблей, в прекрасную Румынию! Жаль, повесили потом Сулятицкого, а то бы он и сюда пришел, прямо к этой роскошной широченной кровати, истинно ангельским голосом вострубил бы: «Встать, генерал! Рыжий Конь не затопчет. Бледный Конь не возьмет — вынесет к победе Конь Вороной!»

Но не этот же конь победный, как и семь лет назад, перенес его от кровати к умопомрачительному креслу? Не из царских ли хором притащили?.. Чего ж, кто в лавровом венце, тому и кресло полагается царское. Савинков покойно и благодушно вытянул ноги.

Лавровые листья щекотали шею. Что ж, не снимал венца — как можно, если к нему с таким уважением! Си-

дя в прекрасном мягком кресле, при таком прекрасном венце... вроде бы семь лет не сходя с места... он почему-то опять осматривал свое обжитое жилище — будто впервые! Да, у Деренталей хорошо, а здесь все-таки лучше. Приемный зал, не иначе. Ведь он и в самом деле кого-то ожидал. Собственно, для того и стены заново окрашивали, и мебель мягкую приносили, и ковры, и даже кровать широченную... «получше, чем в спальне у Деренталей», по старой памяти подумалось ему. Устроители этой полугостиной-полуспальни явно с них и брали пример. Дерентали любили поваляться под день грядущий. Утром их буди не буди — кулаками стучи в дверь. Он и прежде не на шутку сердился, видя такое разгильдяйство, а сейчас про себя отметил: хорошо. Еще бы не хорошо! Савинков ни на минуту не забывал, что от того давнего сна прошло семь долгих лет, что он опять в тюрьме, где-то в самом центре Москвы... но все это разве походило на тюрьму?

Большая роскошная комната, застланная специально затребуваным сюда ковром, — ну разве назовешь ее камерой? Камеры — это было в студенческие годы, в Петербурге, еще где-то и последний раз — уже камера смертника, узкий затхлый мешок севастопольской крепости. Нет, толк в камерах он понимает, знает что по чем; чем ценнее ее содержимое, тем глуше она сама, вот в чем главная суть.

Здесьние его хозяева — или слуги, может, и адъютанты? — устраивали жизнь всем правилам наперекор. И уж за ценой-то явно не стояли. Такие хорошие адъютанты в такой хорошей военной форме, маленько подпорченной оплешившей красной звездой. Но ведь что ни попроси, исполнят с истинно ангельской быстротой. Живи и наслаждайся, растерявший свою молодость в скитаниях, несокрушимый русский террорист! Вот последний русский император, загнанный куда-то в Сибирь, мог ли наслаждаться такой, с позволения сказать, тюрьмой? Савинков улыбнулся вдруг помягчевшими губами: неискоренимый, злостный социалист становится монархистом?.. Что ж, тюрьма равняет императора и его

бомбометателя... да хоть и самого красного палача Дзержинского с белым палачом Савинковым...

Кажется, на этот раз он уже и с Дзержинским разговаривал, именно на это сравнение и упирал. Чего удивительного: красный палач — поляк, белый палач юность в Варшаве провел, извольте быть земляками. А как же!

Истинно по-землячески друг Феликс и приказал своим красным нукерам: «Создать все условия для друга Бор-риса! Как и семь лет назад».

Вот когда явились эти роскошные апартаменты с коврами, мягкими креслами, письменным столом, а главное, с такой вот восхитительной кроватью. Он и сидя в кресле, и не размыкая глаз видел ее. Одно сейчас смущало: если кровать двуспальная, так должен быть кто-то и второй? Надел ему венок, а сам — сквозь стену, истинно ангел?..

Он не успел додумать эту мысль, как все разрешилось быстро и просто. Почти так же, как и семь лет назад. Дверь отворилась — не стена, а именно дверь, — и вошла привычным порядком Любовь Ефимовна в малиновом, увитом розами халатике. Даже за семь лет розы не выцвели! Вот ведь дела...

Но почему она еще в прихожей разделась? И почему ее сопровождал недавно выгнанный Блюмкин? Или он вчера... позавчера выгонял? Часто это случалось. Надолго со своими гнусными предложениями!

Сейчас он вошел, будто ничего и не бывало. Опять будет нашептывать в ухо?.. Савинков заранее сжимал кулаки. Но нет, Блюмкин только кивнул, улыбнулся широко и поощрительно и тут же ретировался в эту железно — почему железно? — грохнувшую дверь. После того совершенно ненужного грохота и пришло удивление:

— Люба?..

— Да, Люба.

— Но семь лет?..

— Семь минут, ты что? Я не надолго отлучалась. Всего лишь...

— Зачем?

— В туалет. Требуй, чтоб камеру оборудовали ватер-

клозетом! Не на парашу же мне садиться... фу!.. — сбросила она легкие белые туфельки и прыгнула ему на колени. — Ты соскучился?

— Я соскучился. Но, однако ж, как мы здесь оказались? Что, Феликс, друг варшавский, нам руки, как поп, соединил?

— Потом, милый, потом... Сейчас давай кутить! Хорошо ли ты обследовал свой буфет?

— Все некогда было. Я вот... семь лет лавровый венок надевал... Куда он только запропал?..

Венка в самом деле не было, словно он как-то сорвался с плеча. Но это не разочаровало сейчас, с приходом жены — жены ведь все-таки?! Тем более что и она охотно подтвердила:

— Мой мужене-ек? Лавровый венок — будет. Ты давно заслужил его, милый.

— Заслужил... еще семь лет назад!

— Вот видишь, и сам признаешь. А поэтому давай-ка жить... пока живется! За все проклятые годы сразу! Хоть у кумы. Хоть у тюрьмы... Ну? Не узнаю тебя, Боренька... Ведь Боренька, так? Шампа-анского!

Спустив ее с коленей, Савинков радостно побежал к буфету; в самом деле, буфет опять был полон вина и закусок. Его особенно умилили бокалы — узкий холодный, как лед, хрусталь, который и царскую душу в далекой Сибири мог бы повеселить... Но, впрочем, чего это цари на уме? Не без причины же. Сочувствие? Жалость? Русское всепрощение? Когда царь-государь, царство ему небесное, сидел где-то под сибирским или уральским замком, ему едва ли подавали такие бокалы...

Савинков преодолел душевное смятение, разорвав круг мыслей:

— Люба!

— Да, Боря?

— Мы будем пить или не будем?..

Их руки, отяжеленные бокалами, тянулись и тянулись навстречу друг другу — минуту ли, две ли, час ли, день ли... не год ли, не пять ли, не семь ли долгих лет?! — и никак не могли соединиться, сделать самое простое

и обычное: чокнуться и разменяться бокалами для вящей дружбы, для истинной любви, любви бесконечной и вечной... Но почему — семь? Разве вечность ограничена, да еще семью годами?

Он всем напряжением воли стремился к этой женщине навстречу, он, в конце концов, посаженный парижский шафер, он имеет право — да он просто обязан... что?..

Любить свою подопечную!

Да-да, любить.

А какая же любовь без шампанского? Раз откупорена бутылка и налиты бокалы, надо пить, пить досуха, досыта...

Но рука, твердо державшая бомбу и браунинг, стала противно-ватной, рука не слушалась, рука не хотела идти навстречу другому бокалу, какому-то слишком знойному, почти кроваво-красному... да что там, чьей-то кровушкой наполненному горяченькой... Поняв это, он мог бы отвернуться, бросить противное усилие — испить такой бокал, но ничего с собой поделать не мог. Продолжал смешное, какое-то пакостное дело — требовать, просить, вымалывать совершенно ненужное ему... смертное питье!

Дойдя до такой ясности, мысль должна была бы дрогнуть, ужаснуться — но нет, не ужаснулась, продолжала кружить в каком-то гибельном круге. Вокруг двух никак не соединяющихся бокалов, вокруг двоих людей, одним из которых был вроде бы он, а другим... Люба или не Люба?! Она руку-то тянула ему навстречу, а сама отдалялась, отдалялась... на минуту-другую, на день, на год... и неужели на все семь лет?! Он ничего не мог поделать с этим самоотстранением. Вожденный бокал удалялся; рука, державшая его, истончалась, вытягивалась поистине в вечность, ограниченную почему-то семью годами... Но, видимо, такова уж вечность. Семь лет, не больше. И раз нет другой — принимай. Чего ты хочешь, безумец? Знаешь, кто каждому задает вечность? Вот именно, Бог. Не возомни себя — выше. Проснись. Просто проснись!..

Но проснулся он от другого — грохнула железная дверь. От этого грохота Люба спрятала голову под одеяло. Он, наоборот, вскочил во всем своем дезабилье.

— Что такое?..

Адъютант-молодец, почесывая под красной звездой непроспавшийся лоб, заученно объявил:

— Гражданка Деренталь, вы свободны до вечера. Заключенный Савинков, вы отправляетесь с нашими руководителями товарищами на загородную прогулку.

Загородная прогулка — это Царицыно. Дача чекистов. Пьянка, сдобренная видом поверженного террориста и чтением его новых рассказов — вернее, рассказов ненавистного Ропшина. Под закуску хорошо идет. А Ропшин, в отличие от Савинкова, хоть и не под арестом, но тоже отказаться не может. Как-никак соучастник. Подельник — сказал бы настоящий арестант...

III

Савинков сам попросил чекистов, чтобы ехать в Царицыно без Любови Ефимовны.

— Мужская компания, понимаете?

Чекисты понимали. Днями и ночами носились, как бессловесные ищейки, — чего ж не поболтать с приятным человеком. Террорист, писатель, вечный мировой скиталец, бабник, наконец. Благодарение ему — они все получили повышения по службе, ордена, грамоты, другие награды. Послушать такого человека в своей узкой компании за рюмкой дарового коньяку — тоже немалое удовольствие. Деньги у Савинкова водились, поскольку были на свободе Дерентали. Держать свой роскошный парижский кошелек не возбранялось, приличный буфет — тоже. Права литературной работы и переписки его никто не лишал, хотя чего со своими-то переписываться? Любовь Ефимовна ночевала в камере на Лубянке, — если можно назвать это камерой, — а утром уходила на работу, как обычная советская служащая. В «Женский журнал». Он хорошо оплачивал житейские познания бывшей петербургской танцовщицы... и нынешней жены террориста, которому любезно был уготован десятилетний срок, — могли бы и шлепнуть без долгих разговоров. Нет, берегли для каких-то своих лукавых целей...

Для каких?!

Об этом собутыльник Блюмкин, не раз и с Савинковым пересекавший свои пути, без околичностей изъяснялся:

— Нас не шлепнут — мы сами будем шлепать... кого прикажут!

Пока не приказывали, хотя устами Блюмкина напоминали. Время-то в стране какое: вождь умер — да здравствует новый вождь?!

Зря он, конечно, презирает Блюмкина: собутыльник великолепный.

Не будь его, как убьешь этот длинный, просто бесконечный день? Когда-то еще придет Любовь Ефимовна!

А кончатся деньги — черкани пару слов: «Александр Аркадьевич, одолжи до лучших времен. Опять усохли, прокляты!» Блюмкин моментально слетает, на то он и Блюмкин. Знает, что Однорог, как и его женушка, тоже при деньгах. Савинков бил его за такое недостойное прозвище, приклеенное милейшему Саше Деренталю, но что поделаешь. Его самого-то пока не выпускают.

Так что «все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо»! Любовь Ефимовна приносила с весенних московских улиц не только запах коньяка, колбасы и свежей сдобы — главное, запах своего танцующего тела. Ее двойная жизнь ничуть не мешала и общению с Александром Аркадьевичем, тоже счастливо выпущенным с Лубянки. Он прекрасно устроился — не куда-нибудь, а во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, в знаменитый ВОКС. Самое место первому помощнику Савинкова! Ехидничай не ехидничай, а Чека свое дело знала.

Семейная касса прекрасно обслуживала несговорчивого шефа, все еще отказывавшегося от своей истинной работы — работы террориста. В новых, разумеется, условиях. Такое дело — для любой власти, где идет междоусобная грызня. А пока шеф миндальничает со своей совестью, его следует хорошо кормить... и поить, чего уж там. Вообще-то Любовь Ефимовна особо не поощряла его увлечение «Господином Коньяком», но в деньгах не отка-

зывала. Не вечно же будут такого человека, как Савинков, держать в золотой клетке. Ну, если не заместитель «Железного Феликса», так начальник какого-нибудь отдела? Она ему советовала, шептала в жаркие ночи:

«Соглашайся, Боренька, соглашайся, милый!..»

Известно, устами женщины, да еще такими жаркими, глаголет истина. Чего же он до сих пор не поймет эту банальную истину? Чего заливает ее коньяком? Знай покрикивает: «Блюмкин, пошел!»

Если не было под рукой Блюмкина, роль служащих охотно брали на себя и чекисты. С пьяным-то разговаривать легче...

Славная сложилась компания! Единственная помеха — «Железный Феликс». На полную свободу не выпускает, а требует... да нет, лишь через третьих лиц намекает, да и то не от своего имени...

Всю правящую, всю мыслящую Россию революционной волной смыло за границы хоть и обшарпанной, обрзанной, но все еще грозной империи, теперь, разумеется, большевистской. Сидите — и помалкивайте! Нет, не сидится... Но разве можно гавкать на такую хорошую, на такую обновленную империю из французской, английской или, там, немецкой подворотни?! Да хоть и из своей, замоскворецкой, арбатской, мясницкой, таганской? Газеты-то Савинков почитывал, на газеты у него, как и на пьянку, времени хватало. Смерть вождя — смерть единой мысли, да?..

Пока собирались в Царицыно, откуда-то взявшийся Блюмкин уже без обиняков напомнил:

— Сегодня. Полное согласие. Хватит крутить. Большие начальники не могут вам прямо предлагать: убей того-то и того-то. Я — могу. Я человек маленький. Шанс! Последний шанс! Вас не только на улицы Москвы — за границу выпустят. А требуется — всего ничего!

— Мое согласие?

— Вот именно. Письменное. Как у всех порядочных...

— Кого?

— Да черт его знает, как это называется! Лишь бы денежки платили.

В такой прекрасный день Савинкову не хотелось ругаться. Он лишь равнодушно сказал свое любимое:

— Пошел вон.

Но Блюмкину, не выполнившему задания, и свои-то на дверь указали. Кутили в Царицыно без него. Большое начальство — большая пьянка. Он читал устами Ропшина «Коня Вороного». Там ведь Жорж, он же предавший его Серж Павловский, часто повторяет безумные стихи:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет, что ты блоха,
Выйди на улицу
И — убей!

Чекисты плохо разбирались в поэзии, но последнее слово понимали.

— Хорошо.

— Сработаемся.

— Остальное Блюмкин доскажет.

Савинков кивал, чокался, не пьянея.

Пьянеть он вообще не умел и вернулся домой — поистине тюрьма-матка домом стала! — возвернулся в обжитые коридоры еще с несколькими бутылками коньяку. Такие хорошие, на нем заработавшие ордена начальнички-собутельнички! Сами по дороге в магазин бегали. Его не утруждали выходить из машины. Он знай посмеивался:

— Да не сбегу. Разве от вас сбежишь?

— Не сбежишь, — говорил один.

— Зачем? — вторил другой. — Живи с нами. Такие люди нам нужны.

— Работы невпроворот, — бубнил с переднего сиденья третий, самый главный, теперь уже при двух орденках. — Не мешает лишняя рука...

— ...если стрелять умеет?

— Ну как же без того? — под левый локоток толкали.

— Прицельно... в кого прикажут, — под правый локоток.

Тесновато втроем на заднем сиденье, но ничего не поделаешь. Дружба! От него и ждут одного — дружеского ответа...

— Не привык я, господа-товарищи, по приказу стрелять.

— Ничего, привыкнешь, — авторитетно, с переднего сиденья.

— Если и в вашу голову?

— Можно и в голову... можно и в душу мать! — спички ломались, в горячке не удавалось закурить. — Бросай ты барскую спесь! Надоело с тобой возиться. Десять лет — тебе мало? Ты и года не проживешь. Так что поступай под начало Блюмкина. Он знает — в кого стрелять, когда стрелять. Не знает — зачем стрелять. И тебе, Савинков, это без надобности. Твое дело плевое: исполняй, и только.

Так с ним никогда не говорили. Всегда на «вы», вежливо. Предлагали-намекали, но не совали же носом под ноги какому-то Блюмкину...

Если и был хмель — весь по дороге вышел. Он молчал, хотя от него явно ожидали ответа.

Он нацупал под боком початую бутылку и глубоко, удушливо затянулся — плохой, отсыревшей сигарой.

Но тяни не тяни, отвечать-то надо. И он ответил, уже при завороте на Лубянку, — ответил раз и навсегда:

— Ваша власть — ваше право. Единственное — мое: не соглашаться. По указу — не стреляю. По приказу — не убиваю. Я просил работы... но не работы палача! Переводите меня в обычную тюрьму, я отбуду свой срок... если мне, конечно, позволят дожить до срока...

Переднее правое сиденье сердито и угрожающе крякнуло, с боков под ребра саданули отнюдь не дружеские локти. Вот так: пили на брудершafft, а били просто под «шафт»!

Но внешне ничего не изменилось. За воротами шли гуськом. Куда убежишь?

Не до него было. Приятели-начальнички горячо и матерно спорили между собой. Ясно, что и для них хорошего мало.

Пользуясь своей еще прежней свободой, Савинков прихватил из машины на пятый, служебный, этаж бутылку коньяку. Блюмкина, слонявшегося без дела, угостил. Начальники, посиживая в креслах, своими разго-

ворами занимались. Они с Блюмкиным — своими. Почти бессловесными. Одно разве:

— Ну?

— Шиши гну!

— Отказываетесь?

— Отказываюсь.

— Но ведь это самоубийство?..

— ...убийство, да. Неужели, думаешь, я так глуп?

— Абсолютно глуп. К тому же и меня ставишь в глупое положение. За твое доброе ко мне отношение чем я должен платить?

— Черной неблагодарностью. Бери плату, Блюмкин, не стесняйся. Когда-то я в тебя стрелял — не убил. Авось тебе лучше повезет.

— Какое уж стеснение! Но — повезет ли? А может, тебя жаль?

— Меня?! Савинкова не надо жалеть. Это оскорбительно. Пей, Блюмкин.

— Назови меня по имени... ба-арин!.. Хоть в последний-то раз? Хоть один-то разочек?!

Заложив руки за спину, Савинков ходил по просторным лубянским анфиладам. Страха не было, и злости не было. Все правильно, все так и должно быть. Вот даже Блюмкин, воскресший Блюмкин «тыкает» ему в лицо. Блюмкин знает, что делает. С Савинковым можно уже не церемониться...

Из главного кабинета в коридор — и обратно. Все мимо распахнутого настежь окна. Странное окно, без подоконника. Вероятно, была балконная дверь, да за ненадобностью балкон срубили, превратили в окно. Полтора вершка над полом, и — бездна!

Был душный, предгрозового вечер. Уже смеркалось. Долгонько же они пьянствовали в Царицыно... под зазывные разговорчики! Очертания людей и домов терялись в белесой испарине, поднимавшейся от земли. Отдыхала земля, отходила от зимней спячки. Как-никак было 7 мая ранней, благодатной весны. Прекрасное время, которое он всегда любил, может быть, за одну строчку Генриха Гейне: «В прекраснейшем месяце мае...» Но

было ему грустно, и он знал — почему. Май этот — май последний, чего обманывать себя...

Он снова прошел мимо балконной двери, обрывающейся в бездну. Там, в глубоком, зыбком колодце бил копытом бледно-чалый конь — зверский, верно, конь, в мареве такого вечера совершенно потерявший свою масть, а на нем сидел голый по пояс человек и лупил его плетью. Конь вертелся на месте, вставал на дыбы, угрожающе ржал. Боевой кавалерийский конь — чего он тут, на лубянском затоптанном дворе?..

«Как я?»

И конь, и всадник, и, кажется, он, Савинков, утонули в едином бестелесном мареве, нереальные, чуждые этому каменному мешку. Откуда — и куда путь?!

«Конь Блед, и на нем всадник, имя его Смерть...»

Савинков с усилием оторвал взгляд от бездны, направляясь в сторону кабинета. Но оттуда неслись телефонные разговоры:

— Да. Да, Феликс Эдмундович! Все, что могли, сделали. Дворянская спесь...

— Мы устали возиться с ним. С Николашкой так не возились... Разрешите самим принять решение? Вы? Вы тут ни при чем. Даже мы ни при чем. Для таких дел есть вполне надежные... Вот-вот, случайность! Мало ли что может случиться с человеком, к тому же — выпившим...

Савинков круто повернул в обратную сторону и сел на порожек бездны.

— Блюмкин! Выпивать так выпивать. Тащи!

Непроницаемо черные, раскрывшиеся от ужаса глаза тюремного собутыльника. Немецкого посла графа Мирбаха убил не моргнув, а тут:

— Так что же делать-то?

— Так пить, известно.

— А потом-то, потом?..

— А что по службе положено, Блюмкин. Без шума, без пули, без злости...

— Мне?

— Тебе. Тебе, Блюмкин! Пей, прохвост, и не пускай паршивую слезу. Все правильно. Без злости говорю, и сам я...

...сам-то выпил или нет напоследок, потому что ясно видел, как вздыбился в белесой бездне его любимый, неукротимый Конь Блед, как...

...как распластался широкой спиной, все ближе, стремительнее набегая, словно готовясь принять на себя очердного всадника и...

...и умчать его, умчать дорогой, с которой обратно никто не возвращался...

Было это 7 мая 1925 года, в предгрозовой весенний вечер.

Любовь Ефимовна прибежала на Лубянку, крича почему-то по-французски:

— Это неправда! Этого не может быть! Вы убили его!

Крики истеричной женщины никто не слушал. Чекисты занимались серьезным делом. Предстояло объяснить миру, как и что произошло с известным террористом Борисом Савинковым. Свои газеты не в счет — но иностранные?..

В едином вздохе склоняясь над столом, несколько человек во главе с самим Дзержинским писали официальное сообщение о смерти. Оно вышло как нельзя лучше:

«7 мая Борис Савинков покончил с собой самоубийством.»

В этот же день утром Савинков обратился к т. Дзержинскому с письмом относительно своего освобождения.

Получив от администрации тюрьмы предварительный ответ о малой вероятности пересмотра приговора Верховного суда, Б. Савинков, воспользовавшись отсутствием оконной решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, выбросился из окна 5-го этажа во двор и разбился насмерть.

Вызванные врачи в присутствии помощника прокурора республики констатировали моментальную смерть».

О загородном дружеском пикнике речи, разумеется, не было. О привлекательных предложениях прославленному мировому террористу, уж само собой, не говорилось. О Блюмкине даже муха не пискнула на столе, над которым склонились такие великие государственные голы...

...так что...

...все хорошо, прекрасные маркизы, все хорошо, все хорошо!

ХРОНОЛОГИЯ

1899 г. Из Варшавы в столицу приезжает уроженец Харькова и «потомственный дворянин Петербургской губернии» (из протокола суда) Борис Викторович Савинков — для поступления в университет.

1900 г. Женитьба новоявленного студента на дочери писателя Глеба Успенского — очаровательной Вере.

1902 г. Высылка бузотера-студииза в Вологду; первая встреча и даже дружба с отбывавшим там ссылку Луначарским.

1903 г. Побег вместе с Иваном Каляевым через Архангельск в норвежский порт Варде.

1904 г. Руководимая Савинковым эсеровская террористическая группа убивает в Петербурге министра внутренних дел Плеве. Гибнет друг и поделщик Сазонов.

1905 г. Группа Савинкова убивает в Москве губернатора и великого князя Сергея Александровича. Гибнет варшавский еще друг Каляев.

1906 г. 14 мая Савинков приезжает в Севастополь, чтобы «судить судом гнева» (из протокола суда) адмирала Чухнина — за зверства над восставшими моряками... и попадает в севастопольскую военную тюрьму.

18 мая. Военно-полевой суд, который заранее определил на следующий уже день, 19 мая, смертный приговор: повешение.

18 июля. Слетевшиеся на выручку своего шефа боевые друзья и лучшие петербургские адвокаты затягивают исполнение приговора, в результате чего Савинков совершает дерзкий побег в Румынию.

1907 г. Из-за своих бузотеров-сыновей (старший погиб в якутской ссылке, Борис едва избежал виселицы) сходит с ума и лишается службы отец — крупный судебский чиновник.

1908 г. Суд чести Боевой организации эсеров (Герман Лопатин, князь Кропоткин, Вера Фигнер, Борис Савинков) на парижской квартире Савинкова выносит смертный приговор провокатору Азефу. Приговор должен был исполнить Савинков, но из-за растяпистости приданного ему в помощники Виктора Чернова Азефу удалось бежать.

1914—1917 гг. Савинков при содействии Плеханова и в пику большевикам разворачивает в Париже и непосредственно на фронте шумную журналистско-пропагандистскую кампанию против германской военщины, за что немецкая агентура устраивает на него настоящую охоту.

1917 г., март. Возвращение через Швецию и Финляндию в Петроград.

1917 г., июнь—октябрь. Последовательно Савинков — комиссар Временного правительства на Юго-Западном фронте, военный министр, губернатор Петрограда (всего 3,5 дня).

1917 г., октябрь. Вместе с генералом Красновым участвует в боях у Пулкова.

1917 г., декабрь. Тайное возвращение Савинкова из Южной ставки генерала Корнилова в Москву для создания там офицерского «Союза защиты Родины и Свободы», чтобы его силами изнутри поддержать Белое движение на юге.

1918 г., июнь—август. Под руководством Савинкова и его офицерского «Союза» — первые восстания против большевистской власти в Рыбинске, Ярославле, Костроме и далее в Казани; там он создает конно-диверсионную группу в составе полка Каппеля.

1918 г., 10 сентября. Пала Казань, и Савинков по заданию Директории (некое подобие Белого правительства) отправляется «Полномочным и Чрезвычайным послом Всея Белой Руси» через Владивосток и Токио — в Париж и Лондон, чтоб своим авторитетом поднять Европу на помощь Белому движению. Далее он уже действует послом пришедшего к власти Колчака.

1920 г. Предводимые им офицеры из «Союза защиты Родины и Свободы» во время польского наступления участвуют в боях у Мозыря.

1921—1922 гг. Вместе с полковником Павловским и известным британским дипломатом-шпионом Рейли — конные рейды в составе сводной группы Булак-Балаховича. По лесье, Минская губерния, Витебская, Псковская... Вывез его из боев на собственном окровавленном седле полковник Павловский.

1924 г., 15 августа. Гонимый ностальгией Борис Савинков, он же писатель Ропшин, с несколькими друзьями переходит польско-советскую границу вблизи Минска... и попадает в ловушку Чека, устроенную с помощью захваченного ранее полковника Павловского — главного своего заместителя, а теперь и главного предателя.

1925 г., 7 мая. При молчаливом согласии Дзержинского был выброшен с пятого этажа тюрьмы.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Савеличев. ГЕНЕРАЛ ТЕРРОРА. Роман	
ПРОЛОГ ЖИЗНИ И СМЕРТИ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
МИНИСТР-БОМБОМЕТАТЕЛЬ	58
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	
«СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ»	137
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	
ПРОПАВШИЕ ПРОДОТЯДЫ	234
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	
К ОРУЖИЮ, ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ!	321
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	
ВОЛГА В ОГНЕ	367
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ	
В ПАРИЖ ЧЕРЕЗ ТОКИО, В МОСКВУ ЧЕРЕЗ ВОЛОГДУ.	437
ЭПИЛОГ НЕПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ, ПРОЛОГ НЕУЗНАННОЙ СМЕРТИ	485
Хронология	538